63.3(2)6-8
Ж 71

ЖИЗНЬ ЛЕНИНА

ТОМ 9

ЖИЗНЬ ЛЕНИНА

Избранные страницы прозы и поэзии

БИБЛИОТЕКА ШКОЛЬНИКА

ЖИЗНЬ ЛЕНИНА

ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ ПРОЗЫ И ПОЭЗИИ

В ДЕСЯТИ ТОМАХ

ТОМ 9

13.5
Ж71

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ БИБЛИОТЕКИ ШКОЛЬНИКА
«ЖИЗНЬ ЛЕНИНА»

С. В. Михалков
(председатель)

А. А. Виноградов, Б. А. Дехтерев,
Н. В. Свиридов

Оформление
Б. А. ДЕХТЕРЕВА

Рисунки
И. ИЛЬИНСКОГО

Ж 4803010102—556
М101(03)85 Подп. изд.

© Состав, оформление, предисловие.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1985 г.

ВЕЛИЧИЕ МЫСЛИ, СЛОВА, ДЕЙСТВИЯ

В этом томе Библиотеки школьника «Жизнь Ленина» помещены произведения: «Живой Ленин» Константина Федина, «Маленькая железная дверь в стене» Валентина Катаева, «Тропа» Саввы Дангулова. Созданные известными мастерами советской литературы, посвященные разным периодам жизни нашего вождя, эти произведения объединяет трепетное чувство любви к Ленину, стремление сказать о главном — о величии и прозорливости его мысли, о естественности и цельности его личности, о богатстве и мужественной силе слова и действия Ленина.

Константин Александрович Федин не раз обращался к ленинскому образу, да иначе и быть не могло в творчестве писателя такого масштаба и уровня. Ему дважды посчастливилось видеть В. И. Ленина. Первый раз — в конце 1918 года или в самом начале 1919-го. Владимир Ильич только что поправился после покушения контрреволюции на его жизнь. Он заехал в Наркомпрос за

Надеждой Константиновной и ждал ее в вестибюле. Это и было первое покорившее писателя впечатление о Ленине как о человеке совершенно доступном, непринужденном, обаятельном в своей мужественной простоте.

Другие впечатления писателя связаны с работой II конгресса Коммунистического Интернационала в июле 1920 года, где Константин Александрович присутствовал в качестве журналиста.

Обе встречи и легли в основу очерка «Живой Ленин», созданного к пятнадцатилетию со дня смерти Ленина и напечатанного тогда же газетой «Правда». Несмотря на то, что очерк написан по личным воспоминаниям, писатель и в этом случае подчеркивает, сколь сложна задача: Ленин опередил человека своего времени на несколько поколений. Он так глубок, так интересен, так необычен. Проникнуть в его мысль, чувства, измерить их масштаб, их движение непостижимо трудно.

В очерке «Живой Ленин» не случайно появляется упоминание о художнике, который сидел рядом с писателем в ложе журналистов. «Ощупывая цепкими глазами фигуру Ленина, он силился перенести ее жизнь на бумагу. Но жест, но движения Ленина оставались не пойманными. Художник пересел на другое место. Потом я его видел на третьем, на четвертом. Объективы фотокамер и кино вместе с художниками ловили неуловимого живого Ленина...»

Писатель постоянно подчеркивает «быстрые перемены выражения лица» Ленина, «чередование жестов, полных значения, страсти и воли», полную слитность жеста со словом: «Казалось, что расплавленный металл влит в податливую форму, настолько точно внешнее движение сопутствовало слову и так бурно протекала передача огненного смысла речи».

В очерке возникает яркий образ Ленина-оратора, Ле-

нина, который «свободно чувствовал себя во всеобщем неудержимом тяготении к нему людей», Ленина — вождя нового типа, руководителя первого в мире социалистического государства.

Судьба очерка «Живой Ленин» была примечательной. В течение одного пятилетия (1938—1942) К. Федин трижды возвращается к этому сюжету.

По собственному признанию писателя, «образ Ленина, насколько его можно было дать в двух небольших столбцах газетного набора, получился довольно наглядно, но в композиции недостаточно воздуха, пространства».

На этой же основе писатель задумывает рассказ, самым тесным образом связанный с опубликованным в 1938 году очерком. Вместе с тем сюжет нового рассказа «Рисунок с Ленина» раздвинут дополняющим его вымыслом. Появились новые подробности, детали, обстоятельней рассказано о начале конгресса. Но не только дополнительное историческое «оснащение» наполняет рассказ тем воздухом, которого писателю так недоставало в очерке. Писатель включает самого читателя в сложный процесс познания Ленина. В статье «Как возник мой рассказ о Ленине» К. Федин пишет: «Мое намерение состояло в том, чтобы дать рисунок с Ленина в рассказе, и в своем рассказе я перекликался с художником, стремившимся нарисовать портрет Ленина на бумаге». Таким образом, «Рисунок с Ленина» (1940) — это портрет, сделанный одновременно и писателем и художником. Может быть, поэтому так психологически глубок его внутренний и внешний смысл. Художник, о котором в очерке было сказано лишь то, что уже процитировано выше, перестает быть обычным персонажем. Он проходит разные этапы на пути к постижению личности Ленина. Сначала ему кажется, что достаточно «порисовать Ленина с натуры», и «легким, не-

принужденным, живым будет его рисунок с Ленина». Когда же художник полностью осознает грандиозность и почти невозможность осуществления своего замысла — сделать рисунок с Ленина,— он ближе, чем когда-либо, подходит к своей цели.

Рисунок не получился. Художник ощущает это. Но читатель чувствует — получится обязательно, потому что зрение художника обогатилось личным ощущением Ленина, новым, более глубоким чувством, и читатель разделяет уверенность молодого художника в будущем у с п е х е. Нарушили ли этот вымышленный эпизод и некоторая перестановка деталей историческую суть рассказа? Нет, конечно. Образ художника позволил Федину сделать рисунок с Ленина более конкретным, пластичным, эмоциональным, объемным.

Наконец, в третий раз обращается К. Федин к материалам очерка «Живой Ленин». Обращается в 1942 году, в своих воспоминаниях о Горьком.

В очерке лишь небольшой абзац посвящен Ленину и Горькому: вместе с делегатами они выходят из здания, где проходит конгресс. «Тут, при выходе, фотограф снял их, и отсюда — знаменитый портрет: Ленин и Горький у колонны дворца». В рассказе этот этюд остается чуть более развернутым. В воспоминаниях о Горьком прежняя краткая запись вырастает в сюжет большого философского звучания.

В трагическом полыханье военного времени обращение писателя к образам Ленина и Горького становится его патриотическим долгом. Задачи писателя как бы укрупнились. Образ Ленина, порыв людей к своему вождю написаны с чувством особенного волнения. Появляется созвучная характеристика Петрограда, которой прежде не было: «...Он выступал в городе, который недавно с вели-

кими жертвами отстоял свои стены от врага, то, что сюда съехались представители рабочих партий чуть ли не всех частей света,— все это делало празднество триумфальным. Но в этом триумфе заключались ноты жесткие, непреклонные: борьба все еще шла, борьба не на жизнь, а на смерть, и конгресс проводили со сжатыми зубами, с решимостью биться до конца».

Здесь в воспоминаниях подробно развернут заключительный эпизод заседания, когда Ленин и Горький, «почти соединенные, сжатые людьми, рука об руку» вышли из зала.

Писатель впервые обращается к внутреннему миру Горького, его бесконечной вере в Ленина: «Я увидел на лице Горького новые черты, каких не помнил из прежних встреч... Все лицо его словно выражало непреклонность, которая только что прозвенела в речи Ленина и которой дышал весь конгресс... И мне казалось — все лучшее, что я когда-либо думал о Горьком, воплощено в нем в этот миг, в этой близости к Ленину — к высшему осмыслению всего происходившего в мире...»

Валентин Петрович Катаев с полным правом мог сказать: «Тема Ленина давно привлекала меня... Всю свою сознательную жизнь я любил Ленина и всегда мечтал написать о нем книгу».

Книга, о которой мечтал писатель,— перед вами. Впервые вышедшая отдельным изданием в 1964 году, она называется «Маленькая железная дверь в стене». Откуда такое странное название? На одной из страниц книги старый французский авиатор крошечным плоским ключиком открывает маленькую железную дверь в стене, выкрашенную в зеленый цвет. И лирический герой книги — сам автор — оказывается как бы в другом историческом из-

мерении: в удивительном мире первых летательных аппаратов, построенных человеком. Тех самых, за полетами которых наблюдали Ленин и Крупская в Иль-де-Франс, в пятнадцати километрах от Лонжюмо. Маленькая железная дверь в стене станет для писателя поэтическим символом, дающим право его воображению, не нарушая исторической перспективы, войти в жизнь Ленина. 1908—1911 годы — годы парижской эмиграции Ленина и Крупской. В 1908 году они переехали из Женевы в Париж — центр русской эмиграции. Именно сюда было перенесено издание газеты «Пролетарий». Это было время самоотверженной, непримиримой борьбы Ленина и его единомышленников с врагами партии и революции.

Далеко не все, даже самые важные исторические события тех лет вошли в книгу. Читатель не найдет в ней даже упоминаний о V Всероссийской конференции РСДРП, о совещании расширенной редакции «Пролетария», о подготовке Пражской партийной конференции 1912 года и других исторических вехах революционной деятельности Ленина.

Катаев хорошо понимал: Ленин — неисчерпаемая тема, один человек осилить ее не может. Так возникает мысль — взять какой-либо сравнительно небольшой период жизни Ленина и на этом материале попытаться построить образ вождя, «заранее отказавшись создать что-нибудь монументальное, так как это было мне явно не по силам».

Опыт Ленинианы свидетельствует о непрекращающемся поиске в ней родства художественного и исторического. Произведения художников слова отличаются особой бережностью и тактом по отношению к теме и вместе с тем творческой смелостью в решении связанных с нею эстетических проблем.

Валентину Катаеву чужда позиция «невмешательства» художника в существо факта, события, их голой регистрации. Он художник, творец, и ему близок другой, более смелый и более трудный путь — поиск драгоценного сплава знаний и чувства, исторического факта и живописного его изображения, конкретного эпизода и его художественного осмысления.

Эта смелость оправдана глубокой исследовательской работой автора на пути к своей книге. «Для создания книги «Маленькая железная дверь в стене» мне пришлось,— пишет Катаев,— несколько раз перечесть все без исключения сочинения Ленина, пройти курс в вечернем университете марксизма-ленинизма, наконец, проштудировать громадное количество воспоминаний современников о Владимире Ильиче Ленине, выбирая из них «самое драгоценное». Нужно ли говорить, что писатель основательно изучал «Капитал» Маркса, гениальные работы Энгельса «Диалектика природы» и «Анти-Дюринг». Несколько раз посетил ленинские места в Париже, на Капри и многие другие. Молодому писателю в начале 30-х годов о жизни Ленина в эмиграции, в Женеве, в Париже, в Лонжюмо, рассказывала Надежда Константиновна Крупская, под руководством которой он работал в Главполитпросвете.

В тексте книги «Маленькая железная дверь в стене» читатель встретит отрывки из воспоминаний Н. К. Крупской, Г. М. Кржижановского, А. В. Луначарского, В. Д. Бонч-Бруевича, М. Ф. Андреевой, И. Ф. Попова и других соратников Ленина по революционной борьбе. Существенными источниками стали также беседы писателя с людьми, которые знали Ленина, и эти живые рассказы обогатили не только фактическую основу книги, но и укрепили право на глубоко самостоятельную трактовку

событий. Поэтому книга вполне могла бы иметь подзаголовок: «Мой Ленин»... Вспомним еще раз искренние, прекрасные катаевские строки: «Всю свою сознательную жизнь я любил Ленина...»

Определяя жанр своего произведения, писатель откажется назвать его и историческим очерком, и романом, и рассказом и напишет: «Это размышления, страницы путевых тетрадей, воспоминания, точнее всего — лирический дневник, не больше. Но и не меньше».

Тщательность, с которой В. Катаев в течение многих лет ищет в исторических источниках самое существенное, а в воспоминаниях и путешествиях по ленинским местам самое яркое, самые теплые и живые штрихи ленинского образа,— не удивительна. Все его творчество характеризует точность в обращении с историческими фактами.

Именно чувство историзма органически присуще автору книг «Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи», «За власть Советов», «Я — сын трудового народа».

В своем «лирическом дневнике» Катаев необычайно тактичен, когда, открывая маленькую железную дверь в стене, дверь в историческое прошлое, дает волю своей фантазии. Читая книгу, вы без труда обнаружите этот переход от факта действительного к писательскому допущению. Тогда и появляется предположительное — «быть может»: «Быть может, Ленин в этот миг представил себе...», «легко можно допустить...», «не трудно себе представить...», «мне представилось, что...», «я думаю...», «представим себе, какой он...», «вижу, как Ленин...». Свое ощущение, вполне уместное в этом жанре, В. Катаев называет радостным и трепетным для него «чувством потери времени»: «И вдруг я испытал ощущение как бы внезапно остановившегося и повернувшегося вспять времени...»

Было бы ошибочно думать, что писатель и впрямь

«уходит» в другое историческое измерение, потеряв связь со своими современниками. Этот счастливо найденный литературный прием помогает извлечь из этого измерения уроки для своих современников.

...Уже в Париже 80-х годов с группой советских участников двусторонней встречи по культурному сотрудничеству мы стояли на улице Мари-Роз. Вряд ли найдется советский человек, приехавший в Париж, который не разыщет эту улочку-переулок, дом № 4 на ней, окна квартиры, где работал Ленин. И вот здесь кто-то из нас вспомнил страницы катаевской книги и поразился точности ее интонации. Было нечто удивительное в том, что по улочке Мари-Роз в этот момент шел почтальон, совсем как в книге «Маленькая железная дверь в стене», и нам, так же как и Катаеву, показалось, что время переместилось уже не на пятьдесят, а на семьдесят лет назад, и почтальон несет на второй этаж этого дома бандероль из России...

Характерный для Катаева драгоценный сплав знания и высоких чувств, убедительные страстные страницы-монологи, элегические страницы-воспоминания, глубокий анализ впечатлений, возникающий в путешествиях в историческое прошлое, оптимистическая перспектива в рассказе о деятельности Ленина эмоционально приближают нас в «Маленькой железной двери в стене» к ленинской жизни, ленинскому образу.

«Иду по тропам истории» — так однажды сказал Савва Артемьевич Дангулов. У каждого писателя есть свои «заповеди». Именно они, как направляющие вехи, определяют «тропу» его художественного творчества. Есть эти «заповеди» и у С. Дангулова.

Заповедь первая: читателя особо убеждает та деталь,

которую художник сам увидел: «Ничто не может писателю заменить этой возможности в познании предмета». Поэтому С. Дангулов повторяет для себя ленинские маршруты на Капри и в Лондоне, в Париже и Швеции, в Ленинграде и на Волге. В этих путешествиях он находит архивы Джона Рида, переписку Коллонтай, Вильямса и других современников Ленина. Детали эпохи становятся «зримыми» для писательского воображения. Далее: «Ничто не заменит встречи с очевидцем. Бесценно его свидетельство». Так формулирует С. Дангулов свою вторую заповедь. И наконец — третья: документ, осмысленный и эмоционально познанный, для писателя важен не менее, чем для историка. Он позволяет рассмотреть в герое нечто новое, он дает представление о характере и интеллекте человека.

С. Дангулов называет свою книгу «Тропа» лабораторией, где труд писателя сочетается с трудом историка. Обе особенности этого труда писатель и предлагает читателю: и рассказы о том, как Ленин искал и находил друзей, как «отбивал» их у вражеского стана, и рассказы исследователя об увлекательном и трудном поиске материала. За каждым рассказом стоят люди с их подлинными именами, и все, что происходит с ними в книге, действительно было.

«Все, что явилось плодом писательской фантазии,— пишет Дангулов,— имеет одну цель: донести исторический материал до ума и сердца читателя, увлечь читателя, перенести его в атмосферу века, сделать его свидетелем и соучастником событий революции, заставить его (если сердце может подчиниться столь категорической формуле) — заставить войти в мир Ленина...»

Как же писатель идет от замысла к образному его воплощению? Толчком, импульсом послужил рассказ о

враждебно настроенном американце Раймонде Робинсе, приехавшем в Россию. Владимир Ильич «отвоевал» этого человека у враждебного нам мира. Так родился замысел написать книгу, в которой на примере Америки показать, как Ленин искал и находил друзей.

Герой книги «Тропа» — молодой дипломат Дмитрий Рыбаков, от его лица ведется повествование. Образ этот очень важен автору: «Взглянув на Ленина глазами дипломата, я обретал и свой угол зрения, и свои краски, и какую-то свою интонацию». Наблюдения Рыбакова помогают почувствовать обстановку, проясняют отношения между людьми, вводят в круг наших дипломатических взглядов и интересов. Но Рыбаков и события, связанные с ним,— не только сюжетный стержень повествования. В образе молодого дипломата автору хотелось передать свои собственные размышления о Ленине, нечто такое, что испытывает писатель «наедине с Лениным».

Писатель постоянно напоминает: далеко не все американцы приехали в Россию как дружественные посланники зарубежного мира. Майнор, впоследствии редактор «Дейли Уоркер», был анархистом. Раймонд Робинс — типичный представитель «деловой» буржуазной Америки. Не случайно в первый раз он встретился с Лениным отнюдь не без ведома американского посольства.

Поэтому «искать и находить друзей» — задача сложная. Какие же «тропы» подвинули их к Ленину, к революционной России? Проникнуть в содержание острых дискуссий, борьбы взглядов, восстановить атмосферу этой борьбы — значит исследовать движение мысли Ленина, свойства его особого влияния на человека, его талант полемиста, умение убеждать. В трудном поединке Ленина с его оппонентами выявляется мужественность ленинской

натуры, глубочайшее ленинское предвидение победных судеб нашего Советского государства.

Образ Ленина — это мысль Ленина, это дело Ленина. К пониманию этой великой истины приближает нас книга «Тропа».

Очерку К. Федина «Живой Ленин», лирическому дневнику В. Катаева «Маленькая железная дверь в стене», рассказам С. Дангулова в книге «Тропа» принадлежит заметное место в советской Лениниане, и они по праву получили и получают широкое читательское признание.

Г. И. ПОЗДНЯКОВА

КОНСТАНТИН ФЕДИН

ЖИВОЙ ЛЕНИН

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

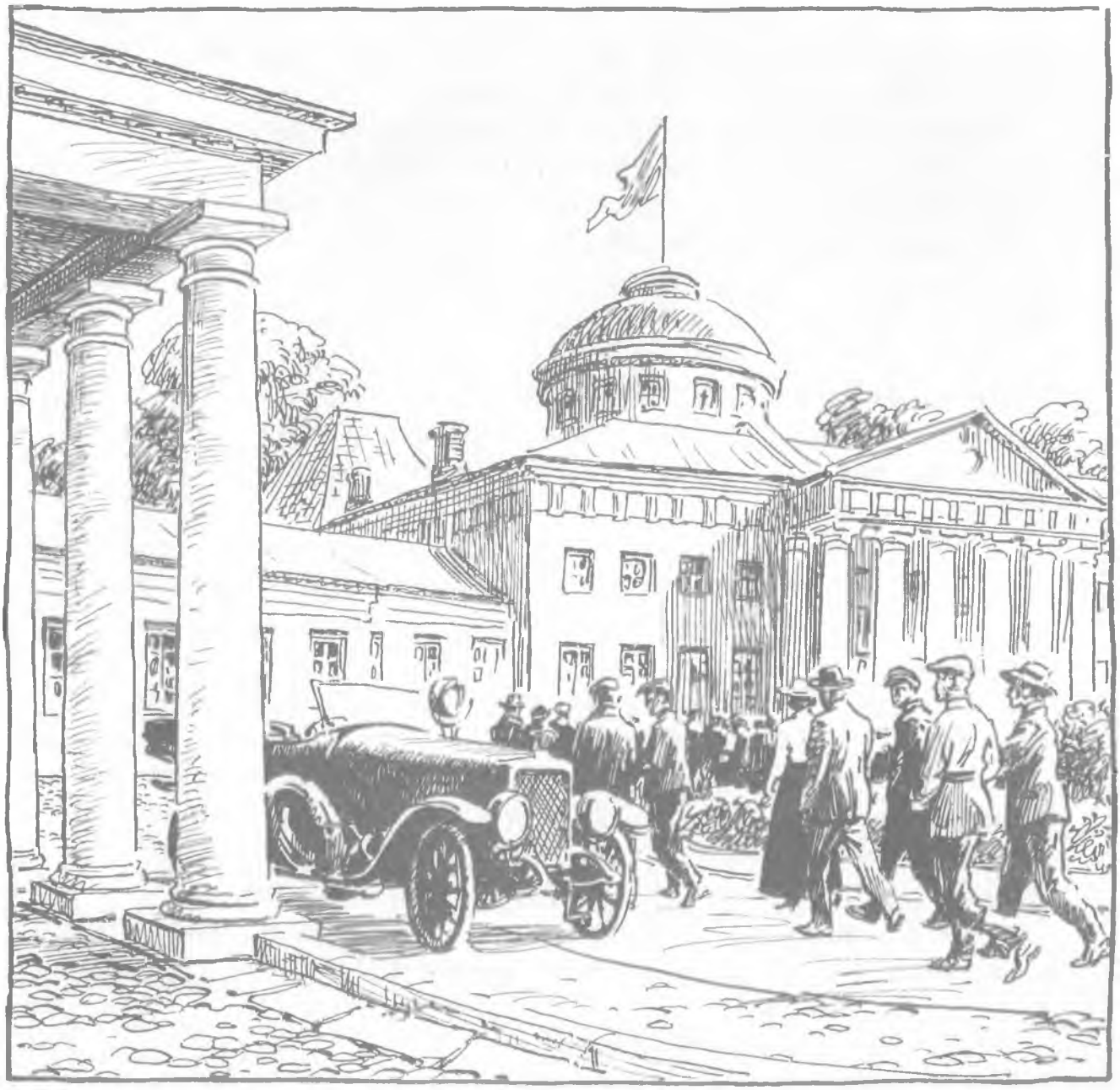
МАЛЕНЬКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДВЕРЬ В СТЕНЕ

САВВА ДАНГУЛОВ

ТРОПА

КОНСТАНТИН ФЕДИН

ЖИВОЙ ЛЕНИН



1

В самом начале 1919 года в Москве я увидел впервые Ленина. Поправившись от тяжелой раны после покушения контрреволюции на его жизнь, Ленин начал выходить.

В Наркомпросе, в здании бывшего лицея, у Крымского моста, Ленин ожидал Надежду Константиновну Круп-

скую. Он был в шубе, без шапки и прохаживался в узком пространстве вестибюля, между парадной дверью и лестницей, где сидел у столика швейцар.

Сверху так хорошо была видна голова Ленина — большая, необычная, запоминавшаяся с первого взгляда. Завитушки светлых, желтых волос лежали на меховом воротнике. Взмах лба, темя и затылок были странно преобладающими во всем облике, который и другими чертами не повторял никого из знакомых живых образов истории или современности, а принадлежал только этому человеку — Ленину. Держа за спиною шапку, он методично, маленькими шажками, двигался взад и вперед, очень сосредоточенно, не нарушая размеренность этого движения и только изредка поднимая взгляд.

Хотя занятия давно кончились и в доме оставалось мало служащих, по комнатам быстро разлетелся слух, что за Надеждой Константиновной заехал Ленин. Помню, как прибегали машинистки из отделов посмотреть на Ленина, перевешивались через балюстраду и убегали, если он поднимал голову.

То, что Ленин прохаживался возле швейцара, который возился с кипяточком, и то, что кругом запросто появлялись и исчезали переполненные палящим человеческим любопытством служащие, оставило во мне первое покоряющее впечатление о Ленине как о человеке совершенно доступном, непринужденном и ярком своей мужественной простотой.

2

В июле 1920 года в Петрограде открылся II конгресс Коммунистического Интернационала.

В зал Дворца Урицкого Ленин вошел во главе группы разноплеменных делегатов конгресса.

Навстречу ему тронулся и пополз, все поглощая своим грохотом, обвал рукоплесканий.

В этот момент со всех сторон внесли в зал корзины с красными гвоздиками и стали раздавать цветы делегатам.

Ленин прошел поспешно через весь зал, наклонив вперед голову, словно рассекая ею встречный поток воздуха и как будто стараясь скорее скрыться из виду, чтобы приостановить аплодирование. Он поднялся на скамьи президиума, и, пока длилась овация, его не было видно.

Когда стихло, он неожиданно опять появился в зале и очень быстро стал подыматься вверх между скамей амфитеатра. Его не сразу заметили, но едва заметили, опять начали аплодировать и заполнять проход, по которому он почти взбегал. Он поравнялся с каким-то стариком и, весело улыбаясь, протянул ему руки. Не знаю, что это был за старик. Судя по тому, как степенно и даже важно он поздоровался с Лениным,— его добрый знакомый из крестьян.

Ленину пришлось вынести третью и, пожалуй, самую восторженную, подавляющую овацию, когда он ступил для доклада на трибуну. Он долго перебирал бумажки на кафедре, потом, подняв руку, тряс ею, чтобы угомонить разбушевавшийся зал. Укоризненно и строго поглядывал он по сторонам, вдруг вынул часы, стал показывать их аудитории, сердито постукивая пальцем по циферблату,— ничто не помогало. Тогда он опять принялся пересматривать, перебирать бумажки. Гул аплодисментов улегся не скоро.

Ленин-оратор обладал полной слитностью жеста со словом. Содержание речи передавалось пластично, всем телом. Казалось, что расплавленный металл влит в податливую форму, настолько точно внешнее движение сопутствовало слову и так бурно протекала передача огненного смысла речи.

Ленин часто глядел в свои записки и много называл цифр, но ни на одну минуту он не делался от этого монотонным профессором, оставаясь все время великим трибуном.

Когда он спросил у зала: почему создалось во всем

свете «беспокойство», как выражается деликатное буржуазное правительство Англии,— все его тело иронически изобразило это неудобное, щекотливое для буржуазии «беспокойство», и мировая политика на глазах у всех превратилась в разящий саркастический образ.

Со мною рядом, в ложе для журналистов, сидел художник. Ощупывая цепкими глазами фигуру Ленина, он силился перенести ее жизнь на бумагу. Но жест, но движения Ленина оставались не пойманными. Художник пересел на другое место. Потом я его видел на третьем, на четвертом.

Объективы фотокамер и кино вместе с художниками ловили неуловимого живого Ленина.

После заседания Ленин вышел из дворца в толпе делегатов, вместе с Горьким. Тут, при выходе, фотограф снял их, и отсюда — знаменитый портрет: Ленин и Горький у колонны дворца.

3

День был сверкающе-синим. Над головами несли трехметровый венок из дубовых веток и красных роз, чтобы на площади Жертв Революции возложить его на могилы тех, чья жизнь была непреклонной в бурях — как дуб, прекрасной — как цветение розы.

Ленин шел впереди с делегатами конгресса. Рядом с ним все время сменялись люди — иностранцы, русские, старые и молодые.

Он шел без пальто, расстегнув пиджак, закладывая руки то за спину, то в брючные карманы. Было похоже, что он — не на улице, среди тяжелых, огромных строений, а в обжитой комнате, может быть, у себя дома: ровно ничего не находил он чрезвычайного в массе, окружавшей его, и легко, свободно чувствовал себя во всеобщем неудержимом тяготении к нему людей.

В этом шествии Ленин замечательно разговаривал с одним человеком.

Но тут — короткое отступление.

В Петроград приехал немец, который три дня возглавлял «независимую» республику в Брауншвейге, раздавленную затем Носке. Я встретился с ним во Дворце труда.

С балкона мы глядели на площадь, суровую, хранившую следы недавней героической обороны Петрограда от Юденича.

Брауншвейгец волновался по поводу советского порядка распределения товаров. Горбатый, он вдруг воздел длинные руки над головой и с отчаянной тоскою обвел глазами всю площадь:

— Но почему же у вас закрыты мелочные лавки? Если у меня оторвется пуговица, где я ее куплю?!

По профессии этот брауншвейгский республиканец был портным...

И вот в числе разговаривавших с Лениным по дороге к площади Жертв Революции оказался этот брауншвейгец.

Ленин наклонил голову набок, чтобы лучше слышать низенького собеседника. Сначала Ленин был серьезен. Потом заулыбался, прищурился, коротко подергивая головой. Потом отшатнулся, обрывисто махнул рукой с тем выражением, которым говорится: чушь, чушь! Брауншвейгец, жестикулируя, продолжал что-то доказывать. Ленин взял его за локоть и сказал две-три фразы — краткие и какие-то окончательные, бесповоротные. Но брауншвейгец яростно возражал. Тогда вдруг Ленин легко хлопнул его по плечу, засунул пальцы за проймы жилета и стал смеяться, смеяться, раскачиваясь на ходу, прибавляя шагу и уже не оглядываясь на рассмешившего его человека.

Не о пуговице ли заговорил неудачливый брауншвейгец? Возможно, конечно.

Эта сцена, длившаяся всего две-три минуты, дала мне случай увидеть веселого, от души хохочущего Ленина, наблюдать его манеру жизненного спора — с быстрыми переменами выражения лица, с лукаво прищуренным гла-

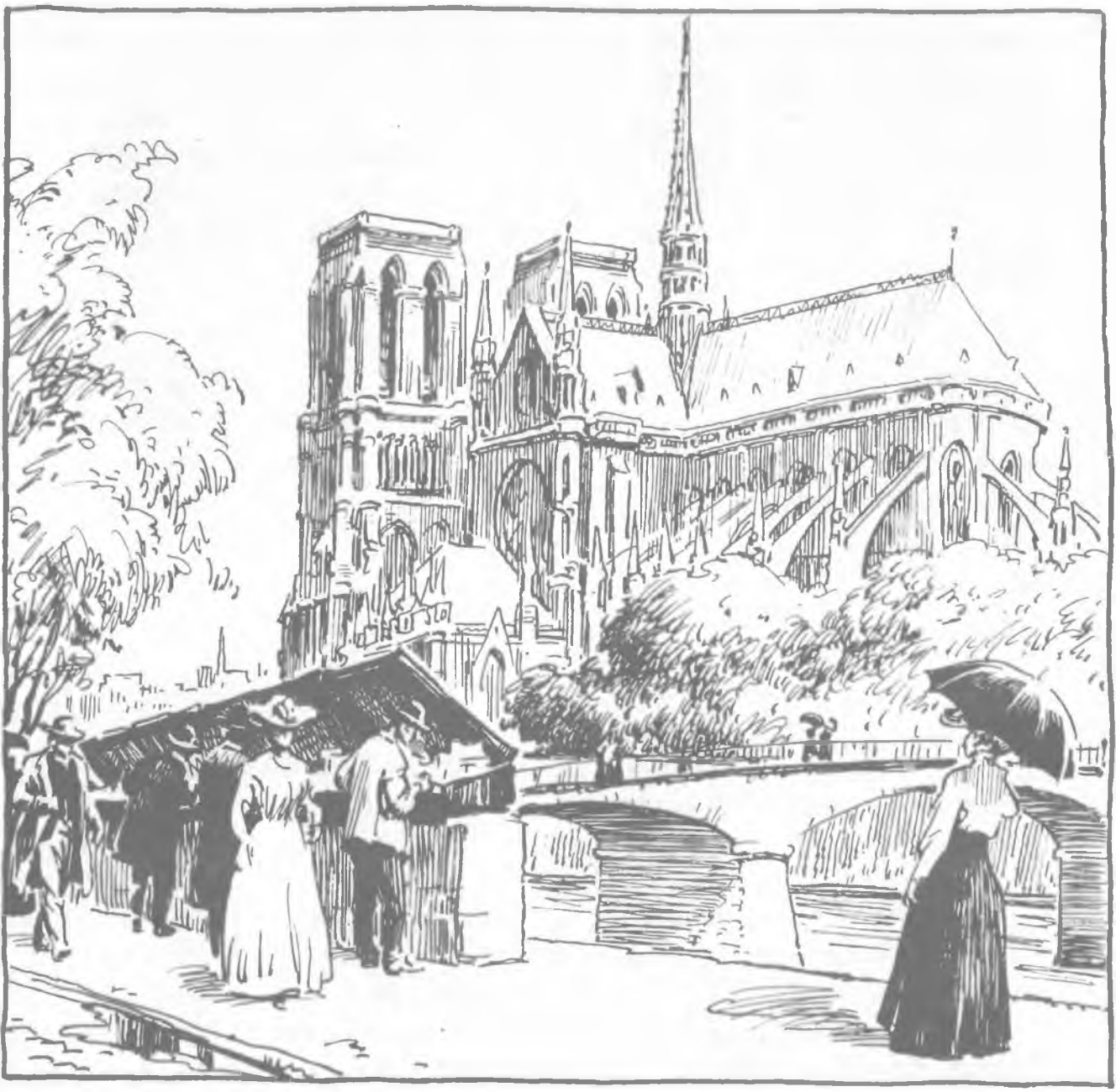
зом, с чередованием жестов, полных значения, страсти и воли...

Из этих трех мгновений, драгоценных для меня, запечатлелся в моем воображении и в сердце гениальный, вечно живой Ленин.

1938—40 гг.

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

МАЛЕНЬКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДВЕРЬ В СТЕНЕ



Однажды мы засиделись до трех часов ночи у Эльзы Триоле и Луи Арагона, которые тогда еще жили недалеко от оперы на старинной улице де ля Сурдьер, и они пошли нас проводить до стоянки такси. Когда мы, держась за холодные стены и боясь разбудить консьержку, с которой Арагон состоял в одной партийной ячейке, спустились по

темной винтовой лестнице, а затем вышли на темную улицу, поэт показал нам на противоположной стороне старый дом, как-то по-оперному освещенный одиноким фонарем, бросавшим на дряхлый фасад свой слабый световой веер.

— Обратите внимание на эти четыре окна во втором этаже,— сказал Арагон.— Здесь жил Максимилиан Робеспьер. Он был мой сосед.

«Мой сосед Робеспьер»— это было сказано совсем по-парижски. Кажется, в мире нет ни одного великого человека, имя которого не было бы связано с Парижем. В Париже жил Маркс, в Париже жил Ленин. И подобно тому, как Арагон сказал: «Робеспьер — мой сосед», мне хочется сказать: «Ленин — мой современник».

Тема Ленина огромна, необъятна, а эта книга не исторический очерк, не роман, даже не рассказ. Это размышления, страницы путевых тетрадей, воспоминания, точнее всего — лирический дневник, не больше. Но и не меньше.

Мы привыкли представлять себе Ленина по наиболее распространенному фотографическому портрету двадцатого года: В. И. Ульянов (Ленин) — глава Советского правительства, первый Председатель Совета Народных Комиссаров, а также по изображению Ленина в театре и кино. Но как бы ни был талантлив, гениален актер, разве может он полностью перевоплотиться в Ленина? Может быть, получится значительный, даже глубокий исторический образ, но не будет живого, подлинного Ленина, такого неповторимо-оригинального, со всеми его внутренними и внешними особенностями. Думаю, это невозможно.

«Если верно,— говорит Кржижановский,— что самая сущность движения пролетариата исключает внешнюю фееричность и показной драматизм в действиях главного

героя этих революций — народной массы, то не вправе ли мы ожидать выявления особой, так сказать, простоты и в тех лицах, на долю которых выпадает крупная историческая роль истинных вождей пролетариата? Во всяком случае, это отсутствие внешнего, показного блеска было характерной особенностью Владимира Ильича».

...Почти все знавшие Ленина свидетельствуют, что нет хороших портретов Владимира Ильича. Это общеизвестно. Например, тот же Кржижановский пишет: «Большинство портретов Владимира Ильича не в состоянии передать того впечатления особой одаренности, которое быстро шло на смену первым впечатлениям от его простой внешности, как только вы начинали несколько ближе всматриваться в его облик».

Для того чтобы представить себе живого Ленина, лучше всего обратиться к свидетельствам современников.

Вот, например, очень интересный портрет Ленина 1889 года, питерского периода, когда он под конспиративным именем Николая Петровича читал лекции в рабочих кружках.

«Открыв дверь,— вспоминает В. А. Князев*[1],— я увидел мужчину лет тридцати, с рыжеватой маленькой бородкой, круглым лицом, с проницательными глазами, с нахлобученной на глаза фуражкой, в осеннем пальто с поднятым воротником, хотя дело было летом, вообще — на вид этот человек показался мне самым неопределенным по среде человеком».

— Дело в том, что я не мог прийти прямым сообщением... Вот и задержался. Ну, как, все налицо? — спросил он, снимая пальто. Лицо его казалось настолько серьезным и повелительным, что его слова заставляли невольно подчиняться...»

Г. Кржижановский пишет о приятном смуглом лице с несколько восточным оттенком, но стоило «вглядеться

[1] Слова, помеченные звездочкой, смотри в Примечаниях на с. 181.

в глаза... в эти необыкновенные, пронизывающие, полные внутренней силы и энергии темно-темно-карие глаза, как вы начинали уже ощущать, что перед вами человек отнюдь не обычного типа».

«Аронсон*, увидев голову Ленина,— находим у Луначарского,— пришел в восхищение и стал просить у Ленина позволения вылепить, по крайней мере, хотя медаль с него. Он указал мне на замечательное сходство Ленина с Сократом*. Надо сказать, впрочем, что еще больше, чем на Сократа, похож Ленин на Верлена*. В то время каррьеровский* портрет Верлена в гравюре вышел только что, и тогда же был выставлен известный бюст Верлена... Впрочем, было отмечено, что и Верлен был необыкновенно похож на Сократа. Главное сходство заключалось в великолепной форме головы. Строение черепа Владимира Ильича действительно восхитительно. Нужно несколько присмотреться к нему, чтобы оценить эту физическую мощь, контур колоссального купола лба и заметить, я бы сказал, какое-то физическое излучение света от его поверхности... Рядом с этим, более сближающее с Верленом, чем с Сократом, глубоко впавшие, небольшие и страшно внимательные глаза. Но у великого поэта глаза эти мрачные, какие-то потухшие (судя по портрету Каррьера) — у Ленина они насмешливые, полные иронии, блещущие умом и каким-то задорным весельем. У Ленина глаза так выразительны, так одухотворенны, что я потом часто любовался их непреднамеренной игрой. У Сократа, судя по бюстам, глаза были скорей выпуклые. В нижней части лица опять значительное сходство, особенно когда Ленин носит более или менее большую бороду. У Сократа, Верлена и Ленина борода росла одинаково, несколько запущенно и беспорядочно. А совсем не так, замечу в скобках, как у некоторых артистов, играющих Ленина,— прилично постриженная в парикмахерской, даже немного клинышком, как у процветающего присяжного поверенного».

«Пронизывающий блеск слегка косящих глаз»,— говорит Кржижановский в другом месте. «Вспыхивающие огоньками сарказма»,— прибавляет П. Лепешинский*.

«Он своим видом напоминал счастливого охотника, который долго выслеживал и охотился за редкой птицей и, наконец, поймал ее в свои силки».

Вот впечатление М. Васильева-Южина*: «...умные, живые, проницательные глаза и большая, характерная, уже тогда лысая, голова с огромным лбом сразу приковывали к себе внимание, но лукавая усмешка, искрящаяся в прищуренных глазах, вынуждала вместе с тем подтягиваться и держаться настороже. «Хитрый мужик!»— невольно подумал я».

Горький дает Ленина еще более резкими чертами: «Лысый, картавый, плотный, крепкий человек...»

Подобных свидетельств можно набрать сколько угодно: маленький, коренастый, рыжий, лысый, со смуглым скуластым лицом, с карими узкими выразительными глазами, сверкающими иронией и сарказмом, с заразительным, несколько гортанным смехом, настоящий физкультурник: велосипедист, конькобежец, неутомимый пешеход, пловец. Примерно таков был Ленин, по свидетельству людей, хорошо его знавших.

Ленин часто менял свою внешность. Возможно, это была выработанная привычка конспиратора, а быть может, его наружность менялась потому, что он слишком быстро старел.

«Никогда я не видела Ильича таким озабоченным, осунувшимся, как тогда,— вспоминает Р. Землячка* 1909 год в Париже.— Травля меньшевиков, отход многих близких и дурные вести из России преждевременно состарили его. Мы, близкие ему, с болью следили за тем, как он изменился физически, как согнулся этот колосс...»

Обратите внимание на альбом ленинских фотографий. Почти на каждой он совсем другой, странно непохожий на себя. Как, например, не схожи между собой Ленин парижских лет и тот Ленин в Закопане, мечтательно-грустный, с мягкой бородкой и нестриженными усами, одетый в какую-то старомодную визитку с закругленными

полами, с панамой, опущенной на глаза, и с альпийской палкой-топориком в руке — на фоне горного пейзажа. Или вот два Ленина: один четырнадцатого года, постаревший, морщинистый, в мягком, широком пиджаке, с невеселыми, погасшими глазами, а другой — Ленин семнадцатого года, помолодевший, в парижском полосатом пиджаке, с узкими, невероятно блестящими глазами, готовый в любую минуту в бой. Я уж не говорю о Ленине в кепке и парике, загримированном под рабочего Сестрорецкого оружейного завода К. П. Иванова, и Ленине первых дней Октября в Смольном, когда бритая борода только еще отрастала, а кепка оставалась все та же, прежняя, конспиративная — рабочего Иванова,— а сам Ленин был уже главой первого в мире рабоче-крестьянского Советского правительства.

В конце 1908 года Ленин и Крупская переехали из Женевы в Париж — тогдашний центр русской эмиграции.

Но перед этим Ленин ненадолго заезжал к Горькому, которому еще в Лондоне, на Пятом съезде, дал слово побывать у него на Капри.

«Удивительно соблазнительно, черт побери, забраться к Вам на Капри! Так Вы это хорошо расписали, что, ейбогу, соберусь непременно и жену постараюсь с собой вытащить,— писал Ленин Горькому в начале того же 1908 года.— Только вот насчет срока еще не знаю: теперь нельзя не заняться «Пролетарием»* и надо *поставить* его, наладить работу во что бы то ни стало. Это возьмет месяц-другой, minimum. А сделать это необходимо. К весне же закатимся пить белое каприйское вино и смотреть Неаполь и болтать с Вами».

Наступила весна, однако до последнего дня Ленин колебался: ехать или не ехать? Ситуация сложилась чрезвычайно острая. Буквально накануне своего отъезда на Капри Ленин раздраженно писал Горькому из Женевы: «Ехать мне бесполезно и вредно: разговаривать с людьми, пустившимися проповедовать соединение научного социализма с религией, я *не могу* и не буду... Я уже *послал в*

печать самое что ни на есть формальное объявление войны. Дипломатии здесь уже нет места...»

Речь шла о статье Ленина «Марксизм и ревизионизм», где в грозной сноске все было названо своими словами. Вот эта сноска: «См. книгу «Очерки философии марксизма» Богданова, Базарова и др. Здесь не место разбирать эту книгу, и я должен ограничиться пока заявлением, что в ближайшем будущем покажу в ряде статей или в особой брошюре, что *все* сказанное в тексте про неокантианских ревизионистов относится по существу дела и к этим «новым» неоюмистским и необерклианским ревизионистам»*.

Разумеется, ехать после этого на Капри к Горькому, окруженному этими самыми ревизионистами, в логово идеалистов-богостроителей, эмпириокритиков и прочих махистов, с которыми Ленин находился в состоянии войны не на жизнь, а на смерть, ему было бесполезно и вредно.

Однако у Ленина имелись другие очень важные для партии дела относительно газеты «Пролетарий», требующие его поездки на Капри, к Горькому, и он колебался. В конце концов он решил поехать, но «только под условием, что о философии и о религии я не говорю».

Но из этого твердого решения Ленина не говорить о философии и религии ничего не получилось.

В апреле Ленин по просьбе А. М. Горького посетил его на острове Капри. И здесь объявил Богданову, Базарову и Луначарскому о своем безусловном расхождении с ними по вопросам философии.

Очевидно, философский спор не только состоялся, но и протекал весьма бурно, что, впрочем, не помешало Ленину выполнить всю деловую программу своего пребывания на острове Капри.

Мне ни разу не довелось быть на Капри весной, в апреле, то есть в самое цветущее время года, имеющее здесь особенную прелесть.

Вот как описывает Бунин каприйскую весну:

Вид на залив из садика таверны.
В простом вине, что взял я на обед,
Есть странный вкус — вкус виноградно-серный —
И розоватый цвет.

Пью под дождем,— весна здесь прихотлива,
Миндаль цветет на Капри в холода,—
И смутно в синеватой мгле залива
Далекие белеют города.

Теперь Ленину предстояло увидеть всю эту прелесть воочию. У Горького осталось, как он пишет в своих воспоминаниях о Ленине, очень странное впечатление: как будто Владимир Ильич был на Капри два раза и в двух резко различных настроениях: «Один Ильич, как только я встретил его на пристани, тотчас же решительно заявил мне:

— Я знаю, вы, Алексей Максимович, все-таки надеетесь на возможность моего примирения с махистами, хотя я вас предупредил в письме: это — невозможно! Так уж вы не делайте никаких попыток».

...Удивительно ясно представляется мне апрельское утро на Капри, пристань, а за ней в несколько ярусов розовые, лиловые, голубые, палевые, малиновые домики, как живая мозаика, отраженные в мелких волнах под сходнями только что прибывшего из Неаполя пароходика. Вижу в толпе Максима Горького, худого, сутулого — желтые усы вниз,— в круглой широкополой, вызывающе-демократической шляпе, а рядом с ним небольшого ростом, непреклонного крепыша Ленина в новом костюме, сшитом в Женеве, и в твердом котелке на голове.

Есть известная фотография Ленина, относящаяся примерно к этому времени: полосатая тройка, широко завязанный шелковый галстук, стоячий, твердый крахмальный воротничок, высоко подпирающий гладко выбритый подбородок, резкая подкова немного свисающих усов, лысая голова и пронзительный настороженный взгляд.

...Вижу, как Ленин нес туго затянутый ремнями дорожный портплед с подушкой, который пытались выхватить из его короткой, крепкой руки местные факино — носильщики, а он не давал. Горький вел Ленина, пробиваясь сквозь толпу, по пристани мимо лежащих на боку моторных лодок и скуластых яликов, которых шпаклевали суриком и красили, готовя к туристскому сезону. Пахло жареной рыбой, горячим кофе, анисом, лимонами, винной сыростью из дверей трактирчиков. Тут же стояло несколько одноконных экипажей с курортно-красными колесами. Стройные, вышколенные лошадки — каждая с очень высоким страусовым пером над капризной головкой и в нарядной сбруе — имели совсем цирковой вид, и, видимо, это смешило Ленина: его темно-карие глаза весело сверкали. Горький шел рядом, продолжая своим глухим басом говорить сквозь опущенные просяные усы о Богданове, Луначарском, Базарове:

— Очень крупные люди. Отлично, всесторонне образованные. Не встречал в партии равных им.

Словом, всячески старался примирить непримиримое. И сам понимал, что это — дело безнадежное. Он смотрел на себя как бы со стороны, чувствуя себя отчасти Лукой из собственной пьесы. Смущенно усмехался, отводя глаза в сторону, густо покашливал.

— Допустим,— коротко бросал Ленин.— Ну, и что же отсюда следует?

Горький говорил, что в конце концов считает их — Луначарского, Богданова, Базарова — людьми одной цели, а единство цели, понятое и осознанное глубоко, должно бы стереть, уничтожить философские противоречия.

Ленин на миг остановился и непримиримо посмотрел на Горького.

— Значит, все-таки надежда на примирение жива! Это зря,— сказал он.— Гоните ее прочь и как можно дальше, дружески советую вам!

Он любил Горького, считал его великим писателем, но истина была для него дороже.

Недавно он начал работать над «Материализмом и

эмпириокритицизмом», был полон страстного, нетерпеливого желания поскорее разгромить махистов. С тех пор как он получил богдановские «Очерки философии марксизма», он с каждой прочитанной статьей, по собственному выражению, «прямо бесновался от негодования».

«Нет, это не марксизм! — писал Ленин.— И лезут наши эмпириокритики, эмпириомонисты* и эмпириосимволисты в болото».

И вот примирить Ленина именно с этими товарищами, «идущими архиневерным, не марксистским путем», делал теперь безнадежные попытки Алексей Максимович.

Ленин уже жалел, что приехал. Напрасно, зря, ничего хорошего не выйдет.

Вслед за Горьким он протиснулся со своим портпледом через турникет, щелкавший стальным языком, и они уселись в узком отделении косого, ступенчатого вагончика совсем недавно открытого электрического фуникулера — новенького, лакового, с иголочки. Вагончик тронулся вверх, а ступенчатые террасы садов, каменные заборы, цветущие миндальные деревья, виноградники, прикрытые кое-где от трамонтаны камышовыми матами, косо полезли вниз. Проехала вниз глухая плитняковая стена с маленькой железной дверью и нишей, где стояла раскрашенная статуэтка мадонны, вся в цветах, и светился огонек лампадки. Все это сползало по диагонали вниз, и глубоко внизу уже виднелся совсем маленький порт с дымящимся пароходиком, собравшимся в обратный путь в Неаполь, с моторными лодочками, парусами яхт и совсем крошечным маячком, и молом, и голубым загадочным силуэтом острова Искья на горизонте.

Горький сидел рядом с Лениным, сузив глаза, и задумчиво подергивал кончики усов над бритым солдатским подбородком. Выжидательно помалкивал. А Ленин уже овладел собой, был спокоен, холоден, насмешлив и настроен далеко не мирно.

Есть известная фотография «В. И. Ленин у М. Горького на о. Капри», где Владимир Ильич, в зимнем костюме, в котелке, бритый, играет с Богдановым в шахматы,

а Горький в своей знаменитой, сдвинутой набок демократической шляпе, сидя на перилах террасы и как бы возвышаясь над всей группой, подпирает подбородок рукой, но смотрит не на игроков, а прямо в объектив фотографического аппарата; сзади видна волнистая линия гор и кое-где угадывается туманная полоса Неаполитанского залива.

Недавно я побывал на Капри. Мы отправились разыскивать виллу и террасу, где свыше полувека тому назад Ленин играл в шахматы. В воспоминаниях Андреевой говорится, что это происходило на вилле Бэдус. Оказывается, это или ошибка, или опечатка. Виллы Бэдус не существует. Была вилла Блезус (Villa Blaesus). Милейший доктор Марио Массимино, глава местной туристской организации, большой знаток истории своего острова, рассказал мне, что «сеньор Массимо Горький» жил в разное время на трех виллах на Капри: на вилле Беринг, которая сейчас называется «Отель Геркуланум», затем на вилле Пиерина на Via Mulo и, наконец, на вилле Блезус, которая перешла к другому владельцу и называется в настоящее время «Пансион, кафе и ресторан Крупп». Именно на этой, последней вилле и жил Горький, когда у него гостил Ленин. Это оказалось совсем недалеко от нашего отеля, на обратном, южном склоне острова, лицом к бухточке Марина Пиккола.

Мы прошли по узкой каприйской улочке — то вниз, то вверх,— и вот перед нами, с левой руки, открылась синяя мгла безмерного морского пространства. К берегу Марина Пиккола террасами сползал сад Адриана с его живописными древнеримскими развалинами, зонтичными пиниями, оранжереями, цветниками и кинематографом под открытым небом. Глубоко внизу, вдали, мы увидели мыс Фаралионе и три громадные скалы, стоящие в воде, словно серые каменные паруса. Между первой скалой и двумя другими были ворота, казавшиеся совсем узкими, а на самом деле сквозь них мог свободно пройти корабль.

Далеко за горизонтом была Сицилия, Африка, мерещились великие пустыни земного шара. Мы стали подниматься по каменистой тропинке в сосновой роще, скользя по опавшим иглам, потом среди агав с острым хищным когтем на конце каждого мясистого, узкого листа высотой в полтора человеческих роста, с шипами по бокам, как у рыбы-пилы, потом мимо зарослей исполинских кактусов, покрытых колючими бородавками, похожими на маленьких ежиков. Мы с наслаждением вдыхали бальзамический воздух — сухой и легкий,— между тем как вокруг нас громко, деревянно стрекотали дневные цикады.

Потом мы увидели крутую лестницу из дикого камня и в начале ее доску с надписью «Café-restorant Krupp». Мы поднялись вверх и очутились перед тем самым домом, где Ленин гостил у Горького. Открыв стеклянную дверь, мы вошли в гостиничный холл. Там с сигарами и коктейлями в глубоких кожаных креслах сидело несколько элегантных господ — жителей отеля. Они посмотрели на нас с тем корректным любопытством, которое всегда вызывается появлением в пансионе новых лиц. Из-за конторки вышла приветливая дама и спросила, что нам угодно.

Узнав, что мы всего лишь просим позволения осмотреть виллу, она, не переставая быть любезной — но уже несколько в другом роде,— сказала нам по-французски: «S'il vous plaît».

— Наверное, вы слышали, мадам,— сказал я,— что в этом доме некоторое время жил Ленин?

— Конечно,— ответила она все с той же любезностью другого рода,— вы, наверное, поляки или русские? — и покосилась на мой детский американский фотоаппарат.

— Русские,— сказал я.

— S'il vous plaît,— повторила она и сделала гостеприимный жест, означавший, что мы можем осматривать и фотографировать все, что пожелаем, а сама удалилась за свою конторку и перестала обращать на нас внимание.

Мы прошли по коридору, куда выходило несколько

дверей («Ага,— подумал я,— здесь, наверное, милейшая Мария Федоровна Андреева помещала своих гостей, лекторов будущей каприйской школы, а быть может, и самого Ленина»), и мы неожиданно очутились на той самой террасе, где некогда Ленин играл в шахматы. Я сразу узнал эту террасу по очертанию гор, видневшихся вдали, и по балюстраде, на которой тогда сидел Горький.

И вдруг я испытал ощущение как бы внезапно остановившегося и повернувшего вспять времени.

Мне представилось, что на террасу вышел маленький, энергичный, резкий Ленин в котелке, слишком глубоко надетом на его скульптурную голову, за ним появилась сутулая фигура Горького и рядом с ней красивая, нарядная дама — знаменитая актриса Художественного театра Мария Федоровна Андреева, погромыхивая шахматной коробкой. Затем — Анатолий Васильевич Луначарский, молодой, в пенсне на черной ленте, в рубахе апаш с раскрытым воротом, в очень широком эластичном поясе с кожаными карманчиками и колечками — по моде тех лет. А там и Богданов... И я услышал грассирующий тенор Ленина, который говорил Горькому, несколько смущенному неясностью своей философской позиции, продолжая спор, начатый в коридоре:

— Вы явным образом, уважаемый Алексей Максимович, начинаете излагать взгляды одного течения... Я не знаю, конечно, как и что у вас вышло в целом...

— Вы мне уже об этом писали.

— Совершенно верно, я вам уже об этом недавно писал. А кроме того, я считаю, что художник может почерпнуть для себя много полезного во всякой философии. Наконец, я вполне и безусловно согласен с тем, что в вопросах художественного творчества вам все книги в руки и что, извлекая этого рода воззрения и из своего художественного опыта и из философии, хотя бы идеалистической...

— Хотя бы идеалистической? — спросил Горький не без торжества.— Я не ослышался?

— Ничуть. При критическом к ней отношении, хотя бы и идеалистической,— твердо ответил Ленин,— потому что вы можете прийти к выводам, которые рабочей партии принесут огромную пользу. Огромную!..

Лицо Горького посветлело. Улыбка крепко сжала и выперла его небольшие круглые скулы. Он удовлетворенно подергал усы.

Мария Федоровна была в восторге, что на этот раз все обошлось благополучно.

— В шахматы, в шахматы! Довольно философии. Мы же договорились не спорить на философские темы до ужина.

Она тарахтела шахматной коробкой, потом зажала в каждой руке по пешке и протянула кулаки в разные стороны — один Ленину, другой Богданову. Ленин небрежно коснулся правой руки Андреевой. Она разжала кулак. На розовой прелестной ладони лежала черная пешечка.

— Вам начинать,— любезно, но суховато сказал Ленин Богданову и сноровисто расставил фигуры: по всему видно, что опытный игрок.

Вдруг все это исчезло, ушло в прошлое. Передо мною была пустая терраса с горкой мусора в углу, сохнущая на веревке розовая мохнатая простыня, купальный костюм; и старик обойщик в синем фартуке, с гвоздями в губах и молотком в руке, который починял полосатый пружинный матрац, поставленный боком на тот самый шахматный столик, за которым некогда Ленин играл с Богдановым...

Мы спустились вниз по каменной лестнице, по которой не раз спускался и поднимался своей быстрой, энергичной походкой Ленин, любуясь с лестницы мысом Фара-

лионе, его скалами, дыша бальзамическим воздухом каприйской весны и прислушиваясь к звукам упруго хлопающих ружейных выстрелов, которые время от времени доносились откуда-то снизу. Ленин долго не мог понять, что это за выстрелы, пока Горький не объяснил ему, что это вовсе не выстрелы, а звук волны, хлопающей в устье одного из многочисленных каменных гротов каприйского побережья.

В это время будущая книга «Материализм и эмпириокритицизм» была уже у него в чернильнице, как любил выражаться Ленин. Споры на Капри с Богдановым, Луначарским, Базаровым и прочими организаторами фракционной каприйской школы, еще только проектируемой в то время, школы, впоследствии нарочно спрятанной от партии на отдаленном острове, «чтобы прикрыть ее фракционный характер»,— как считал Владимир Ильич — еще сильнее разожгли его, окончательно доказали, что примирение невозможно, война объявлена, и теперь, больше чем когда-либо, необходимо как можно скорее разделаться с этой новой, «богостроительски-отзовистской фракцией»*.

В общем, как Ленин и предполагал, поездка на Капри оказалась почти бесполезной, за исключением разве того, что Ленину удалось решить с Горьким кое-какие очень важные технические вопросы относительно издания «Пролетария», а также повторить партийное поручение Марии Федоровне насчет нелегальной доставки в Россию «Пролетария», который должен был скоро выйти в Париже. Инструкции, еще раньше данные Лениным Андреевой письменно, были исчерпывающе точны и по-ленински конкретны: 1) Найти непременно секретаря союза пароходных служащих и рабочих (должен быть такой союз!) на пароходах, поддерживающих сообщение с Россией. 2) Узнать от него, откуда и куда ходят пароходы; как часто. Чтобы непременно устроил нам перевозку еженедельно. Сколько это будет стоить? Человека должен найти нам аккуратного (есть ли итальянцы аккуратные?). Необходим ли им адрес в России (скажем, в Одессе) для доставки газеты, или они могли бы временно держать

небольшие количества у какого-нибудь итальянского трактирщика в Одессе? Это для нас крайне важно. И так далее.

На этом Ленин и распрощался с Алексеем Максимовичем и Марией Федоровной. Вскоре после возвращения с Капри в Швейцарию, не теряя золотого времени, он снова переезжает Ла-Манш, с тем чтобы поработать в Лондоне в Британском музее, где находились источники, необходимые ему для быстрейшего завершения «Материализма и эмпириокритицизма». И лишь после этого Ленин и Крупская переехали в Париж, куда переводился «Пролетарий».

Париж окружает кольцо внешних бульваров, носящих имена наполеоновских маршалов: Лефевр, Массена и т. д. В конце ноября, в начале сырой парижской зимы, приехав из Женевы, Ленин и Крупская — «Ильичи», как их называли друзья,— наняли квартиру в четырнадцатом округе, недалеко от парка Монсури.

В то время здесь кончался город. Дальше шли поля и фермы. По вспаханной земле ходили грачи, которые зимуют во Франции и никуда не улетают. На горизонте синели холмы и чернели голые рощи.

В представлении «Ильичей», которые всегда жили более чем скромно, новая парижская квартира на улице Бонье показалась слишком роскошной: большая, светлая, в каждой комнате камин с мраморной доской и высоким зеркалом, в котором отражались лепные потолки и окна, доходящие до пола, с решетчатыми жалюзи и низкой железной оградой наружного балкончика.

«...Это довольно шикарная квартира весьма мало соответствовала нашему жизненному укладу и нашей привезенной из Женевы «мебели». Надо было видеть, с каким презрением глядела консьержка на наши белые столы, простые стулья и табуретки. В нашей «приемной» стояла лишь пара стульев да маленький столик, было неуютно до крайности».

Так описывает первую парижскую квартиру Ленина Надежда Константиновна Крупская.

...Я думаю, что в передней, наверное, стояли еще не распакованные из рогожи велосипеды, что усугубляло неуютность.

Это были те самые велосипеды, о которых говорит в своих воспоминаниях Бонч-Бруевич*:

«Одно время, после Второго съезда, Владимир Ильич жил в городе Лозанне, на Женевском озере. Мне часто приходилось там бывать по делам нашей организации. И вот однажды, когда Владимир Ильич собирался отправиться в двухнедельное путешествие по Швейцарии, мы приехали к нему, чтобы переговорить о многих делах и наших изданиях, а также условиться, куда пересылать самую экстренную почту и газеты. Встретил я Владимира Ильича весьма оживленным.

— Пойдемте-ка,— сказал он мне,— я покажу вам, какой замечательный подарок мама прислала мне с Надей! — И он быстро, увлекая меня, пошел к выходной двери.

Мы спустились вниз, во дворик дома. Здесь стояли только что распакованные новенькие, прекрасные два велосипеда, один мужской, другой женский.

— Смотрите, какое великолепие! Это все Надя наделала. Написала как-то маме, что я люблю ездить на велосипеде, но что у нас своих нет. Мама приняла это к сердцу и коллективно со всеми нашими сколотила изрядную сумму, а Марк Тимофеевич (это был Елизаров, муж Анны Ильиничны) заказал нам в Берлине два велосипеда через общество «Надежда», где он служил. И вот вдруг — уведомление из Транспортного общества: куда прикажете доставить посылку? Я подумал, что вернулась какая-либо нелегальщина, литература, а может быть, кто выслал книги? Приносят — и вот вам нелегальщина! Смотрите, пожалуйста, какие чудесные велосипеды! — говорил Владимир Ильич, осматривая их, подкачивая шины и подтягивая гайки на винтах.— Ай да мамочка! Вот удружила! Мы теперь с Надей сами себе господа. Поедем не по железной дороге, а прямо на велосипедах.

— Рад, как ребенок! — шепнула мне Надежда Кон-

стантиновна.— Ужасно любит мать, но не ожидал такого внимания от всех наших и сейчас прямо в восторге...

Обо всем переговорив и условившись об адресе для телеграмм и писем, мы спустились по парадной лестнице вниз.

— До свидания, товарищи! Надя, садись! — крикнул Ильич и быстро вскочил на велосипед.

Надежда Константиновна, раскланиваясь с нами, уверенно выехала за ним, и они быстро скрылись за поворотом шоссе, утопающего в цветущей зелени».

Не могу удержаться, чтобы не привести этой живой сценки, тем более что в дальнейшем Ленин неоднократно будет фигурировать в качестве велосипедиста, что весьма типично для его парижского быта.

В Париже, по выражению Надежды Константиновны, жилось очень «толкотливо». В то время сюда со всех сторон съезжались эмигранты социал-демократы. Париж стал партийным центром. Ленин очень быстро применился к Парижу. По внешности в нем не было ничего похожего на русского интеллигента, социал-демократа. Настоящий средний парижанин. Скорее всего, какой-нибудь клерк или коммивояжер в котелке и с тросточкой, в узком пальто с бархатным воротником, из числа тех, которых в эти годы можно было встретить во всех больших городах Европы.

Мне рассказывал И. Ф. Попов*, хорошо знавший Ленина парижского периода, что он просто ахнул, впервые увидев Ленина в таком преображенном виде.

— Владимир Ильич! На кого вы похожи! Вы же типичный французский коммивояжер!

— Нет, в самом деле? — спросил Ленин с любопытством.— Похож на коммивояжера?

— Не отличишь. Как две капли воды.

— Не выделяюсь в толпе?

— Совершенно не выделяетесь.

— Так это же замечательно! — воскликнул он.— Просто великолепно! Именно то, что и требовалось доказать, так как здесь, несмотря на хваленую французскую

свободу, легко можно налететь на шпика из русской охранки, что было бы весьма нежелательно. А в таком виде я легко растворюсь в толпе и, как любит говорить Надя, своевременно смоюсь.

И он захохотал своим глуховатым, несколько гортанным смехом.

Среди прочих социал-демократических эмигрантов, до поздней ночи просиживающих в кафе «Орлеан», своей штаб-квартире, появился также и товарищ Инок (Иосиф Дубровинский*), недавно бежавший из Сольвычегодской ссылки. Он приехал в ужасающем состоянии: по пути в ссылку кандалы почти до кости натерли ему ноги: образовались зловещие раны. Эмигрантские врачи — социал-демократы — решили, что надо без промедления удалить ногу. Для Инока это была катастрофа. Он был близок к самоубийству.

Но Ленин, по свойству своего характера никогда не отступать перед трудностями и не сдаваться, решил испробовать все средства для того, чтобы спасти товарища от ампутации ноги, которая в его положении была равносильна смерти.

Ленин бросил все дела и немедленно повез Инока к парижскому профессору-хирургу Дюбуше, который во время революции пятого года работал в качестве врача в России.

Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Дело в том, что я тоже знал знаменитого хирурга. Я даже был знаком с ним лично. Мы жили в Одессе, на так называемой даче «Отрада», где совсем недалеко от нас находилась больница Дюбуше, весьма популярная в городе, так как сам доктор Дюбуше слыл не только выдающимся хирургом, делавшим буквально чудеса, но также и очень «красным», как назывались в то время революционеры. Было известно, что в девятьсот пятом году, во время баррикадных боев, он оказывал медицинскую помощь раненым дружинникам и часто прятал их в своей больнице от полиции.

О нем ходили легенды. Шепотом передавали друг другу, что после подавления одесского вооруженного восстания в мертвецком покое больницы Дюбуше одесские революционеры-боевики прятали оружие, а охранка будто бы напала на след, и мы, мальчики из «Отрады», или, как нас называли, отрадники, по целым дням торчали на полянке против больницы Дюбуше, с ужасом ожидая, чем все это кончится. А кончилось очень странно: однажды ночью, как утверждали очевидцы, из больницы Дюбуше какие-то люди вынесли черный гроб и в сопровождении факельщиков отнесли на второе христианское кладбище. В том, что из больницы вынесли покойника, не было ничего удивительного, но зачем это сделали глухой ночью, при факелах?

Некоторые мальчики, в том числе Мишка Галий, ставший впоследствии известным под именем Гаврика Черноиваненко, под страшной клятвой доверили мне тайну, о которой слышали от взрослых: в гробу лежало оружие боевиков-дружинников — браунинги, смит-вессоны и лефоше,— которое перенесли куда-то в более безопасное место, на Сахалинчик, а может быть, даже действительно похоронили на кладбище. Не знаю, была ли это правда. Знаю только, что утром на тротуаре возле больницы Дюбуше я сам, своими глазами, видел смоляные капли, которые вели из «Отрады» на Французский бульвар, а дальше терялись. И долго еще мне снилась зловещая похоронная процессия, большой, страшно тяжелый гроб и в руках людей в глухих капюшонах дымящиеся смоляные факелы, с которых падали на тротуар черные расплавленные капли. Вскоре полиция произвела в больнице Дюбуше обыск, но, конечно, ничего не нашла: по своему обыкновению, опоздала. Доктора Дюбуше взяла на заметку.

Познакомился же я с доктором Дюбуше при следующих обстоятельствах. Не нужно говорить, что я был отвратительный мальчишка, который постоянно доставлял массу неприятностей. Это само собой понятно. Так вот однажды мне пришла в голову мысль научиться вязать.

Почему-то я был уверен, что это «пара пустяков». Я мечтал удивить свое семейство, связав в один прекрасный день салфетку, занавеску или какую-нибудь другую полезную для хозяйства вещь.

Я выкрал у старенькой бабушки — папиной мамы — стальной вязальный крючок и клубок черных ниток, из которых старушка постоянно вязала себе на голову кружевные нашлепки, похожие на сетку паука, и принялся за дело. Но не прошло и минуты, как дом огласился моими воплями, так как я воткнул вязальный крючок в указательный палец, во внутренний сгиб между первой и второй фалангой. Крючок крепко засел в мясе, и никакими силами и хитростями его нельзя было оттуда извлечь: не пускала проклятая насечка. При малейшем прикосновении к крючку я визжал как резаный, обливался по́том, дрожал, и у меня уже начали синеть губы.

Тогда тетя надела шляпку, схватила меня за здоровую руку и потащила в больницу Дюбуше.

Мы мучительно долго сидели в сумрачной приемной, где стояли устойчивые зловещие запахи карболки и эфира, не предвещавшие ничего хорошего, и я продолжал рыдать и дрожать, так как о докторе Дюбуше ходила слава как о большом грубияне. Больные приходили к нему на прием, содрогаясь от страха, и ожидали от знаменитого француза каких-нибудь ужасных поступков.

Свободной рукой я размазывал по лицу слезы, а тетя, дрожа, поддерживала висящий на пальце крючок и бормотала:

— Этот мальчик когда-нибудь нас всех уложит в гроб.

Вдруг перед нами появился громадный — как мне тогда показалось — мужчина в модном заграничном костюме, просторном и вместе с тем удивительно хорошо сидящем на его плотном теле, в блестящих штиблетах, с коротко остриженной, большой, круглой, по-бычьи опущенной головой и эльзасски голубыми бычьими глазами, выпукло и грозно глядевшими на меня и на тетю из-под стекол наимоднейшего парижского пенсне — золотого с пружиной.

Это был сам Дюбуше, спустившийся к нам как некое божество. Тетя начала быстро и пространно объяснять, при каких обстоятельствах произошла катастрофа, и умоляла профессора немедленно положить меня в больницу и оперативным путем под хлороформом удалить вязальный крючок, причем, ломая пальцы, умоляла великого хирурга сделать операцию лично, не доверяя своим ординаторам. «Чего бы это ни стоило, чего бы это ни стоило»,— повторяла она, и нос ее на самом кончике покраснел, как клубничка.

Но Дюбуше не обратил на нее внимания. Я не уверен даже, что он ее вообще заметил. Он повернулся ко мне, с нескрываемым отвращением взглянул на мое замурзанное лицо с такими лиловыми губами, как будто я напился школьных чернил, затем взял меня одной рукой выше локтя, так что я почувствовал все пять его железных пальцев, а другой поймал крючок и, не обращая внимания на мои предсмертные крики, в мгновение ока вырвал из пальца окровавленный крючок, брезгливо отдал его тете и, сказав «ведите этого сопляка домой», удалился, не только не пожелав сделать перевязку или хотя бы, на худой конец, помазать крошечную ранку йодом, но даже не взглянул на трешку, которую тетя судорожно сжимала в сухом кулачке.

Так состоялось мое первое и единственное знакомство с доктором Дюбуше.

Возможно, что образ Дюбуше, сохранившийся в моей памяти, был нарисован фантазией перепуганного насмерть мальчишки. Может быть, не было ни голубых «эльзасских» глаз, грозно глядевших из-за стекол наимоднейшего парижского пенсне. Быть может, не было даже этого самого «пенсне — золотого с пружиной». А было только умное саркастическое лицо, показавшееся мне в ту минуту ужасным, как лик Петра Великого во время Полтавской битвы:

...Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен.

Не знаю, не знаю... Знаю только, что вскоре Дюбуше был арестован и выслан за границу постановлением одесского генерал-губернатора без права въезда в Россию.

Так вот именно к этому человеку и поехали Инок и Ленин через весь Париж на метро, которое тогда еще не доходило до Порт д'Орлеан.

Услышав рассказ Ленина о том, каких страстей наговорили про натертую ногу Инока, и бегло осмотрев ее, Дюбуше спросил:

— Так они советуют ампутацию?

— Да. Ампутацию,— ответил Ленин.

— А что это за врачи? — спросил Дюбуше.

— Наши, русские, эмигранты, социал-демократы.

— Революционеры? — спросил Дюбуше.

— Революционеры,— сказал Ленин.

— Так ваши товарищи врачи,— прорычал Дюбуше,— может быть, и хорошие революционеры, но как врачи — они ослы!

Таким образом нога Инока была спасена.

Ленин хохотал до тех пор, пока слезы не выступили у него на глазах, и потом часто повторял эту фразу, применяя ее к разным случаям эмигрантской жизни. Фраза Дюбуше стала у него поговоркой: «Может быть, они и хорошие революционеры, но как врачи — ослы».

Ленин уже и раньше бывал в Париже и составил о нем определенное мнение: «Париж — город очень неудобный для жизни при скромных средствах. Но побывать ненадолго, навестить, прокатиться — нет лучше и веселее города».

Но в данном случае Ленину и Крупской при скромных средствах пришлось надолго засесть в этом «неудобном» городе. Однако делать нечего — этого требовали партийные задания. Жить в шикарной квартире на улице Бонье оказалось совсем не по карману. И через некоторое время «Ильичи» переменили местожительство. Теперь они поселились в том же районе, на небольшой тихой улочке с

милым, несколько сентиментальным названием Мари-Роз, в двухкомнатной квартире с кухней и газом, во втором этаже, с окнами, выходившими в какой-то сад. Теперь этого сада уже давным-давно нет, а на его месте стоит скучный кирпичный дом. Но тогда, при Ленине, был сад. И Ленин смотрел на него в окно.

Несколько лет назад один старый писатель, знавший Ленина парижского периода, нарисовал в моей записной книжечке план, по которому я мог бы сам, без посторонней помощи, добраться до улицы Мари-Роз: сначала на метро до станции «Алезия», рядом с церковью святого Петра, а там рукой подать пешком. Нам именно хотелось самим, никого не спрашивая, найти дом, где жил Ленин. В этом была какая-то особая прелесть. И вот, выйдя из метро на станции «Алезия», мы пошли по «ленинскому району», то и дело справляясь с чертежиком в записной книжке.

Чувствовалось, что это уже рабочий район, где-то недалеко от окраины. А в то время, когда здесь жил Ленин, это была, конечно, настоящая окраина, которая только что стала застраиваться новыми доходными домами, непохожими на старинные парижские дома, с высокими графитными крышами, под которыми зачастую помещались уступами одна над другой две мансарды. Новые дома были, скорее, какого-то универсального общеевропейского стиля модерн начала двадцатого века, и в отличие от темных, узких, старинных парижских домов в них можно было найти маленькую, но вполне приличную двух- или трехкомнатную квартирку со всеми удобствами, даже с ванной. Именно такой не вполне французский, наждачно-серый, еще не успевший как следует почернеть от фабричной копоти дом № 4 увидели мы на середине совсем коротенькой улицы с эмалированной табличкой «Мари-Роз». Под балкончиком одного из окон второго этажа мы увидели мемориальную доску с маленьким лобастым профилем Ленина.

Улочка Мари-Роз, или, по-русски говоря, переулок, была пуста, и ветер волок по чистым тротуарам кучи пожелтевших платановых листьев. Шел почтальон в мундире и твердом кепи, делавшем его похожим по крайней мере на офицера, если не на генерала. Из чрезмерно раздутой кожаной сумки, которую он с трудом тащил на ремне через плечо, торчали бандероли, пакеты, свернутые в трубку журналы, свертки с книгами, длинные конверты, испещренные множеством штемпелей и марок — заграничных и французских. Громко насвистывая, по обычаю всех парижских почтальонов, ядовитую политическую песенку из последнего ревю монмартрского театрика «Два осла»— «Вив Дебре, вив Дебре, вив Дебре, Дебре, Дебре»,— почтальон вошел в «ленинский» подъезд дома № 4. И вдруг я испытал то же ни с чем не сравнимое ощущение, которое испытал недавно на Капри в тот миг, как увидел «ленинскую» террасу на вилле Крупп: на один короткий миг мне показалось, что время переместилось назад, на пятьдесят лет, и почтальон несет в адрес m-eur Oulianoff, на второй этаж, заказную бандероль из России.

Мы вошли в парадное. За стеклянной дверью с белыми кружевными занавесками виднелась комната консьержки и она сама, сидевшая в старом кресле лицом к двери. В руках у нее была чашка кофе. Типичная парижская консьержка: пожилая, но бодрая дама с южными, бдительными глазами и, конечно, небольшими черными усиками на венозно-фиолетовом лице. Она потянула за шнурок, задвижка щелкнула, дверь приоткрылась.

— Мадам, мсье? — каркнула она, как ученая птица, и вопросительно-внимательно взглянула на нас.

Я стал объяснять ей цель нашего визита, но она, не дослушав, кивнула головой и указала рукой в черных кружевных митенках с отрезанными пальцами на лестницу.

— Второй этаж, налево. Но, кажется, профессора нет дома, он с утра ушел в библиотеку. Впрочем, подними-

тесь. Я думаю, мадемуазель дома. По-моему, она еще никуда не выходила.

По-видимому, консьержка не считала квартиру Ленина настоящим музеем, а рассматривала, скорее, как частную квартиру, где живет какой-то профессор из «красных», который, как и все эти социалисты и радикалы, бегает утром в библиотеку, как будто это поможет ему разбогатеть. Париж — город традиций. Весьма возможно, что еще со времен Ленина повелось, что в этой квартире постоянно жил какой-нибудь бедный ученый, радикал, бегавший по утрам в библиотеку. Так и сложилась традиция, незыблемая в глазах консьержки.

Проводив нас глазами до самой лестницы, эта почтенная дама закрыла дверь и затем неторопливо взялась за фаянсовый кофейник с тем, чтобы подлить в толстую, объемистую чашку горячего кофе. Было заметно, что она чувствует себя опорой порядка и власти и живет в полное свое удовольствие.

Мы стали подниматься по витой лестнице, сделанной из легкого, музыкального дерева, до зеркального лоска натертого парафином. Эта типично парижская лестница начиналась внизу, у первого витка, легким столбиком с медной, ярко надраенной шишечкой, от которой шли вверх спиралью круглые перила с изящно выточенными, легкими балясинками. Не только звуки наших ботинок, но даже наше дыхание никуда не улетали, а оставались тут же рядом с нами и резонировали, как будто мы шли внутри какого-то деревянного, хорошо настроенного музыкального инструмента. Наконец мы остановились возле хорошо натертой двери, и я нажал кнопку маленького электрического звонка.

Было очень тихо, и мы боялись нарушить эту почти церковную тишину для того, чтоб обменяться впечатлениями и мыслями, которые явились в одно и то же время и были одинаковыми: а что, если вдруг откроется дверь и мы увидим на пороге живого Ленина или, вернее всего, Надежду Константиновну Крупскую с еле заметными признаками начинающейся базедовой болезни — выпук-

лыми глазами и тяжелым подбородком,— гладко причесанную, с узлом волос на затылке, в домашнем платье, вроде тех, какие носили тогда русские учительницы: белая кофточка, шерстяной сарафан с широкими бретельками, козловые башмаки на пуговицах или прюнелевые туфли?

Дверь отворилась, и молодая француженка в модных очках, сотрудница музея, пригласила нас войти. Эту квартиру уже много раз описывали, хотя, собственно, как музей она не представляет другого интереса, кроме того, что именно в ней жил Ленин. Несколько фотокопий с общеизвестных афиш о парижских лекциях Ленина, фотографий, портретов, диаграмм. Подлинных вещей Ленина — мебели, книг, рукописей — не имеется. Обыкновенная, очень аккуратная, чистенькая, по-французски распланированная двухкомнатная квартирка с коридором, прихожей и кухней, окнами на две стороны и хорошо натертыми паркетными полами, теми самыми, по которым ходил Ленин. Вся магическая, притягательная сила этого места заключалась в безусловной его подлинности: это именно та самая квартира, где жил Ленин, сидел, писал, говорил, спал, думал, смотрел в эти самые окна, открывал эти самые двери, зажигал эти электрические лампочки.

«Несмотря на малые размеры,— вспоминает Т. Людвинская*,— квартира не казалась тесной, благодаря царившему в ней образцовому порядку... Быт маленькой семьи Ленина представлял собою загадку для парижских мещан. Крайняя скромность и идеальная чистота. Множество посетителей — и полное отсутствие шума, суеты».

Именно здесь, в этой квартире, провел Ленин самые тяжелые годы эмиграции. «О них Ильич всегда вспоминал с тяжелым чувством,— пишет Крупская.— Не раз повторял он потом: «И какой черт понес нас в Париж!» Не черт, а потребность развернуть борьбу за марксизм, за ленинизм, за партию в центре эмигрантской жизни. Таким центром в годы реакции был Париж».

В самом же центре этого центра, думаю я, именно и была маленькая квартирка в доме номер четыре на

улице Мари-Роз — подлинный центр русской революции.

Мы осмотрели комнаты.

Спальню «Ильичей» можно было представить себе заранее. Две узкие кровати, покрытые либо белыми, тисненными, так называемыми «марсельскими» одеялами, либо вечными ульяновскими пледами, побывавшими и в Англии, и в Швейцарии, и в Бельгии, и в Финляндии, и в Германии, и в Швеции... Спальня «Ильичей» была всюду одинакова: в Шушенском, в Подольске, в Женеве, в Поронино, в Московском Кремле... Такая же она была и здесь, в Париже. В другой комнате, где постоянно работала Надежда Константиновна, стоял простой некрашеный стол, заваленный почтой,— «секретариат» Ленина, его подпольное бюро, куда сходились все наши организации и откуда во все стороны шли ленинские письма, инструкции, шифровки. Здесь же, вероятно, изготовлялись и фальшивые паспорта для подпольщиков-большевиков, или, как их тогда называли, «агентов Ленина».

Ленин же работал главным образом в кафе, в читальных залах, в библиотеках.

В кухоньке пили чай и принимали гостей — местных, парижских единомышленников и приезжих из России. Кухня была салоном в квартире на Мари-Роз. Здесь кипели жаркие споры совсем так, как где-нибудь в деревянном провинциальном домике с мезонином в занесенной снегами России. Отсюда на весь мир звучал голос Ленина, откликавшегося на все общественно-политические события земного шара — был ли это конгресс Второго Интернационала в Копенгагене или смерть Толстого, контрреволюция в Персии, победа революционного движения младотурков или рост «нового духа» в Азии... Не было ничего великого или малого в области революции, что бы не аккумулировалось здесь, в этой крошечной квартирке на Мари-Роз, и, конечно, это был в первую очередь главный штаб русской революции, куда сходились все нити грядущего переворота, который планировался именно здесь Лениным и его помощниками. Здесь было будущее России. И вместе с тем здесь всегда царил ленинский, истинно

партийный дух простоты, человечности, глубочайшей принципиальности и неподкупности... И конечно, дух чудесного, тонкого юмора, столь свойственного всей глубоко интеллигентной ульяновской семье, а также и Надежде Константиновне Крупской.

В своих воспоминаниях Т. Людвинская рассказывает, как она после тюрьмы и ссылки приехала в Париж и поспешила к Ленину для того, чтобы рассказать ему о том, что делается в России.

«Наша беседа подходила к концу. Прощаясь, Владимир Ильич посмотрел на меня и лукаво заметил:

— Так вы говорите, что Париж вас ошеломил, а мне кажется, что вы ошеломили Париж!

И, добродушно посмеиваясь, обратился к Надежде Константиновне:

— Посмотри-ка на нашу парижанку!»

Что же произошло? Оказывается, на Т. Людвинской, тогда еще молоденькой девушке, было напялено длинное, широкое платье с пышными рукавами, допотопная широкополая шляпа и вдобавок длинные косы. Эта противоестественная смесь Анны Карениной, леди Гамильтон и тургеневской Лизы Калитиной, вероятно, казалась молоденькой революционерке-конспираторше последним криком парижской моды, в то время как уже давно никто в Париже не носил широких платьев и рукавов с буфами, а, наоборот, были в моде узкие платья и прямые рукава, так что прелестная конспираторша, изо всех сил старавшаяся «слиться с толпой» и не обращать на себя внимание царских шпиков, которыми кишел Париж, достигла совсем обратного: не было на улице человека, который бы не поворачивался с удивлением вслед этой хорошенькой девушке, похожей на куклу, сбежавшую из музея восковых фигур.

«Так,— замечает Людвинская,— Владимир Ильич преподал мне урок конспирации».

Драбкина — автор прелестных мемуарно-исторических повестей, которая в те годы была совсем маленькой девочкой,— рассказывала мне, что довольно отчетливо помнит

кухню в квартире на Мари-Роз и стол, покрытый клеенкой, за которым Надежда Константиновна поила гостей чаем. Большой чайник кипел тут же на газовой плите.

Однажды во время подобного чаепития Надежда Константиновна вслух пожаловалась, что ужасно устает от вечной мойки чайной посуды. Тогда бородатый, неряшливый, с волосами, зачесанными на лоб, с сонными глазами, философичный Мартов* поднял пустой стакан, повертел его перед глазами и бодро воскликнул:

— В чем, собственно, дело, товарищи? Мойка посуды — это с философской точки зрения пережиток. При социализме, когда общественное производство будет поднято на недосягаемую высоту, такой, например, примитивный предмет, как чайный стакан, почти ничего не будет стоить, так что его, вместо того чтобы мыть, гораздо выгоднее будет просто выбросить за окно и взять другой, чистый.

При этом Мартов сделал широкий жест, как бы действительно желая выбросить стакан в окно. Однако Владимир Ильич как-то сбоку, весьма скептически посмотрел на Мартова и холодно заметил:

— Но поскольку у нас еще не социализм, предлагаю товарищу Мартову самым буржуазным образом вымыть свой стакан самому и не обременять Надюшу сверхурочной работой. Мойте, мойте, товарищи, не стесняйтесь,— весело обратился он к гостям,— милости просим к раковине.

«Когда, бывало,— вспоминает Кржижановский,— по гулким коридорам дома предварительного заключения на Шпалерной улице царского Питера, где мне пришлось одновременно с Владимиром Ильичем отбывать тюремное заключение по делу «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», по временам было слышно, как охранники волокут тяжело груженные книгами корзины, я знал, что этот книжный груз последует в камеру Владимира Ильича... Можно ли более образно и убедительно показать отношение Ленина к чтению и значение, которое он при-

давал книгам... Для своей фундаментальной работы «Развитие капитализма в России» он проделал поистине циклопический труд личной переработки и проверки фолиантов земской статистики... Подобно Марксу, Владимир Ильич был большим знатоком крупнейших европейских книгохранилищ».

Для занятий Ленину всегда была необходима хорошая библиотека. Крупская пишет, что заниматься в Париже Ленину было чрезвычайно неудобно. Национальная библиотека была далеко. Ездил туда Владимир Ильич обычно на велосипеде, но езда по такому городу, как Париж, не то, что езда по окрестностям Женевы,— требует большого напряжения. Ильич очень уставал от этой езды.

На обеденный перерыв библиотека закрывалась. С выпиской нужных книг была также большая бюрократическая канитель... В конце концов у него украли велосипед. Надо заметить, что с велосипедами Владимиру Ильичу вообще не везло. Но об этом — в дальнейшем.

Итак, каждое утро Ленин ездил на велосипеде в Национальную библиотеку работать. Расстояние туда и обратно — километров пятнадцать.

...Осторожно, держа за твердое седло, Ленин сводил по ступеням лестницы подпрыгивающий велосипед, стараясь, чтобы педаль не задела за точеную балясину. Внутри кожаной треугольной сумки на раме под седлом тупо погромыхивали велосипедные инструменты, аккуратно завернутые в полотняную тряпочку. Мимо приоткрытых дверей консьержки, которая бдительными глазами провожала «красного» русского профессора, о котором уже несколько раз ее спрашивал комиссар полиции, Ленин выводил машину на улицу и прислонял ее к фонарю. Затем он вынимал из кармана маленькие сине-стальные браслетики и надевал их на концы брюк, обернутых вокруг щиколоток. Теперь он приобретал внешность настоящего завзятого велосипедиста. Он брался крепко рукой за руль, легко заносил ногу и трогался без разбега, прямо с места, как отличный спортсмен, привыкший много ездить по городу.

...Вижу позднюю парижскую осень, темное, сырое утро и мглистый воздух рабочих кварталов, кое-где насыщенный слабыми запахами светильного газа и каменноугольного дыма с небольшой примесью чего-то особо парижского: мягкого, каштанового, ванильного, бензинового. На улице Мари-Роз пусто. Но едва Ленин, минуя несколько таких же безлюдных переулков, выехал на прямую широкую Порт д'Орлеан, как сразу попал в людской поток. Это парижский пролетариат идет на работу.

В пальто с низкой талией, с бархатным воротником, в уже знакомом нам котелке, широкоплечий, приземистый, выставив гладко выбритый подбородок, Ленин медленно пробирался вперед, лавируя среди пешеходов, велосипедистов, фургонов, грузовиков, тележек, почтовых трехколесных «гупмобилей», плотно забивших улицу.

Он привык начинать свой трудовой день при низком звуке фабричных гудков, которые как бы стоят в этот ранний, неприютный час вокруг всего Парижа, производя странное впечатление прутьев толстой решетки,— мучащие, густые, навевающие на душу уныние.

Он привык по утрам видеть вокруг себя кепки, шерстяные шарфы, потрепанные пиджаки, куртки, традиционные синие рабочие блузы, опущенные усы, мокрые от наскоро выпитого кофе. Он привык слышать звук медленно движущейся толпы парижских пролетариев, напоминающий неотвратимый тяжелый гул мельничного жернова. Из них, наверное, многие сыновья коммунаров, а некоторые, быть может, и сами дрались на баррикадах — старики с худыми, как бы выточенными из крепкого дерева галльскими лицами, с орлиными носами и седыми эспаньолками.

Знают ли они, что среди них едет на велосипеде человек, который через несколько лет возглавит первую в мире социалистическую революцию и, главное, доведет ее до полной, окончательной победы?..

Иногда он позванивал в свой велосипедный звоночек, а когда людской поток останавливался на перекрестке по мановению белой дубинки ажана*, он упирался одной но-

гой в обочину тротуара или держался вытянутой рукой за борт какого-нибудь фургона с мебелью или пивом. Пока толпа стояла, он отдыхал, разглядывая звездообразный перекресток, где пересеклись не две и не три, а пять или даже семь улиц, так что каждый угловой дом напоминал узкий треугольный кусок торта. Подобным образом нарезан весь Париж, в котором почти немыслимо найти две параллельные улицы. Все они где-нибудь да пересекаются. Можно сказать, что Париж — наглядное отрицание Эвклида и триумф геометрии профессора Казанского университета Лобачевского с его острейшими углами. Кстати, в Казанском университете учился и Ленин.

На каждом углу — кафе или бистро, крошечный отельчик, ресторан с полосатым желто-красным тентом, синема и непременно три золотые лошадиные головы над лавкой, где продается конина. Цветочный магазин. Афишная тумба. Газетный киоск, сверху донизу увешанный разноцветными журналами, приключениями американских сыщиков Пинкертона, Ника Картера, любовными похождениями красавиц... и газеты, газеты, газеты. Сверху вниз «Фигаро», «Тан», «Эко де Пари», «Энтрансижан», «Пти Паризьен», «Аксион Франсез»... бесконечное множество газет...

«Юманите» Жореса небось засунули в самый конец. А русского «Пролетария» не видно — держат под прилавком, говорят: никто не берет, потому что русская газета; однако это не мешает на самом видном месте держать архиреакционное суворинское «Новое время»* и кадетскую «Речь». Черт бы их побрал с их квазисвободой* печати!

Чем ближе к центру, тем заметнее изменялся характер города: редела толпа рабочих, постепенно уступая место пешеходам другого рода. Сквозь туман стало очень слабо просвечивать утреннее солнце; розовато-медный свет — нежный, грустный до слез — ложился на тротуары; обнаженные платаны начинали отбрасывать на стены домов и на витрины еле заметные голубые тени своих обнаженных ветвей, даже не тени, а какой-то сонный намек на тени,

кружевной рисунок, как бы с трудом угадываемый сквозь верхний слой переводной картинки в полоскательнице с водой. Но это ненадолго. Минута — и туман сгущается, поглощает крыши и мансарды домов, превращая семиэтажный Париж в трехэтажный. Сеется дождик, тонкий, как пудра. В тумане проплыл силуэт тюрьмы Сантэ — высокая стена с маленькими решетчатыми окошками, глухие ворота, из-под которых наружу выбегают рельсы какой-то странной узкоколейки, которые вдруг обрываются и дальше никуда не ведут. По этим рельсам в дни казней выкатывают зловеще-высокое, ни на что не похожее деревянное сооружение, одно название которого вызывает дрожь отвращения,— гильотина, или, на парижском уличном арго, «вдова». Во Франции казнь должна происходить публично, вне стен тюрьмы. Кого же казнят? Инструмент, изобретенный доктором Гильотеном для целей великой революции, попал в руки контрреволюционной буржуазии. Косой нож гильотины охраняет основы ее государства, его мораль, институты, законы.

Затем Ленин миновал обсерваторию. За высокой глухой стеной еле виден в тумане характерный купол, большие часы, памятник мечтателю-идеалисту Фламмариону*, создателю божественной Урании. И все же Камель Фламмарион приемлем как создатель сказки, в которой содержится зерно истины — безначальность, бесконечность мирового пространства.

На углу улицы Обсерватуар и бульвара Монпарнас характер Парижа снова изменился. Это уже Париж богемы. До последнего времени богема населяла Монмартр. Но совсем недавно, едва ли не в год приезда Ленина в Париж, началось великое переселение богемы с монмартрских высот на левый берег, в район Монпарнаса. Раньше здесь было лишь одно всемирно знаменитое литературное кафе «Клозери де Лила», что в переводе некоторых русских декадентов звучало приблизительно как «Сиреневые уюты». Здесь некогда царил великий Поль Верлен и его молодой друг, тоже великий, Артур Рембо*, почти мальчик. Это была Мекка, куда стремились правоверные всего самого

нового и самого утонченного в области французской поэзии. Для каждого уважающего себя поэта-декадента или просто любителя новейшего искусства было совершенно невозможно, даже неприлично приехать в Париж и не посидеть в «Клозери де Лила», хотя ни Верлена, ни Рембо уже не существовало в природе, а лишь царил их дух, и царил, быть может, даже еще сильнее, чем при их жизни. Вот почему наши русские символисты — Бальмонт, Брюсов, Макс Волошин и прочие — считали своей священной обязанностью, сдвинув набок цилиндр и взбив неряшливую бороду а ля Верлен, сидеть за крошечным мраморным столиком и при свете газовых рожков — от которых лысеют — тянуть через соломинку «тигровый» абсент, разбавленный ледяной водой,— довольно живописный напиток мутно-опалового цвета и тошнотворного вкуса ипекакуаны, но почему-то считавшийся самым изысканным и самым опьяняющим напитком двадцатого века.

Ленину приходилось посещать это знаменитое кафе, назначая в нем серьезные конспиративные встречи. Здесь легче, чем в другом месте, можно было уйти от слежки и раствориться среди разноликой международной богемы, среди всех этих странных людей в беретах, цилиндрах, барсалинах, котелках, каскетках и даже кепках, которые тянули разноцветные напитки со льдом, дымили сигарами или трубками и так сильно жестикулировали нервными руками, что крахмальные манжеты то и дело с треском выскакивали из сюртучных рукавов, и они их запихивали обратно, а то и, пользуясь случаем, тут же записывали на них карандашом только что пришедшую великую мысль или гениальную метафору.

Иногда Ленин бывал в кафе «Ротонда», на том же бульваре Монпарнас, но ближе к вокзалу. Там происходили менее конспиративные встречи с французскими социалистами, впоследствии членами Французской компартии. Здесь между французскими социалистами и русскими социал-демократами велись оживленные дискуссии, в то время как за соседними столиками ораторствовали

художники, покинувшие одряхлевшие ульи Монмартра и теперь роившиеся на вошедшем в моду Монпарнасе. Они делились на «достигших» или «еще не достигших». Здесь можно было встретить множество интереснейших людей, приходивших сюда выпить перед обедом рюмку аперитива — но уже не выходившего из моды абсента, а входящего в моду мартини или мандарин-кюрасо. Здесь в тридцатых годах я застал еще примерно такую же обстановку, как при Ленине, даже тех же самых людей, завсегдатаев «Ротонды» и «Дома». Париж медленно меняется! Здесь же, на Монпарнасе, в кафе «Куполь», я, между прочим, познакомился с парижской знаменитостью — Шарлем Раппопортом, депутатом палаты, прирожденным полемистом, одним из самых остроумных парижан своего времени. Неряшливый, стремительный, со своими сверкающими саркастическими глазами под захватанными стеклами страшных, громадных очков, осыпанный пеплом и перхотью, он был неиссякаемым источником различных партийных историй и анекдотов из жизни французских политических деятелей. С нежной любовью и поистине трогательным благоговением говорил он мне о Ленине как о своем учителе и о величайшем человеке земного шара. Между прочим, это он познакомил Ленина с Лафаргом. Шарль Раппопорт пользовался всеобщей любовью как во всех отношениях блестящий человек. Может быть, он даже был первым парламентским оратором своего времени. Даже, говорят, Бриан* уступал ему. Когда-то Бриан был социалистом и дружил с Раппопортом. Потом Бриан предал свою партию и стал ренегатом. Бриан и Раппопорт сделались политическими врагами, всю жизнь продолжая оставаться личными друзьями. Во Франции это бывает. Однако с парламентской трибуны они громили друг друга с яростью и страстью.

За спиной Раппопорта его друзья любили рассказывать историю о том, как Бриан отомстил Раппопорту. Дело было так. Однажды в палате депутатов Раппопорт с исключительным блеском выступил против Бриана и произнес грозную филиппику в стиле Марата*. Левые

скамьи и даже часть центра устроили Раппопорту овацию. Тогда взял слово Бриан и произнес всего несколько слов, нежно глядя на Раппопорта:

— Мой друг Шарль Раппопорт выступил здесь против меня воистину как Марат. Я отдаю ему должное. Он сказал, что, как Марат, готов отдать свою жизнь за республику. Но я думаю, что мой друг Шарль Раппопорт напрасно так волнуется. Он может быть совершенно спокоен. Ему не угрожает участь Марата. Он никогда не умрет в ванне.

Это была страшная месть, так как все знали о крайнем отвращении, которое испытывал Шарль Раппопорт к умыванию. Палата депутатов полчаса хохотала и рукоплескала Бриану, причем аплодировали все, даже крайние левые, и, конечно, больше всех неистовствовали ближайшие друзья Шарля Раппопорта... во главе с самим Шарлем Раппопортом. Все это я рассказываю для того, чтобы дать хоть какое-нибудь представление о районе Монпарнаса, который миновал Ленин по дороге в Национальную библиотеку.

Дальше дорога Ленина шла через весь бульвар Сен-Мишель, или, на студенческом жаргоне, Бульмиш. Широкая, прямая и многолюдная улица длиной километра в полтора тянулась вниз до самой Сены, поглощенной холодным туманом. Это уже район Сорбонны — целая страна науки, студенческой богемы — Латинский квартал, так непохожий и вместе с тем чем-то очень родственный богеме Монпарнаса, с которым сливается возле «Клозери де Лила», у памятника воинственному маршалу Нею*, «победителю Москвы», размахивающему своей маленькой шпагой.

Здесь уже вместо бородатых художников с большими этюдниками через плечо, вместо девушек-натурщиц в игривых шляпках, которые, подобрав юбки, торопливо бежали на работу, вместо рамочников, на пороге своих магазинчиков среди штабелей золоченых багетов мастеривших мольберты разных фасонов и приколачивавших к подрамникам еще не загрунтованные холсты, Ленин

был окружен студентами в блестящих от дождя макинтошах с небрежно поднятыми воротниками, студентками в бархатных беретах, с клеенчатыми книгоносками в руках, под мокрыми зонтиками, которые вместе со своими отражениями сплошной массой, как лава, текли вниз по Бульмишу, сталкиваясь и упруго отскакивая и цепляясь друг за друга спицами. В окнах многочисленных студенческих кафе виднелись с торопливым достоинством завтракающие молодые люди — юноши и девушки. Их силуэты, обращенные лицом друг к другу, были как бы соединены попарно деревянными подносиками с завтраком: круассанчиками, игрушечными баночками сливового джема, кусочком масла, двумя кукольными кувшинчиками кипяченого молока и двумя большими, толстыми чашками кофе.

Ленин любил этот район. Он иногда работал тут в библиотеке Сорбонны и тогда чувствовал себя совсем студентом. Здесь все было насыщено наукой. Повсюду — школы, лицеи, институты, курсы, общежития, лаборатории. В витринах магазинов уже не пестрые, резко красивые полотна постимпрессионистов, а учебные пособия, химическая посуда, пробирки, реторты, колбы, спиртовые горелки. Карты звездного неба и таблицы Менделеева, скелеты, теллурии, где вокруг зажженной свечи, изображающей Солнце, вращается маленькая планета Земля, а вокруг нее бегает на проволоке совсем маленький серебряный шарик Луны, наполовину черный, наполовину ярко-белый.

Слева решетка Люксембургского сада — черные пики с золочеными остриями; в отдалении, направо, мокрые газоны Клюни; в пролетах поперечных улиц то появлялось, то исчезало одно и то же пепельное видение Пантеона, его светлые колонны, его громадный купол, под которым в холодных каменных криптах лежат Вольтер и Жан-Жак, так что в этом мире молодости и науки как бы вечно присутствует дух революции.

...Дух революции всегда присутствует и на лестнице Пантеона, и на площади перед ней, всегда зловеще-пу-

стынной, как безмерно громадная каменная зала, откуда вынесли всю мебель и забаррикадировали окна, готовясь к последнему штурму.

Для Ленина — философа, революционера, историка, теоретика и практика вооруженного восстания — Парижская коммуна была одной из самых главных тем. Он читал о Парижской коммуне лекции, писал о ней статьи, всегда связывал ее с русской революцией 1905 года. Для Ленина Париж был городом Коммуны. Ленин в совершенстве знал ее историю и, проезжая по улицам Парижа, живо представлял себе все ее фазы. Пантеон всегда вызывал в его воображении весну 1871 года, те дни, когда Коммуна приняла решение о сооружении баррикад внутри Парижа. Было намечено построить несколько обособленных крепостей, цитаделей, в том числе у Пантеона, мимо которого сейчас, через сорок лет, проезжал на велосипеде Ленин. Началась защита Парижа от версальцев в целом. Однако меры, принятые Коммуной, опоздали. Версальцы уже ворвались в Париж. Шло отчаянное сопротивление.

Гибель Парижской коммуны и разгром Пресни навсегда оставили в сердце Ленина незаживающую рану.

Ленин ехал мимо Пантеона по бульвару Сен-Мишель, представляя себе майский Париж времен Коммуны, повсюду перегороженный баррикадами, охваченный дымами горящих зданий, потрясенный взрывами, дробными, раскатистыми залпами митральез*. В небе горело жаркое майское солнце, отцветали каштаны, осыпаясь на тротуары сухими бело-розовыми цветами. Опустевшие, безлюдные улицы отливали свинцовым блеском. Из окон на раскаленные тротуары сыпались стекла. И на всем — тень смерти.

Оборона — смерть вооруженного восстания. На левом берегу Сены второй корпус версальцев под командованием генерала де Сиссэ в составе трех дивизий наступал в общем направлении на Люксембург — Пантеон, где коммунары так и не успели построить основательных укреплений.

(Ага, вот почему площадь возле Пантеона до сих пор кажется так беззащитно-пустой, тягостно-безлюдной!)

Теперь уже Ленин как бы находился в самом центре баррикадных боев на подступах к Пантеону. Версальцы рассчитывали атаковать Пантеон, обойдя его с севера. Развивая свой успех, дивизия Лакретеля после упорного боя выбила коммунаров, оборонявших баррикады площади и улицы Сен-Сюльпис, из Медицинской школы и улицы Расина. Но, достигнув бульваров Сен-Жермен и Сен-Мишель, по которому теперь Ленин уже доехал почти до самой Сены, версальцы были остановлены анфиладным огнем артиллерии, расположенной у моста Сен-Мишель. Но, увы, поздно! Поздно, слишком поздно... Батарея коммунаров продержалась только до четырех часов дня и была подавлена, после чего версальцы пересекли бульвар Сен-Мишель и, круто свернув на юг, выбили коммунаров с баррикад возле лицея Людовика Великого и севернее его.

По всем этим местам, рассекая их, проезжал Ленин, и перед его глазами неподвижно стояла картина Пантеона, как бы добела раскаленного майским послеполуденным зноем, серая лестница, на которой в луже крови раскинулся головой вниз господин в темном пиджаке с окровавленной, слипшейся бородой,— социалистический публицист Жан-Батист Мильер, депутат Национального собрания. Он не принимал непосредственного участия в деятельности Коммуны. Но он не скрывал своего сочувствия к ней. По приказу генерала де Сиссэ его должны были расстрелять на ступенях Пантеона, на коленях, в позе человека, публично умоляющего о прощении у общества за то «зло», которое он причинил ему. Мильер отказался подчиниться. Тогда его силой заставили встать на колени. Последними его словами были: «Да здравствует Республика! Да здравствует народ! Да здравствует человечество!»

А ведь он был просто беспартийный, сочувствующий.

«Коммуна должна была действовать более решительно против всех своих врагов,— думал Ленин, выезжая на

набережную Сены.— А парижский пролетариат старался морально повлиять на них, он пренебрег значением чисто военных действий в гражданской войне и вместо того, чтобы решительным наступлением на Версаль увенчать свою победу в Париже, он медлил и дал время Версальскому правительству собрать темные силы и подготовиться к кровавой майской неделе».

Может быть, потому, что всегда и даже сейчас, проезжая по Латинскому кварталу, Ленин думал об ошибках Парижской коммуны, он в 1917 году не совершил их сам, не дав Керенскому, бежавшему из Петрограда, окопаться в Царском Селе — русском Версале,— и разгромил контрреволюцию, увенчав тем самым Октябрьскую победу в Петрограде.

Далеко направо, на парапетах Сены, рундуки букинистов. Там и теперь еще можно было найти литографии времен Парижской коммуны с карикатурами на страшного, жабоподобного карлика Тьера или гравюрами Саида: на фоне восходящего солнца Коммуны рабочий с киркой на плече говорит: «Дела хороши!»— а согнувшийся в три погибели богач в цилиндре, но без сапог на паучьих ножках кричит: «Дела плохи!» Возле рундуков, несмотря на ранний час, уже толпились любители антикварных книг, бородатые чудаки в крылатках, вроде Анатоля Франса, а может быть, и он сам. Над парапетом Сены возникло на три четверти скрытое в тумане видение Нотр-Дам*— две плоско срезанные готические башни, круглая роза витража и позади рыбья косточка еле видного шпиля. Явление из средневекового мира — легендарный собор Парижской богоматери, с фигурами химер на карнизах, так роскошно описанный Виктором Гюго, гениальным поэтом и многословным прозаиком.

Налево Новый мост с конной статуей Генриха Четвертого, которую Коммуна так и не успела снести, а за ним серая, невероятно длинная громада Лувра — дворца, крепости, музея, его непомерно высокие иссиня-серые цинко-

вые крыши, как бы вечно отражающие сирень майской грозы, и мокрые резко-зеленые газоны.

Набережные Вольтера, Малаке, Де Конти, Сен-Мишель, Де Монтебелло. Два яруса старых деревьев: один вверху, на высокой набережной, а другой внизу, у самой воды,— могучие, ветвистые, по-осеннему голые, с косо наклонившимися к воде стволами, волшебно отраженными в синеватой, как бы мыльной поверхности Сены с черными буксирными катерами и длинными угольными баржами. И все это — как бы сильно размытый рисунок тушью, кое-где совсем легко тронутый сангвиной и мелом.

В мае 1871 года здесь, вдоль набережных на Сене, стояли канонерки Коммуны — целый лес высоких железных труб, извергавших густые клубы черного дыма и белого пара.

Между ними сновали лодки, подвозя снаряды, и время от времени с палуб канонерок стреляли пушки, посылая шипящие гранаты в сторону Гренель, откуда наступали версальцы.

Ленин пересек остров Сите, проехал по мостам мимо средневековых островерхих башен Консьержери* с их зловещими шпилями. Это были тени Великой французской революции, которые уже почти не вызывали живого отзвука в душе современного человека, но зато другие тени, более близких революционных событий, ни на минуту не ослабевали и не рассеивались, на каждом шагу вызывая в памяти дни Парижской коммуны.

Короткий Аркольский мост привел Ленина на правый берег Сены. Ленин увидел хорошо знакомую городскую ратушу (Отель де Виль), где 28 марта была провозглашена Коммуна и откуда она руководила восставшим пролетариатом Парижа до того дня 24 мая, когда в 10 часов утра было принято решение немедленно эвакуировать штаб Коммуны и перенести его в мэрию Одиннадцатого округа, за площадь Бастилии, после чего ратуша была подожжена ее комендантом. Впоследствии ее восстановили примерно в том же виде, какой она имела раньше. Ленин видел восстановленную ратушу, и он представлял себе,

как горела старая ратуша Коммуны, как валил дым из ее высоких крыш, как из лопавшихся окон вырывались снопы огня, выбрасывая вверх клочья обгоревших бумаг и папок с делами Коммуны, устилая Гревскую площадь черным пеплом, и как в узких улицах грохотали интендантские повозки, нагруженные имуществом Коммуны. Коммуна еще сопротивлялась, но уже не надеялась на победу. Коммуна догорала. Ленин вспомнил слова Энгельса: «Бесспорно, во всякой борьбе тот, кто поднимает перчатку, рискует быть побежденным, но разве это основание для того, чтобы с самого начала объявить себя разбитым и покориться ярму, не обнажив меча? В революции всякий, кто, занимая решающую позицию, сдает ее, вместо того чтобы заставить врага отважиться на приступ, всегда заслуживает того, чтобы к нему относились как к изменнику».

Коммунары геройски боролись до последнего момента, а не сдались без боя. Это явилось вдохновляющим примером того, как надо сражаться за освобождение трудящихся даже в крайне трудных и рискованных условиях.

Ленин именно так и понимал уроки Коммуны, когда писал: «Маркс умел ценить и то, что бывают моменты в истории, когда отчаянная борьба м а с с даже за безнадежное дело н е о б х о д и м а во имя дальнейшего воспитания этих масс и подготовки их к с л е д у ю щ е й борьбе».

Продолжая думать о последних днях Парижской коммуны, Ленин повернул налево и проехал по правому берегу Сены до площади Шатле с высокой готической башней Святого Якова, как бы третьей башней Нотр-Дама, откоповшейся от собора и перенесенной какой-то волшебной силой с острова Сите сюда, на перекресток Севастопольского бульвара и улицы Риволи, в сквер Святого Якова,— одинокой и непонятной, как выходец из другого мира.

Здесь в дни Коммуны тоже были выстроены баррикады, но не из случайных материалов — ящиков, бочек, магазинных прилавков, матрацев, опрокинутых дилижансов,— а солидно, прочно выстроенные из парижского кам-

ня или кирпича лучшими каменщиками Бельвиля и Батиньоля. Это были и впрямь маленькие уличные крепости, форты с очень толстыми стенами и узкими бойницами, откуда можно было спокойно вести прицельный огонь из ружей и артиллерийских орудий. Теперь от этих укреплений не осталось и следа. Только чугунно-синие камни мостовых, мокрые от тумана,— быть может, и даже наверное, те самые камни брусчатки, из которых тогда строились баррикады,— напоминали о сражении на площади в пространстве между двумя парижскими театрами: театром Шатле, где во время кровавой недели судили коммунаров, и театром Сары Бернар.

В Шатле гастролировал прославленный русский балет Дягилева*, а у Сары Бернар каждый день играли нашумевшую пьесу Эдмона Ростана* «Шантеклер». На крыше театра забыли погасить электрическую рекламу, и слово «Шантеклер» светилось в туманном парижском небе белортутным, бледным сиянием.

Шантеклером называлось главное действующее лицо пьесы Ростана — петух, возомнивший себя не только глашатаем нового дня, но повелителем солнца, которое каждый день появлялось, как только он пропоет. Однажды самонадеянный петух нарочно не пропел свое «ку-ка-ре-ку», желая показать собственную власть над солнцем. Но солнце все-таки появилось, и точно в назначенное время, в о п р е к и Шантеклеру.

Знаменитый петух был посрамлен. Действие пьесы Эдмона Ростана происходило на птичьем дворе, и действующими лицами были куры, гуси, утки и прочая домашняя птица.

Налево — Умирающий Лебедь, Сильфиды*; направо — самовлюбленный петух Шантеклер и обольстительные курочки, а между ними — мокрая брусчатка площади, где сравнительно не так давно лилась кровь коммунаров и визжала картечь митральез.

В Париже русский сезон. Блистательные премьеры. Цветы. Брильянты. Рауты. Банкеты. Платят сотни франков за кресло на дягилевский спектакль. Анна Павлова,

Шаляпин, Карсавина, Фокин. Афиша работы великого русского художника Валентина Серова: воздушная стрекоза Сильфида — Анна Павлова на пуантах, вся движение, вся грация, вся музыка. Тамара Карсавина, красавица жар-птица в огненном платье, в русских самоцветах и павлиньих перьях. По всему Парижу крупные надписи: «Théâtre du Chatelet. Grande saison de Paris. Ballet russe». Бармы и шапка Мономаха, из-под которой смотрят грозные глаза Федора Шаляпина. Ленин проезжает мимо театра Шатле, слегка косясь на старые дягилевские афиши, фотографии, электрические рекламы... «А там, во глубине России... там вековая тишина». Тишина ли? Шутить изволите! Там, во глубине России, уже орудует не старый упырь Победоносцев, а некто более страшный и современный — шталмейстер Столыпин с его отрубами и крестьянскими банками, при помощи которых из российских кулаков и мироедов с божьей помощью будут печь российских фермеров, новых помещиков, лендлордов — опору трона, душителей революции, палачей пролетариата. Вот где настоящий, что ни на есть подлинный русский сезон, grande saison russe, черт бы его побрал! А тем временем «революционный» Париж, центр мира, прекрасная Франция — свобода, равенство, братство — быстро залечивает раны, нанесенные ей последней войной с Пруссией. Франция готовится к реваншу, что не мешает парижанам каждый вечер наполнять театр Сары Бернар и хлопать чисто галльскому остроумию Эдмона Ростана, его хлестким стихам, бульварному шику рифмованных афоризмов, а главное, костюмам актрис, исполняющих роли курочек. Сначала Париж, а потом и весь мир охватил род массового безумия: новая мода «шантеклер». Шляпки «шантеклер» — крошечные, как куриная головка с пикантным гребешком, вроде шлемов, сделанных из золотистых фазаньих крылышек. Блузки «шантеклер». Юбки «шантеклер» — широкие в бедрах и очень узенькие в подоле, что делает походку женщин мелкой, семенящей, вроде походки китаянки на миниатюрных, изуродованных ножках-копытцах...

...Характер города снова изменился. Теперь вокруг Ленина уже не рабочие Монсури и не студенты Латинского квартала, а клерки, приказчики, мелкие чиновники, девушки продавщицы, бегущие семенящей походкой, в своих шляпках и юбках «шантеклер», вниз по Риволи в знаменитые «большие магазины» — «Лувр» или «Самаритен». Показались и загулявшие кутилы с лимонными лицами — монокль, цилиндр, черная бальная пелеринка на белой шелковой подкладке, полосатое кашне, заброшенное через плечо за спину. Пробегали мидинетки с полосатыми картонками в руках. Проезжали высокие каретки автомобилей, фыркая и наполняя улицу синими облаками бензинового дыма.

Направо и налево уходила в перспективу большая торговая улица Риволи, с ее мануфактурными и ювелирными магазинами, за решетками которых блестели золотые, брильянтовые и серебряные вещи, целые гирлянды низкопробных ручных часов, мещанские чайные сервизы. Аркады и лоджии, где вечно горят язычки газовых фонарей и дымятся жаровни, возле которых старухи в теплых платках, завязанных на спине, крючконосые, как ведьмы, в громадных тазах, охваченных паром, пекут обуглившиеся каштаны, с жарким шорохом шуруют их железными совками, а каштаны иногда вдруг вспыхивают синими огоньками и лопаются, наполняя воздух сытным ароматом печеной мякоти.

Здесь все еще продолжали бежать почтальоны, на всю улицу насвистывая модные шансонетки. Среди этих шансонеток музыкальное ухо Ленина уловило знакомый мотив одной из песенок довольно популярного парижского шансонетчика Монтегюста, которого Владимир Ильич недавно слушал, кажется, в «Бобино». Песенка называлась «Привет семнадцатому полку». Утренние почтальоны насвистывали:

Привет, привет тебе,
Привет, семнадцатый стрелковый!
Ты нам помог в борьбе,
В борьбе, открытой и суровой*.

Песенка эта очень понравилась Ленину, и он стал ее громко, как бы соревнуясь с почтальонами, насвистывать — по своей манере — сквозь зубы.

Привет, восставший класс!
Теперь мы не пойдем вразброд...
Ах, друзья, убивая нас,
Убили б вы свою свободу!

Все-таки у трудящихся никогда не умирает дух свободы. Молодцы почтальоны!

Для того чтобы кратчайшим путем попасть в Национальную библиотеку, следовало наискось пересечь Центральный рынок. Надо было проехать мимо всех его павильонов, а затем по узким, невероятно запутанным переулкам выбраться на площадь Победы, откуда до библиотеки было уже рукой подать.

Под шинами велосипеда хрустели капустные листья, свекольная и морковная ботва, усыпавшая грязную сырую мостовую узкой улицы, ведущей к рынку.

Улица была черна, холодна и странно пустынна, хотя по всей ее длине у подъездов маленьких безымянных отельчиков виднелись неподвижные фигуры женщин.

. . . . . .

. . . . . .

Кто они, эти в общем-то еще молодые женщины?.. Уж, во всяком случае, не аристократки и не буржуазки. Скорей всего, это несчастные дочери рабочих окраин, порожденные эксплуататорским строем, выброшенные на улицу... Если бы Коммуна победила, этих женщин здесь бы не было.

Но Коммуна была раздавлена. Кровь коммунаров так и осталась неотомщенной. Пока не отомщенной. Ведь историю нельзя повернуть вспять. И грядущая мировая социалистическая революция неизбежна. А для того чтобы она поскорее наступила, надо изучать уроки прошлых революций, и в первую очередь уроки и ошибки Парижской коммуны. На этих ошибках будем учиться.

Может быть, именно в этот день в голове Ленина

рождались слова, которые потом появились в статье «Памяти Коммуны»:

«Как передовой боец за социальную революцию, Коммуна снискала симпатии всюду, где страдает и борется пролетариат. Картина ее жизни и смерти, вид рабочего правительства, захватившего и державшего в своих руках в течение свыше двух месяцев столицу мира, зрелище геройской борьбы пролетариата и его страдания после поражения,— все это подняло дух миллионов рабочих, возбудило их надежды и привлекло их симпатии на сторону социализма».

Была попытка создать государство нового типа, и если оно не было тогда создано, то лишь потому, что у французского пролетариата не было тогда самостоятельной рабочей партии.

И вот страшный разгром первой в мире Коммуны.

Ленин тогда увлекался поэзией Виктора Гюго. Быть может, проезжая по этой страшной улице, он повторял стихи великого французского поэта:

Там ниже всех клоак, под улицами всеми,
Не видя света днем, людские дрогнут семьи,
Там и оконца нет.
И, только я вошел, вдруг все затрепетало,
И девушка с лицом старухи прошептала:
— Мне восемнадцать лет.
...Им — золото твое. Тебе — нужда и голод.
Ты, как бездомный пес, что вечно терпит холод
У запертых дверей.
Им — пурпур и шелка. Тебе — опять объедок.
Им — ласка женская. Народу напоследок
Бесчестье дочерей!..

Грустный мир. Его нужно уничтожить, и чем скорее, тем лучше. Мы его разроем до основания.

Ленин пересек по диагонали Центральный рынок. Он уже проехал, учитывая все повороты и объезды, километров пять — расстояние для велосипедиста небольшое, но в условиях езды по городу, среди встречного, попутного и

поперечного движения, среди толпы пешеходов, поминутных остановок на перекрестках — работа утомительная. Ленин устал, разогрелся, вспотел, несмотря на холодную погоду. Он снял котелок и вытер платком голову, шею, подбородок. Его светлая золотистая голова как бы светилась в утренних сумерках рынка. Он надел котелок и с новой энергией нажал на педали: надо было торопиться.

Вокруг простирался мир Эмиля Золя. «Центральный рынок,— сказал где-то Золя,— является робким проблеском двадцатого века». Теперь двадцатый век уже наступил. Железные павильоны, железные рифленые крыши, подземная железная дорога, грузовые автомобили на сплошных, литых резиновых шинах. Штабеля опустошенной за ночь тары: ящики из-под сыров и фруктов, винные бочонки, мешки, корзины. Целый город тары, где надо пробиться в узких переулках между ящичными и корзиночными домами. Под ногами опилки, солома, кучи мятой папиросной бумаги. Циклопические колеса деревенских двуколок. Першероны в островерхих хомутах. Тысячи рыночных запахов, от которых кружилась голова.

Впрочем, все это давным-давно описано, и лучше всего не полениться и перечесть «Чрево Парижа», а потом представить себе маленького велосипедиста двадцатого века на его легком велосипеде со свободной передачей пересекающим рынок Золя. Ленин проехал по диагонали сквозь этот ни на что не похожий мир оптовой торговли продуктами питания, попавших в цепкие руки капиталистов-перепродавцов, которые отсюда могли диктовать цены на предметы первой необходимости миллионам трудящихся, попавших в их железные сети, как муха попадает в сети паука. А ведь и в самом деле Париж напоминал железную сеть паука-крестовика, засевшего в самой его середине, как раз где на плане города обозначен Центральный рынок — Halles Centrales.

Туман поднялся. Над зданием центральной телефонной станции засветилось голубовато-серое небо, обещая немного туманный, но солнечный день поздней парижской

осени. На круглой провинциально чистенькой площади Победы Ленин, чтобы несколько отдохнуть от напряженной езды по скользким мостовым Центрального рынка, слез с велосипеда и пошел пешком, одной рукой ведя свою машину за седло. В круглой крышечке велосипедного звонка блеснуло серебряной звездой выглянувшее над Парижем солнце — слабое, грустное.

Ленин прошел мимо конного памятника Людовику Четырнадцатому — лошадь подняла передние ноги, поджала задние и всей своей тяжестью оперлась на могучий хвост, что делало монумент похожим на памятник Петру в Петербурге, с той лишь разницей, что конная статуя французского короля стояла на обыкновенном, традиционном прямоугольном цоколе, в то время как его царственный брат — русский император вместе со своим романтическим конем был утвержден на неотесанной финляндской скале естественной формы, что делало весь монумент неповторимым, единственным в мире. Коммуна постановила памятник Людовику Четырнадцатому снять, но не успела осуществить свое решение, и король-солнце продолжал величественно восседать на лошади в своем высоком, раздвоенном наверху крупно-курчавом парике с локонами до плеч, совершенно таком, как и у его придворного драматурга великого Мольера, за два квартала отсюда на задах Французской комедии.

Теперь до Национальной библиотеки было уже совсем недалеко; разогнав велосипед, Ленин вскочил на него на ходу и энергично заработал ногами, желая наверстать упущенное время, и, пока он не достиг улицы Ришелье, его осыпали громкие трели канареек, которыми на весь город славились консьержки этого района. Здесь уже попадались почтенные пожилые господа в хороших черных пальто, с красными розетками Почетного легиона в петлицах, а также бонны, одетые в траурные мантии, как вдовствующие императрицы, которые толкали перед собой наимоднейшие детские коляски на высоких рессорах. Иногда здесь проходил, звеня шпорами, воспитанник военной школы Сен-Сир в парадном кивере с трехцвет-

ным султаном. А на тесной и вечно темной улице Ришелье тянулись ряды элегантных букинистических магазинчиков с витринами, отсвечивающими тусклым золотом, марокеном и шагренью целых изящных, маленьких старинных библиотек, коллекциями драгоценных марок, старинных ассигнаций и бесценных, раскрашенных от руки гравюр на дереве с изображениями первого головастого паровоза, первого воздушного шара — Монгольфьера — или же сцены свержения коммунарами Вандомской колонны.

А вот и Национальная библиотека: непроницаемопыльные окна пристроенных к главному зданию — особняку Тюбефа — двух галерей, выходящих прямо на улицу,— галереи Мансара* и галереи Мазарини*. Внутренний двор, просторный и скучный, словно казарменный плац. Ленин оставил свой велосипед в парадном одного из соседних домов на попечение консьержки, вошел во двор библиотеки и, предъявив при входе постоянный билет на право посещения со своей фотографической карточкой, как тогда говорили, «моментальной», снятой в электрофотографии на бульваре, быстро и упруго взбежал по старинной лестнице, где было много пространства и много воздуха, и толкнул плечом тяжелую, массивную дверь.

Однажды мы зашли в Национальную библиотеку. Нас сопровождал пожилой русский из славянского отдела. Едва мы заглянули в громадный двусветный зал центрального здания с расписанным куполом, с той особенной кафедральной тишиной, свойственной лишь соборам и большим библиотекам, с длинными скамьями и столами для работы, с высокой конторкой, откуда посетителям выдавали заказанные книги, как я сразу представил себе Ленина, быстрыми профессорскими шажками, слегка боком, направляющегося по проходу прямо к столу с каталогами. Я снова почувствовал себя перенесшимся в Париж того времени. Париж меняется очень медленно, центр его почти совсем не изменился в течение столетий. А На-

циональная библиотека подавно. Вот так же точно, как сейчас, и при Ленине бесшумно двигались фигуры библиотечных служащих, точно так же, прилежно согнувшись и скрипя перьями за длинными столами, закапанными чернилами, сидели посетители — те библиотечные завсегдатаи, одни и те же во всех странах мира,— усидчивые молодые люди, бородатые старики, дамы в пенсне, которые одной рукой перелистывают книгу, а другой быстро пишут, стараясь не пропустить ни одной минуты драгоценного времени. Получив заказанные вчера книги — по философии, экономии, сельскому хозяйству, а также еще несколько справочников и словарей,— Ленин пробрался на свое обычное место, вынул из кармана блокнот в арифметическую клетку и авторучку и, положив голову на выдвинутое плечо, стал быстро писать своим беглым, бисерным почерком высокоинтеллигентного человека — почерком, чем-то напоминавшим летучий, прелестный, стремительный почерк Пушкина.

Осматривая главный зал Национальной библиотеки, я обратил внимание на колпаки электрических настольных ламп — целое поле, покрытое круглыми голубыми колпаками. Я живо представил себе, как быстро проходит короткий декабрьский день, в зале темнеет уже в три часа, Ленину становится трудно писать, и вдруг, как по команде, вспыхивают голубые лампы. Теплый свет из-под колпака ложится на быстро пишущую ленинскую руку, на его скуластую щеку, на кромку светло-рыжих волос, лежащих на воротнике пиджака.

— Вы глубоко заблуждаетесь,— сказал сопровождающий нас старичок из славянского отдела.— В ленинские времена здесь во избежание пожара было категорически запрещено всякое освещение, в том числе даже искусственное: считалось, что при электрическом освещении может произойти короткое замыкание, которое вызовет пожар величайшего книгохранилища Франции. Электрическое освещение разрешили сравнительно недавно. Так что ваш Ленин никак не мог здесь работать после наступления сумерек.

Осенью в три часа библиотека закрывалась. Поэтому Ленин старался попасть в библиотеку как можно раньше, чтобы не потерять ни одной минуты драгоценного времени. Кстати, должен заметить, что Ленин по преимуществу занимался не в этом главном читальном зале, а в кабинете периодических изданий, где к его услугам была почти вся мировая пресса, в том числе и русская, которую Ленин чрезвычайно быстро пробегал глазами, изредка делая короткие выписки.

Путеводители подчеркивают, что в парижской Национальной библиотеке большой интерес представляют коллекции медалей и античных монет в количестве около 400 тысяч, а также собрание камей, инталий и других произведений искусства; наверное, это действительно представляет большой интерес, но мы предпочли увидеть кабинет периодической печати. Это не очень большая зала с потемневшими деревянными панелями, плоскими шкафами, рабочими столиками и высокими бюро, откуда заведующий кабинетом мог озирать все свое хозяйство, записывая в громадную книгу названия газет и журналов, затребованных посетителями.

Увы, посетителей было совсем мало: один, два — и обчелся.

Мое внимание обратил на себя высокомерный старик в золотом пенсне старого фасона, углубившийся в потрепанный комплект суворинской газеты «Новое время». Что он искал в ней? Быть может, забвения? Не знаю. Но, услыхав русскую речь, он повернул в нашу сторону строгое лицо с римским носом, некоторое время изучал нас, видимо желая определить, к какому сорту русских мы относимся, и вдруг, услышав имя Ленина, понял, что мы за птицы, слегка покраснел, величественно отвернулся и вновь погрузился в «Новое время», как в Лету*.

Быть может, некогда на этом самом месте сидел Ленин, перелистывал тот же самый комплект «Нового времени» за 1907 год и, сузив недобрые глаза, делал выписки из статьи Меньшикова*, вызывавшей в нем чувство физической тошноты.

...Я не сомневаюсь, что настанет день, когда на деревянной панели возле того места, где обычно сидел Ленин, появится мраморная доска: «Здесь работал вождь мировой революции, великий Ленин».

...Мы вышли из библиотеки. Вокруг нас был Париж первого десятилетия второй половины двадцатого века. Мы шли по улице Ришелье, которая, вероятно, не изменилась не только со времени Ленина, но и со времени Парижской коммуны и даже, может быть, Великой французской революции. Был прохладный парижский май. В квадратном скверике прямо против ворот Национальной библиотеки под дождем дрожали цветущие каштаны. Но вот дождь прошел, облака со сказочной быстротой разошлись, растаяли, превратились в ничто, откуда-то потянуло оранжерейным теплом, над черепичными трубами многочисленных каминов блеснуло солнышко, и темная щель улицы Ришелье вдруг оказалась во всю свою длину разделенной резким световым барьером: одна сторона улицы теневая, дымно-чернильная, другая — солнечная, до боли в глазах яркая, такая яркая, как будто там все время горела лента магния. По сторонам скверика, сверкавшего цветами и зеленью газонов, белели и чернели узкие фасады высоких домов, и бонна в мантии выкатила из парадного нарядную коляску с ребенком, который шевелился в кружевной пене своих нейлоновых пеленок; а следом за бонной вышла из дверей старая консьержка, села на раскладной стул, надела пенсне и стала быстро вязать серый шерстяной набрюшник, причем спицы в ее подагрических пальцах мигали, как маленькие молнии; очень возможно, что именно в этом парадном и оставлял Ленин свой велосипед до тех пор, пока его не украли. Не думаю, чтобы это была та самая консьержка, которая получала с Ленина за хранение велосипеда по десять сантимов, а потом, когда велосипед пропал, заявила, что она не бралась стеречь машину, а только разрешала ее оставлять на лестнице. Во всяком случае, эта консь-

ержка была точной копией той, так как известно, что все пожилые парижские консьержки похожи друг на друга, как родные сестры. Увы, с такой дамой не поспоришь, особенно если ты подозрительный иностранец, русский профессор «из красных», социалист, постоянный посетитель Национальной библиотеки. Представляю себе, как после короткого обмена любезностями с консьержкой, проворонившей его велосипед, Ленин принужден был возвращаться через весь город домой пешком, на чем свет стоит проклиная свою российскую доверчивость. Но проклинай не проклинай, а придется покупать другой велосипед. Страшный прорыв в бюджете! Что скажет Надя...

Кроме занятий в библиотеке, заседаний, лекций, публичных диспутов, чтения по ночам во время бессонницы и постоянного ежедневного писания статей, Ленин, конечно, иногда и позволял себе немного развлечься.

«Охотно ходил Ильич в разные кафе и пригородные театры слушать революционных шансонетчиков, певших в рабочих кварталах обо всем — и о том, как подвыпившие крестьяне выбирают в палату депутатов проезжего агитатора, и о воспитании детей, и о безработице и т. п.,— пишет в своих воспоминаниях Крупская.— Особенно нравился Ильичу Монтегюс. Сын коммунара, Монтегюс был любимец рабочих окраин. Правда, в его импровизированных песнях, всегда с ярко бытовой окраской, не было определенной какой-нибудь идеологии, но было много искреннего увлечения».

Меня заинтересовала личность Монтегюса. Помимо того, что его имя упоминается во многих воспоминаниях о Ленине — что само по себе уже достаточная причина заняться Монтегюсом,— мне кажется, что он заслуживает внимания как чисто парижское явление.

Крупская пишет, что «в эти самые тяжелые годы эмиграции, о которых Ильич всегда говорил с какой-то досадой (уже вернувшись в Россию, он как-то еще раз повторил, что не раз говорил раньше: «И зачем мы только тог-

да уехали из Женевы в Париж?»), в эти тяжелые годы он упорнее всего мечтал, мечтал, разговаривая с Монтегюсом, победно распевая эльзасскую песню, в бессонные ночи зачитываясь Верхарном*».

Вспоминая об отношениях Ленина с Монтегюсом, Людвинская пишет:

«Наша организация весьма нуждалась в деньгах для печатания литературы. Деньги добывались устройством лекций, рефератов, лотерей, концертных вечеров и т. д. Один такой вечер было поручено организовать мне. Я решила пойти посоветоваться к Надежде Константиновне. Мы принялись вместе разрабатывать программу вечера. В разгар нашей беседы в комнату вошел Владимир Ильич. Он послушал нас, улыбнулся нашему спору насчет буфета (вопрос был денежного характера) и сказал:

— План должен быть не только коммерческим, но и идейным. В программу должен быть внесен агитационный элемент. Пригласите Монтегюса. Он вам и публику соберет и агитацию проведет».

Ленин всегда, при всех обстоятельствах, даже в таком, в сущности, мелком вопросе, как устройство эмигрантского концерта, был верен себе: на первом плане — политика.

Вскоре вечер состоялся. Во время концерта, когда выступал Монтегюс, Ленин время от времени тихонько подпевал ему из зала. Монтегюс пел о восставшем полку:

...Ты восстал, и сердце всколыхнули
Гнев и страсть, картечи горячей.
Не вести ж отца и мать под пули,
Только чтобы тешить богачей.

И Ленин вслед за Монтегюсом подхватывал своим глуховатым тенором рефрен:

Солдат! Надежны наши узы,
Ты сознаешь, что я твой брат.
Ты решил не убивать французов,
И это правильно, солдат!

Ленину нравились эти слова.

«Настоящее имя Монтегюса — Гастон Брунсвик,— пишет Гатов.— Монтегюс — псевдоним. Он был сыном сапожника. Его отец и дед — участники Парижской коммуны. Монтегюс начал выступать на парижских эстрадах в бурную эпоху дела Дрейфуса. Конечно, он был на стороне дрейфусаров. Недавно он сам побывал в солдатах и на собственном опыте узнал, что такое французская военщина. Он ее возненавидел всей душой и в своих песенках выступал против милитаризма. Доставалось от молодого шансонетчика также и всякого рода поборникам церкви. Армия и церковь были двумя сторонами одной и той же медали. Направление искусства Монтегюса полностью отражало настроение демократических кругов тогдашней Франции, как, впрочем, и теперешней.

Молодой шансонье быстро приобрел популярность. Он выступал с дерзкими куплетами, в которых однажды довольно сильно задел честь офицеров «Великой французской армии». В зале разразился неслыханный скандал. Одни свистели, другие аплодировали. Скандал перебросился в прессу. Две распространенные реакционные газеты — «Либр пароль» и «Энтрансижан»— во главе со знаменитым памфлетистом ренегатом Анри Рошфором так шумно напали на Монтегюса, что в один день сделали его знаменитым. Это была поистине грандиозная реклама. Монтегюс приобрел громадную аудиторию. Он стал желанным гостем на всех социал-демократических митингах — настоящим героем дня. Он отправился в турне по Франции, и во всех городах, где бы он ни выступал, немедленно появлялось на стенах домов объявление военного коменданта, где под угрозой серьезного наказания военнослужащим запрещалось присутствовать на выступлениях Монтегюса, так как «тенденции этого шансонье вызывают бунты и волнения в армии». Может быть, солдаты и побаивались ослушаться коменданта, но зато рабочие, особенно в субботу вечером, до отказа наполняли залы, где выступал Монтегюс, и затем разносили по улицам боевые песенки, направленные против генералов,

домовладельцев, фабрикантов, попов и прочих врагов и притеснителей рабочего класса».

Разумеется, Ленин не мог пройти мимо такого явления, как Монтегюс, и они познакомились. Правда, в это время слава Монтегюса уже немного потускнела. Париж не любит слишком громкой славы, но легко мирится со славой средней и часто делает ее пожизненной.

Я не знаю в точности, как произошло знакомство Ленина и Монтегюса. Но нетрудно себе представить, что однажды вечером Ленин отправился в какой-нибудь эстрадный театрик на краю Парижа.

Сестра Ленина, Мария Ильинична, свидетельствует, что за границей Владимир Ильич редко бывал в опере и концертах. Музыка слишком сильно действовала на его нервы, и, когда они бывали не в порядке — а это бывало так часто при трепке и сутолоке эмигрантской жизни,— он плохо выносил ее... Мало сравнительно внимания уделял Владимир Ильич и различным достопримечательностям. «Я вообще к ним довольно равнодушен,— пишет он в письме из Берлина в 1895 году,— и большей частью попадаю случайно. Да мне вообще шлянье по разным народным вечерам и увеселениям нравится больше, чем посещение музеев, театров, пассажей и т. п.».

Впоследствии, попав в Париж, он сохранил свою любовь «к шлянью по разным народным вечерам», обилием которых всегда славился Париж. Ленин посещал народные кабаре и театрики Монмартра, Порт-Сен-Мартена, в особенности, я думаю, Монпарнаса, недалеко от которого он жил, например, «Théâtre de la Gaieté» или «Бобино». Марсель Кашен* говорил мне, что Ленин бывал в «Бобино».

Мне никогда не приходилось раньше посещать этот театр, но совсем недавно, когда наши парижские друзья предложили сводить нас в какой-нибудь театр по нашему выбору, я тотчас же указал на «Бобино». Наши друзья крайне удивились.

— «Бобино»? А что это за театр и где он находится? Мы о нем ничего не слышали.

Это были люди утонченные, высокоинтеллектуальные, и мы, по-видимому, очень потеряли в их глазах, выбрав какое-то «Бобино», о котором они не имели никакого понятия, хотя были истыми парижанами и жили на левой стороне «Rive gauche», то есть не так уж далеко от «Бобино».

— Но зачем вам понадобилось именно «Бобино»? — спрашивали они.

Я сказал, что мы хотим увидеть какой-нибудь демократический театрик на окраине. Они пожали плечами. Им это было непонятно.

— В этом театре бывал Ленин,— сказал я.

Они покорно развели руками и произнесли сакраментальную фразу французского гостеприимства:

— Comme vous voulez. (Как хотите. Если это вам нравится.)

Им был настолько чужд этот глухой район между Монпарнасским вокзалом и стеной Монпарнасского кладбища, что мы долго кружили на маленькой, экономичной машине «ситроен» по темным переулкам и пустырям, прежде чем попали на Rue de la Gaieté.

— Вообразите себе,— сказал один из наших друзей, изысканный католический поэт.— Если бы не вы, мы бы, вероятно, никогда в жизни не увидели ни этой улицы, ни театра «Бобино». Это курьез, не правда ли? — ласково спросил он, доверчиво заглядывая в мои глаза...

Это было не столько курьезно, сколько поучительно, так как наглядно показывало прочность социальных перегородок французского общества. Наши друзья с нескрываемым любопытством разглядывали одну из довольно известных парижских улиц, куда попали первый раз в жизни. Эта улица принадлежала другому миру. Они ее случайно открыли, как иногда случайно открывают новую звезду. Оставив свой «ситроенчик» у обочины, они шли по этой улице, как иностранцы, удивляясь ее барам, кафе, подозрительным отельчикам, довольно плохому освеще-

нию, одежде прохожих, узким грязно-белым и потерто-черным домам, наконец, большой ветряной мельнице над одной из крыш. До сих пор они были уверены, что ветряные мельницы сохранились в Париже только на Монмартре и на Пигаль. Оказалось, что есть еще одна мельница, на Rue de la Gaieté. Это их очень веселило, и они благодарили нас за то, что мы открыли эту досель не известную им часть Парижа — почти страну,— такую провинциальную и глухую.

«Бобино» оказался весьма обычным районным парижским театриком, с традиционным красным бархатом занавеса и кресел, белыми стенами, старой, докрасна потертой позолотой и лепными украшениями. Обивка кресел была пропитана застоявшимся пыльным запахом табака и духов — дешевого табака общеупотребительных сигарет «Галуаз» и духов «Коти», так что уже одни эти запахи сразу давали почувствовать всю разницу между этим пролетарским театриком и подобным же заведением где-нибудь в районе Елисейских полей или Больших бульваров, где в воздухе стоит смешанный запах гаванских сигар и духов «Герлен». Ну конечно, и цена билетов. Если в «Бобино» кресла в оркестре стоили семь франков, то там — верных двадцать.

Зал «Бобино» был наполнен публикой самой демократической, по преимуществу девушками в очень модных, но дешевых туалетах, купленных в отделе готового платья «Самаритен» или «Галереи Лафайета», и в преувеличенно высоких прическах, придававших молоденьким личикам с умело подрисованными глазами нечто детски порочное.

Мужчины снимали пальто уже в зрительном зале и засовывали его под кресло.

Выступал новый парижский шансонье Марсель Амон, делавший свои первые шаги по пути славы пока еще на левом берегу, но уже восходящая звезда. Он быстрой, энергичной походкой молодого человека почти выбежал на сцену в костюме из синего шелкового тропикаль, при свете прожектора переливавшегося муаром, в синем галс-

туке, голубой сорочке и черных, сверкающих остроносых мокасинах,— этот средних лет, но все же довольно красивый плечистый мужчина, с белоснежными зубами и фарфоровой улыбкой семнадцатилетнего спортсмена... Под уверенные, банальные звуки джаза, поместившегося тут же, на сцене, Марсель Амон начал свои песенки, одну за другой без передышки, делая иногда — в виде приятного сюрприза — какое-нибудь легкое сальто-мортале, колесо или игривую пробежку по сцене вверх ногами, но так, что при этом его пиджак оставался в идеальном порядке. У него был приличный стандартный голос, хороший слух, видимо, он был очень музыкален, и какая-то девушка в маленькой вавилонской башне своей иссиня-черной прически со вздохом восхищения воскликнула, что бедный Марсель Амон окончил консерваторию, но — увы! — и так далее...

Его песенки были милы, сентиментальны, остроумны, но в них не было настоящего политического перца, а так себе — невинная фронда. Это был типичный шансонье Франции, мастер своего дела, любимец женщин, но отнюдь не трибун, не борец за правду,— один из множества парижских шансонье...

Думаю, что и Монтегюс был чем-то в этом же роде, но только, разумеется, политически более острый, смелый, и сценическая маска у него была другая — в духе того времени.

Таким образом, я получил представление о театре «Бобино», где бывал Ленин. Представление чисто внешнее. Но мне было трудно вызвать в своем воображении образ Монтегюса. Во времена Ленина в Париже на Больших бульварах и в трущобах еще водились так называемые апаши — уличные хулиганы, отчасти «стиляги» того времени — деклассированные молодые люди полууголовного типа. Фигура апаша, стоящего под фонарем, была непременной принадлежностью ночного Парижа. Она сделалась как бы символом анархического протеста против морали, семьи и собственности,— неприятный нарыв на теле буржуазной богатой Франции.

...Может быть, это Шарль Раппопорт — прирожденный монпарнасец — решил в один прекрасный вечер повести Ленина «на Монтегюса». Интересно, понравится ли русскому лидеру их Монтегюс? Публика вокруг настоящая, пролетарская. Дешевенькие шляпки работниц, кепки рабочих — наверное, железнодорожников из депо Монпарнасского вокзала,— гул голосов, непринужденные шутки, возгласы. Утомительно яркий свет ртутных электрических трубок. Жарко. Запах капораля и духов «Коти». Ленин снимает пальто и по примеру прочих засовывает его под кресло, котелок ставит на пол.

— Посмотрим, посмотрим. Послушаем...

Ленин энергично потирает руки, весело, узкоглазо щурится. Среди простой пролетарской публики предместий он чувствует себя прекрасно: рабочий народ — его стихия.

Почти все знавшие Ленина отмечают оригинальный характер его лица. Но внешность Ленина была очень изменчива, трудноуловима, и подчас характер ее делался совсем иным. В этой связи приведу еще одно свидетельство Кржижановского: «...приодевшись в какой-нибудь армячок, Владимир Ильич мог затеряться в любой толпе волжских крестьян,— было в его облике именно нечто, как бы идущее непосредственно от этих народных низов, как бы родное им по крови». Может быть, это — самое интересное из всего сказанного об облике Ленина.

Но вот свет погас. Вместо звонка раздался традиционный во французском театре сигнал — троекратный, громкий, отрывистый стук палкой по подмосткам сцены. Занавес взлетел.

Из-за кулисы прямо на рампу быстро, слегка согнувшись,— руки в карманах,— вышел Монтегюс, в костюме, напоминавшем апаша: дырявая блуза, под ней полосатая фуфайка, широкий неаполитанский пояс из ярко-красной

фланели, мятые брюки, из-под козырька большой кепки — черная прядь волос; ботинки новенькие, начищенные до зеркального блеска, особый шик каждого истинного апаша.

Монтегюс исполнял свои песенки под рояль, и его аккомпаниаторша, выдержав паузу, пока публика приветствовала его дружными аплодисментами, вдруг ударила по клавишам сильными, мускулистыми руками — и Монтегюс начал программу, после каждого куплета делая небольшое полутанцевальное па. Его грубый, традиционно-хриплый голос, временами вульгарно-крикливый, как нельзя лучше подходил к его сценическому образу, маске отверженного и оскорбленного люмпена, объявившего войну обществу.

Его песенки, которые он исполнял одну за другой без передышки, в общем содержали в себе мало революционного, были в достаточной степени сентиментальными, даже мещанскими, и все же в них явственно слышался социальный протест, а временами проскальзывала даже революционная нотка.

Ленин весьма сочувственно слушал этого певца парижских фобуров*, склонив голову и глядя искоса на сцену. Когда же Монтегюс начал свой коронный номер «Привет семнадцатому полку», его подведенные, окруженные синевой глаза угрюмо сверкнули.

Франция любима всеми нами.
Верен ты, и все мы ей верны.
Ваш мундир разубран галунами,
Но душой вы — граждане страны.

Скорей на каторгу пойдете,
Чем застрелить родную мать;
Лучше будешь в арестантской роте
Тележку грузную таскать.

Зал застонал, повторяя рефрен:

Привет, привет тебе,
Привет, семнадцатый стрелковый!

— Ну, что вы на это скажете, мой дорогой друг? — спросил Шарль Раппопорт.— Не правда ли, недурно?

— Formidable! — воскликнул Ленин с картавостью настоящего парижанина. Его глаза блестели. Он был в восторге.— А он согласится выступать на платных вечерах нашего русского землячества? Конечно, не бесплатно.

— О, безусловно. Он отличнейший парень. Мы его считаем отъявленным социалистом. Может быть, он даже выступит гратис.

— Тогда еще лучше.

После спектакля в фойе театра аккомпаниаторша продавала ноты с текстом песен Монтегюса, причем на всех нотных листах было напечатано нечто вроде девиза: «Я себя не обманываю. Я не претендую на звание литератора. Плевать я хотел на литературу. Я выражаюсь, как умею. Убежденность — мой единственный талант. Я пишу так, как народ говорит. Поэтому он меня понимает».

— В этом что-то есть,— сказал Ленин, посмеиваясь и в то же время морщась от этого вульгарного «плевать я хотел на литературу».— Гм, гм. Это смотря на какую литературу. Если на контрреволюционную,— я не против. Но в общем и целом — недурственно!

Потом все вышли на улицу, полную расходящихся зрителей, и подождали Монтегюса у артистического подъезда, чтобы выразить благодарность за доставленное удовольствие. Ленин с чувством пожал его руку, слегка смазанную вазелином, которым Монтегюс, видимо, только что снимал свой легкий эстрадный грим, в особенности эффектную, какую-то порочную синеву под глазами.

После этого Монтегюса стали приглашать на вечера, которые устраивали русские социал-демократы для пополнения своей партийной кассы, и Монтегюс никогда не отказывался.

Мне захотелось подробнее узнать о личности Монтегюса. Каждый раз, приезжая в Париж, я наводил справки в разных местах: в театральном агентстве Мораццани, у

знакомых актеров, поэтов, драматургов,— но ничего интересного разузнать не мог. Актеры и поэты были слишком молоды, чтобы лично знать Монтегюса, а Мораццани сказал мне, что действительно существовал такой шансонье, сын коммунара, Монтегюс, умер в 1953 году в возрасте свыше восьмидесяти лет. Остались ли после него родственники? Где он жил? Неизвестно. Он ни с кем не общался и никому не давал своего адреса. А в Париже не существует адресного стола. И если человек не желает, чтобы знали его адрес, то его местожительство остается навсегда неизвестным всем, разумеется, кроме полиции. Родственников тоже нет. Он жил и умер одиноким, замкнутым стариком, мрачным и как бы угнетенным какой-то постоянной черной мыслью. Моя попытка достать ноты с его песенками тоже не увенчалась успехом. Да это, в сущности, не имело особого значения. Однако мне повезло в другом роде. Один из моих парижских друзей подал интересную мысль — посетить дом для престарелых артистов эстрады, где, весьма вероятно, можно будет найти какого-нибудь старого парижского эстрадника, знавшего Монтегюса.

Помимо всего прочего, было вообще очень любопытно побывать в этой богадельне, где доживали свой век некогда прославленные звезды парижских мюзик-холлов и кабаре. Этот дом для престарелых артистов был устроен на средства знаменитого Мориса Шевалье. Он находился за городом, среди полей и лугов, где-то в районе Вильжюиф, если я не ошибаюсь. Это старый помещичий дом восемнадцатого, а может быть, даже семнадцатого века, в два этажа с мансардой, длинный, потемневший от времени, выстроенный в стиле французского неоклассицизма,— одно из многочисленных подражаний версальскому дворцу, так называемый «шато», то есть замок французского дворянина.

Мы еще издали увидели над купой желтеющих деревьев его высокую, чешуйчато-графитную крышу. Перед фасадом замка лежал запущенный газон некогда великолепного партера, и по свежей еще траве, среди отцветаю-

щих клумб гераней ходил большой, очень красивый, породистый французский баран с антично закрученными рогами, скульптурной головой и прелестными прозрачными глазами, полными пугающей глупости. Посередине партера стояла в виде большой мраморной скрижали с цветным мозаичным, несколько декадентским изображением печального Пьеро мемориальная доска с именами французских эстрадных артистов, погибших на поле брани за родину. Французы свято чтят имена своих героев. На пятом этаже громадного универсального магазина «Лувр», на служебной лестнице, я видел мраморную доску с многочисленными именами приказчиков магазина, погибших смертью храбрых в первой мировой войне.

Машина остановилась перед стеклянной галереей, которая занимала первый этаж во всю его длину, и мы вошли в нее через очень высокую дверь-окно со старинной ручкой давно уже не чищенного медного замка́. О нашем приходе были извещены. Нас встретил любезный администратор, терявшийся в догадках, за каким чертом явились мы на своей машине с дипломатическим номером в это заведение, куда в течение многих лет не заглядывал ни один почетный посетитель, а тем более иностранец. Я объяснил цель своего посещения и был приглашен в небольшой салон, обставленный дряхлой мебелью разных стилей — креслами Людовиков, секретерами Жакоб*, мозаичными столиками с медными перильцами и, конечно, бронзовыми каминными часами под стеклянным колпаком, которые отражались в высоком зеркале, потерявшем от времени свой ртутный блеск. По стенам висели ветхие зелено-коричневые гобелены, где ветвистые деревья были перепутаны с ветвистыми рогами оленей, а также портрет Чайковского, который при ближайшем рассмотрении оказался Виктором Гюго.

Два старичка и бойкая старушка вошли в салон и были представлены мне как товарищи Монтегюса по эстраде. Старички были куплетистами, а старушка — пианисткой, аккомпаниаторшей Монтегюса. Все трое казались чрезвычайно обрадованными и даже несколько воз-

бужденными оттого, что после долгих лет полного забвения они вдруг вызвали в ком-то интерес. Они сразу как бы расцвели и на моих глазах из типичных обитателей богадельни со всеми своими маленькими интересами и еженедельными склоками превратились в обаятельных представителей великого эстрадного искусства, остроумных собеседников, любимцев парижской публики. В особенности суетилась старушка аккомпаниаторша, показывая в лицах, как выходил на эстраду незабвенный Гастон, как он маршировал, исполняя свой знаменитый «Привет семнадцатому полку», и как появлялась на сцене она в шикарном туалете от знаменитой Кутюр с улицы Шоссэ д'Антенн, в прическе Клео-де-Меро и настоящими жемчужинами в ушах, а не в каких-нибудь клипсах. На вопрос, каков был собой Монтегюс, она сказала, что он был всегда бравый мужчина. Она вся преобразилась и даже стала стрелять глазками, как настоящая шантанная дева, но тут вмешался один из старичков — добродушный, кругленький, в полосатых, так называемых «штучных» брюках, которые обыкновенно надевали под визитку, в бархатном артистическом пиджачке, заметно побелевшем на локтях, плешивый, с красным носиком и танцующими движениями всего его толстенького тельца. Он сказал, что был большим другом Монтегюса, «моего дорогого Гастона», и они оба имели на эстраде громадный успех, хотя и выступали в разных жанрах.

— Мой дорогой друг Гастон — в жанре несколько романтическом и сентиментальном, с примесью политического перца, а я в более земном — хе-хе-хе! — не без клубнички и без всякой политики, но это не мешало нам — мне и дорогому Гастону — быть большими друзьями.

— Вы знаете,— спросил я,— что Ленин слушал Монтегюса и что ему нравились его песенки?

— О, конечно! Это известно всему Парижу. Великий Ленин — я знаю его — основатель Советской Республики. Он очень ценил талант бедного Гастона. И это не удивительно. Ведь Гастон тоже был очень левый. Настоящий красный. У него была одна революционная песенка «Тру-

ба беды». Я вам сейчас ее спою, чтобы вы имели представление. Это против войны. Марш. Вот так.

Старичок в бархатном пиджачке сделал выход, подражая своему другу Монтегюсу, отбил ногой такт и запел дрожащим, но уверенным голоском:

Труба беды, труба беды,
Трубит печальный марш...
Тру-ру, тру-ру, тру-ру-ру-ру...

Он забыл дальше текст и маршировал взад-вперед по ветхому ковру-обюссон, делая губами «раз-два, раз-два», и молодцевато, как солдат, поглядывал на портрет Гюго.

— Это был настоящий патриот! — со слезами на глазах воскликнула старушка аккомпаниаторша, воспользовавшись паузой.— Настоящий революционер!

— Я этого совсем не нахожу,— сердито сказал другой старичок, худой, со впалыми щеками и бровями, колючими, как креветки.— Может быть, сначала Гастон действительно был красным... вернее, розовым... Но очень скоро он изменил своим идеалам и сделался ренегатом. Как Клемансо*, как Бриан...

— Вы не смеете так говорить о Гастоне Монтегюсе! — напыщенно произнес старичок в бархатном пиджачке, перестав маршировать.— Монтегюс был благороднейший человек, настоящий радикал, революционер!

— Он никогда не был революционером,— сердито и решительно сказал старичок с бровями, как креветки.— Я повторяю, что он был ренегат, ваш Монтегюс. Я был его другом, но истина для меня дороже.

— О, не слушайте его, мсье! — закричал первый старичок, протягивая ко мне дрожащие ручки.— Монтегюс был красный.

— А я вам говорю, он был ренегат, реакционер и шовинист.

Услышав это, старушка аккомпаниаторша всплеснула руками. Она металась между старичками куплетистами, желая восстановить мир, но ей это не удалось, и тогда она, пожав плечами, сказала, обращаясь ко мне:

— Бог мой! В этом вся трагедия Франции. Сколько людей, столько политических врагов. Французы всегда спорят между собой на политические темы. Увы, такова бедная Франция!

— Вы мне не докажете, что Монтегюс был ренегат! — кричал первый старичок.

— Докажу! — кричал второй.

— Докажите!

— В июле четырнадцатого года социализм моего друга Гастона превратился в самый вульгарный национализм.

— Вы не смеете так говорить!

— Нет, смею, сударь, смею. В то время, когда бедный Жорес пал от руки убийцы-негодяя, Монтегюс прославлял с эстрады рабочего, уходящего на фронт, и его подругу, «небесно-голубую дочь Франции», которая остается ему верна. Монтегюс толкал народ в пекло всемирной империалистической бойни. Каждый день он печатал воинственные куплеты в газете такого же ренегата, как он сам, бывшего социалиста Гюстава Эрве. Он превратился в немцееда.

— И правильно, бошей надо уничтожать. Но тем не менее вы не докажете, что Гастон был шовинист. Докажите-ка!

— И докажу. Извольте. Вот так... Двадцать пятого августа в газете подонка Эрве с фальшивым названием «Социальная война» были напечатаны стишки нашего друга Монтегюса, которые являлись блестящей формулой — отдадим ему должное — измены социалистов пролетарскому интернационализму.

И второй старичок, брызгая слюной, запел, подражая Монтегюсу:

Nous chantons la Marseillaise,
Car dans ces terribles jours
On laisse l'Internationale
Pour la victoire finale,—
On la chant'ra au retour.

Что значило по-русски: «Мы поем «Марсельезу», так как в эти ужасные дни «Интернационал» оставлен — до

окончательной победы. Его будут петь по возвращении».

— Вот что из себя представлял прославленный Монтегюс во время первой империалистической войны. Не удивительно, что буржуазия стала петь нашему бедняге Гастону дифирамбы. Он получил свои тридцать сребреников.

— Господа! Друзья мои! Не надо ссориться! — кудахтала старушка аккомпаниаторша.— Пойдемте, мсье,— обратилась она ко мне.— Я лучше покажу вам его фотографию. Он на ней как живой.

Старички куплетисты остыли так же быстро, как закипели, и мы все отправились в галерею, где висели портреты знаменитых французских эстрадников и среди них, конечно, громадный портрет масляными красками основателя этого дома, короля парижских шансонье, легендарного Мориса Шевалье — красавца мужчины в твердом соломенном канотье набекрень. Бросалась в глаза большая фотография под стеклом, где была снята во весь рост великая французская шансонетка Мистангет. Она стояла на заднем сиденье открытого автомобиля, одной рукой подхватив пенистый шлейф своего умопомрачительного платья из валансьенских кружев, а в другой руке держа полураскрытый кружевной зонтик чудной красоты и, вероятно, дьявольских денег. На голове Мистангет сверкало эспри из страусовых перьев, унизанных брильянтами, а ее задорное простонародное лицо, уже несколько поблекшее, но все еще неотразимо выразительное — лицо молодой шестидесятилетней парижанки,— повернутое в три четверти, светилось такой неувядаемой энергией любви, что я невольно забыл о ее почтенном возрасте.

— Это великая Мистангет,— шепотом сказала аккомпаниаторша, с молитвенным выражением приложив свои морщинистые пальчики к морщинистым губкам, опушенным седенькой растительностью.— Парижский муниципалитет недавно повесил на доме, где она жила, мемориальную доску. Если вы будете когда-нибудь проходить по бульвару Капуцинок, обратите внимание на эту мраморную доску. Это где-то совсем рядом с домом, где

помещался первый в мире синема́ братьев Люмьер. Франция умеет чтить своих великих людей. А вот и мой бедный Гастон,— прибавила она грустно.

Я увидел небольшую фотографию Монтегюса. Право же, его внешность совсем немного отличалась от той, которую я нарисовал в своем воображении, слушая рассказы о нем Марселя Кашена и Шарля Раппопорта: кепи, худые, бледные с синевой щеки, френч. Мрачные израильские глаза, сильно подведенные и неподвижные, как у морфиниста. Они неприятно выделялись на белизне напудренного лица. Прядь темных волос, упавшая из-под большого козырька кепки, оттянутой на затылок, как бы еще более усиливала белизну гладко выбритых актерских щек. В общем, у меня осталось какое-то странное, тягостное впечатление, и, откровенно говоря, мне почти невозможно было теперь представить себе рядом Монтегюса и Ленина, мечтающего вслух о мировой революции.

Вечером того же дня мы пили чай у Арагонов. Речь зашла о Монтегюсе. Я поделился своими впечатлениями.

— Он был агентом тайной полиции, этот самый Гастон Монтегюс,— жестко сказал Арагон.— Теперь это доказано, он действительно был сыном и внуком коммунаров, что не помешало ему стать сначала ренегатом, а потом самым вульгарным шпиком. Не будем больше говорить об этом человеке.

Мне стало многое ясно в характере Монтегюса: замкнутость, одиночество, неприкаянная старость, смерть в безвестности. Видно, не легко было пережить свое предательство человеку, который начал жизнь социалистом, а кончил платным агентом Сюртэ Женераль. Ленин так никогда и не узнал об этом. Это был не единственный в то время случай предательства. Чего стоит хотя бы один лишь Роман Малиновский! «Царское правительство,— пишет об этом времени Крупская,— ...опутывало всю рабочую организацию целою сетью провокатуры. Это были

уже не старые шпики, торчавшие на углах улиц, от которых можно было спрятаться; это были Малиновские, Романовы, Бердинские, Черномазовы, занимавшие ответственные... посты». (Ответственные партийные посты.)

Невероятно трудное, тяжелое это было для Ленина время, когда с русским ЦК дело было в 1910 году «хуже не надо,— пишет Крупская.— Впередовцы* продолжали организовываться. Группа Алексинского ворвалась раз на заседание большевистской группы, собравшейся в кафе на Авеню д'Орлеан... Алексинский с нахальным видом уселся за стол и стал требовать слова и, когда ему было отказано, свистнул. Пришедшие с ним впередовцы бросились на наших. Члены нашей группы Абрам Сковно и Исаак Кривой ринулись было в бой, но Николай Васильевич Сапожков (Кузнецов), страшный силач, схватил Абрама под одну мышку, Исаака — под другую, а опытный по части драк хозяин кафе потушил огонь. Драка не состоялась. Но долго после этого, чуть не всю ночь, бродил Ильич по улицам Парижа, а вернувшись домой, не мог заснуть до утра».

«Сидеть в гуще этого «анекдотического», этой склоки и скандала, маеты и «накипи» тошно; наблюдать все это — тоже тошно. Но непозволительно давать себя во власть настроению,— пишет Ленин Горькому на Капри.— Эмигрантщина теперь во 100 раз тяжелее, чем была до революции. Эмигрантщина и склока неразрывны».

Какие горькие слова! Ленин твердо решил не давать себя во власть настроению. Но ведь и он был человек, со всеми человеческими слабостями. Потянуло на юг. Захотелось тишины, покоя, красоты, природы, солнца. В конце весны Ленин, отправившись вместе с Надеждой Константиновной и тещей Елизаветой Васильевной в небольшое местечко Порник на берегу зеленого Бискайского залива, где можно было недорого устроиться на лето,— он послал к черту все эмигрантские склоки, маету и «накипи»— неожиданно для всех, и в первую очередь для самого себя, махнул на Капри.

Он не только устал от эмигрантской сутолоки, но также сильно стосковался по России. В проливе между Корсикой и Сардинией вспоминал свою родную Волгу. Во всяком случае, в открытке к матери Ленин пишет, что доехал от Марселя до Неаполя пароходом: «дешево и приятно. Ехал, как по Волге». Не забыл, значит, Волгу! Может быть, высокие, поросшие сплошным кустарником каменистые берега Корсики напомнили ему Жигули, по которым он так много полазил в свои юношеские годы — в косоворотке, в накинутой на плечи студенческой тужурке,— золотоволосый, лобастый, повернув свое смуглорумяное, молодое, скуластое лицо к ветру, так вольно гулявшему по вершине Жигулей, и во весь голос пел одну из своих любимых песен «Есть на Волге утес...».

Может быть, и теперь, стоя на спардеке пассажирского парохода и любуясь скалистыми берегами Корсики, которые почти отвесно опускались в удивительно синюю, чистую воду Средиземного моря, Ленин, чувствуя себя хоть на миг одиноким, свободным и юным, напевал вполголоса:

Но зато, если есть на Руси хоть один,
Кто с корыстью житейской не знался,
Кто неправдой не жил, бедняка не давил,
Кто свободу, как мать дорогую, любил
И во имя ее подвизался,—
Пусть тот смело идет, на утес тот взойдет
И к нему чутким ухом приляжет,
И утес-великан все, что думал Степан,
Все тому смельчаку перескажет.

В этой песне Ленину всегда слышалась народная мечта о смельчаке, которому утес-великан перескажет заветные думы Степана Разина. Недаром же один из интереснейших наших поэтов, Владимир Нарбут*, в разгар революции, в 1919 году, писал:

Россия Разина и Ленина,
Россия огненных столбов.

Посылая матери привет из Неаполя, Ленин сообщал, что двигается отсюда на Капри ненадолго.

По странному совпадению я тоже в 1910 году, примерно в это же время, может быть, на месяц раньше, в первый раз в жизни попал на Капри. Мне было тогда тринадцать, а моему брату Жене — будущему писателю Евгению Петрову — семь лет. Отец повез нас за границу. От Одессы до Неаполя морем, дальше по железной дороге. Из Неаполя мы, конечно, ездили на пароходике на Капри, и я на всю жизнь запомнил посещение нами знаменитого голубого грота — «Гротто Азуро». Ловко перебирая смуглыми руками по мокрой железной цепи, приклепанной к скале над самой головой, лодочник изо всех сил помогал нашей лодке поскорее проскользнуть из узкого и низкого каменного туннеля, где могучий поток морской воды, то поднимаясь, то опускаясь, каждую секунду готов был разнести лодку в щепки о скалистые своды, поросшие скользкими водорослями. Мы прижались ко дну, зажмурились от ужаса и в тот же миг увидели, что лодка уже плывет внутри грота по невероятно яркой, сапфирной воде, насквозь освещенной откуда-то снизу преломленным светом каприйского ослепительного полудня. Помню стеклянно-синие изумленные лица папы и Жени, гул, стоящий в гроте, как в пустой церкви, и громкий, как выстрел, звук капель, падавших с весла в воду. Хорошо помню живописную фигуру нашего лодочника — мальчишку примерно моего возраста, гордого тем, что самостоятельно возит форестьеров в «Гротто Азуро», снисходительно принимая их восхищение волшебным зрелищем знаменитой на весь мир пещеры. Он был в штанах, засученных выше худых мальчишеских колен с перламутровыми ссадинами, в матросском тельнике, и мне навсегда запомнилась его красивая широколобая голова с немного вьющимися, как у бычка, темно-русыми волосами, повязанными на неаполитанский манер красным платком, и светлыми тосканскими глазами с виноградной косточкой зрачка. О, как мне хотелось тогда подружиться с этим итальянским мальчиком, сверстником, который с такой неподражаемой грацией греб стоя, поплавать вместе с ним, понырять в изумительной средиземноморской воде,

попросить, чтобы он дал мне немного погрести, и объяснить, что у нас на Черном море мальчики тоже умеют грести стоя, потому что, как написано в энциклопедическом словаре, Черное море есть лишь только залив Средиземного. Но тщетно. Он как бы не замечал всех моих гримас и заигрываний и обращался только к моему отцу, взрослому человеку, который его нанял и умел с ним объясняться по-латыни. Впрочем, один раз мальчик не выдержал своей роли солидного, пожилого рыбака и улыбнулся мне дружеской озорной улыбкой, которую я запомнил на всю жизнь.

Легко можно допустить, что именно этот самый каприйский мальчик — помнится мне, его имя было Луиджи — через месяц после нас возил в «Гротто Азуро» небольшую компанию других русских: знаменитого писателя Максима Горького — скритторе Массимо Горки, его красавицу жену, знаменитую русскую артистку, донну Марию (в районе Неаполя принято называть даму не синьорой, а на испанский манер — донной) и еще одного незнакомого русского. По мнению Луиджи, этот незнакомый русский со своим острым прищуренным глазом, веселым смехом и свободной манерой обращения, наверное, был один из тех русских конспираторов, бомбистов — может быть, даже самый главный из них,— которые всегда дружат с Массимо Горки и подготовляют здесь, на Капри, новую русскую революцию с тем, чтобы навсегда разделаться с царем, помещиками, фабрикантами и на развалинах старого мира водрузить красное знамя социализма. И Луиджи не ошибся, этот синьор был действительно один из самых великих революционеров мира.

Вот несколько строк из воспоминаний Горького о Ленине, относящихся к тому времени:

«...Он подробно расспрашивал о жизни каприйских рыбаков, о их заработке, о влиянии попов, о школе — широта его интересов не могла не изумлять меня... Не могу представить себе другого человека, который, стоя так высоко над людьми, умел бы сохранить себя от соблазна честолюбия и не утратил бы живого интереса к «простым

людям»... Был в нем некий магнетизм, который притягивал к нему сердца и симпатии людей труда. Он не говорил по-итальянски, но рыбаки Капри, видевшие и Шаляпина и немало других крупных русских людей, каким-то чутьем сразу выделили Ленина на особое место. Обаятелен был его смех — «задушевный» смех человека, который, прекрасно умея видеть неуклюжесть людской глупости и акробатические хитрости разума, умел наслаждаться и детской наивностью «простых сердцем»...

Старый рыбак Джиованни Спадаро сказал о нем:

— Так смеяться может только честный человек.

Качаясь в лодке на голубой и прозрачной, как небо, волне, Ленин учился удить рыбу «с пальца» — лесой без удилища. Рыбаки объясняли ему, что подсекать надо, когда палец почувствует дрожь лесы:

— Кози: дринь-дринь. Капиш?

Он тотчас подсек рыбу, повел ее и закричал с восторгом ребенка, с азартом охотника:

— Ага! Дринь-дринь!

Рыбаки оглушительно и тоже, как дети, радостно захохотали и прозвали рыбака:

«Синьор Дринь-дринь».

Он уехал, а они все спрашивали:

— Как живет синьор Дринь-дринь? Царь не схватит его, нет?»

Наверное, маленький итальянский лодочник Луиджи гордился тем, что ему довелось возить в «Гротто Азуро» самого Ленина, и, наверное, тоже беспокоился потом, не схватил ли его царь. А ведь Ленин провел на Капри всего восемнадцать дней. И все это время за ним с любовью следили настойчивые глаза каприйских лодочников, рыбаков, носильщиков, гидов... Они видели небольшую, крепкую, энергичную фигуру Ленина в узких каприйских уличках — между двух каменных глухих стен, из-за которых торчали колья виноградников, красивые кроны вековых грецких орехов, серебристая листва маслин, шелковицы с кроваво-черными ягодами. Они видели, как он мед-

ленно шел возле капеллы Санта-Мария дель Соккорсо, откуда открывался глазам его потрясающий вид на Неаполитанский залив с островами Искья и Прочида, с пыльной зеленью Сорренто и с Везувием, который виднелся вдалеке над белыми кубиками городов, как полого осыпавшийся двугорбый песчаный холм с хвостом сернисто-пепельного дыма над кратером.

«На этом острове,— читаем мы в «Господине из Сан-Франциско» Бунина,— две тысячи лет тому назад жил человек, совершенно запутавшийся в своих жестоких и грязных поступках, который почему-то забрал власть над миллионами людей и который, сам растерявшись от бессмысленности этой власти и от страха, что кто-нибудь убьет его из-за угла, наделал жестокостей сверх всякой меры,— и человечество навеки запомнило его, и те, что в совокупности своей столь же непонятно и, по существу, столь же жестоко, как и он, властвуют теперь в мире, со всего света съезжаются смотреть на остатки того каменного дома, где жил он на одном из самых крутых подъемов острова».

Среди прочих достопримечательностей Капри Ленин, конечно, видел и эти развалины дворца кровавого тирана. Но не думаю, чтобы они произвели на него особенно сильное впечатление или вселили в его душу ужас. Давно уже он посвятил свою жизнь борьбе со всеми и всяческими тиранами — живыми и мертвыми. Они его не пугали. Он шел на них во всеоружии своего гениального ума, чистого, горячего сердца и той святой человеческой правды, против которой бессильна власть любого тирана, как бы могуществен, непобедим ни казался он людям. Я думаю, гораздо большее впечатление произвела на Ленина тарантелла, которой угостил его Горький, устроивший поездку на ослах в Анакапри, где они всей компанией провели прелестный вечерок в маленькой деревенской траттории за бутылкой розового «тиберия». В таком сочетании имя тирана было вполне приемлемо и не мешало ни танцам, ни сердечному веселью.

В последний раз я побывал на Капри года два назад,

примерно через пятьдесят с чем-то лет после первого посещения этого острова в 1910 году, и вот что со мной произошло. Едва мы очутились на знаменитой площади Капри в толпе туристов, которые с утра до вечера толкутся на этом пятачке, центре города, как мне показалось, что на меня кто-то пристально смотрит. На широкой лестнице, ведущей с площади к церковной паперти, в толпе гидов, носильщиков, лодочников, гостиничных комиссионеров и владельцев маленьких туристских осликов с красными чехольчиками на ушах, которые обычно дожидаются тут работы, я увидел человека, показавшегося мне странно знакомым. Коренастый, плотный, с седыми, коротко остриженными и слегка вьющимися, как у бычка, волосами, широколобый, он стоял в пестро-абстрактной рубахе навыпуск, с двумя пуговичками у ворота и короткими рукавами, обнажавшими почти до самых плеч его могучие бицепсы старого лодочника. У него было красивое лицо моложавого старика, и он смотрел на меня прозрачными тосканскими глазами с виноградной косточкой зрачка. Мы прошли мимо него вслед за носильщиком, несшим на плече наши чемоданы, но он уже смотрел в другую сторону, и я тотчас о нем забыл. Но на другой день он опять встретился нам на старом месте. Он солидно, с громадным достоинством разговаривал с какими-то немцами-туристами, и я понял, что он предлагает им поездку на моторном катере в «Гротто Азуро». Теперь я готов был поклясться, что хорошо его знаю, и тем не менее никак не мог вспомнить, где и при каких обстоятельствах мы встречались. Он посмотрел в мою сторону и сдержанно улыбнулся: добродушное широкое лицо, тосканские глаза и седые волосы, постриженные а ля Титус и начесанные на лоб. И мы снова разошлись, не сказав друг другу ни слова. И вдруг я вспомнил... Это было вечером, когда мы обедали в роскошном ресторане нашего отеля.

На дворе разыгралась непогода, лил дождь, приводивший всех туристов в отчаяние, а по склонам Монте-Соляро в надвигающихся осенних сумерках ползли низкие

грозовые тучи, и уже несколько раз гористый горизонт вспыхивал за окнами синими огнями молний. В холле по креслам и столикам были разбросаны мокрые макинтоши, а на белом фаянсовом полу, расписанном букетами удивительно красивых цветов, сушились раскрытые зонтики. В зале закрыли окна, и за черными стеклами часто вспыхивали сполохи, как демоны-глухонемые Тютчева. Как почти во всех итальянских провинциальных городках, гроза ощутительно влияла на работу местной электростанции, так что люстры и торшеры поминутно мигали, их накал ослабел, и казалось, что они вот-вот погаснут, и тогда ресторанный зал со всеми обедающими погрузится во мрак. Чувствовалось, что слабая городская электростанция уже не в силах побороть натиск небесных сил, и действительно, в зале вдруг наступила полная тьма. За громадными окнами загорелись огни Святого Эльма, затрепетало синее пламя грозы, лица и руки у всех людей стали как бы сделаны из синего светящегося стекла. «Принесите канделябры!»— раздался спокойный, повелительный голос метрдотеля, и вот именно в этот-то самый миг я вспомнил итальянского мальчика Луиджи, который полвека тому назад греб стоя, везя нас троих — папу, Женю и меня — в «Гротто Азуро»,— нас троих, из которых остался на белом свете один только я. Сомнений не было: мальчик Луиджи и седой лодочник на лестнице возле площади — одно и то же лицо. Через пятьдесят лет мы встретились, у него оказалась зрительная память лучше, и он первый меня узнал: теперь мне стало вполне понятно дружеское выражение его лица и немного грустная улыбка, обращенная ко мне, как бы говорящая: как мы оба постарели с тобой, русский мальчик.

Пятьдесят лет. Полстолетия. Какой, в сущности, пустяк по сравнению с жизнью всего человечества! Лакеи, не мешкая, внесли зажженные канделябры, осветившие, как жаркие золотые костры, нарядный ресторанный зал со всеми его цветами, вьющимися растениями, хрустальным и фарфоровым блеском кувертов, крахмальными салфетками и бокалами, до половины налитыми льдисто-

мерцающим белым и церковно-горящим красным вином. Увы, больше нам не удалось встретиться с синьором Луиджи и пожать друг другу руки. Лишь однажды, купаясь под сваями уже заколоченной на зиму купальни, мы увидели с берега моторный катер с туристами, направлявшийся вдоль бухты Марина Гранде к Голубому гроту, и на носу, повернувшись лицом к публике, расставив крепкие ноги, синьор Луиджи красноречиво описывал достопримечательности Капри, стараясь перекричать треск старого мотора. Больше я его не видел, но уверен, что когда в следующий раз поднимусь на фуникулере и выйду на знакомую райскую площадь, то первый, кого я увижу, будет святой Луиджи, и мы молчаливо улыбнемся друг другу земной улыбкой, как старые незнакомые друзья.

Ни с чем не сравнимое сладкое ощущение потери времени, вернее, его смещения... Все чаще и чаще оно преследует меня теперь, на склоне лет. Вижу Капри таким, каким он был пятьдесят лет тому назад, в один знойный июльский день 1910 года, и Ленина, скачками идущего вниз по крутой скалистой дороге, мимо исполинских агав и кактусов к бухте Марина Пиккола, где он любил купаться.

Не мог же Ленин, живя на Капри, не купаться! Наверное, купался. Представляю себе, как, аккуратно сложив брюки и повесив пиджак на вешалку в купальне с дешевым, как бы жестяным зеркалом, где сухо пахло раскаленными сосновыми досками и узкий солнечный луч бил в овальную дырочку выскочившего сучка, пронизывая сумрак тесной кабины и рисуя на стене маленькое, цветное, перевернутое низом кверху изображение движущихся волн и скал Фаралионе, как в камере-обскуре, Ленин вышел из кабины и стал прохаживаться по веревочной дорожке, давая себе остыть, а потом спустился несколько боком по лесенке на скалы, обжигавшие подошвы ног, фыркнул и вдруг решительно бросился в воду,

раскидав вокруг себя сверкающие брызги. Сначала он плыл, высунувшись из воды почти по пояс, по-волжски, саженками, или, как говорят на юге, «на размашку», а потом лег на спину, заложив крепкие руки за голову, и закачался на волне. Волна осторожно носила его туда и назад, поднимала и опускала, поворачивала его небольшое золотистое тело, освещенное неистовым итальянским солнцем. Он лежал с закрытыми глазами и сквозь рыжеватые сомкнутые ресницы видел пурпурно-красное сияние какого-то фантастического, бесформенного, почти абстрактного и вместе с тем такого осязаемо-материального мира солнечного света, пронизавшего кровеносно-сосудистую сетку его закрытых век. Ленин отдыхал от приятной, но немного утомительной жизни на вилле Блезус, где великого Горького вечно окружали разные люди: и гости, и приезжие, и друзья, и враги, которые годами жили у Горького, «свои» и «чужие»— словом, толчея непротолченная, в которой Горький чувствовал себя преотлично: изучал характеры, делал художественные наблюдения, обобщал. Со стола целый день не сходила еда, совершенно так, как в горьковских пьесах. Ели, пили, закусывали. Только еда была итальянская — много зелени, рыба, спагетти, рисовый суп с лимоном, розовое или белое каприйское вино, сыр гарганзола и в большой вазе серо-лиловые морщинистые фиги и зеленый миндаль, который не кололи щипцами, а разрезали ножом — так нежна была еще не затвердевшая скорлупа под мясистой суконно-зеленой кожей — и лакомились еще не вполне созревшими миндалинами восковой спелости. Они были упоительно вкусны, особенно после глотка прохладного розового «тиберия».

Я это описываю с такой точностью, потому что в двадцатых годах гостил у Горького в Сорренто, где, конечно, трен жизни* ничем не отличался от каприйского. И разумеется, целый день, начиная с часу дня — до этого времени Горький уединенно работал,— множество самого различного народа, шум, споры, дискуссии, чтение старых и новых стихов, прозы, шутки, смех, остроты, даже забавные переодевания и нечто вроде шарад. Не думаю, чтобы

все это слишком увлекало Ленина, который не выносил пустых словопрений и ни к чему не обязывающих мимолетных мыслей, кроме того, наученный горьким опытом парижской эмиграции, он с величайшей осторожностью относился к знакомству с малоизвестными людьми. Вообще Ленин, по воспоминаниям Н. А. Алексеева*, «совершенно не способен жить в коммуне, не любит быть постоянно на людях». В этом отношении жизнь у Горького, без сомнения, сильно утомляла Ленина. Он держался, сколько это было возможно, особняком.

У него был маленький тоненький карандашик и маленькая записная книжечка, куда он, отстав от шумной компании во время какой-нибудь прогулки или экскурсии, что-то быстро, но тщательно вписывал своим прелестным почерком. «Вместе с простотой и прямотой обращения, которые привлекали к нему,— пишет А. Шаповалов*,— от него веяло отчасти холодком, который ставил собеседника на некоторое расстояние от него».

Лежа на спине в море, он отдыхал. Отдыхал, разумеется, чисто физически. Отдыхало его тело, его мускулы. Но умственно он никогда не отдыхал. Его ум всегда — и во сне тоже! — работал, кипел напряженной, титанической работой мысли.

«Только через много лет,— пишет С. И. Гопнер*,— когда было издано полное собрание сочинений В. И. Ленина, мы узнали по-настоящему, какую титаническую работу, теоретическую, политическую, организационную, проделал Владимир Ильич в те годы».

Тело его отдыхало, ум — кипел.

По всей вероятности, именно тогда окончательно созрело решение в противовес каприйской, так называемой «партийной школе», которая ничего, кроме вреда, делу партии не приносила, как можно скорее устроить собственную, ленинскую, настоящую, рабочую, большевистскую школу в Париже или еще лучше в целях конспирации где-нибудь под Парижем. Время не ждало, нужно было

действовать. Ленин был человек действия. И он так же внезапно, как решил ехать на Капри, теперь решил незамедлительно возвращаться во Францию.

И вот последний его каприйский вечер. На вилле Блезус опять множество гостей. На террасе ужинают. Как в России на даче, горят свечи под стеклянными колпаками. Вокруг кружатся ночные бабочки. Внизу в черноте кричат цикады. В клетке мечется один из двух попугаев Горького, по имени Лоретта. Она никого не подпускает к своей клетке, кроме Горького. Лоретта судорожно хлопает крыльями, выкрикивает бессвязные слова пронзительным картавым голосом, как взволнованная француженка. Перья во все стороны, горбатый клюв, сумасшедшие глаза с замшевыми веками.

— Закатывает истерику,— говорит Горький Ленину, подходит к клетке и бесстрашно просовывает сквозь прутья сухой, тонкий указательный палец.— Истерическая особа. У нее личная трагедия.

Услышав знакомый голос, Лоретта постепенно замолкла, стала утробно клокотать, как квочка, успокоилась...

Ленин исчез незаметно, «по-английски». Он спустился вниз по каменной лестнице, как бы с головой окунулся в непроглядную тьму, жаркую, тропически душную, насыщенную бальзамическим запахом раскаленных за день сосен, лавровишен, цветущих по всему острову, каперсов. Подошвы сандалий скользили по хвое, а вокруг продолжали с утроенной силой трещать, деревянно пилить ночные цикады, оглушая и вместе с тем странно успокаивая нервы. То и дело мелькали летающие светлячки; пунктир их полета напоминал движение конькобежца елочкой: то направо, то налево, то направо, то налево, то вспыхивает, то гаснет. Потом стали слышны громкие, подмывающие звуки расстроенного фортепьяно: это в

синематографе под открытым небом в парке Адриана таперша наяривала матчиш. Ленин увидел среди деревьев, в листве, громадный, ярко светящийся, мигающий экран натянутого полотна, по которому в такт матчиша, заглушаемого взрывом смеха, передвигались несколько удлиненные фигуры. Ленин узнал фатоватую фигуру Макса Линдера с хризантемой в лацкане фрака, в белых гетрах и лакированных ботинках, с лоснящимся цилиндром в откинутой руке и тросточкой в другой руке, с темными усиками над белозубой улыбкой, с курносым носиком и по-женски прекрасными черными бархатными глазами, которыми он юмористически стрелял во все стороны, взбегая по винтовой парижской лестнице на второй этаж, где его уже дожидалась разъяренная дама в корсете, с половой щеткой, спрятанной за спину: «Матчиш — прелестный танец, живой и жгучий, привез его испанец, брюнет могучий»... Тарам, тарам... Звуки матчиша взбирались на самый верх, заливались стеклянной трелью и, хромая, бежали по клавишам с непристойной отдышкой отыгрыша. Взрывы хохота с равными промежутками следовали друг за другом.

Улыбаясь в потемках себе в усы, Ленин выбрался мимо заманчиво освещенных отелей на Пьяццу, сплошь заставленную столиками четырех кафе, прошелся возле магазинчиков, сиявших золотом, брильянтами, всяческими сувенирами, флаконами французских духов, множеством розово-голубых итальянских пейзажей с Везувием и пинией на переднем плане, в несуразно широких старинных золоченых рамах и в узеньких рамках модерн. Ленин ходил по совсем узким уличкам, извилистым, таинственным, стиснутым между каменными домиками зеленщиков, бакалейщиков, портных, сапожников, ювелиров. Он шел вдоль глухих стен, увитых ползучим виноградом и глицинией, под балконами роскошных вилл, откуда временами слышалась костяная дрожь мандолины и бархатный, приглушенный голос пел «О соле мио». «О солнце мое»,— думал Ленин, чувствуя то острое, нервное возбуждение — томительное и необъяснимое,— которое всегда вызывала

в нем музыка. Ему хотелось остановиться, сесть на каменный парапет, еще не остывший от дневного зноя, и всей душой без остатка отдаться этой ни с чем не сравнимой итальянской народной музыке, полной любви и страсти. Ему захотелось погрузиться в глубину этой каприйской ночи с ее цикадами, летающими искрами светляков и звездами над черным, словно китайская тушь, пространством Неаполитанского залива, где в одном месте с равными промежутками разгоралось и гасло зарево над незримым кратером огнедышащего Везувия, слабо освещая низко висящий над Неаполем жгут сернистого дыма. О, как полна была в эти минуты его душа, как натянуты нервы! И все это от безделья, подумал он. Нет, баста, хватит, надо поскорее возвращаться в Париж. За дело, за дело!

А в это время заканчивался сеанс синематографа, и под звуки вальса на экране шел Патэ-журнал*: над Боденским озером поднимался огромный, граненый, как карандаш, дирижабль графа Цеппелина — грозное видение надвигающейся войны.

Пробыл Владимир Ильич на Капри совсем недолго, но долго после его отъезда у Горького было грустное настроение, с которым он все никак не мог справиться.

По своему обыкновению провожая приятных ему гостей до Неаполя, Горький с увлечением показывал Ленину Помпею, неаполитанский музей, где он знал буквально каждый уголок. Они ездили вместе на Везувий и по окрестностям Неаполя.

Все это я также представляю себе очень точно, потому что в 1927 году летом Горький проводил нас из Сорренто до Неаполя и также показывал нам достопримечательности Неаполя. Была адская жара, что-то выше тридцати пяти градусов в тени, и мы страшно устали от ходьбы и обилия впечатлений. А так как, по словам М. Эссен*, Ленин «еле переносил посещение музеев и выставок», то нетрудно было представить его самочувствие в громадном Национальном музее в июле месяце среди сотен произве-

дений старинной живописи и скульптуры. Ленин любил все современное, живое, «любил живую толпу, живую речь, песню, любил ощущать себя в массе». А часами ходить по музею, каждую минуту останавливаясь перед статуями римских императоров, тиранов, громадных, нечеловечески-величественных,— нет, это никак не могло нравиться Ленину, как не могла ему нравиться римская государственность. Я думаю, что Ленин — самый человечный человек, опередивший на несколько поколений свое время,— должен был с отвращением смотреть снизу вверх на громадные мраморные фигуры низколобых цезарей с животным выражением низменных мускулистых лиц, с медальными профилями и стеклянными вставными глазами — вроде статуи Сципиона Африканского,— идолы, изделия римских ваятелей — льстецов и подхалимов, послужившие через несколько тысячелетий образцом для других многочисленных статуй. Среди множества грязно-белых мраморных скульптур первого этажа каким-то образом оказалось небольшое, немного меньше чем в рост человека, отлитое из темной бронзы изображение пьяного сатира с гроздью винограда в одной руке и чашей в другой — старенького, хитренького, на козлиных ножках, с умным, добродушным лицом, таким человеческим со всеми его милыми человеческими слабостями. Все же остальное, даже медная полоса меридиана, вделанная наискось в мозаичный пол громадного, как площадь, зала второго этажа, увешанного старинными полотнами, было совсем неинтересно и вызвало лишь утомление, несмотря на все старания Горького.

Зато как ошеломительно ударил в глаза нестерпимо яркий неаполитанский полдень, когда наконец вышли из музейного сумрака на улицу со звенящим трамваем, с криками мороженщиков «джелято, джелято!», с разноцветным бельем, развешанным между домами поперек темных, узких переулков, пересекающих нарядную Виа Рома. Как весело было смотреть на фонтан посередине площади Никола Аморе, вокруг которого в хорошеньких глиняных кувшинчиках продавалась чудесная неаполитан-

ская горная вода — «аква фреска» — по два сольдо за кувшинчик, запечатанный глиняной пробкой и покрытый матовой ледяной испариной. Приятно было очутиться на набережной в шумной толпе, среди менял, продавцов кораллов, аппетитной лапши на фанерной дощечке, среди босоногих неаполитанских мальчишек, грязных, как чертенята, которые совали в нос цветные открытки с видами Неаполя — «Карталина постале» — и выпрашивали все те же вечные два сольдо — «Due soldo, signor, due soldo». Как неповторимо, удивительно по-итальянски выглядели на фоне яркого неба потертые фасады старых домов, выкрашенных палевой водяной краской с бледно-зелеными жалюзи окон, выгоревших на солнце, а если стена была глухая, то на ней были нарисованы точно такие же ложные окна! Пахло чесноком, рыбой, жаренной на вонючем оливковом масле, свежеразрезанными гранатами из Амальфи. Ленину все это, конечно, ужасно нравилось: чем-то напоминало волжские пристани. Но Помпея, куда повез Горький, опять-таки не произвела должного впечатления. Примерно в это же время Бунин написал, что «Помпея казалась мне скучней пустых могил, мертвей и чище нового музея». Дымящийся Везувий, несколько веретен кипарисов и большая, почти черная зонтичная пиния с плоской кроной на первом плане были действительно прекрасны, не могли не волновать, несмотря на свой несколько олеографический розовато-голубой колорит.

Захотелось подойти к Везувию поближе. Поехали по железной дороге до Пулианы, оттуда — десять минут на фуникулере, а следующие десять минут пешком, пока вдруг не очутились, минуя седые от вулканического пепла виноградники, на самом краю кратера, откуда по каменистой почве тяжело полз молочно-бело-желтый сернистый дым и лизал пыльные сандалии Ленина.

Потом съездили в экипаже на могилу Виргилия. Здесь Ленина опять охватила прелесть простого, дикого, деревенского пейзажа, радость милой человеческой жизни, воспетой сельским италийским поэтом, ставшим впослед-

ствии великим латинским писателем. Не могу удержаться, чтобы снова не вспомнить Бунина, одно из его самых прелестных стихотворений, опять-таки написанных примерно в те же годы у гробницы Виргилия. В этом стихотворении описываются дикий лавр, и плющ, и розы, дети, тряпки по дворам, и коричневые козы в сорных травах по буграм... Все это — и коричневых коз, конечно,— видел Ленин, когда приехал с Горьким на могилу Виргилия. Видел он также с высокого неаполитанского берега: без границы и без края моря вольные края... Обращаясь к Виргилию, Бунин воскликнул:

Верю — знал ты, умирая,
Что твоя душа — моя.

Знал поэт: опять весною
Будет смертному дано
Жить отрадою земною,
А кому — не все ль равно!

Запах лавра, запах пыли,
Теплый ветер... Счастлив я,
Что моя душа, Виргилий,
Не моя и не твоя.

Обедали внизу, у самой воды, на набережной против отеля «Санта-Лючия»— съели лангусту,— а на другое утро, уезжая обратно во Францию, Ленин, быть может, и повторил ту фразу, которую Горький приводит в своих воспоминаниях о Ленине:

— А мало я знаю Россию. Симбирск, Казань, Петербург, ссылка и — почти все!

Следующей весной осуществилась мечта Ленина создать партийную школу для работников партийных организаций крупных пролетарских центров России. В ней обучалось восемнадцать рабочих-подпольщиков из Петербурга, Москвы, Сормова, Иваново-Вознесенска, из Екате-

риновславской губернии, Николаева, Баку, Тифлиса, Домбровского района (Польша) и других городов. Это все были подлинные пролетарии, люди от станка, революционеры до мозга костей, цвет российского рабочего класса. Один из них рассказывал мне о духе строжайшей партийной дисциплины и конспирации, которые царили в этой ленинской школе. Ничего общего не было у слушателей этой школы с большинством парижской социал-демократической организации, в достаточной мере зараженной ликвидаторством, идеологией контрреволюционного либерализма и порядком уже разложившейся вследствие самого духа парижской жизни с его шумными кафе, где подчас с утра до вечера слышалась пустая болтовня. «Эмигрантщина и склока неразрывны,— писал в это время Ленин.— Но склока отпадает: склока остается на 9/10 за границей; склока это — аксессуар. А развитие партии, развитие с.-д. движения идет и идет вперед через все дьявольские трудности теперешнего положения».

Преодолевая эти дьявольские трудности, в ленинской партийной школе должны были готовиться рабочие революционные кадры для действия непосредственно на заводах и фабриках России, подготовляя новую революцию, которая ни в коем случае не должна была повторить роковые ошибки пятого года! Школу решили организовать в деревне Лонжюмо, в пятнадцати километрах от Парижа, в местности, где не жило никаких русских, никаких дачников. Короче говоря, школа была серьезно законспирирована. Лонжюмо представляло собой длинную французскую деревню, растянувшуюся вдоль шоссе, по которому каждую ночь, мешая спать, ехали возы с продуктами, предназначенными для насыщения «чрева Парижа». Один из учеников школы Лонжюмо рассказывал мне, в какой строгости держали их. В порядке партийной дисциплины им было запрещено общаться с эмигрантской публикой, среди которой подчас орудовали шпики царского правительства и провокаторы, что впоследствии и подтвердилось. Когда я спросил, что из себя представляла в то время парижская эмиграция, попросил описать обстановку

кафе, где она собиралась, залы, где происходили дискуссии и всевозможные рефераты, услышал в ответ:

— Мы ничего этого не знали. Нас от всего этого держали на пушечный выстрел. Конспирация была железная. Мы ни с кем не имели права знакомиться, и с нами тоже никто не знакомился, просто не имели понятия о нашем существовании. Общались мы исключительно с тем ограниченным кругом большевиков, которые имели прямое, непосредственное отношение к школе в Лонжюмо. Всего один или два раза были в Лувре, где Луначарский давал нам предметный урок эстетики. И это все. По окончании занятий в школе мы немедленно нелегально возвратились обратно в Россию на подпольную работу. Нас называли «ленинцами» или «агентами Ленина», и мы этим очень гордились и продолжаем гордиться до сих пор,— конечно, те, которым выпало счастье дожить до наших дней.

Считается, что ленинская школа в Лонжюмо была предшественницей будущих большевистских партийных школ и коммунистических университетов.

«Когда мы нанимали квартиры ученикам,— вспоминает Крупская,— мы говорили, что это русские сельские учителя... Больше всего французов удивляло, что наши «учителя» ходят сплошь и рядом босиком (жарища тем летом стояла невероятная)...»

Каждый раз, бывая в Париже, я непременно посещаю Лонжюмо. Пройтись по его непомерно длинной улице, посмотреть на маленький двухэтажный домик, каменный, почерневший от времени и от копоти местной кожевенной фабрики, домик, в котором некогда жил Ленин, сделалось для меня потребностью. Я привык к Лонжюмо, и временами мне кажется, что я его хорошо знаю с детства, что я когда-то в нем жил. Но это иллюзия, удивительный феномен смещения времени — аберрация памяти, подобная аберрации зрения, о которой я уже несколько раз упоминал на этих страницах.

Впервые я приехал в Лонжюмо поздней осенью, несколько лет тому назад. Крупская называет Лонжюмо деревней, но я думаю, что это, скорее всего, маленький

захолустный городок, невероятно длинно растянутый вдоль шоссе, идущего от Парижа на юг. Это шоссе и является в пределах Лонжюмо его главной и чуть ли не единственной улицей, состоящей из двух- и трехэтажных домиков, узких по фасаду, с магазинчиками, булочными, бакалейными, колбасными, зеленными, мясными, парикмахерскими с конским хвостом, табачными с красной сигарой и аптекой с зеленым крестом в первых этажах и с мансардами под графитными крышами, точно такими же, как в любом другом городе Франции и в любом парижском предместье. Эта главная улица Лонжюмо называется, разумеется, Гранд-рю, и в домике под номером 91 жил Ленин с Надеждой Константиновной. На темном фасаде, снизу до половины залитом вечной грязью из-под колес,— как все фасады, выходящие вплотную на проезжую часть улицы,— я увидел небольшую мемориальную доску с профилем Ленина. Надпись гласила:

Ici a vécu et a travaillé en 1911
V. I. Lenine
théoricien et guide
du Mouvement communiste international,
fondateur de L'Union Soviétigue.

«Здесь жил и работал в 1911 г. В. И. Ленин — теоретик и вождь международного коммунистического движения, основатель Советского Союза». Невозможно было без волнения и гордости читать эти слова, полные такого громадного исторического значения и такого величия. Пройдя через узкий проход в стене, мы проникли в крошечный вонючий дворик, сырой и темный, с квадратиком пасмурного неба над головой. Затем мы поднялись по шаткой деревянной лестнице и очутились перед старой, захватанной руками дверью, которую отворила пожилая женщина в фартуке.

— Да, да, это здесь,— сказала она, не дожидаясь вопроса, закивала головой в чепчике и ввела нас в маленькую комнату, такую же темную и вонючую, как и все, что находилось в этом доме. Комната была заставлена двумя старыми деревянными кроватями, ножной швейной

машиной — старомодной, неуклюжей,— столиком и креслом с продавленным сиденьем. Тут нас встретил старик хозяин, с опущенными усами, как у Кашена, в старом синем комбинезоне с цинковыми пряжками, нездорово плотный, типичный пожилой французский рабочий — слегка тугой на ухо и не слишком радушный. Узнав, что мы советские люди, он молчаливо порылся в стенном шкафчике и поставил на стол начатый литр красного вина «Ординер» и четыре толстых стаканчика. Мы заговорили о Ленине.

— Это был великий человек,— сказал хозяин,— он жил у нас со своей женой, русской учительницей Крупской, вот в этой самой комнате, где мы сейчас находимся, и они спали на этих самых кроватях, и когда товарищ Ленин подходил к этому окну, то видел то же самое, что мы видим теперь: черную грязную стену и над ней кусочек французского неба, которое не всегда, конечно, бывает таким паршивым, как сегодня. Я хорошо помню товарища Ленина. Я называю его товарищем, потому что я так же, как и он,— мы оба принадлежим к партии коммунистов. Видите, товарищи, как скромно жил Ленин! Он был вождь мирового пролетариата, основатель Советского государства, а жил, как я — простой французский рабочий-кожевник. А ел, я вам скажу, даже хуже, чем ели мы. Довольно часто товарищ Крупская жарила на керосинке на обед картошку на подсолнечном масле, и Ленин запивал этот обед русским чаем. Vous savez ça!

Осмотр комнаты был быстро окончен, потому что, по правде говоря, осматривать было нечего. Это была скромность, граничащая с нищетой.

— Расскажи им про чулан,— сказала хозяйка, когда мы уже начали прощаться.

— Да! Чулан! — воскликнул хозяин.— Я чуть не забыл. В то время, когда у нас жил Ленин, к этой комнате примыкал чулан. Потом его заделали и заклеили обоями: он портил вид. Но недавно нам снова понадобился чулан, и мы его открыли. И вы знаете, что мы в нем нашли? Шляпу Ленина!

— Да,— сказала хозяйка,— вообразите себе, старую шляпу Ленина!

— Черную велюровую шляпу,— прибавил хозяин,— с довольно широкими полями.

— Где же эта шляпа? — спросил я.

— Я сдал ее в районный комитет нашей партии. Они лучше меня сохранят эту реликвию.

Но лично я думаю, что эта шляпа вряд ли принадлежала Ленину. Он таких шляп, по-моему, не носил. Скорее всего, это была шляпа Зиновьева, который жил рядом с Лениным. Во всяком случае, на фотографиях Ленина вы такой шляпы не найдете. Впрочем, это совсем неважно. Я ничего не сказал о своих сомнениях старому рабочему, и мы дружески простились. Он жал нам руки и все время повторял:

— Ленин был великий человек. Он совершил то, чего не мог сделать до него никто. Робеспьер по сравнению с ним мальчик. Я счастлив, что знал его. Он жил у меня... Вот здесь... спал, ел, читал, писал... Это незабываемо. Передайте вашей стране, созданной его гением, привет и братство от старого французского рабочего-коммуниста.

На его глазах блестели слезы, все его морщинистое лицо с носом и щеками, побелевшими от старости, выражало чувство гордости тем, что он так близко знал Ленина. Его руки слегка дрожали. Больше я его уже не видел. Когда через год мы снова приехали в Лонжюмо и зашли сюда, в «ленинскую квартиру», старого хозяина уже не было в живых. Вытирая передником щеки, его жена впустила нас в осиротевшую квартиру, показавшуюся нам еще более темной, тесной, запущенной. Она подняла морщинистые руки ладонями вверх и сказала:

— Voilá tout! Вот и все!

В застоявшемся воздухе слышался запах лекарств. Швейной машины не было. Видно, недешево обошлась этому дому смерть хозяина. Я поцеловал старую, жесткую руку хозяйки. Молчаливо мы вышли на улицу.

Сама школа находилась в противоположном конце Гранд-рю, номер 17. Нужно было войти в ворота и пере-

сечь внутренний дворик, хорошо убранный, чистенький, с вьющимися растениями и клумбочками, замощенный светло-желтой щебенкой, отчего он казался во всякую погоду как бы освещенным солнцем. Видимо, владение принадлежало зажиточному хозяину. Во Франции не очень-то принято без спросу заходить в чужие дворы. Мы уже собрались позвонить в дверь небольшого флигелька, увитого плющом и отцветающими розами, как зеленая дверь отворилась и к нам вышел хозяин. Он был тоже, как и хозяин ленинской квартиры, в синем комбинезоне, простроченном по швам в два ряда крепкими белыми нитками, рукава его сорочки были засучены по локоть; лицо выражало строгость, сознание собственного достоинства и в то же время какую-то сухую, сдержанную любезность, которая в любую минуту могла перейти в раздражение. Мы представились и попросили его разрешить осмотреть помещение, где некогда находилась ленинская школа. Он терпеливо выслушал нас, а затем, не говоря ни слова, повел в конец двора и пригласил войти в довольно большое запущенное помещение, имевшее также выход и на другую улицу. Это был не то сарай, не то какая-то мастерская, давно уже пустующая.

— Это здесь,— сказал он.— Когда-то давно, еще до моего рождения, в нашем дворе находилась стоянка дилижансов, а помещение, где вы находитесь в данное время, являлось не чем иным, как местом, где отдыхали кучера дилижансов. Здесь также могли подковать лошадь и произвести небольшой ремонт дилижансов или тележек, в которых местные фермеры возили масло на Центральный парижский рынок. Видите, от тех времен здесь сохранился небольшой кузнечный горн. Вот он. Им еще иногда пользуются. Но редко.

Мы осмотрели старый почерневший горн, источавший слабый угарный запах каменноугольного дыма. Ржавые железные обручи висели на кирпичной выбеленной стене. Таково было единственное классное помещение ленинской школы в Лонжюмо.

— Где же сидели ученики?— спросил я.

— Не помню,— ответил хозяин.— Я был тогда слишком мал. Где-то сидели. Я смутно помню, что они где-то сидели. Вероятно, на скамьях, которые тогда здесь стояли. Я помню, что некоторые из них что-то записывали в тетради.

— А преподаватели?

— Кажется, преподаватель сидел за столиком на плетеном стуле, который каждый раз брал у нас на кухне. Это я хорошо помню.

— А вы помните Ленина?

— Не могу этого утверждать. Я был слишком мал. Я думаю, их было несколько, преподавателей. Среди них даже была женщина. Дама. Даму я запомнил. Впрочем, может быть, женщин было две или три. Одну из них я особенно запомнил. У нее была французская фамилия. Мадам была не красива, но очаровательна: великолепные каштановые волосы и черные красивые глаза. Я был совсем маленьким мальчиком, но я до сих пор помню эти прелестные, теплые глаза. Она была настоящая француженка. От нее пахло хорошими духами. Я думаю, это были духи «Вэра Виолетт» фабрики Пивера или что-нибудь в этом роде, цветочные духи, а не абстрактные, как теперь. Она была чем-то вроде инспектора классов.

— Инесса Арманд? — спросил я.

— Не знаю. Я только помню, как она приносила расписание уроков и отмечала в списке опоздавших. Иногда она делала им замечание, что явились босиком. Это было очень смешно — целый ряд босых ног.

— Но неужели вы не помните Ленина?

— Мсье, я сам рабочий, социалист. Но я не принадлежу к партии коммунистов. И я не разделяю доктрину Ленина. Я ее считаю в лучшем случае бесполезной. Во всяком случае, для французов. Для русских она, может быть, и годится. Для славян, для поляков — может быть. Но я не могу не считаться с фактом существования Ленина, и я даже вполне думаю, что он был выдающимся человеком. Поэтому я охотно пускаю сюда посетителей. Но лично мне совершенно безразлично, была ли здесь

когда-нибудь школа или не была. Прошу вас, осматривайте! Я не буду вам мешать. Я уважаю чужие убеждения.

Но больше осматривать было нечего.

— И много у вас здесь бывает посетителей? — спросил я.

— Не слишком много,— ответил он.— Но и не очень мало. Почти каждый день кто-нибудь наведывается из Парижа. Все больше иностранцы, славяне. Но, конечно, бывают и французы: студенты, рабочие...

Вдруг его лицо оживилось.

— До войны сюда приезжал один ваш знаменитый советский авиатор. Красивый человек с широкими плечами, в очень хорошем костюме. Войдя сюда, он снял свою фетровую шляпу — в знак уважения к этому месту. И долго стоял молча. Этот русский большевик мне, признаться, очень понравился. Вы, наверное, его хорошо знаете. Его имя трудно для произношения: мсье Чкалов,— с усилием произнес он.

— Так здесь был Чкалов!— воскликнул я.

— Да. И он, так же как и вы, расспрашивал меня о Ленине и о его школе, но я ничего не мог ему сказать интересного, потому что я не политик, хотя и читаю «Либерасьон». «Либерасьон», конечно, не «Юманите», но все-таки... Для меня она достаточно левая. До свиданья, мсье. Рад был оказать вам услугу, хотя, по правде сказать, меня утомляют эти постоянные посещения. A bientôt!

Он скрылся в своем домике, как бы втянулся в него, как улитка в свою хорошенькую раковину, а я еще некоторое время стоял возле старого горна, представляя себе лето 1911 года, невероятную жарищу и Ленина без пиджака, в рубашке апаш, с открытой шеей, который, вытирая мокрую лысину носовым платком, входил в единственный класс своей партийной школы, садился за столик на кухонный стул и клал перед собой маленькие исписанные листочки — план лекции.

...Мы знаем, каков был Ленин на трибуне. Об этом много написано. «Никакого оратора не слушали так, как Ле-

нина,— пишет, например, М. Эссен.— Впервые я увидела его на трибуне в 1904 году в Женеве, когда он делал доклад о Парижской коммуне. Ленин на трибуне весь преображался. Какой-то весь ладный, подобранный, точно сделанный из одного куска. Вся сила сосредоточена в голосе, в сверкающих глазах, в чеканной стальной фразе... Мне приводилось тогда слышать очень крупных ораторов, которые говорят точно для того, чтобы поразить слушателей, блеснуть яркой фразой, остроумной шуткой, умеют использовать силу и гибкость голоса, плавный жест, красивую позу. Таковы были Плеханов, Жорес, Вандервельде*, считавшиеся мировыми ораторами. В их выступлениях было много эффектного, но мне никогда не удавалось отрешиться от впечатления какой-то искусственности их речей... Не то Ленин. Непередаваема сила его речей. В них нет как будто никакого внешнего блеска, они просты и ясны, но, слушая Ленина, забываешь обо всем. Он овладевает слушателем всецело. И тут разница между Лениным и Плехановым разительна... Плеханов любил красиво отточенные фразы. Он знал цену своему таланту, знал, когда повысить и понизить голос, умел вовремя блеснуть остроумием, поднять утомленное внимание аудитории кстати рассказанным анекдотом. Но его слушали спокойно, он волновал в меру... У Ленина нет этого внешнего блеска, он не оттачивает фразы, но тем не менее именно его слушают... так, точно он раскрывает твои самые сокровенные мысли, заветные мечты. Другие ораторы восхищают, но слушаешь их точно со стороны,— Ленин зовет к действию. Его речи зажигают энтузиазмом и желанием действовать. Речи Ленина нельзя забыть: все чувствуют, что он сказал самое важное и нужное... Ленин говорил о Коммуне, и мы ощутили ее могучее дыхание, ее пафос, ее трагедию, ее мировое значение. Парижская коммуна встала перед нами, как сверкающая заря новой жизни, как первый опыт рабочих взять власть в свои руки. Мы мысленно видели осажденный Париж, трусость и предательство господствующих классов, продажное правительство, сбежавшее в Версаль и предавшее

родину, мы увидели героический рабочий класс, взявший на себя защиту отечества и задачу построения государства на новых началах. Ленин показал все трудности выполнения этих задач, вскрыл все противоречия, ошибки Коммуны, рассказал о ее гибели... Я до сих пор помню и эту речь, и тот энтузиазм, какой она вызвала. Из всей речи Ленина, такой вдохновенной и огненной, стало ясно, что Парижская коммуна — не только героический эпизод истории, показывающий силу и мощь рабочего класса, но и вдохновляющий пример для нас... С собрания возвращались небольшой компанией, все были радостно возбуждены. Я спросила Ленина:

— Неужели мы доживем до того времени, когда Коммуна снова встанет в порядок дня?

Ленин встрепенулся.

— А вы сделали такой вывод из моего доклада?! — спросил он.

— Да, и не одна я, а все, кто слушал вас сегодня.

Слушать Ленина на собраниях, видеть его за работой, углубленного в книги, или за разрешением политических вопросов, слушать его планы поражения противников, его уничтожающие характеристики — все это давало яркую картину его многогранности...»

Отличная характеристика Ленина-трибуна, полемиста, политического оратора, «вдохновенного и огненного». Но до сих пор, кажется, нигде еще не написано о Ленине — не лекторе, не политическом ораторе, не революционном трибуне, а о Ленине-учителе. Учителе не в высоком, философском значении, а об учителе-преподавателе. В Лонжюмо Ленин был учителем в самом прямом, бытовом смысле этого слова. Он не только «читал лекции», но и просто «давал уроки», как это делается в народных школах и гимназиях, хотя эти уроки и назывались лекциями.

Занятия в партийной школе Лонжюмо происходили регулярно. Владимир Ильич был загружен больше всех преподавателей: 29 лекций по политической экономии,

12 — по аграрному вопросу, 12 — по теории и практике социализма в России. Семинарскую работу по политической экономии вела Инесса Арманд.

Надежда Константиновна Крупская говорила мне, что лекции Ленина больше всего напоминали самый обыкновенный школьный урок, и Ленин был в это время не вождь, не трибун, даже не профессор, а простой русский учитель, старающийся как можно яснее и доходчивее растолковать свой предмет взрослым ученикам. Он объяснял, спрашивал с места, заставлял иногда повторить только что сказанное им, сердито стучал карандашом по столу, если замечал, что кто-нибудь невнимателен.

...Представляю себе Ленина, как он сидел, сгорбившись, и слегка покачивался на кухонном стуле с плетеным сиденьем, поджимая под себя крепкую ногу, иногда вставал и ходил перед учениками взад-вперед, разминаясь и тревожно поглядывая на босые ноги некоторых своих взрослых учеников.

— Присягин*, повторите, что я только что сказал?

— Вы сказали, Владимир Ильич, что старые экономисты, обманывая себя и других, любили ссылаться на Бельгию. А новоэкономисты, то есть ликвидаторы, любят ссылаться на мирное получение конституции Австрией...

— В каком году?

— В 1867-м.

— Хорошо! — одобрительно кивнул Ленин.— Но что же из этого следует?

— Из этого следует, что и старые экономисты, и наши ликвидаторы выбирают такие примеры, случаи, эпизоды из истории рабочего движения и демократии в Европе, когда рабочие бывали в силу тех или иных причин слабы, бессознательны, зависимы от буржуазии, и подобные примеры выставляют как пример для России.

— Хорошо,— еще более одобрительно кивнул Ленин.— Какой же вывод мы должны сделать для себя как для партийных работников, большевиков, подлинных революционеров?

— Должны сделать тот вывод, что и экономисты и

ликвидаторы есть проводники буржуазного влияния на пролетариат. Верно, Владимир Ильич?

— Абсолютно так. Прекрасно, товарищ Присягин. Запомните же это все и никогда и ни при каких обстоятельствах во время вашей практической революционной работы в России не поддавайтесь этому гнилому буржуазному влиянию, ибо оно может привести к гибели все наше дело. Садитесь, пожалуйста, Присягин.— Ленин с улыбкой произнес эту старорежимную, какую-то унтер-офицерскую фамилию.— Пойдем дальше.— И Ленин, поставив в записную книжку против фамилии Присягина птичку своим тоненьким карандашиком, перешел к столыпинской реакции.

Крупская пишет, что Ильич был очень доволен работой школы.

«В свободное время ездили мы с ним, по обыкновению, на велосипедах, поднимались на гору и ехали километров за пятнадцать, там был аэродром. Заброшенный вглубь, он был гораздо менее посещаем, чем аэродром Жювизи. Мы были часто единственными зрителями, и Ильич мог вволю любоваться маневрами аэропланов».

Ленина привлекало все новое, небывалое, революционное. Как раз недавно в мире произошла техническая революция, открывшая для человечества новую эру: люди научились летать на аппаратах тяжелее воздуха. Это еще были пока лишь первые попытки, но они уже не казались робкими. Каждый день приносил новые победы. Уже на весь мир прогремело имя французского авиатора Луи Блерио, перелетевшего на своем аппарате через Ла-Манш из Кале в Дувр — расстояние свыше тридцати километров по воздуху, над бурным проливом, что казалось тогда прямо-таки невероятным, во всяком случае, гораздо большим чудом, чем чудо Христа, согласно легенде прошедшего пешком по воде Генисаретского озера. Авиационная лихорадка охватила весь мир, в особенности Францию. Под Парижем, в Исси-ле-Мулино, устраивались шумные, напоминающие карнавал авиационные недели, где демонстрировались последние модели аэропланов. В Мурмело-

не состоялись международные гонки аэропланов. Туда съехались богачи со всего земного шара. Названия аэродромов «Ле Бурже», «Исси-ле-Мулино», «Жювизи» прогремели на весь мир и бесчисленное количество раз повторялись в газетных отчетах и агентских телеграммах. Любимым развлечением парижан стало ездить «на полеты».

Пользуясь малейшей возможностью, «Ильичи» садились на свои видавшие виды велосипеды и отправлялись «на полеты».

Как здесь уже упоминалось, Ленину ужасно не везло с велосипедом. Во время одной из поездок «на полеты» — в Жювизи — Ленин попал под автомобиль, сам по счастливой случайности уцелел, но велосипед его превратился в груду обломков. Марсель Кашен с восхищением и чудесным юмором рассказывал мне слышанную им историю о том, как Ленин после аварии, отряхнувшись от пыли и обмахнув носовым платком ботинки, искоса посмотрел своими живыми, темно-карими глазами на жалкие остатки велосипеда и будто бы сказал, обращаясь к Крупской:

— Видишь, Надя, от одного толчка извне велосипед превратился в свою противоположность, полностью сохранив количество своей материи. Качество в один миг перешло в количество. Теперь это уже не велосипед, а нечто совсем другое. Качество «велосипед» перешло в количество — «стальной лом».

«Товарищ Ленин,— заметил Кашен, поглаживая свои характерные усы,— никогда не пропускал случая на реальном примере показать непреложность законов диалектического материализма. Он был одновременно и практик и теоретик, кроме того, обладал настоящим высоким юмором, без чего нельзя себе представить истинно великого человека».

Ленин и Крупская сели на велосипеды и поехали по длиннейшей и скучнейшей Гранд-рю Лонжюмо, мимо

церкви с вечным петушком над крестом колокольни, где музыкально перезванивали жиденькие воскресные колокола, возвещая Анжелюс, мимо крошечной чистенькой площади, окруженной официальными зданиями времен империи: полицией, судом и мэрией с трехцветным флагом над фронтоном ампир. Площадь была окружена маленькими, очень коротко остриженными тополями с узловатыми ветками, а посредине стоял крошечный провинциальный памятник, воздвигнутый жителями Лонжюмо своему знаменитому гражданину, какому-то малоизвестному драматургу Адольфу Адаму, автору пьесы «Кучер почтового дилижанса». Цоколь памятника был украшен лирой и пальмовой веткой. Проезжая мимо него, Ленин и Крупская переглянулись и засмеялись: было действительно курьезно, что на местном постоялом дворе, где, по-видимому, разыгрывалось действие знаменитой пьесы Адольфа Адама, теперь разместилась русская партийная школа социал-демократов — большевиков. Времена меняются!

Они поехали по мостику над речкой с мопасановским названием Иветта, над неподвижной, заросшей камышами водой, на которой листья водяных лилий лежали, как палитры. В воде отражались глухие каменные стены домов, старая водяная мельница и задние дворы главной улицы, а дальше виднелись зелено-голубые, туманные луга, и барбизонские* рощи, и мутные июльские дали, изнемогающие от полуденного зноя. Улица была пустынна. Все население, видимо, находилось в церкви, откуда долетали грозовые звуки органа. Наконец выехали из Лонжюмо на простор, в поле, и помчались в облаке горячей пыли по проселку между двух стен поспевшей пшеницы, в чаще которой кое-где на декадентских стеблях ярко алели атласные чашечки дикого мака с черными газовыми пятнами сердцевины. Иногда попадались родные русские васильки, которые здесь, во Франции, напоминали маленькие голубые иностранные ордена. В небе заливались жаворонки. Тоже родные, русские. Стало весело, «Ильичи» припустили. Впереди мчался Владимир Ильич, как

машина, работая своими крепкими ногами, за ним с трудом поспевала Надежда Константиновна, в шляпке, сбитой ветром набок, в старых ботинках, с юбкой, зажатой между колен, чтобы не попадала в передачу. Они одним духом отмахали пятнадцать километров среди полей и рощиц — для них это были сущие пустяки — и наконец очутились на большом лугу глухого, отдаленного аэродромчика.

Полеты уже начались. Один аэроплан выводили из дощатого ангара, а другой уже находился в воздухе над острой колокольней сельской церкви, скрытой за холмом, так что виднелся только ее шпиль с крестом и петушком. Ленин пристально посмотрел на аэроплан, прикрыл глаза ладонью от солнца.

— Мы очень удачно попали. Это «Фарман-4». Посмотри, Надя, как он устойчиво держится в воздухе. А? Это тебе не какой-нибудь «Вуазен»!*

Аэроплан сделал крутой вираж и выровнялся. Вслед за тем слабенький, стрекозиный треск мотора прекратился. Мотор еще несколько раз чихнул и окончательно смолк. Наступила зловещая тишина.

— Падает! — слабо ахнула Крупская.

— Нет, нет, не волнуйся. Все в порядке. Смотри: сейчас авиатор будет делать планирующий спуск, так называемый «воль планэ».

Теперь биплан довольно высоко и, казалось, неподвижно висел над парком замка, повернутый фасом, так что обе его плоскости — верхняя длиннее, нижняя короче — с фигуркой авиатора между ними и с бензиновым медным баком, в начищенной поверхности которого желтой звездочкой отражалось солнце, отчетливо, во всех подробностях, рисовались на фоне летнего неба с несколькими белыми облаками, такими самыми, как где-нибудь в Шушенском или Уфе. Быстро увеличиваясь, аэроплан, как на салазках с высокой горы, поехал круто вниз, пролетел так низко, что едва не задел колесами шляпу Надежды Константиновны, и, обдав ветром и шумом кру-

тящегося по инерции пропеллера, коснулся луга и тотчас покатился, слегка подскакивая на своих велосипедных колесах по цветущему клеверу.

— Чудесно! — воскликнула Крупская.

— Каково мастерство! — воскликнул Ленин.— Ты обратила внимание, как он перед самой землей выровнял машину? А как великолепно сел? Изумительно! Но самое главное: кто бы мог подумать, что человек в такой короткий исторический срок научится летать? Летающий человек... Гм, гм... Это — принципиально новое качество человека. Правда, пока летают только избранные и аэропланы принадлежат богатым людям. Но когда пролетариат экспроприирует у капиталистов летательные аппараты и сделается хозяином не только земли, но и воздуха, тогда ого-го! Только держитесь, господа капиталисты!

И тотчас Ленин вернулся к мысли о судьбе Парижской коммуны, которая неотступно преследовала его. «Еще не известно,— подумал он,— как бы обернулось дело Парижской коммуны, если бы у парижских рабочих было в руках такое средство, как современная авиация. А то баллоны! На баллонах далеко не улетишь».

— Десяток-другой таких вот «Фарманов» пустить на Версаль,— сказал он.— Да начать сверху бомбардировку. Как ты думаешь, Надя? Эх, не было у нас в руках в пятом году летательных аппаратов тяжелее воздуха. Мы бы не допустили разгрома Пресни и всыпали бы по первое число господину Дубасову!

Пока опустившийся «Фарман-4» уводили в ангар и возились с другим аэропланом, пробуя капризничающий мотор, Ленин и Крупская положили свои велосипеды на траву, а сами сели на разостланные носовые платки. Ленин посмотрел на часы и, увидев, что стрелка показывает час, заметил, что пора завтракать. Крупская извлекла из велосипедной сумочки просалившийся сверток с двумя сдобными рогаликами — круассанами, а Ленин вынул из бокового кармана две плитки молочного швейцарского шоколада «Сюшар» в сиреневой глянцевитой обертке с головой сенбернарской собаки с бочоночком на ошейнике.

Это был их любимый завтрак во время вылазок за город. Старая швейцарская привычка. «Дешево и сердито»,— как любила говорить Надежда Константиновна. Тем временем приготовили для полета второй аэроплан. Вокруг него ходило несколько человек, одетых в элегантные полуспортивные костюмы. Среди них был один маленький черненький, в синем замасленном комбинезоне, с гаечным ключом в руке — механик, а другой — в желтых кожаных крагах и в клетчатой кепке, повернутой козырьком на затылок, с великолепными нафиксатуаренными усами и римским носом с чуть заметной галльской горбинкой — сам авиатор. Он ходил вокруг своего аппарата, время от времени пробуя, хорошо ли натянуты тонкие стальные тросы креплений, и поглаживал покрытую особым лаком поверхность несущих плоскостей, сделанных из натянутого тончайшего желтоватого полотна с темными пятнами касторового масла, покрытыми пылью. Крылья приходились по грудь авиатору. Это был моноплан с пропеллером впереди. Ленин с живым любопытством рассматривал маленький, звездообразный, пластинчатый мотор, вращающийся вместе с пропеллером.

— По-моему, это мотор «Гном»,— сказала Крупская, рассматривая аэроплан в маленький театральный бинокль, взятый у матери.

— «Гном-Рено»,— уточнил Ленин.— Шестьдесят лошадиных сил. Они его поставили на «Блерио». Это что-то новое.

— Контакт! — крикнул маленький моторист.

— Есть контакт! — ответил сурово авиатор.

«Гном-Рено» зафыркал, зачихал и стал быстро крутиться вместе с поблескивающим лакированным пропеллером. Ветер побежал по лугу, прижимая к земле цветы и травы. Теперь авиатор сидел на своем месте, опустив на глаза полумаску больших очков, и пробовал контакт, а трое господ и моторист держали аэроплан за хвост, чтобы он не улетел раньше времени. Один из господ, по-видимому собственник аэроплана, был в серой визитке и сером твердом котелке. Ветер сорвал с его головы коте-

лок и покатил по траве. Мелькая серыми элегантными гетрами и полосатыми брюками, господин побежал за котелком, пытаясь его поймать ручкой бамбуковой трости, и наконец поймал. Ветер трепал на его лысой голове черную ленту крашеных волос.

Авиатор встал во весь рост на своем сиденье, повернул назад.

Он сделал немного театральный жест рукой в кожаной перчатке, приказывая отпустить аэроплан, поправил свои страшные квадратные очки, поудобнее уселся на своем сиденье, маленьком, как решето, и привязался ремнями. Мотор закружился изо всех сил, как поющий волчок. Господа, придерживая головные уборы, бросились врассыпную, маленький моторист некоторое время бежал рядом с аэропланом, давая последние наставления и посылая воздушные поцелуи авиатору.

— Bonne chance! Счастливого полета!

— Mersi, mon ami!

Аэроплан вырулил на прямую. Ленин вскочил с травы и побежал к тому месту, где, по его расчету, аэроплан должен был оторваться от земли. Если сам по себе полет к тому времени уже перестал казаться чудом, то самый взлет, тот сокровенный миг, когда между бегущим колесом аппарата и поверхностью земли вдруг оказывался еле заметный просвет, все еще продолжал восхищать, как волшебство, к которому существу земному не так-то легко было привыкнуть.

Ленин стремительно пробежал метров сто и совсем по-мальчишески упал животом в траву, измеряя живым и острым глазом пространство.

— Надя, сюда! Здесь он оторвется от земли. Скорее, не упусти момент!

Крупская прибежала, шумя юбкой, и легла рядом с мужем, не выпуская из рук крошечный бинокль. Жужжа мотором, моноплан бежал по лугу, приближаясь сбоку к «Ильичам».

— Наедет на нас,— прошептала Крупская.

— Не наедет,— уверенно сказал Ленин.

Теперь уже аэроплан бежал совсем близко мимо них. Прижавшись к земле и вытянув шеи, они видели велосипедные колеса с новенькими шинами, бегущие по траве. Они чуть подскакивали. Аэроплан поравнялся с Лениным и Крупской. Колеса слегка подпрыгнули и уже не сразу опустились, как бы повиснув в воздухе на высоте каких-нибудь двух дюймов от земли, но все-таки опять коснулись луга, затем снова подпрыгнули и уже на этот раз не возвратились на землю, хотя и находились над ней совсем низко.

— Бежит, но еще не летит; затем бежит, но в то же время и летит; потом летит, хотя в то же время и продолжает бежать; и наконец... стоп! Критическая точка... летит и уже не бежит. Количество перешло в качество. Смотри, Надя: летит! — радостно закричал Ленин, провожая оживленно блестящими глазами удаляющийся моноплан, между колесами которого и землей аэродрома уже виднелся широкий просвет и на горизонте дымчато-голубой парк с графитными крышами замка над купами деревьев.

Почему я так ясно представляю себе этот пейзаж, типичный для Иль-де-Франс лета 1911 года, знойный ветерок, шелковый блеск клеверного поля, брошенные в траву сиреневые обертки швейцарского шоколада «Сюшар», серебряные бумажки, до рези в глазах блестящие на солнце, аэроплан, косо повисший над дальней колокольней, его полупрозрачные желтые крылья с полосатыми, ребристыми тенями, напоминающими рентгеновский снимок? Почему я так ясно слышу и теперь стрекозиный треск слабенького «Гнома», чувствую запах касторки, пыли, бензина? Почему мне так приятно об этом писать? Вероятно, потому, что ведь и я сам, в то время четырнадцатилетний мальчик, увлекался полетами и затаив дыхание лежал в полыни, ловя тот сокровенный миг, когда на глазах совершалось волшебство полета, превращение тела, бегущего по земле, в тело, летящее по воздуху. Только

это было не под Парижем, а под Одессой, на стрельбищном поле, где в то время тоже почти ежедневно происходили полеты.

В степи были выстроены новенькие ангары, из их широких ворот выводили аэропланы, вокруг суетились господа в парижских полуспортивных костюмах, в серых визитках, в цилиндрах, как у Макса Линдера, в светлых гетрах на пуговицах, ни дать ни взять, как под Парижем, где-нибудь в Ле Бурже или Исси-ле-Мулино, с той лишь разницей, что господа были местные, одесские богачи, банкиры, промышленники — Анатра, Ксидиас, барон Рено. Что касается самих авиаторов, то они были хорошо известные всем нам, одесским мальчишкам, местные знаменитости, кумиры Пересыпи и Молдаванки — парикмахер Хиони, рабочий Костин, портовый грузчик Ефимов, гонщик-велосипедист Сережа Уточкин — люди простые, большей частью жители рабочих окраин, летавшие на чужих аэропланах, зарабатывая себе этим на хлеб насущный.

Так же как и под Парижем, в одесском летнем небе стрекотал слабенький мотор «Гном-Рено», и совсем низко над землей, за мачтами роты искрового телеграфа, почти по кромке стрельбищного поля со старыми мишенями и мешками, набитыми песком, медленно летел аэроплан, казавшийся мне в то далекое время улучшенным и более конструктивным вариантом какого-то искусственного насекомого, вроде обыкновенной стрекозы. Хотя с тех пор прошло больше пятидесяти лет, но и теперь всякий раз, когда я подъезжаю к Парижу и слышу слова «Ле Бурже» или «Орли», в моем воображении возникают картины первых лет авиации, и я со стереоскопической точностью представляю себе на месте ультрасовременного, громадного, белого международного аэровокзала, откуда можно за час долететь до Рима и за шесть часов до Нью-Йорка, маленький, захолустный аэродромчик с полотняными ангарами, летний полдень и лежащего в траве Ленина, ловящего прищуренными глазами тот качественный скачок, когда бегущее тело превращается в тело летящее. И в воз-

духе не шелестящий, почти космический свист реактивных двигателей межконтинентальных лайнеров, а слабое стрекотание маленького самодельного мотора.

Ужасно захотелось снова увидеть аэропланы моего детства, все эти летательные аппараты тяжелее воздуха, которыми некогда так увлекался Ленин. Нетрудно было достать их фотографии, посмотреть на них в старой кинохронике, но я мечтал увидеть их в подлиннике: те же самые, которые я видел тогда, потрогать их руками. Моя мечта казалась мне несбыточной. Вряд ли от них, от этих первых аэропланов, что-нибудь осталось, ведь они были так непрочны: дерево, тонкое, пропитанное лаком полотно, проволока... Трудно было представить, что все эти материалы могли сохраниться в течение полустолетия, тем более что за это время мир потрясали войны и революции, на Париж падали бомбы, бушевали пожары. Я никак не предполагал, что где-нибудь могут сохраниться хрупкие летательные аппараты начала века. И вдруг оказалось, что в Париже есть музей, где хранятся аэропланы того времени, не копии и не макеты, а те самые аппараты, на эволюцию которых, несомненно, любовался Ленин. Было не так-то легко отыскать этот музей, который не значился в путеводителях, тем более что нет людей менее любознательных, чем парижане, в особенности если дело касается какой-нибудь достопримечательности Парижа. Вам непременно ответят: не знаю, это, наверное, где-то в другом аррондисмане*.

Мы всюду разыскивали этот музей. Побывали в Иссиле-Мулино, где, как нас уверяли, по всей вероятности, и находится эта достопримечательность. Мы даже вошли в указанное нам здание, но оно оказалось пустым. Совершенно пустым. Это было как во сне, когда ты кого-то догоняешь, а он странным образом ускользает у тебя из рук и медленно удаляется, не оглядываясь и не показывая своего лица, а ты, задыхаясь, бежишь за ним и громко окликаешь его, но он не слышит, как будто между тобой

и им непроницаемая, но совершенно прозрачная стена. Мы блуждали по пустым залам, по зашарпанным, старым паркетам, наступая на какие-то шпагаты, бумажные обрывки, гвозди. Мы заглядывали за фанерные перегородки, делавшие это помещение чем-то похожим на советское учреждение двадцатых годов, и мне все время казалось, что вот-вот я вдруг открою еще какую-то самую главную дверь и вдруг увижу «Фарман-4» или «Блерио» моего детства.

Напрасно. Наконец нам встретилась старая толстуха в пенсне с розовым пластмассовым ведром и синтетической щеткой в руках — типичная парижская уборщица. Она сказала, что мы опоздали: здесь действительно еще на прошлой неделе были выставлены старые аэропланы, но потом их куда-то увезли. Музей переехал.

— Куда?

— Не могу вам точно сказать. По-моему, куда-то в Медон-Вальфлери. А может быть, и не туда.— Она задумалась.— Нет, туда. Теперь я вспомнила: именно туда, в Медон-Вальфлери. Их забрало военно-воздушное ведомство. У него там целое поместье. Аэродинамическая труба и все такое. Если вам непременно нужно видеть эти старые аэропланы, то поезжайте туда. Но я не понимаю, кому они нужны? А там спросите у кого-нибудь, где поместье военно-воздушного ведомства. Вам кто-нибудь из местных граждан скажет. Это уже наверное. Местные жители хорошо знают такие вещи.

Медон-Вальфлери. Военное ведомство. Аэродинамическая труба. Расспросы населения. Государственная тайна. Это показалось нам слишком сложно и даже, быть может, опасно. Благоразумнее было отказаться от столь рискованного предприятия. Но мною уже овладело непреодолимое желание увидеть «те самые аэропланы». У меня не было сил бороться с этим желанием, напоминающим нечто вроде навязчивой идеи, настоящего безумия. Мы поскорее отправились на площадь Инвалидов, спустились в подземный вокзал и оттуда на электрическом поезде поехали в сторону Версаля. Сначала поезд мчался под

землей, потом выскочил на поверхность, и некоторое время за окном, мешая видеть пейзаж, бежали высокие парапеты Сены, переплеты мостов, эстакады, виадуки, фабричные стены с саженными буквами надписей и длинные крыши цехов с вентиляционными трубами. Но потом все это ушло куда-то вниз по диагонали, и сквозь солнечный туман поздней осени мы увидели мутную панораму Парижа: Сену, мосты, Эйфелеву башню, Монмартр с белым куполом Сакре-Кёр, возвышенности Пер-Лашеза и Монт-Валерьена. Поезд огибал Париж по окраинам среди старых и новых домов, трущоб, газгольдеров, пустырей, заваленных автомобильным ломом. Именно по этой самой железнодорожной ветке Париж — Версаль в 1871 году ходили бронепоезда коммунаров с головастыми паровозиками, обстреливая позиции версальцев, и мне даже казалось, что я вижу языки орудийных выстрелов и разрывы снарядов на синих высотах Монт-Валерьена. Не доезжая Версаля, мы сошли на станции Медон-Вальфлери. Здесь черное железнодорожное полотно было врезано глубоко между двух крутых откосов и дальше уходило в каменную подкову туннеля. Мы поднялись по лестнице и очутились в маленьком дачном городке, пустынном в этот грустный час нераннего утра. Слабое солнце золотило туман, и влажный воздух был не холоден, не тепел, а так, комнатной температуры: можно ходить без пальто, но в шерстяном костюме и пуловере. У вокзала находились лавки и магазинчики, аптека, кафе, бюро по продаже недвижимого имущества с витриной, сплошь залепленной разноцветными билетиками — объявлениями о продаже домов и земельных участков, доктор, адвокат, контора нотариуса и все прочее, необходимое для нормальной жизни обитателей этого тихого уголка, в полной неприкосновенности сохранившегося с девятнадцатого, если не с восемнадцатого века. Несколько пустынных каменистых переулков шли в гору, а вдоль хорошо утрамбованных щебеночных тротуаров тянулись железные и каменные ограды маленьких хорошеньких коттеджей и вилл с массой хризантем в палисадниках. Запах влажного, глу-

боко вскопанного чернозема, смешанный с запахом первых дней листопада и тончайшим похоронным ароматом хризантем — белых, сиреневых, сизых, желтых, тигровых, коричневых, щекотал ноздри и придавал особую грустную остроту свежему загородному воздуху. Где-то впереди и вверху слышался таинственный гул аэродинамической трубы, и мы шли по направлению гула, поднимаясь вверх, в то время как из большого открытого окна каждого коттеджа за нашим восхождением молчаливо наблюдали местные прислуги в передниках, с тростниковыми выбивалками в руках, в большинстве жирные и недоброжелательные, с энергичными лицами пожилых провинциальных сплетниц, строгих блюстительниц нравственности.

— Лучше вернемся,— сказала негромко жена, ежась под огнем подозрительных глаз, влажных, как свежие чернослив.

— Вперед! — скомандовал я.

Мы навели справку у прохожего, верно ли мы идем. Прохожий был, кроме нас, единственным человеком на всей улице, бодрый старик без пальто и шляпы, в темно-сером шерстяном костюме, черных ботинках и в легком шарфе, с особенным, чисто парижским щегольством заправленным под застегнутый на все пуговицы пиджак с крошечной, как булавочная головка, розеткой Почетного легиона. Он гордо держал свою сухую горбоносую голову с полуседыми, серебряными волосами и нес под мышкой целую оглоблю свежего, поджаристого французского хлеба, так называемого «багет», а может быть, и «фантази».

— Вы идете правильно. Это там,— сказал он, показывая оглоблей хлеба в конец улицы, откуда продолжал доноситься тревожно-напряженный гул аэродинамической трубы. Затем он объяснил, что мы должны войти в ворота и получить в бюро пропусков специальное разрешение.— Но это простая формальность,— успокоил он нас, заметив беспокойство моей жены.

Он слегка поклонился и, открыв ключом ажурную калитку, скрылся в своем садике, поскрипывая безупреч-

ными ботинками по несимметричным плитам дорожки, между которыми зеленела газонная травка.

— Умоляю, вернемся! — взмолилась жена.

— Нельзя же быть такой трусихой!

Мы вошли в открытые ворота, куда упирался переулок. Мы очутились в старом парке или, вернее, в роще столетних диких каштанов и вошли в сторожку, где помещалось бюро пропусков. Мы увидели перед собой за высоким прилавком трех офицеров — военных летчиков французской армии в полной форме — со знаками различия и внушительными планками боевых орденов на груди. У них были мужественные, прекрасные, галльские лица — строгие и проницательные,— и они, все трое, смотрели на нас с холодным достоинством, как судьи некоего неподкупно-высокого трибунала, обладающего неограниченной властью над каждым человеком, представшим перед ним. Подавленные, мы долго молчали.

— Итак, мадам и мсье? — сказал один из офицеров, первый, которому надоело так многозначительно молчать.— Что вам угодно?

На ужасающем французском языке я попытался выразить наше желание. Они, эти три боевых офицера, вполголоса посовещались, после чего осмотрели нас со всей тщательностью с головы до ног и, по-видимому, остались не слишком довольны.

— Вы иностранцы?

— Да.

Они так нахмурились, что все их шесть бровей как бы соединились, превратились в одну жирную прямую линию, под которой решительно блестели три пары разных глаз. Затем тот офицер, который находился посередине, так сказать, средний среди равных, протянул к нам руку и отрывисто сказал:

— Ваши паспорта.

— Мы пропали! — чуть слышно ахнула жена.

Я отважно пошарил в боковом кармане и положил на

прилавок две наших краснокожих книжечки с буквами «СССР». Ни один мускул не дрогнул на лицах офицеров, когда они, передавая друг другу, стали перелистывать и рассматривать наши «серпастые» и «молоткастые» «паспортины», испещренные визами разных стран.

— Прошу вас присесть и подождать,— сказал наконец средний среди равных, в то время как крайний слева взял телефонную трубку на скрученном, как пружина, шнуре и сказал несколько слов, показавшихся нам зловещими.

— Ну, вот мы и сели,— вздохнул я.

— Я тебя предупреждала.

Мы были уверены, что сейчас в помещение со стуком ружей войдет караул и потащит нас в кордегардию, но вместо этого появился старичок в увеличительных очках и берете, в синем комбинезоне авиамеханика — вежливая, серенькая мышка Микки-Маус,— и крайний справа офицер представил нас друг другу, и мы поняли, что старичок механик не кто иной, как член Общества друзей авиации, что-то вроде нашего ДОСААФа. Затем с любезной улыбкой нам возвратили паспорта, и мы отправились вслед за старичком в глубину каштановой рощи, которая с каждым шагом делалась все гуще, чернее, сказочнее. А шум аэродинамической трубы слышался уже совсем недалеко, но несколько в стороне.

Пишу так подробно потому, что едва мы сели в вагон на площади Инвалидов, как тотчас я снова стал ощущать приближение знакомого мне чувства потери времени. Все предметы вокруг как бы начали медленно перемещаться в другие измерения.

Каштановый парк, ронявший свои крупные, рубчатые семипалые листья, резко пожелтевшие по краям, как будто от ожогов какой-то едкой кислоты, превратился вокруг нас в романтический лес, где в любую минуту мы могли встретить доброго короля Дагобера и услышать медные звуки волшебного рога Оберона, пересчитывающие ги-

гантские черные стволы вековых деревьев, каждое вышиною в четыре трехэтажных деревенских дома, считая за третий этаж мансарду под графитной крышей. Я не удивился, если бы встретил здесь щетинистого, горбатого и узкорылого вепря, убегающего от борзых собак, красивых, как страусовые перья, или амазонку в висящем до земли бархатном платье и шляпе с огромным пером, отбившуюся от королевской охоты. Но вот среди стволов показалась громадная кирпичная стена какого-то глухого строения с маленькой железной дверью. Мы подошли к ней по толстому ковру опавших листьев и колючих расколовшихся плодов, где, как в гнездышке, лежали плоские, лакированные, как бы сделанные из красного палисандрового дерева орехи конского каштана. В то время как старичок вставлял крошечный плоский ключик в скважину американского замка, я понял, кто он такой. Весьма возможно, это был именно тот самый моторист, который пятьдесят лет тому назад готовил к полету аэропланы на маленьком глухом аэродроме в пятнадцати километрах от Лонжюмо. А почему бы и нет? Тогда ему было двадцать лет, а сейчас семьдесят пять. Как большинство французских стариков, он хорошо сохранился, тем более что был спортсменом, авиатором, мотористом и много времени проводил на свежем воздухе за городом. Теперь он член Общества любителей авиации, в старости владеющий ключом от музея, быть может единственного в мире.

— Скажите,— спросил я,— где вы работали пятьдесят лет назад?

— Я был мотористом на одном маленьком частном аэродроме под Парижем.

— Жювизи?

— Нет, вы его не знаете. Это примерно на том месте, где сейчас Орли.

— Недалеко от Лонжюмо? — спросил я.

— Да, километрах в пятнадцати,— ответил он и открыл маленькую железную дверцу, выкрашенную в зеленый цвет. Судя по тому, что она завизжала на

петлях, можно было заключить, что сюда редко приходят посетители.

Старичок пропустил нас вперед, и вдруг мы очутились в удивительном мире первых летательных аппаратов, построенных человеком.

Это были не копии и не макеты, а те самые, подлинные, которые со слабеньким треском тех моторов медленно летали над лугами моего детства, моей юности. На них можно было бы полететь хоть сейчас. Они окружали нас в этом громадном кирпичном павильоне — совсем небольшие, почти игрушечные: уже не змеи, но еще не вполне машины, сделанные руками столяров и обойщиков из самых легких материалов и теми же самыми простыми инструментами, какими делали мебель. Первым летательным аппаратом, который я здесь увидел, были легендарные «крылья Отто Лилиенталя», надевавшиеся на человека, как воздушный панцирь. Они висели прямо передо мной на уровне моих глаз, и я хорошо видел их рубчатую, выпуклую поверхность китайского змея. Теперь бы это назвали планером. Но тогда это называлось летательным аппаратом без двигателя. Двигателями были человек, ветер и сила земного притяжения. Отто Лилиенталь надел его на себя, просунул руки в петли раскинутых крыльев, пробежал, ринулся с возвышенности навстречу ветру, несколько мгновений парил и метался в воздухе, как летучая мышь, а потом рухнул на землю и погиб под обломками своего летательного аппарата, как Икар. Затем я увидел в двух шагах от себя моноплан Блерио, тот самый, подлинный, который полвека назад под темными тучами и над темными волнами перелетел через Ла-Манш и благополучно сел где-то за меловыми берегами Англии, недалеко от Дувра, а рядом с ним я узнал, как доброго старого знакомого, «Фарман-16», и если бы я увидел на его сиденье, похожем на лубяное решето, в котором обычно продают клубнику, волжского богатыря, чемпиона мира, борца Ивана Заикина в желтом кожаном пальто и шлеме, добродушного человека с кукурузными усами над солдатским подбородком, то я

бы, пожалуй, ничуть не удивился, потому что это был аэроплан моего детства. Обладая волшебной способностью мысленно перемещаться во времени, я переходил как очарованный от первого аппарата братьев Орвилля и Уилбура Райт, «сумасшедших из Огайо», где авиатор не сидел, а лежал на крыле, держась руками за кожаные петли, к очень щегольскому, но довольно грузному моноплану «Антуанетта» с фюзеляжем в форме красивой лодки из красного дерева, с длинными крыльями и вычурным хвостом, делавшим аэроплан чем-то отдаленно похожим на ласточку, а главное, со стационарным многоцилиндровым мотором. Я узнал «Латамы», «Спрингвельды» и т. д. Они окружали меня со всех сторон. Иные висели на тросах. Иные стояли на полу на своих велосипедных колесах, совсем маленькие, до смешного легкие, но все же готовые в любой миг поднять человека над землей и полететь, с крыльями, покрытыми пятнами засохшего касторового масла и пылью полувековой давности. Первые наивные моторы — двигатели внутреннего сгорания. Первые пропеллеры — деревянные, трехслойные, ручной работы лучших столяров. Первые карбюраторы и контактные кнопки. Медные бензиновые баки. Палки рулей управления. Элероны* легкие, как крылья бабочки. Все это было похоже на громадную детскую комнату человечества, полную страшно дорогих летающих игрушек начала века. Всем этим я увлекался в ранней юности, и всем этим увлекался и любовался Ленин на аэродромах под Парижем.

Но Ленин не был бы Лениным, если бы, увлекаясь зрелищем первых полетов, он мысленно не ставил авиацию на службу революции. Всего только через восемь лет, в девятнадцатом году, обдумывая способы ликвидации прорыва конного корпуса Мамонтова на Южном фронте, Ульянов (Ленин) обратил внимание Реввоенсовета на возможность применения авиации на бреющем полете против белой конницы. Можно не сомневаться, что, наблюдая за эволюцией первых аэропланов, Ленин уже тогда предвидел возможность поставить летательные аппараты тяжелее воздуха на службу пролетариату для борьбы с

врагами революции. Я уверен, что еще тогда, лежа в траве глухого, малопосещаемого аэродрома недалеко от Лонжюмо, Ленин мысленно отметил явление бреющего полета, такого низкого, что казалось, колеса аэроплана заденут шляпку Надежды Константиновны, восемь лет держал это в памяти и, как только потребовала ситуация, пустил в дело для разгрома мамонтовского рейда.

Мы возвратились на электрическом поезде в современный, вечереющий Париж второй половины двадцатого века, полные живых впечатлений от этого удивительного музея. Кроме подлинных аэропланов начала века, там было еще множество других летательных аппаратов — подлинных, копий, маленьких, изящных макетов — все, что относится к материальной истории авиации и воздухоплавания, от бумажного монгольфьера времен Людовика XVI и до шарообразной кабины с круглыми иллюминаторами знаменитого советского стратостата «СССР-1». Здесь мы видели «баллоны» Парижской коммуны, которые выпускали с Монмартра, и макет русского четырехмоторного самолета «Илья Муромец» времен первой мировой войны, который я сразу узнал, потому что некогда, в 1916 году, под Минском наша батарея охраняла полевой аэродром, где базировались «Ильи Муромцы», и я частенько туда захаживал и лазил в закрытую кабину, похожую на внутренность трамвая, и трогал громадные бомбы, подвешенные под крыльями. Здесь же косо висел под потолком подлинный советский боевой «ястребок» времен Великой Отечественной войны — зелено-коричневый, обожженный, продырявленный осколками, с красными звездочками — счетом сбитых фашистских самолетов.

Мы приближались к Парижу... Мне очень хочется прибавить — городу Ленина, потому что я всегда ощущаю Париж как город Ленина. В этот вечер президент Фран-

ции де Голль промчался мимо нас — по-видимому, обедать — с небольшим эскортом мотоциклистов из Елисейского дворца через мост Инвалидов по эспланаде и скрылся, как видение, сгорбившись в своей небольшой, элегантной машине — в окне мелькнул его профиль,— провыли сирены, промигал воспаленно-красный колпачок первого мотоциклиста, и кортеж пропал из глаз, растворился в сумерках, там, где в небе синел высокий купол собора Инвалидов над куском русского гранита с высохшим телом французского императора в середине. Париж уже начал дружно светиться, и в Сене извилисто отражались фонари мостов и набережных.

А мой Ленин-пешеход (пешеход, потому что у него велосипед был в ремонте) перебирался с правого берега на левый по разным мостам, чаще всего по Новому мосту или по мосту О'шанж, а затем Сен-Мишель. Но бывало, что ему приходилось идти по мосту Александра III. Вижу, как он идет по этому новому, сравнительно недавно открытому мосту шикарно-буржуазного стиля — триумф дурного вкуса — mauvais goût. В городе Нотр-Дам и Сен-Шапель, Лувра и Консьержери этот мост выглядел бы чудовищно, если бы Париж не был повсеместно заражен подобной же эклектикой* конца века, этим «стиль сан стиль»*, к которому с течением времени привыкли. Он стал необходимой принадлежностью буржуазного Парижа.

В узком пальто с бархатным воротником, в котелке, быстрый и маленький, Ленин немного боком пробирался в толпе среди фиакров и автомобилей, обдававших вонючим бензиновым чадом. Между двух рядов электрических фонарей, многоруких, как канделябры, блестели шелковые цилиндры, нежно белели дамские боа из страусовых перьев, пахло вечерними уличными духами, хорошими сигарами... Ленин почти бежал, стараясь поскорее

вырваться из потока всех этих богатых, нарядных людей, которые торопились в разные места обедать. Свет экипажных и автомобильных фонарей скользил по лицу Ленина, и его глаза по временам фосфорически светились...

...Возле палаты депутатов он мог бы сесть в метро и с пересадкой на Монпарнасе доехать до Алезии, почти до самого дома. Но, во-первых, финансовые дела обстояли плохо: приходилось экономить даже на транспорте, а во-вторых, хотелось пройтись после утомительной работы в библиотеке. Ему хорошо думалось на ходу, и он хотел еще раз продумать все те материалы, которые наскоро пробежал в читальном зале. Он шел вверх по бульвару Распайль, мимо военной тюрьмы, между двух рядов еще не вполне облетевших молодых платанов с пятнистыми зелено-коричневыми стволами, которые недавно посадил парижский муниципалитет вдоль всего бульвара. Карманы Ленина были набиты выписками, которые он сделал в библиотеке. Вялая листва металась при свете редких фонарей и витрин. Мокрый ветер бил в лицо, пролетая, как время, которое невозможно остановить. Быть может, впервые Ленин задал себе простой человеческий вопрос: что ждет его впереди? Он задал себе этот вопрос, погрузился в размышления и — уже где-то в районе улицы Вано, недалеко от монпарнасской церкви Нотр-Дам де Шам — сам себе очень просто ответил: революция. А что же другое могло его ждать впереди? Дома он узнал о смерти Поля и Лауры Лафаргов. Лаура Лафарг была дочерью Маркса. Поразила ли его эта внезапная двойная смерть?

История личного знакомства Ленина с Лафаргами коротка.

У Лафаргов, как и вообще в семье Маркса, всегда был силен интерес к России, читаем мы в книжке О. Б. Воробьевой и И. М. Синельниковой «Дочери Маркса». Еще в 70-х годах Лафарг установил связи с русским революционным движением и выступал со статьями в прогрес-

сивных органах печати России. Лафарг приветствовал возникшую в 1883 году первую русскую марксистскую организацию — группу «Освобождение труда». Дом Лафаргов часто посещали русские политические деятели — эмигранты: П. Лавров, Г. Лопатин и другие. Часто бывал у них русский журналист Русанов; он рассказывал, что его поражало, как хорошо Лафарги знакомы с событиями русского революционного движения. Когда в России в 1905 году разразилась революция, Лаура восторженно приветствовала ее: «В общем, революция началась, и Россия... с ее доблестным пролетариатом, мужчинами и женщинами, которые так мужественно борются, вступает в новую эру!» После смерти Энгельса Лафарги получили небольшое наследство. Они купили себе дом в Дравейле, местечке в 25 километрах от Парижа.

Год назад Шарль Раппопорт помог Ленину возобновить знакомство с Лафаргом, после чего в один прекрасный день Владимир Ильич и Надежда Константиновна отправились на велосипедах в Дравейль. Лафарг был знаменитый революционер, сподвижник Маркса и Энгельса, один из немногих оставшихся в живых от марксовых времен, один из виднейших деятелей Интернационала, который потом вместе с Гедом создал и возглавил французскую рабочую партию, посвятив всю свою дальнейшую жизнь борьбе за чистоту этой партии и пропаганде революционного марксизма во Франции. Ленин относился к Лафаргу с громадным уважением и очень ценил его мнение. Лаура Лафарг была во всех отношениях дочерью своего великого отца и верной подругой, помощницей своего мужа Лафарга — одна из самых выдающихся женщин своего времени. Если бы не сложные семейные обстоятельства — двое маленьких детей на руках,— она, возможно, также была бы в 1871 году среди борцов Коммуны. «Я практикуюсь в стрельбе из пистолета в здешних полях и лесах, так как я вижу, как хорошо сражались женщины в недавних боях, и никто не знает, что еще может произойти»,— писала она своему великому отцу Карлу Марксу.

Вот к этим-то двум замечательным людям и приехали

однажды Ленин и Крупская с визитом, отмахав по пыльным шоссе добрых двадцать пять километров. Еще совсем недавно в Дравейле было очень оживленно, особенно по воскресеньям. На обедах у них постоянно присутствовало несколько человек — товарищей по партии и просто хороших знакомых, часто бывал Жюль Гед, русские эмигранты, много молодежи. Обеды всегда проходили в интересных, дружеских беседах, воспоминаниях; возникали и горячие диспуты на политические и литературные темы...

Но время шло, они старели, в доме становилось все тише, все молчаливее. Гостей приезжало все меньше. Лафарги — Поль и Лаура — уже отошли от непосредственной работы. Им уже было под семьдесят.

«Лафарги встретили нас очень любезно,— пишет Крупская.— Владимир стал разговаривать с Лафаргом о своей философской книжке, а Лаура Лафарг повела меня гулять по парку. Я очень волновалась — дочь ведь это Маркса была передо мной; жадно вглядывалась я в ее лицо, в ее чертах искала невольно черты Маркса...»

Крупская не пишет, нашла ли она эти черты. Но я думаю, нашла, хотя и считается, что Лаура гораздо больше походила на мать, чем на отца. Стоит всмотреться в портрет Лауры, в ее женственно-круглое лицо, в ее карие глаза под красивыми дугами бровей, в ее нежный рот с толстоватыми губами, как вы сразу увидите хотя и слабое, но явственное фамильное сходство с Марксом, которого друзья называли мавром. Все же было видно, что Лаура — его дочь. В молодые годы она была тонкая, стройная, теперь же, в старости, отяжелела, расплылась, хотя и была по-прежнему «строгая, спокойная, с бледным лицом и нежными глазами, с тихим, слегка приглушенным голосом». Молодая, совсем не светская, немного потерявшаяся оттого, что разговаривает с дочерью великого Маркса, стесняясь своего пыльного от велосипедной езды костюма и дешевой шляпки, Крупская сначала никак не могла найти тон, чувствовала себя провинциалкой.

«В смущении,— вспоминает она,— я лопотала что-то нечленораздельное об участии женщин в революционном движении, о России; она отвечала; но разговора настоящего как-то не вышло».

Представляю себе, как радушная и гостеприимная, но по-парижски сдержанная с новым человеком мадам Лаура Лафарг водила русскую революционерку-марксистку по парку, показывая ей сельские живописные виды, такие типичные для Иль-де-Франс: Сена, которая, отражая ярко-синее сентябрьское небо и разноцветные лодки спортсменов-«лягушатников», блестела, извиваясь между тростников, а на противоположной стороне виднелся лес, но не синий русский еловый лес, а бледно-зеленый, пронизанный теплыми солнечными лучами, веселый французский лиственный лес Коро* и барбизонцев; и видно было, как французские деревенские мальчишки в беретах сшибают палками с деревьев настоящие — не дикие — каштаны и набивают ими карманы своих плисовых штанов; а в небе стоял еще совсем белый, еле заметный дневной месяц. Лаура Лафарг показала Крупской свой фруктовый сад. Она подняла с травы длинный шест с ножичком и срезала на самой верхушке старого, красивого дерева созревший плод, который, прошумев в листве, твердо стукнулся о землю. Лаура, глубоко вздохнув, медленно нагнулась и с доброй улыбкой подала Крупской шафранно-желтую айву.

— Мерси, мадам,— сказала Крупская.

— Камарад,— поправила Лаура.

— Камарад,— сказала Крупская, с восхищением глядя на эту старую, усталую женщину с такими нежными, лучистыми глазами и бровями, как у Маркса.

Женщины пожали друг другу руки. Это было не рукопожатие двух светских дам, а крепкое рукопожатие двух революционеров, членов одной партии. Потом они еще немного прошлись, как бы смущаясь своего порыва, и некоторое время стояли перед маленьким кирпичным домиком-садком, где за проволочной сеткой сидели, каждый в своем отделении, толстые кролики с дрожащими

усами. Крупская шла, держа Лауру за руку, и смотрела в ее лучистые глаза, полные какой-то очень глубокой, молчаливой грусти, казавшейся тогда необъяснимой. А в доме перед камином спорили мужчины.

Еще прежде чем войти в комнату, Крупская услышала так хорошо ей знакомый, любимый смех Владимира Ильича — совсем по-детски чистосердечный, слегка гортанный и глуховатый. Он смеялся таким смехом, когда собеседник был ему симпатичен. Крупская услышала фразу, сказанную Лениным по-французски сквозь смех, своим грассирующим альтом:

— Вы это мастерски сформулировали в своем «Материализме Маркса и идеализме Канта» лет десять назад в «Le Socialiste».

— Я уже не очень-то помню, что я там такое сформулировал,— сказал голос Лафарга.

— Зато я хорошо помню.

— Oh, là-là!

— Вы изволили написать, дорогой Лафарг, что рабочий, который ест колбасу и который получает пять франков в день, знает очень хорошо, что хозяин его обкрадывает и что он (рабочий) питается свиным мясом, а также то, что колбаса приятна на вкус и питательна для тела. «Ничего подобного,— говорит буржуазный софист, все равно, зовут ли его Пирроном, Юмом или Кантом,— мнение рабочего на этот счет есть его личное, то есть субъективное, мнение; он мог бы с таким же правом думать, что хозяин — его благодетель и что колбаса состоит из рубленой кожи, ибо он не может знать в е щ и в с е б е...» Это великолепно, восхитительно! — Ленин захохотал.— Вот именно: вещи в себе. Не мешало бы это хорошенько зарубить себе на носу Богданову и компании.

— Да, я писал нечто подобное,— сказал Лафарг.— Но я не помню, чтобы я писал о Богданове и компании.

— А о Богданове как раз писал я,— еще пуще хохотал Ленин.

— Он опять о своем Богданове! — в шутливом ужасе воскликнула Крупская, подымая вверх руки.

— О да,— подхватила Лаура,— колбаса в себе — это гораздо вкуснее и полезнее.

По-видимому, речь шла о новой книге Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», авторский экземпляр которой в мягком переплете лежал на столе. Высокий, элегантный Лафарг стоял, опираясь локтем о каминную доску, и его уже по-старчески сухощавая спина и великолепная голова с копной белоснежных волос на затылке отражалась в высоком каминном зеркале с докрасна потертой золоченой рамкой, между двух матовых абажуров старинных масляных ламп с медными цилиндрическими резервуарчиками. Вся фигура старого революционера с орлиным носом, огненными глазами креола, черными бровями, так чудесно контрастировавшими с белой как снег головой, как нельзя лучше соответствовала всей старофранцузской обстановке этого небольшого провинциального салона со старыми бумажными обоями, бархатной мебелью, кружевными салфеточками, фотографиями и дагерротипами в узеньких черных рамках с крестообразно выступающими концами или в овальных золоченых — со снимками Маркса, Энгельса в клетчатых панталонах, романтической Женни, Элеоноры — самой хорошенькой и вместе с тем, как это ни странно, больше всех сестер похожей на отца. Несмотря на преклонные годы, у Лафарга сохранились еще все повадки политического оратора, пламенного пропагандиста социализма; от него веяло духом Интернационала, Парижской коммуны. Иногда он выхватывал из жилетного карманчика серебряное пенсне и размахивал им, делая энергичные дирижерские жесты. Хирург, врач, аналитик, материалист до мозга костей, человек без предрассудков, Лафарг чем-то напоминал тургеневского Базарова. Ленин любовался этим великолепным экземпляром человека, сидя в низком мягком кресле лицом к камину, откинув голову на кружевную салфеточку, пришпиленную к валику спинки, временами жмурясь, как на известной социал-демократической карикатуре, под на-

званием «Как мыши кота хоронили», где Ленин был изображен в виде кота, хватающего меньшевистских мышей. И профессорским жестом он потирал руки; он испытывал громадное удовольствие от того, что разговаривает с таким приятным человеком, настоящим революционером-марксистом, которого глубоко и нежно уважал. Женщины вошли и сейчас же включились в разговор, без всякого труда поймав его нить. О, как много было высказано драгоценных мыслей в этом маленьком деревенском салоне и как важно было Ленину еще и еще раз проверить цепь своих доказательств в книге «Материализм и эмпириокритицизм», которая для него все еще была раскаленной, как только что выкованная вишнево-красная подкова в щипцах кузнеца! Со всех сторон наступал идеализм, самый обыкновенный, старый, как мир, церковный, религиозный идеализм, вульгарная поповщина, берклианство, только надевшее на свое лицо более современную маску, которую нужно было во что бы то ни стало сорвать, разоблачить истинную суть всех этих бесчисленных махистов, бернштейнианцев, богостроителей, эмпириокритиков, ревизионистов революционного материализма, а по сути дела, обыкновенных контрреволюционеров, полезших изо всех щелей, как тараканы. Для того чтобы совершить социалистическую революцию, надо создать истинно революционную марксистскую партию, а для того чтобы ее создать, нужно прежде всего очистить ее от всяческого идеализма.

— Мы боремся с малейшими проявлениями идеализма в нашей партии,— сказал Ленин.

— И вы правы! — воскликнул Лафарг, энергично выбрасывая в сторону руку, в которой держал пенсне.— Вы тысячу раз правы, дорогой товарищ Ильин!

Углубляясь в самую суть вопроса об организации настоящей, подлинно революционной русской рабочей партии, доходили до самых глубоких социальных, философских корней.

— Оторвать движение от материи равносильно тому, чтобы оторвать мышление от объективной реальности, оторвать мои ощущения от внешнего мира, то есть перей-

ти на сторону идеализма,— говорил Ленин, засовывая руки в карманы и вытягивая ноги,— тот фокус, который проделывается обыкновенно с отрицанием материи, с допущением движения без материи, состоит в том, что умалчивается об отношении материи и мысли.— Ленин сел на своего конька и стал волноваться. Он особенно сильно волновался всегда, когда доходил до этого места своего спора с идеалистами.

— О, материя и мысль! — воскликнул Лафарг и вдруг глубоко задумался. Лицо его стало отрешенным.

— Материя исчезла, говорят нам,— торопливо продолжал Ленин.— Материя исчезла, говорят нам, желая делать отсюда гносеологические выводы. А мысль осталась? — спросим мы. Если нет, если с исчезновением материи исчезла и мысль, с исчезновением мозга и нервной системы исчезли и представления и ощущения,— тогда, значит, все исчезло и (в том числе) ваше рассуждение как один из образчиков какой ни на есть «мысли» (или недомыслия).

Теперь Ленин как бы обращался к какому-то воображаемому собирательному противнику и громил его логикой и сарказмом, как делал это всегда на философских диспутах. В эти минуты он был неотразимо прекрасен. Крупская залюбовалась им.

— С исчезновением мозга и нервной системы исчезли и представления и ощущения,— вдруг негромко повторила Лаура и с грустной задумчивостью посмотрела на мужа. Он поймал ее взгляд и одобрительно, медленно кивнул своей романтической, серебряной головой.

— Да, мой друг, именно так. Исчезнут представления и ощущения.

Прощаясь с Лениным и Крупской у калитки, через которую они выводили на дорогу свои велосипеды, Лаура негромко произнесла, дотронувшись пальцами до плеча Лафарга:

— Скоро он докажет, насколько искренни его философские убеждения.

И они, Поль и Лаура, опять как-то странно переглянулись. Тогда ни Ленин, ни Крупская не обратили на это внимания. Но вот прошло не так много времени, и, возвратившись домой на Мари-Роз, Ленин вдруг узнал о смерти Лафаргов: они покончили с собой. Оказывается, эту новость принес днем Шарль Раппопорт, взволнованный, убитый. Он крепко пожал руку Крупской и, не снимая мокрого пальто, выбежал вон. Крупская передала Ленину то немногое, что рассказал ей Шарль Раппопорт: сегодня утром садовник дома в Дравейле, зайдя в салон, обнаружил мадам и мсье Лафаргов мертвыми перед остывшим камином, каждого в своем кресле. Накануне они поздно вернулись из Парижа, где провели вечер. Они были нарядно одеты. Причина смерти — укол цианистого калия, который они, по-видимому, сделали друг другу. А может быть, Лафарг, как врач, сделал это один. Шприц лежал на камине.

Ленин никак не мог опомниться. Он все время ходил по своей маленькой квартирке, останавливался у окон, смотрел в непроглядную черноту ноябрьской ночи, то и дело потирал лысину то одной рукой, то другой.

— Невероятно, невероятно...

Слух уже распространился по Парижу. Прибежала в накинутом на плечи осеннем пальто с буфами Инесса, которая жила в соседнем доме по улице Мари-Роз, номер два. На ее великолепных волосах блестели ртутные капельки дождя.

— Вы слышали?

— Да, приходил Шарль.

— Подробности знаете?

— Укол цианистого калия.

— А письмо?

— Значит, есть письмо?

— Да, Лафарг оставил предсмертное письмо. Пишет, что решение умереть в семьдесят лет было принято им давно. Уйти из жизни, когда ему исполнится семьдесят лет, он решил потому, что считал эту дату как бы рубежом, за которым последует неумолимая старость, и он

станет балластом для партии, так как у него нет детей и средств к существованию.

— Детей и средств к существованию... Балластом для партии...

Ленин всплеснул руками.

— Невероятно, невероятно... Инесса, ты понимаешь, что это чудовищно?

У них, у Инессы Арманд и у Ленина, были дружеские, товарищеские отношения: иногда они говорили друг другу «ты», иногда «вы». Чаще «вы». Но сейчас, как это всегда случалось, когда Ленин был взволнован, он обратился к Инессе на «ты».

— Но Лаура, Лаура...— проговорила Крупская и замолчала, не находя слов.

Глаза Инессы блеснули. Кажется, только глаза и волосы были у нее красивы. Но они делали ее неотразимой.

— Лаура в течение всей их совместной жизни,— строго сказала Инесса,— делила с Полем все трудности, радости, всю борьбу, и она с тою же верностью последовала за ним в его решении добровольно умереть. Иначе она не была бы дочерью Маркса.

— Он казался на десять лет старше ее,— заметила Крупская.

— Только казался,— сказала Инесса.— На самом деле он был старше ее всего на три года.

— Володя, ты помнишь, как он обращался к ней?— спросила Крупская.— Всегда с нежной улыбкой: «Лора, дочь моя...»

— «Лора, дочь моя»...— грустно сказала Инесса.

— Теперь их нет.— Крупская представила себе Дравейль, кроликов в кирпичном домике, айву, покрытую серебристым пушком, на ладони Лауры, пенсне Лафарга в откинутой руке...

В этот вечер была очередь Ленина приготовлять чай; он сунул спичку в горелку газовой плитки, послышалась тупая вспышка, и Ленин поставил на зеленоватое пламя парижского газа большой русский чайник. Потом они си-

дели на кухне и молча пили чай, как в ссылке, по-сибирски, вприкуску, представляя себе маленький салон в Дравейле, два кресла перед остывшим камином и в этих креслах — друг против друга — нарядных, неподвижных Лауру и Поля с открытыми, как бы искусственными глазами, устремленными друг на друга в нечеловеческой решимости умереть вместе и как бы в ожидании чего-то непонятного.

Разошлись рано. Завтра предстоял беспокойный день. Ленин лег, укрылся старым шотландским пледом, подаренным ему матерью, но понял, что не заснет. Часто в бессонные парижские ночи, по свидетельству Крупской, Ленин «зачитывался Верхарном». В последнее время Верхарн стал его привычкой. Еще недавно он был под обаянием Виктора Гюго. Огненные строфы «Возмездия» звучали в его душе. Теперь Эмиль Верхарн — великий новатор поэтической формы, революционер слова, обличитель капиталистического мира. Его образы-символы, доходя до величайшего обобщения, становились вещественно видимыми, неотразимыми в своей материальности. Они не уводят читателя от действительности, не увлекают в зыбкий мир символизма, а помогают познать сущность вещи, проникнуть в ее философский смысл. Верхарн изображал мир, исторический отрезок времени, в котором жил и мыслил Ленин. «Лики жизни», «Города-спруты», «Многоцветное сияние», наконец, только что вышедшая книга «Державные ритмы».

Прикрыв маленькую электрическую лампочку газетой, чтобы свет не тревожил Крупскую, Ленин перелистывал Верхарна. Многие стихи он уже знал наизусть. Теперь его внимание снова задержалось на стихотворении «Статуя буржуа». Главные строфы этой маленькой поэмы, бьющие наповал, приводили Ленина в восторг своей мощью и точностью. Читая их в подлиннике, на французском языке, Ленин восхищался их каким-то неотвратимым ритмом, их бронзовым звоном:

Он глыбой бронзовой стоит в молчанье гордом,
Упрямы челюсти и выпячен живот,
Кулак такой, что с ног противника собьет,
А страх и ненависть на лбу застыли твердом.

Это был давний, вечный враг Ленина — буржуа, империалист.

Как мастер, опытный в искусстве подавленья,
Он тигром нападал и крался, как шакал,
А если он высот порою достигал,—
То были мрачные высоты преступленья.

...И вот на площади, над серой мостовою
Он, властный, и крутой, и злобствующий, встал
И защищать готов протянутой рукою
На денежный сундук похожий пьедестал.

В Париже, где поставлено более восьмисот разных памятников и монументов, подобного памятника, конечно, не было. Это была могучая фантазия великого поэта. А напрасно! Ленин беззвучно засмеялся — зло, ядовито, с той иронией, которая иногда охватывала все его существо. А напрасно! Такой монумент в центре Парижа, например где-нибудь посредине площади Согласия, против палаты депутатов, вместо Луксорского обелиска*, очень бы не помешал, как memento mori капитализму. А стихи Верхарна всё текли и текли, потрясающие в своей силе и яркости. Ленин листал то одну книжку, то другую.

...В предместьях, где нужда кишит
И где слезами каждый шаг омыт,
Где перебранки вечные в лачугах,
Где взгляды ненависть скрестила, как клинки,
Где отнимают друг у друга
Кусок последний бедняки,
Где чадом горизонт закрыт —
Рычание печей звучит
Среди кирпичных стен заводов симметричных...

...Автоматично и без слов
Толпа рабочих у станков

Заботливо блюдет
Их равномерный, четкий ход,
Который полон исступленья злого,
Который жадными зубами в клочья рвет
Ненужное отныне слово.

...Здесь зори даже
Черны от слоя сажи,
Здесь солнце и в полдневный жар
Слепцом бредет сквозь чадный дым и пар.
Лишь час, когда потемкам в дар
Неделя принесет закатный шар,—
Как молот поднятый, на миг замрет
Дыханье мощного усилья,
И золотой туман над городом прострет
Свои сверкающие крылья.

За черным окном, в щелях жалюзи, с темной улицы Мари-Роз светился одинокий газовый фонарь, а над мансардами Парижа был простерт золотой туман и слышался не утихающий ни днем, ни ночью, странный, утомительный гул громадного города. Перед Лениным появлялись могучие фигуры — символы из «Державных ритмов»: Геракл, Персей, Мартин Лютер, наконец, Город с большой буквы:

...Расстаться был бы рад ты с вековым укладом,
Чтоб слиться наконец,— своих богов губя,—
С неистовой душой, исполнившей тебя
Огромным электрическим зарядом.

Ленин чувствовал в себе этот огромный электрический заряд, не дававший ему спать, измучивший напряженный мозг бессонницей, мозг, устремленный в грядущее.

Грядущее! Я слышу, как оно
Рвет землю и ломает своды в этих
Городах из золота и черни, где пожары
Рыщут, как львы с пылающей гривой.
Единая минута, в которой потрясены века,
Узлы, которые победа развязывает в битвах,
Великий час, когда обличья мира меняются,

Когда все то, что было святым и правым,
Кажется неверным,
Когда взлетаешь вдруг к вершинам новой веры,
Когда толпа — носительница гнева,—
Сочтя и перечтя века своих обид,
На глыбе силы воздвигает право.

Ленин быстро листал страницы Верхарна, хотел и не мог забыться. И в это же время перед его глазами стояла все та же неподвижная картина: перед остывшим камином два пустых кресла. «С исчезновением мозга и нервной системы исчезли и представления и ощущения». Для Поля и Лауры теперь навсегда исчезли представления и ощущения. Исчезла комната, зеркало, камин, свет солнца, восходящего за Сеной, так нежно тронувший край кружевной оконной занавески, золотой голос утреннего петуха. Для них исчез мир. Но для нас, живых, они, Поль и Лаура, существуют в своей вечной неподвижности, бедные старики, которые так много сделали для счастья живых. Неужели они вот сейчас, в эту самую минуту, лежат на мраморных плитах морга, обложенные кусками искусственного льда, и холодная вода методично каплет на их лбы? О, как трудно это себе представить! Ленин прислушался. Теперь к постоянному, почти неощутимому гулу Парижа прибавился еще какой-то другой, более определенный шум, грубый, как гул мельничных жерновов. Это по Порт д'Орлеан сплошным потоком, как лава, текли повозки, фургоны, грузовые автомобили, тележки, двуколки с продуктами для Центрального рынка. Приближалось утро. Вот оно наконец забрезжило. Теперь в воздухе как бы вырос знакомый органный лес фабричных гудков, от которых тонко гудели оконные стекла и позванивал на лестнице велосипед Крупской. Внизу щелкнула задвижка в комнате консьержки, затем распространился тонкий, колониальный запах горячего кофе. Начался день, полный забот: экстренное партийное собрание, выработка общей линии поведения в связи со смертью Лафарга. Было принято решение, что на похоронах Лафаргов от имени Российской социал-демократи-

ческой рабочей партии выступит Ленин. Запись ораторов происходила в редакции «Юманите» у Жореса, наплыв ожидался громадный. И нужно было не опоздать, чтобы попасть в списки выступающих. Прямо с партийного собрания Ленин через весь город отправился в редакцию «Юманите», которая помещалась в то время недалеко от Биржи.

Площадь вокруг Биржи чернела толпой. Биржевой день только что кончился. Биржевики расходились завтракать. Вооруженные швабрами и метелками, сторожа в форменных тужурках с энергичной поспешностью выметали бумажный мусор, мыли гранитные ступени, круглые железные писсуары, запирали решетки, окружавшие здание Биржи. Площадь напоминала поле битвы, откуда уже успели вынести убитых и раненых, остались лишь клочья амуниции, а уцелевшие живые, шатаясь от усталости, перестраивают свои ряды и уходят на биваки, к палаткам маркитантов. Ленин торопился пробраться сквозь толпу. Его толкали, в знак извинения наскоро приподняв над вспотевшей, взъерошенной головой цилиндр или котелок. На углу среди фиакров и автомобилей он грудь в грудь столкнулся с человеком, который шел, ничего не видя перед собой, с остановившимися глазами, сжимая в руке биржевой бюллетень, и на его лице был написан ужас. Потухший, мокрый окурок сигары торчал изо рта, и капля пота текла из-под цилиндра по лбу, по носу... Вся эта картина, как бы стремительно и неряшливо написанная пером Эмиля Золя, стояла перед Лениным во всей своей обнаженной неприглядности, казавшейся особенно мерзкой и оскорбительной в этот траурный день, сделавший Париж похожим на мокрый газетный лист с сетками траурных клише и полосками некрологов.

В начале тридцатых годов однажды поздней осенью я зашел в редакцию «Юманите» для того, чтобы пожать руку Марселю Кашену, с которым я познакомился в Москве, в садике Дома Герцена. Он тогда редактировал «Юманите». Кажется, газета помещалась в том же самом

доме, что и до первой мировой войны, а Кашен занимал кабинет Жореса, сидя за большим письменным столом, спиной к большой политической карте Европы, претерпевшей со времен Жореса так много трагических перемен.

Европа цезарей! С тех пор как в Бонапарта
Гусиное перо направил Меттерних,
Впервые за сто лет и на глазах моих
Меняется твоя таинственная карта.

Пока я, по парижскому обычаю, не снимая макинтоша и присев боком на край редакторского стола, рассказывал Кашену о наших пятилетках и о чудесах строительства гигантского Магнитогорска, где я провел последние четыре месяца в качестве специального корреспондента, а он время от времени с загоревшимися глазами восклицал: «О ля-ля! Если бы это видел наш Ленин!» — в кабинет запросто, как старый товарищ, вошел бравый старик метранпаж в традиционной синей, крепко накрахмаленной рабочей блузе, из-под которой выглядывал твердый воротничок с шелковым галстуком. У него в руках были сырые газетные гранки с крепко вдавленными оттисками строчек и большая типографская щетка, на весь кабинет распространявшая какой-то волнующе-редакционный, резкий запах керосина. Слушая мой рассказ, Кашен быстро делал на полях гранок корректурные иероглифы, а старый метранпаж сел на другой угол редакторского стола и, дружески положив на мое плечо смуглую руку с тонким, стершимся обручальным кольцом на безымянном пальце, кивал головой с редкими, напомаженными черными волосами, аккуратно расположенными по всей лысине.

— Ça va bien! C'est une grande victoire du communisme mondial. Не так ли, товарищ? Завтра мы даем о Магнитогорске в «Юма» большую информацию. Вы знали товарища Ленина? — спросил он меня.

— К сожалению, лично не приходилось.

Старый метранпаж сочувственно посмотрел на меня.

— А я видел Ленина. Он однажды заходил к нам в «Юма», к бедняге Жоресу. Но не застал. Бедняга Жорес в это время как раз завтракал. И Ленин пошел к нему в кафе дю Круассан. Вы должны гордиться вашим Лениным,— со строгостью заметил он.— Это был великий человек; гораздо более великий, чем наш Робеспьер и, может быть, даже чем Жан-Жак.

— А я его прекрасно знал,— сказал Кашен, нежно улыбнувшись из-под своих нависших бровей.— Мы с ним были большие друзья. Это был острый человек, настоящий революционер... И вместе с тем парижанин... О, если бы ему удалось увидеть окончательный триумф своих идей в Советской России!..

...Мне легко было представить темный парижский день конца ноября 1911 года, пустые редакционные коридоры и мраморную зашарканную лестницу, покрытую клочьями грязного газетного срыва, по которым с сырым свернутым зонтиком под мышкой бегал Ленин, разыскивая Жореса и вдыхая теплый воздух, поднимающийся откуда-то снизу, из линотипной: острую смесь горящего светильного газа, расплавленного металла стереотипов, типографской краски, мазута. Не найдя Жореса в редакции, по совету метранпажа Ленин поспешно отправился в кафе дю Круассан, где Жорес всегда завтракал.

Ленин нашел Жореса внизу переполненного зала, на его обычном месте, возле громадного окна, с одной салфеткой, разложенной на коленях, а другой — завязанной высоко под бородой. Жорес кончал завтракать и намазывал острым ножичком кусок очищенного от корочки камамбера на хрустящую корку хлеба.

— А, дорогой Ленин! — воскликнул он и с живостью положил обе салфетки на столик.— Рад вас видеть. Садитесь. Но какая грустная встреча, не правда ли? Наш друг Лафарг ушел от нас, кто бы мог подумать? С этим трудно примириться!

— Я заходил к вам в «Юма»,— сказал Ленин.

— Я завтракал. Но я уже кончил,— ответил Жорес.— Может быть, чашечку черного кофе?— спросил он Ленина.

Ленин отказался. У него было еще много дел. Он сел боком на стул, подвернул под себя ногу и коротко объяснил цель своего визита.

— Я прошу слова от имени Российской социал-демократической рабочей партии. Вот мои полномочия.

Ленин положил на столик бумагу.

— У нас громадный список ораторов, мы очень стеснены,— сказал Жорес,— но вам, как представителю великой революционной России, конечно, будет предоставлено слово на похоронах несчастных Лафаргов. Только не слишком длинно!..— умоляюще сказал Жорес. Он вынул из кармана записную книжку и вписал туда несколько слов.— Но вечером, дорогой Ленин, я прошу вас все-таки еще раз зайти ко мне в «Юманите», чтобы оформить все строго официально. Итак, до вечера.

Они попрощались. Ленин торопился. Жорес увидел сквозь мокрое стекло витрины, возле которой он сидел, как на улице появилась маленькая фигура лидера русских социал-демократов Ленина и как он быстро прошел мимо ларька, где бородатый нормандец в клеенчатой зюйдвестке продавал разложенные в плоских ящиках среди лимонов, водорослей и мха устрицы, розовые креветки, чернильно-черных морских ежей, мидии, бургундское эскарго, и ветер качал над ним декоративный морской фонарь и спасательный круг с надписью «Устрицы». Жорес видел, как по стеклу витрины извилисто текли мелкие капли ноябрьского дождя, и это была та самая витрина, сквозь которую в июле четырнадцатого года выстрелом из револьвера он был убит в то время, когда наливал себе в стакан из маленького графина красное бордо.

Время было насыщено трагическими событиями: гибель «Титаника», выстрел в Сараеве, убийство Жореса, начало первой мировой войны, все последствия которой нельзя было тогда даже вообразить.

...Недавно я зашел в знаменитое кафе дю Круассан, где был убит Жорес, и видел на стене дома мраморную доску с именем Жореса, а также рельефное изображение фригийского колпака с раскрашенной трехцветной кокардой, похожей на маленькую стрелковую мишень, и буквами «R. F.» — Репюблик Франсез.

Вечером Ленин еще раз отправился в «Юманите», чтобы подать официальное заявление, но только поздней ночью, и то с большим трудом, смог попасть туда, так как на улице перед редакцией уже собралась громадная толпа. Это была тревожная, траурная ночь. Остаток ее Ленин провел дома на Мари-Роз, работая над текстом своего завтрашнего выступления. Он отлично владел французским языком, но на этот раз сначала решил написать по-русски. Инесса переводила на французский. Она знала французский лучше Ленина. Это был ее родной язык. Ленин очень щепетильно относился ко всем своим публичным выступлениям на иностранных языках, в особенности же к этой речи на похоронах Лафаргов: когда предстояло выступить перед лицом всего революционного Парижа, язык его речи должен быть безукоризненным.

В воскресенье третьего декабря на кладбище Пер-Лашез с раннего утра из трубы крематория уже густо полз черный, жирный каменноугольный дым, смешиваясь с низкими городскими тучами и черной сетью мелкого дождя, зарядившего надолго. В подвале крематория, в печах бушевало адское пламя раскаленного добела антрацита, бежали синие волны газа, и все было готово для того, чтобы испепелить трупы двух атеистов.

Траурные черные колесницы, покачиваясь на высоких рессорах, одна за другой въехали в ворота Пер-Лашез. Качались круглые французские венки с красными муаровыми лентами. За колесницами шел весь революционный Париж, десятки тысяч французских пролетариев — фобуры Сен-Дени, Сент-Антуан, Бельвиль, Иври, Батиньоль, Монмартр — под красными знаменами, делегаты

международного социализма, среди которых между Крупской и Инессой Арманд с обнаженной блестящей головой шел сосредоточенный Ленин. Зал крематория не мог вместить всего народа, и траурный митинг прошел под открытым небом по дороге в колумбарий. Перед темной, неподвижной толпой, окружавшей со всех сторон траурное возвышение, выступали Каутский, Брак, Эдуард Вайян, Харди, Жорес — самые блестящие ораторы мира. Когда очередь дошла до Ленина, он решительно шагнул вперед и остановился на краю помоста. Он держал в руке сложенный пополам листок из блокнота, помявшийся в кармане, с французским текстом речи, но ни разу не взглянул на него. Ализариновые чернила автоматической ручки расплылись под дождем, пачкали пальцы фиалковыми пятнами.

— Товарищи! — раздался в тишине небольшой грассирующий голос Ленина.— Я беру слово, чтобы от имени Российской социал-демократической рабочей партии выразить чувство глубокой горести по поводу смерти Поля и Лауры Лафарг.

Ленин усилил голос, соразмеряя его с величиной толпы, наполнявшей почти все громадное кладбище, расположенное на холмах. Быть может, впервые в жизни Ленину приходилось выступать под открытым небом перед таким громадным скоплением народа, при монотонном шуме затяжного осеннего дождя, который упруго барабанил по раскрытым зонтикам, шуршал по красным знаменам, потемневшим от влаги. Дождь дымился в черных ветвях кипарисов, пробегал по мраморным крышам часовен и мавзолеев, по готической усыпальнице Элоизы и Абеляра*, по крестам, обелискам, скамейкам и статуям этого безмолвного города мертвых, по его тесным улицам, откуда доносился тонкий, настойчивый запах гниющих георгинов и хризантем. Голос Ленина звучал над живыми и над мертвыми.

Кто-то раскрыл над обнаженной головой Ленина зонтик, и капли дождя падали с его черных спиц на бумажку в руке Ленина.

— Сознательные рабочие и все социал-демократы России еще в период подготовки русской революции научились глубоко уважать Лафарга, как одного из самых талантливых и глубоких распространителей идей марксизма, столь блестяще подтвержденных опытом борьбы классов в русской революции и контрреволюции.

Голос Ленина еще усилился. Теперь в тишине этого громадного траурного митинга каждое слово Ленина долетало до самых отдаленных уголков Пер-Лашез.

— Под знаменем этих идей,— говорил Ленин,— сплотился передовой отряд русских рабочих, нанес своей организованной массовой борьбой удар абсолютизму и отстаивал и отстаивает дело социализма, дело революции, дело демократии вопреки всем изменам, шатаниям и колебаниям либеральной буржуазии.— Тут Ленин непроизвольно бросил быстрый взгляд на Каутского.

Ленин сделал небольшую паузу. Он видел перед собой парижский пролетариат, его боевые красные знамена, быть может, те самые, которые некогда развевались на баррикадах Коммуны, он видел аллеи кладбища, где шли последние бои коммунаров с версальцами. Быть может, в этот миг Ленин представлял себе, как снаряды шестиорудийной батареи версальцев, установленной на Тронной площади, громят ворота Пер-Лашез. Летят щепки, камни, куски железа. Огонь бьет в глаза. Преодолевая героическое сопротивление коммунаров и слабый огонь их митральез, версальцы врываются в глубину кладбища. В течение двух часов коммунары вели ожесточенный бой буквально за каждый памятник и каждую могилу. Как ясно представлял себе Ленин теперь, стоя на траурном помосте, страшное кровопролитие, происходившее т о г д а среди э т и х с а м ы х склепов и обелисков, белевших перед ним в черной зелени кипарисов... Дальше, среди голых зимних деревьев, он угадывал оббитую пулями стену, из которой как бы выступали раскинутые крестом руки трагической женщины и гордо закинутые головы расстрелянных коммунаров. Все это было так недавно! Ленин чувствовал, как из толпы на него смотрят старые парижские комму-

нары, а один из них — знаменитый Эдуард Вайян, парижский корреспондент Маркса, делегат по просвещению Коммуны, друг знаменитого поэта, автора «Интернационала» Эжена Потье, друг Курбе, Эдуарда Мане, Коро, Миле, Домье и других деятелей Коммуны — знаменитых французских художников, реформатор системы народного образования Франции,— стоит теперь рядом с ним на траурном помосте в старомодном сюртуке — рукава с буфами, в узком черном галстуке,— с гордой, поседевшей головой, блистающей каплями дождя.

Ленин и Вайян — две эпохи — стояли рядом друг с другом в этот траурный день похорон Лафаргов.

— В лице Лафарга,— продолжал Ленин,— соединялись — в умах русских социал-демократических рабочих — две эпохи: та эпоха, когда революционная молодежь Франции с французскими рабочими шла, во имя республиканских идей, на приступ против империи, и та эпоха, когда французский пролетариат, под руководством марксистов, вел выдержанную классовую борьбу против всего буржуазного строя, готовясь к последней борьбе с буржуазией за социализм.

Ленин уже полностью и безраздельно овладел вниманием толпы. Все глаза были прикованы к небольшой, энергично подвижной фигуре этого еще не вполне разгаданного русского лидера, который, делая сдержанно-страстные жесты, лишенные какого бы то ни было расчета на эффект, так просто, точно и вместе с тем с такой экспрессией раскрывал перед толпой самую суть мирового политического положения.

— Нам, русским социал-демократам, испытывающим весь гнет абсолютизма, пропитанного азиатским варварством, и имевшим счастье из сочинений Лафарга и его друзей почерпнуть непосредственное знакомство с революционным опытом и революционной мыслью европейских рабочих,— нам в особенности наглядно видно теперь, как быстро близится время торжества того дела, отстаиванию которого Лафарг посвятил свою жизнь.

Теперь в словах этого маленького, скромного русского

лидера звучало пророчество. Ленин совсем просто, как будто речь шла не о величайшем историческом открытии, а о самой обыкновенной, всем известной вещи, произнес пророческие слова:

— Русская революция открыла эпоху демократических революций во всей Азии, и 800 миллионов людей входят теперь участниками в демократическое движение всего цивилизованного мира. А в Европе все больше множатся признаки, что близится к концу эпоха господства так называемого мирного буржуазного парламентаризма (Жорес неодобрительно помотал головой)... чтобы уступить место эпохе революционных битв организованного и воспитанного в духе идей марксизма пролетариата, который свергнет господство буржуазии («Не так скоро, не так скоро»,— пробормотал Каутский, сердито взглянув на Ленина)... и установит коммунистический строй.

С этими словами Ленин решительно стряхнул пальцами капли дождя с бархатного воротника своего пальто и отошел в сторону. Он кончил. Коммуна, раздавленная и растрелянная сорок лет тому назад на кладбище Пер-Лашез, вновь была провозглашена на этом же самом месте.

С кладбища возвращались домой на метро, когда уже совсем стемнело. Наступили так называемые часы «пик». Нужно было пересечь почти весь город. Страшно устали. Пересаживались на станции «Реомюр — Севастополь». Толпа стиснула их и потащила за собой по грязно-кафельным подземным коридорам, по темным каменным лестницам, поблескивающим под ногами, как бы посыпанным селитрой. Они шли, подчиняясь приказаниям многочисленных надписей и стрелок. Тяжелый углеродистый воздух, то жаркий до головокружения, то сырой, холодный, врывался откуда-то из боковых ходов и проносился по бегущей толпе, которая вдруг останавливалась перед шипящими пневматическими дверцами; они неотвратимо медленно закрывались перед самой грудью, не пуская на перрон опоздавших к очередному, быстро приближающе-

муся поезду. Щелкали громадные никелированные щипцы в подагрических руках старух контролерш, пробивая картонные билеты с буквой «V», и из щипцов все время сыпались на пол кружочки и полумесяцы, устилая каменный пол безрадостным конфетти. А старуха контролерша, сидя на складном стульчике, все щелкала и щелкала щипцами — младшая парижская сестра Парки*,— как бы «считая дни и не давая отсрочки». Подошел поезд. Пять вагонов. Средний, полупустой, белого цвета,— первого класса. С тугим пневматическим шипением двери плавно закрылись; сами собой со стуком заперлись медные щеколды; поезд помчался, вагон мотало, валя на поворотах пассажиров друг на друга, сбивая с ног, как кегли. Но Ленину это, видимо, даже нравилось: быстро, сравнительно недорого, сердито. Демократично. Правда, тесновато и могло бы быть дешевле, но ничего не поделаешь: капитализм. Многомиллионный пролетарский город. Столица мира. Для того чтобы угнаться за потребностями его быстро растущего населения, необходимо плановое социалистическое хозяйство. Капиталистическая анархия промышленного производства не угонится. А вообще-то метрополитен — вещь невредная. Когда русский пролетариат прогонит царя и возьмет власть в свои руки, одним из первых мероприятий должна быть постройка в наиболее крупных рабочих центрах хорошего, удобного, быстрого и дешевого метрополитена. Кое-чему не мешало бы поучиться и у буржуазии. Например, народное питание. Побольше всевозможных демократических закусочных, бистро, ресторанчиков, молочных. На каждом предприятии. Цены по себестоимости. Дешево и сердито. И женщинам станет легче. Не маяться же всю жизнь у плиты! Побольше дешевых механических прачечных: не гнуть же всю жизнь спину над корытом! Хорошо бы и громадные универсальные магазины. С минимальной наценкой. С кредитом. Пролетарские «О Прентан», «Самаритен», «Галерея Лафайета». Отлично бы!

Ленин уже не думал о похоронах Лафаргов. Как всег-

да, его мысль мчалась вперед. Крупская вернула его мысли к сегодняшнему дню:

— Володя.

— Что?

— Ты обратил внимание, как смотрел на тебя Жорес, когда ты прошелся насчет либеральной буржуазии?

В грохоте поезда Ленин не услышал. Приложил руку к уху, наклонив голову к Надежде Константиновне. Она громко повторила свои слова. Ленин усмехнулся. Глаза его по-боевому, остро и непримиримо блеснули.

— Да и Каутский тоже! — крикнул он в ухо Крупской.

Надежда Константиновна победно улыбнулась. Глаза Ленина погасли: вспомнилась поездка в Дравейль. Маленькая гостиная. Камин.

Ленин вздохнул.

— Да, Надюша. Если не можешь больше для партии работать, надо уметь посмотреть правде в глаза и умереть так, как Лафарг.

Несмотря на шум в вагоне, Крупская поняла слова Ленина. Грустно покачала траурной шляпкой. Шипели, открываясь и закрываясь, пневматические двери. Входили и выходили люди. Трудящиеся люди Парижа. Рабочие в синих блузах, бедные студенты в беретах, девушки из больших магазинов с полосатыми коробками в руках. У одной из них на пальчике лопнула лайковая перчатка, напоминая лопнувшую фисташку. За окнами проплывали названия знакомых станций, выложенные белыми кафельными плитками по синему: «Halles», «Châtelet», «St. Michel», «Odéon», «St. Sulpice», «Montparnasse», целая полоса парижской жизни. «Vavin, Raspail» — и вот теперь эта полоса кончается навсегда, уходит в прошлое, в историю. Париж уже изжил себя. Выгорел. Он уже не принесет ничего делу, которому Ленин посвятил свою жизнь. Пора рвать с Парижем. После смерти Лафаргов почему-то это стало особенно ясно. «Засиделись мы здесь, в эмигрантском болоте, засиделись».

— А небось, Надюша, у нас в России сейчас настоя-

щая зима. Крепкая, ядреная. Вот бы на конечках прокатиться. Самый раз! Ась, Надюша?

А станции все летят и летят. Как жизнь. «Denfert-Rochereau», «Mouton Duvernet», наконец, вот она, «Alésia»,— это уже последняя. Здесь выходить.

— Надя, Инесса, не зевайте, чтоб не прищемило дверью.

Скоро после этого он уехал из Парижа в Прагу. Потом еще поближе к России — в Краков, в Поронино, навстречу Октябрю, навстречу Советам, навстречу своей неизмеримо громадной, вечной, незакатной славе, о которой он ни разу в жизни даже не подумал, навстречу своей смерти, столь же простой, величественной и прекрасной, как и вся его жизнь. Думал ли он, уезжая из Парижа, что жизни его остается всего лишь каких-нибудь двенадцать лет? Может быть, и думал, потому что один лишь он чувствовал, знал, как страшно, нечеловечески страшно он устал телесно.

«Ленин был физически крепкий, сильный человек,— пишет Н. Семашко.— Его коренастая фигура, крепкие плечи, короткие, но сильные руки — все обличало в нем недюжинную силу. Ленин умел, поскольку он мог, заботиться о своем здоровье. Поскольку мог, то есть поскольку позволяла это его чрезмерно напряженная работа. Он не пил, не курил. Ленин был физкультурником в самом точном смысле слова: он любил и ценил свежий воздух, моцион, прекрасно плавал, катался на коньках, ездил на велосипеде. Будучи в петербургской тюрьме, Ленин каждый день делал гимнастику, шагал из конца в конец камеры... Если бы не железное здоровье Владимира Ильича, он не выдержал бы тяжелого ранения в результате покушения эсерки. Ранение было исключительно тяжелое. Пуля, пронизавшая грудную клетку, залила ее кровью, порвав крупные сосуды. Пуля, попавшая в шею, прошла настолько близко от жизненно важных сосудов (сонная артерия и вена), что Владимир Ильич первые

дни выделял с кашлем кровяную мокроту. И тем не менее уже через несколько дней Владимир Ильич почувствовал, что он выздоравливает, и был оптимистически настроен. Несмотря на мольбы врачей повременить с занятиями, Владимир Ильич начал рано заниматься и на упреки отвечал, улыбаясь: «Перемудрили»...»

Считается, что на Ленина было совершено два или три покушения. По-моему, их было больше, но это еще надо проверить. Во всяком случае, с семнадцатого года за ним охотились враги, его травили. Пуля Каплан была отравлена. Сколько это стоило ему здоровья, нервов!

«Последняя болезнь Владимира Ильича началась с незначительных симптомов: у него закружилась голова, когда он встал с постели, и он должен был ухватиться за стоявший рядом шкаф. Врачи, тотчас вызванные к нему, сначала не придали значения этому симптому. А Владимир Ильич стал грустен и задумчив; он предчувствовал беду и на все утешения отвечал: «Нет, это первый звонок».

К несчастью всего человечества, прогноз его оправдался...»

Не так давно, в январе, мы гуляли по Парижу, и, как всегда, я представлял себе на этих улицах живого Ленина. С утра мы уже успели побывать во многих ленинских местах. Посидели на скамеечке в парке Монсури, где любил сидеть Ленин, когда жил на Мари-Роз. Он обыкновенно устраивался с книжкой возле небольшого искусственного каскада и под шум игрушечных водопадиков, стекавших в пруд, где грациозно плавали белые и черные лебеди, думал свои великие думы.

Доживу ли я до того дня, когда здесь будет поставлен памятник Ленину, сидящему с книжкой на коленях возле вечно живой, вечно текущей воды?

...Однажды на вопрос М. Эссен, что ей следует посмотреть в Париже, Ленин сказал:

— Прежде всего пойти к Стене коммунаров на кладбище Пер-Лашез, в Музей революции 1789 года и в Музей восковых фигур Гревен*. В смысле художественного выполнения музей, говорят, немногого стоит, но по содержанию интересен... Ну, насчет музеев, выставок и всего прочего обратитесь к Жоржу, он все это здорово знает и даст вам все нужные указания.

«Жорж» — это Плеханов.

Ленин во всем искал только революцию. Остальное было для него безразлично. Остальное — «обратитесь к Жоржу».

Мы снова — в который раз! — прошлись по аллеям Пер-Лашез, постояли возле Стены коммунаров. И снова мне представились: дождливый декабрьский день, масса блестящих зонтиков и на краю траурного помоста, среди красных знамен и цветов, небольшая фигурка Ленина, простершего над молчаливой толпой свою крепкую, короткую руку, как бы властным жестом — таким знакомым! — зовущую народы мира сквозь смерть, сквозь огонь революций и войн к миру, к счастью, к жизни. Потом мы побывали в музее Гревен, и я как бы воочию увидел Ленина перед восковыми фигурами Великой французской революции. Вот он, прищурив глаз, рассматривает растрепанную куклу — мадам Роллан*, отпрянувшую с ужасом на лице в темный угол искусственной комнаты, в то время как в неестественно черном окне мелькали красные фригийские колпаки санкюлотов и протягивалась на конце полосатой пики мертвая голова казненного аристократа. А вот Марат в ванне, похожей на башмак, и Шарлотта Корде в чепчике, с кинжалом в восковой руке. Вот Ленин с недоброй усмешкой смотрит на музыкальный вечер в Мальмезоне*, на фигурку великого ренегата французской революции, в белых лосинах, туго натянутых на крепкие ноги, в белом пикейном жилете и в синем

фраке, который слушает музыку на фоне красивой летней ночи, видной в открытых дверях балкона. Вот Ленин стоит, рассматривая кровать под кисейным пологом от москитов, белую голову мертвого императора на подушке и большую треугольную шляпу на тумбочке. В музее Карнавале с такой поразительной ясностью я видел Ленина среди самодельных пик 1789 года, революционных воззваний, декретов, бумажных денег, ветхих треуголок национальной гвардии с кокардами, похожими на маленькие мишени. Я представлял, как Ленин трогает круглым носком своего ботинка белый камень Бастилии — единственное, что уцелело от легендарного тюремного замка французских королей. Наконец, мы зашли в Консьержери, и я опять представил себе Ленина среди железных решеток, в сумрачных казематах, перед стеной, где на вечные времена приклепан нож гильотины, тот самый, настоящий, подлинный, срубивший так много виновных и невинных голов, чем-то отдаленно напоминающий лемех какого-то странного и страшного плуга.

Ленин постучал ногтем по старому железу, и оно ответило еле слышным, угрюмым звоном далекого колокола, а потом Ленин прошел по кирпичному полу узкой камеры, где сначала на коленях молилась перед казнью Мария-Антуанетта, а потом, мучаясь от страшной боли, лежал на грубой деревянной скамье сам Робеспьер, худенький самолюбивый молодой человек с раздробленной челюстью, ожидая своего смертного часа. Ленин молчаливо потрогал решетку, которую некогда изо всех сил тряс конопатый гигант Дантон, крича на всю тюрьму своим львиным голосом: «Граждане! Революция сошла с ума!»

В районе Одеона, на бульваре Сен-Жермен — через улицу — против памятника Дантону, зовущему вперед национальных гвардейцев, стреляющих с колена, есть ста-

ринные ворота, ведущие в узкий средневековый двор. В этом сыром и темном дворике, где никогда не просыхают каменные плиты, друг против друга стоят два ветхих флигеля. В одном помещалась типография, где Марат печатал своего «Друга народа», а в другом, на втором этаже, за маленькими, как бы клетчатыми окошками, жил изобретатель гильотины доктор Гильотен. Этот уголок старого революционного Парижа некогда, в моей молодости, показал мне Шарль Раппопорт, великий знаток истории Парижа. Насладившись моим восхищением, он сказал: «Я водил сюда Ленина. Он был в восторге и потом часто повторял: «Справа Марат, слева Гильотен. Это великолепно!» Здесь же, в районе Одеона, на улице Старой Комедии, среди закоулков дряхлого Парижа, Раппопорт показал мне самый старый ресторан в мире — «Прокоп», открытый в 1689 году. Мы зашли в него и выпили по рюмке мандарин-кюрасо со льдом — угощал Шарль Раппопорт. На стенах висели портреты самых выдающихся посетителей этого заведения: Вениамин Франклин, Жан-Жак Руссо, Вольтер, д'Аламбер, Мольер, Дидро, Дантон, Марат, Робеспьер...

— Не хватает портрета Ленина,— сказал Шарль Раппопорт,— но я не сомневаюсь, что он когда-нибудь здесь появится, потому что Ленин бывал в этом кафе...

Был теплый день парижской зимы, которая шла на убыль и уже еле заметно, тонко дышала весной, запахом пармских фиалок, синевших кое-где на углах в плоских корзинах цветочниц: маленькие круглые букетики, тесно прижавшись друг к другу, как бы хотели согреться среди все же еще очень зимнего города. Весь Париж был в нежной опаловой дымке, и шафранно-желтый кружок январского солнца с трудом проглядывал сквозь темно-перламутровые тучи над Луксорским обелиском на площади Согласия, над конями Марли*, над голой, черной каштановой рощей в начале Елисейских полей, как бы нарисованной углем, над еле заметным вдалеке голубым

силуэтом Эйфелевой башни. Есть в парижской зиме что-то китайское. Во всяком случае, я видел в январе в Пекине, над мраморными мостиками и ажурными столбиками площади Тяньаньмынь, рядом с крышей знаменитых ворот, точно такое же солнце — печальный кружок, как бы очень тщательно нарисованный желтой тушью... И тени еще обнаженных деревьев, и во всем тончайшее предчувствие весны. В такие дни в Париже прохожие более охотно, чем всегда, останавливаются возле витрин эстампных магазинов, перед выставленными картинами. Вы идете по улице Боэси, как по залам Музея новейшей живописи. Моды менялись, но не слишком быстро. В Париже моды меняются, вопреки общепринятому мнению, очень медленно. Сначала барбизонцы, потом импрессионисты, потом постимпрессионисты. Пожалуй, на этом мода и остановилась. Абстракционисты все никак не могут войти в моду. Их не любят. Очень возможно, они так и умрут в витринах эстампных магазинов парижской зимы. Ленин видел в витринах постимпрессионистов и Пикассо голубого периода. Пикассо до сих пор так же знаменит. Рисунок Пикассо — портрет советского космонавта Юрия Гагарина в крылатом шлеме, полуголубя-получеловека, выставлен в парижских витринах, напоминая, что в мире давно уже началась эпоха Ленина.

Как жаль, что Ленин не дожил до этих дней!

Над восьмигранным прямоугольником Вандомской площади, где возвышается «столбик с куклою Чугунной», возле самой фигурки императора в дубовом венке и тоге цезаря, плыло все то же солнце. Может быть, Ленин видел такое же солнце — холодное, без лучей, желтое солнце парижской зимы. Но, вернее всего, проходя по улице Мира, мимо витрин, из которых ослепительно блестели драгоценные камни стоимостью в тысячи, сотни тысяч, а даже, может быть, миллионы франков, среди всего этого оскорбительного, бессмысленного богатства, доведенного до полного идиотизма, Ленин видел перед собой

Вандомскую площадь в дни Парижской коммуны, поваленную колонну и громадную чугунную тушу императора, которая лежала, продавив мостовую, и мешала движению через площадь — прямая, страшная, глупая. Дорого заплатил знаменитый художник-коммунар Курбе, председатель комиссии художников, созданной правительством Коммуны, один из главных инициаторов низвержения Вандомской колонны, за то, что так энергично, по-революционному расправился с памятником тирана, если уж не смог расправиться с самим тираном: в течение двух месяцев в невероятных условиях его гноили в тюрьме, его водили скованным по улицам Парижа, плевали ему в лицо. Ему предъявили иск в сумме свыше трехсот тысяч франков, и ему — славе Франции! — осталось одно — бежать за границу. Он скрылся в Швейцарии и умер в изгнании. Неужели судьба всех воистину великих и благородных людей, настоящих революционеров и патриотов — умирать в изгнании?

Ленин был человеком бесстрашным и, быть может, боялся лишь одного — остаться вечным изгнанником и умереть вдали от родины, которую он так беззаветно любил.

К счастью, этого не случилось. Скоро, даже гораздо скорее, чем он мог предполагать, Ленин вернулся на родину, и день его возвращения, когда прозрачной апрельской ночью при свете военных прожекторов, вырвавших из темноты его маленькую фигуру с протянутой вперед короткой рукой, окруженный толпами русского революционного пролетариата, стоя на башне броневика, он проехал через всю столицу государства Российского, стал первым днем провозглашенной им грядущей социалистической революции.

Желтое солнце парижской зимы медленно уходило за Триумфальную арку на площадь Звезды, уходило за Нейи, за обнаженные деревья Булонского леса, за гори-

ческие крыши Сен-Клу на высоком берегу вечерней Сены. Мы шли по Парижу, иногда останавливаясь перед маленькими мемориальными досками с именами героев Сопротивления, украшенными букетиками цветов и пожелтевшими трехцветными лентами венков, превратившихся в проволочные скелеты — ужасные напоминания о немецком фашизме, в течение четырех лет терзавшем Францию. Каждая такая мраморная доска освящала место, где на черно-синей парижской мостовой пролилась драгоценная кровь патриота. Каждый букетик полузавядших цветов напоминал нам легенду о Габриеле Пери*.

Гортензий голубой венок
Расцвел над ним бог весть откуда.

Когда мы подошли к Елисейским полям, погода вдруг испортилась. В один миг все вокруг потемнело. Возле «Фигаро»* в лицо дунул резкий ветер. Это уже было не мягкое дыхание зимней Атлантики, а острый, пронзительный холод, принесенный откуда-то с далекого Севера. Мы едва успели добежать до угла улицы Мариньян, как пошел снег — не тот мягкий, легкий парижский снег, который не жжет, а лишь нежно щекочет ресницы, а настоящий полярный снег, секущий лицо, как розга. Мы поспешили войти в угловое кафе и сели возле громадной витрины, за которой была видна улица, мутная от летящего снега. Теперь Елисейские поля скорее напоминали какую-то большую московскую улицу в новом районе, может быть, на Юго-Западе или в Черемушках, где по странной прихоти воображения бежали в метели слишком легко одетые для такой погоды парижанки на гвоздиках каблучков, в высоких черных и белых прическах, с пугающими глазами, резко подрисованными жирным угольным карандашом, на нежных фарфоровых лицах, фиолетово озаренных огнями синема. Толпа бежала к входам в метро, и люди один за другим скрывались в его недрах, откуда, как из прачечной, вырывались клубы пара. Кафе быстро наполнилось посетителями, которые сбрасывали со своих шляп и макинтошей легкие куски снега, таявшего

на красных коврах и дорожках кафе. А за стеклянной плитой нашего громадного окна, среди сверкающих лампионов Елисейских полей, продолжала неистовствовать метель, выпуская откуда-то сверху, с крыш семиэтажных домов, заряд за зарядом.

Было 21 января, годовщина смерти Ленина. Время снова потеряло надо мною власть, и я увидел Москву 1924 года, страшный январский день; сильную утреннюю оттепель, которая к вечеру превратилась в небывалый, лютый мороз, убивавший на лету птиц, падавших, как камни, на скамейки московских бульваров среди треска лопавшихся деревьев.

Жестокую стужу костры сторожили,
Но падала температура
На градус в минуту, сползая по жиле
Стеклянной руки Реомюра.

Бульвар, пораженный до центра морозом,
Деревьев артериями синий,
Уже не бисквитом хрустел, а склерозом,
На известь меняющий иней.

И землю морозом сковав и опутав,
Хирурги хрустальной посуды
Выкачивать начали кровь из сосудов,
Чтоб стужей наполнить сосуды.

И вынули сердца таинственный слиток,
И пулю, засевшую слепо,
И мозг, где орехом извилины слиты,—
Поступков и совести слепок...

...Но я не пришел посмотреть и проститься:
Минута, навеки и мимо...
Бывает, что стужею сердце, как птица,
Убито у двери любимой.

Бывает, что сердце становится слепо
И сил не хватает годами

Высокого лба, как отцовского склепа,
Прощаясь, коснуться губами.

Вьюга бушевала. Вокруг пили кофе. Звенели ложечки. И потом в дыму метели я увидел Красную площадь и Мавзолей Ленина — сначала деревянный, а потом гранитный — и услышал бой часов на Спасской башне.

История делает славу на ощупь,
Столетьями пробуя сплавы,
Покуда не выведет толпы на площадь
К отлитому цоколю славы*.

Метель на Елисейских полях продолжала кружиться, но вдруг совершенно неожиданно ветер упал, снег прекратился, стало тепло. Мы вышли из кафе. На Елисейских полях почти не было прохожих, только мчались потоки автомобилей, отражая в своей лаковой поверхности волнисто-льющиеся, светящиеся рекламы синема. На широком тротуаре лежал тонкий слой хрупкого снега, уже таявшего под ногами; снег был освещен неподвижным розовым заревом «Лидо»; и тревожно бегал взад-вперед потерявшийся во время метели, остриженный по самой последней моде черный пудель с длинными ляжками, оставляя на девственно-белом тротуаре трефовые следы.

1960—1964 гг.
Москва — Переделкино

ПРИМЕЧАНИЯ

Князев Владимир Александрович (1871—1925) — член петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», портовый рабочий; с 1894 года участвовал в создании под руководством В. И. Ленина марксистских рабочих кружков в Петербурге; на его квартире проходили занятия кружка, которым руководил В. И. Ленин.

Аронсон Наум Львович (1872—1943) — скульптор; родился в России, в Витебской губернии. С восемнадцати лет жил и работал во Франции, в Париже, но не терял связи с родиной. Создал ряд скульптур «Спартак», «Маркс», «Старый коммунар», «Россия, 1905» и др. Ему принадлежат скульптурные портреты Данте, Сократа, Шопена, Бетховена, Льва Толстого и др. Одной из лучших работ скульптора является бюст Ленина, выполненный в красном мраморе.

Сократ (ок. 469—399 гг. до н. э.) — древнегреческий философ.

Поль Верлен (1844—1896) — французский поэт, считавший главным в стихах музыкальность и подчинявший ей смысл. Слово у него потеряло самостоятельное значение, образы стали неясными и туманными. На русский язык стихи П. Верлена переводили поэты-символисты: К. Бальмонт, Ф. Сологуб. Переводил его и В. Брюсов.

Каррьер-Беллез (1824—1887) — французский скульптор. Обратил на себя внимание работами «Вакханка», «Мессия», «Мадонна с младенцем» и др. Лучшими его произведениями являются скульптурные портреты современников, среди них портрет писателя-романтика Теофиля Готье, философа Эрнеста Ренана и т. д.

Лепешинский Пантелеймон Николаевич (1868—1944) — видный деятель Коммунистической партии, профессиональный революционер. Находясь в ссылке, в 1898 году встретился с В. И. Лениным и стал одним из его близких друзей и учеников. Принимал деятельное участие в организации распространения газеты «Искра», позднее — в подготовке III съезда партии. Активный участник Февральской и Октябрьской революции 1917 года. В годы Советской власти работал в Наркомпросе, затем — директор Исторического музея и Музея Революции.

Васильев-Южин Михаил Иванович (1876—1937) — профессиональный революционер, член РСДРП с 1898 года. В 1905 году в Женеве в эмиграции встретился с В. И. Лениным. Сотрудничал в большевистских газетах «Вперед» и «Пролетарий». Один из руководителей Декабрьского вооруженного восстания в Москве 1905 года и вооруженного восстания 1917 года в Саратове. После Октябрь-

ской революции — член коллегии НКВД, член РВС 15-й армии; в 1924—1937 гг.— заместитель председателя Верховного Суда СССР.

Землячка Розалия Самойловна (1876—1947) — видный деятель Коммунистической партии и Советского государства. С семнадцати лет участвует в революционном движении. В 1901 году — агент газеты «Искра», в 1903 году — член ЦК партии от большевиков; в период революции 1905—1907 гг. возглавляла Московский комитет партии. В октябрьские дни 1917 года руководила борьбой рабочих Рогожско-Симоновского района в Москве. 1918—1921 гг.— начальник политотделов армий на Северном и Южном фронтах. В последующие годы — на руководящей партийной и советской работе.

«Пролетарий» — нелегальная большевистская газета. Выходила в 1906—1909 гг. под редакцией В. И. Ленина. Издавалась в Выборге, Женеве, Париже. «Пролетарий» фактически являлся Центральным органом большевиков.

Неокантианские ревизионисты и «новые» неоюмистские и необерклианские ревизионисты.— Здесь речь идет о философском течении — эмпириокритицизме (философия «критического опыта»), или махизме, с проповедью которого выступила группа социал-демократической интеллигенции в годы реакции, после поражения революции 1905—1907 гг. Основано это течение на реакционных теориях философов-идеалистов конца XIX века — Авенариуса и Маха. Они утверждали, что материальный мир, природа существуют постольку, поскольку отражаются в ощущениях и входят в опыт отдельного человека или народа. В. И. Ленин указывал, что это не новая, а старая философия, возвращение от материализма к субъективному идеализму таких философов прошлого, как английские философы Давид Юм (1711—1776), епископ Джордж Беркли (1685—1753) и немецкий философ Иммануил Кант (1724—1804).

Эмпириомонизм — одна из разновидностей эмпириокритицизма, или махизма, в России.

«Богостроительски-отзовистская фракция».— Речь идет о враждебном марксизму религиозно-философском течении, ко-

торое возникло в период реакции среди части партийных интеллигентов, отошедших от марксизма после поражения революции 1905—1907 гг. К нему принадлежали Луначарский, Базаров и др. «Богостроители» призывали к созданию новой, «социалистической» религии, стремились примирить непримиримое — марксизм с религией.

Отзовисты — оппортунистическая группа, возникшая среди большевиков; возглавлялась А. Богдановым. Прикрываясь революционными фразами, отзовисты требовали отзыва социал-демократических депутатов из III Государственной думы и прекращения работы в легальных организациях — профессиональных союзах, кооперативах и т. д.

Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873—1955) — один из старейших членов Коммунистической партии. Еще юношей стал профессиональным революционером. В предреволюционные годы принимал активное участие в организации большевистских газет, журналов и партийных издательств. Участник Февральской и Октябрьской революций 1917 года. С первых дней Октября до октября 1920 года — управляющий делами Совнаркома. Позднее — на издательской и научной работе. Организатор и директор Государственного литературного музея, директор Музея истории религии и атеизма АН СССР в Ленинграде.

Попов Иван Федорович (1886—1957) — писатель, революционер. Подвергался арестам, бежал из ссылки в Бельгию, где с 1908 года работал под непосредственным руководством В. И. Ленина. Сотрудничал в газете «Правда» и других большевистских изданиях. В годы первой мировой войны был интернирован в Германию, вернулся в Россию из плена в 1918 году. Позднее — на литературно-издательской работе. Автор пьесы «Семья» о юношеских годах В. И. Ленина и других произведений на историко-революционные темы.

Дубровинский Иосиф Федорович (партийная кличка «Инок»; 1877—1913) — профессиональный революционер. Начинал свой путь в народовольческих кружках, затем порвал с народничеством, стал марксистом. С 1902 года — агент «Искры». После II съезда кооптирован в ЦК РСДРП. В 1905 году — один из руководителей

вооруженного восстания в Москве. В 1908 году, находясь в эмиграции, работал в редакции большевистской газеты «Пролетарий». Неоднократно подвергался репрессиям царского правительства. В 1913 году погиб в Туруханской ссылке.

Людвинская Татьяна Федоровна (1887—1976) — профессиональная революционерка, член КПСС с 1903 года, бывшая работница трикотажной фабрики. В 1905 году была членом Одесского комитета партии, принимала участие в Октябрьских баррикадных боях. Подвергалась арестам, ссылке, тюремному заключению. В октябре 1917 года — член Военно-революционного комитета одного из районов Москвы. Позднее — секретарь Ярославского горкома партии и на другой партийной и советской работе. В последние годы — персональная пенсионерка.

Мартов Л. (псевдоним Цедербаума Юлия Осиповича; 1873—1923) — один из лидеров меньшевизма. В 1895 году участвовал в организации петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», по делу которого в 1896 году был арестован и сослан на 3 года в Туруханск. В 1900 году принимал участие в подготовке издания «Искры», входил в состав ее редакции. На II съезде партии выступил против ленинских принципов организации партии, возглавил оппортунистическое меньшинство съезда. В годы реакции редактировал орган меньшевиков-ликвидаторов — «Голос социал-демократа». Во время первой мировой войны занимал центристскую позицию. После Октября 1917 года стал открытым врагом Советской власти и в 1920 году эмигрировал в Германию, где издавал контрреволюционный меньшевистский «Социалистический вестник».

Ажан (франц.) — полицейский.

«Новое время» — ежедневная буржуазная газета. Выходила в Петербурге с 1868 по 1917 год. Сначала была умеренно-либеральной, затем, когда в 1876 году во главе ее стал А. С. Суворин, превратилась в орган реакционных дворянских и чиновно-бюрократических кругов. С 1905 года газета делается откровенно черносотенной, а после Февральской революции 1917 года — контрреволюционной,

бешено травит большевиков. Закрыта 8 ноября 1917 года Военно-революционным комитетом при Петроградском Совете.

Квазисвобода — то есть ложная свобода, «якобы свобода».

Фламмарион Камиль (1842—1925) — французский астроном. Известен своими увлекательными научно-популярными и научно-фантастическими книгами о космосе. Урания — аллегорический персонаж его произведений. Имя это взято Фламмарионом из древнегреческих мифов. Так называлась муза науки о мироздании, о звездном небе, муза философии. Урания — то есть «Небесная».

Рембо Артур (1854—1891) — французский поэт, один из основоположников символизма. Ранние его стихи проникнуты ненавистью к капитализму, религии, войнам. Во время героических боев Парижской коммуны 1871 года посвятил ей лучшие свои произведения («Руки Жанны Мари», «Париж заселяется вновь»). Позднее в творчестве Рембо воплотились настроения глубокого разочарования, упадка (поэма «Пьяный корабль» и др.) Он создал символистскую теорию поэзии (например, «Цветной сонет»). После 1873 года Рембо отошел от литературы.

Бриан Аристид (1862—1932) — французский государственный деятель и дипломат. Примыкал к левому крылу социалистов. В 1902 году прошел в парламент и стал открыто враждебным рабочему классу — реакционным буржуазным политиком. В 1909 году — премьер-министр «кабинета трех ренегатов» (Бриан — Мильеран — Вивиани), то есть бывших социалистов, перешедших в лагерь буржуазии. Прославился жестоким подавлением рабочих забастовок. Ряд лет, в период с 1913 по 1922 гг., занимал пост премьер-министра Франции. В 1926 — 1931 гг. был министром иностранных дел.

Марат Жан-Поль (1743—1793) — выдающийся деятель французской буржуазной революции конца XVIII века, ученый и публицист. Вел жестокую борьбу с феодальными порядками, требовал низвержения монарха, позднее добивался углубления революции и резко выступал против жирондистов — их правого крыла. Марат добился падения правительства жирондистов и установления якобинской диктатуры. Был убит Шарлоттой Корде (1768—1793), участницей контрреволюционного заговора.

Ней Мишель (1769—1815) — маршал Франции. Один из соратников Наполеона I, участник всех войн, какие вела Франция с 1792 по 1813 год, в том числе и похода на Россию. После разгрома наполеоновской армии и панического бегства самого Наполеона вынужден был принять командование остатками французских войск во время их отступления из России.

Митральеза — французское название первоначального типа скорострельного оружия. Позднее на этой основе возник станковый пулемет.

Нотр-Дам — собор Парижской богоматери, великолепный образец средневековой французской архитектуры. Воздвигнут на месте древнего галло-римского храма. Строительство собора было начато в 1163 году и закончено в 1257 году.

Консьержери — старинная тюрьма в Париже, является частью архитектурного ансамбля Дворца юстиции, воздвигнутого в центре города на месте, где некогда был дворец римских правителей Лютеции, как в древности назывался Париж. Во время французской буржуазной революции в конце XVIII века место заключения всех осужденных Революционным трубуналом. Здесь перед казнью находилась в заточении французская королева Мария-Антуанетта.

Дягилев Сергей Павлович (1872—1929) — создатель и редактор журнала «Мир искусства». В предреволюционные годы много сделал для пропаганды русского искусства в Западной Европе. Организатор «Русской художественной выставки в Париже» (1906), «Исторических русских концертов» (1907), постановки в Париже оперы «Борис Годунов» с Шаляпиным в главной роли (1908), а в последующие годы — выступлений русского балета. После Октябрьской революции остался за границей и умер на чужбине.

Ростан Эдмон (1868—1918) — французский драматург, романтик, поэт. Лучшая из его пьес — «Сирано де Бержерак» — до сих пор не сходит со сцены, часто ставится в Советском Союзе. Пьеса «Шантеклер» завершает творческий путь Ростана, она аллегорична и условна.

«Умирающий лебедь», «Сильфиды» — балетные произведения, включавшиеся в программу дягилевского ансамбля. Первое из них создано на музыку французского композитора Камиля Сен-Санса (1835—1921). Второе — «Сильфиды» — представляет собой одноактный балет на музыку польского композитора Фредерика Шопена (1810—1849). Декорации к этой «романтической грезе» рисовал русский художник Александр Бенуа, ставил балетмейстер М. М. Фокин, главную роль исполняла прославленная балерина Анна Павлова. Сильфиды — в средневековом фольклоре многих европейских народов — духи воздуха.

Стихи Монтегюса здесь и в дальнейшем даю в переводе А. Б. Гатова. *(Примеч. автора.)*

Мансар — семья знаменитых французских архитекторов. Старший из них — Франсуа Мансар (1598—1666) — видный представитель классицизма XVII века в архитектуре. Лучшие работы Франсуа Мансара — замок Мезон, галерея Мазарини в Париже (теперь часть Национальной библиотеки) и др.— отличаются ясностью, строгостью и гармоничностью пропорций. Его дело продолжил ученик и племянник Жюль Ардуэн Мансар (1646—1708), который руководил многолетними работами по перестройке Версаля. Величавость и торжественность — отличительные черты стиля младшего Мансара.

Мазарини Джулио (1602—1661) — кардинал, первый министр Франции, дипломат и политический деятель. Активно способствовал укреплению королевской власти в стране, подавлял народные движения.

Лета — греческое слово, означает «забвение». В греческой мифологии так называлась река в подземном мире, в том мире, куда, по преданию, люди уходят после смерти.

Меньшиков М. О. (1859—1919) — реакционный публицист, активный сотрудник «Нового времени». В. И. Ленин назвал его «верным сторожевым псом царской черной сотни». После Октябрьской революции активно боролся против Советской власти. В 1919 году расстрелян за контрреволюционную деятельность.

Верхарн Эмиль (1855—1916) — выдающийся бельгийский поэт; родился во Фландрии, писал на французском языке. Главные темы его творчества: гибель патриархальной деревни и рост капиталистического города (сб. «Призрачные селения», «Города-спруты» и др.). Остро и непримиримо обличал противоречия буржуазного общества. Во многих своих произведениях поэт поднимается до революционного пафоса (стихи «Мятеж», «Восстание», «Трибун», драма «Зори»). В 1892 году вступил в бельгийскую рабочую партию.

Кашен Марсель (1869—1958) — выдающийся деятель французского и международного рабочего движения. Один из основателей Французской компартии, бессменный директор-издатель ее центрального органа — газеты «Юманите».

Фобуры (франц.) — предместья.

Жакоб — семья знаменитых французских мастеров художественной мебели. Глава семьи — Жорж Жакоб (1739—1814) — создал свой особый стиль. Среди лучших его работ — мебель для мастерской художника Ж.-Л. Давида, а также выполненная в годы французской буржуазной революции обстановка для зала заседаний Конвента. Его сын Франсуа-Оноре Жакоб (1770—1841) был придворным поставщиком мебели при Наполеоне I. Работы его — яркий образец стиля ампир.

Клемансо Жорж Бенжамен (1841—1929) — французский политический и государственный деятель. В 70-е годы он находился в оппозиции к режиму Наполеона III, заигрывал с «четвертым сословием», как он называл пролетариат. Но уже в 1906—1909 гг. возглавлял правительство, которое свирепо подавляло революционное движение во Франции, вызванное русской революцией 1905—1907 гг. После Октября 1917 года Клемансо — непримиримый враг Советской власти, один из главных организаторов блокады и вооруженной интервенции против Советской России, один из руководителей разгрома Венгерской советской республики 1919 года.

«Впередовцы», или группа «Вперед»,— антипартийная группа отзовистов, ультиматистов и богостроителей, организованная

А. Богдановым и Г. Алексинским в декабре 1909 года после развала их фракционного центра — школы на Капри. Вела ожесточенную, крайне беспринципную борьбу с большевиками. После Пражской партийной конференции «впередовцы» объединились с меньшевиками — ликвидаторами и троцкистами в борьбе против ее решений. Не имея опоры в рабочем движении, группа «Вперед» фактически распалась в 1913—1914 гг., формально прекратила свое существование после Февральской революции 1917 года.

Нарбут Владимир Иванович (1888—1942) — советский поэт. Родился на Украине, в Черниговской губернии. В начале творческого пути — акмеист. Вместе с Ахматовой, Гумилевым, Сергеем Городецким и др. входил в «Цех поэтов». До Октября 1917 года выпустил ряд сборников: «Стихи», «Аллилуя» (сборник был запрещен Святейшим синодом и изъят). В годы гражданской войны опубликовал «Красноармейские стихи», «Стихи о войне», «В огненных столбах», «Плоть», «Советская Земля». В 1920—1921 гг. возглавлял ЮгРОСТа в Одессе, затем в Харькове. Позднее в Москве работал в отделе печати ЦК, являлся директором издательства «Земля и фабрика», организатором журнала «30 дней» и до 1928 года его редактором.

Трен жизни — установленный, привычный уклад, стиль жизни.

Алексеев Николай Александрович (1873—1972) — социал-демократ, искровец, по образованию врач. В 1897 году вступил в петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Подвергался арестам, был в ссылке и в эмиграции (в Лондоне). Со II съезда — большевик. В декабре 1905 года вернулся в Петербург, сотрудничал в большевистских изданиях. Участник Октябрьской революции; в годы гражданской войны участвовал в ликвидации колчаковщины на реке Лене. Позднее находился на научной, партийной и советской работе. В последние годы — персональный пенсионер.

Шаповалов Александр Сидорович (1871—1942) — старый член партии, рабочий-металлист. В 1896 году арестован во время стачки петербургских текстильщиков и в 1898 году сослан на

3 года в Минусинский округ, где познакомился с В. И. Лениным. После ссылки — искровец. В 1905 году арестован за участие в вооруженном восстании в Харькове. В 1906 году бежал за рубеж, где работал в заграничных большевистских организациях. После Октября 1917 года на советской и партийной работе. На XIII съезде партии был избран членом Центральной контрольной комиссии ВКП(б). В последние годы жизни — персональный пенсионер.

Гопнер Серафима Ильинична (1880—1966).— В партии с 1903 года. Активный участник трех революций. С 1910 по 1916 год была в эмиграции, работала в парижской секции большевиков. В 1918—1929 гг.— на партийной и советской работе на Украине и в Москве, с 1928—1938 гг.— член ЦК Коммунистической партии Украины. Делегат всех конгрессов Коминтерна.

«Патэ-журнал» — французская фирма, выпускавшая хроникальные короткометражные фильмы.

Эссен Мария Моисеевна (1872—1956) — социал-демократка, искровка, после II съезда РСДРП — большевичка. Неоднократно арестовывалась и ссылалась. С 90-х годов участвовала в революционном движении, вела пропаганду марксизма среди рабочих Екатеринослава, Екатеринбурга и Киева. В 1905—1906 гг. работала в Петербургском, затем в Московском комитетах партии. В период реакции отошла от революционной деятельности. В 1920 году вступила в Коммунистическую партию, вела партийную работу в Грузии. С 1925 года — в Москве на научно-редакционной работе в Истпарте ЦК ВКП(б), Госиздате, Институте Ленина; с 1930 года работала в Коммунистическом институте журналистики.

Вандервельде Эмиль (1866—1938) — лидер Рабочей партии Бельгии, председатель Международного социалистического бюро II Интернационала, занимал крайне оппортунистические позиции. Во время первой мировой войны (1914—1918) открыто выступал как сторонник продолжения империалистической бойни, входил в буржуазное правительство. Враждебно встретил Октябрьскую революцию, активно содействовал вооруженной интервенции против Советской России. В 1925—1927 гг.— министр иностранных дел Бельгии;

активно боролся против создания единого антифашистского фронта коммунистов и социалистов.

Присягин Иван Бонифатьевич (партийная кличка «Степан»; 1885—1918) — рабочий-кожевник, один из слушателей школы в Лонжюмо. Во время гражданской войны был председателем Губпрофсовета в Барнауле; расстрелян колчаковцами.

Барбизонская школа — группа французских художников-пейзажистов, работавших в 30—60-х годах XIX века в деревне Барбизон в лесу Фонтенбло, куда они переселились из Парижа, чтобы ближе наблюдать природу. Их работы были протестом против господствовавшей тогда академической школы в живописи с ее условными приемами изображения природы и людей.

Несмотря на прогрессивный и реалистический характер искусства барбизонцев, в их творчестве были черты, ограничивающие его значение: пассивная созерцательность в трактовке природы, отказ от большой социальной темы.

Вуазен — французский авиаконструктор, создавший первые модели самолетов.

Аррондисман (франц.) — округ.

Элерон — часть крыла у самолета, предназначенная для управления, руль крена.

Эклектизм, эклектика — беспринципное, механическое соединение и даже смешение разнородных, часто противоречивых взглядов, теорий, идейных направлений, а в искусстве — разных стилевых элементов, приемов и т. д.

Стиль сан стиль (франц.) — то есть «стиль в отсутствии стиля».

Коро Камиль (1796—1875) — французский художник; был близок к барбизонцам, стремился к созданию национального реалистического пейзажа.

Гревен Альфред (1827—1892) — французский художник. Работал в сатирических журналах, создавал для театров эскизы костюмов и декораций. Изобрел способ изготовления восковых скульптур. Музей в Париже носит его имя.

Луксорский обелиск — носит имя города, возникшего в Египте на месте древних Фив. Луксор — также и название храма, воздвигнутого в том же городе египетскому богу Амону. Развалины храма свидетельствуют, что это было величественное сооружение. От него шла аллея сфинксов; залы украшали горельефы и надписи. У северного входа возвышались четыре колоссальных монолита и два обелиска. В 1861 году один из обелисков был перевезен в Париж и поставлен на площади Согласия. (Площадь спроектировал архитектор Габриель в 1757 году.) Обелиск, на котором изображены деяния египетского фараона Рамзеса II, находится теперь на скрещении двух больших городских магистралей: Елисейских полей и улицы Роаяль (Королевской), продолженной мостом Согласия.

Абеляр Пьер (1079—1142) — выдающийся средневековый французский философ. Подвергался гонениям за смелые нападки на религию. Его главное произведение «Да и нет» показывало противоречивость высказываний церковных авторитетов и подрывало веру в них. Известна трагическая любовь Абеляра к Элоизе, племяннице каноника Фульбера, важного католического сановника. Широкую популярность получило автобиографическое произведение Абеляра — «История моих бедствий». В 1817 году останки Абеляра и Элоизы в общей усыпальнице перенесены в Париж на кладбище Пер-Лашез.

Парки — согласно верованиям древних римлян, это богини, которые управляют человеческой судьбой от рождения до смерти. Они представали в образе трех прядущих сестер: одна начинала нить жизни, другая продолжала, а третья ее перерезала.

Роллан Мари-Жанна (1754—1793) — жена видного политического деятеля периода французской буржуазной революции конца XVIII века. Оба принадлежали к реакционному лагерю — к жирондистам. После падения правительства жирондистов мадам Роллан была казнена на гильотине.

Музыкальный вечер в Мальмезоне... — Здесь имеется в виду замок Жозефины Богарне, супруги Наполеона I. Замок Мальмезон, расположенный неподалеку от Парижа, стал любимым местом отдыха императора. Сюда позднее он удалился, потерпев поражение в битве под Ватерлоо, здесь было подписано его вторичное отречение от престола.

Кони Марли — конные скульптурные группы, расположенные у начала Елисейских полей в Париже. Создатель их — Гийом Кусту (1677—1746).

Пери Габриель (1902—1941) — национальный герой французского народа, выдающийся деятель французского рабочего движения, один из создателей Коммунистической партии Франции. Долгое время руководил международным отделом газеты «Юманите», центрального органа партии. В годы войны один из руководителей движения Сопротивления. 18 мая 1941 года арестован предательским правительством Виши и отдан в руки гестапо. 15 декабря 1941 года расстрелян гитлеровцами.

«Фигаро» — здесь имеется в виду редакция буржуазной ежедневной газеты в Париже. Выходит с 1854 года. Тесно связана не только с отечественными промышленниками, но и с американскими монополиями.

Стихи принадлежат Валентину Катаеву.

Л. Скорино

САВВА ДАНГУЛОВ

ТРОПА

ОТ АВТОРА

Сегодня Ленин — это целый мир, прекрасный и огромный.

Я задался скромной целью: на большой карте этого мира осветить одну точку — Ленин разговаривает с Америкой. Все началось с рассказа о Ленине и Раймонде Робинсе. Вначале это был даже не рассказ, а глава из книги о советских дипломатах, над которой я работал. Перечитывая рукопись, я прочел и эту главу. Прочел и подумал: вот эта история с американцем Робинсом, который приехал к нам недругом, а уехал другом, не является ли она впечатляющим примером того, как Ленин воевал за разум и сердце человека, как он отбивал у того мира луч-

ших людей? Если говорить об Америке, то там был не только Робинс, но и Джон Рид, Линкольн Стеффенс, Роберт Майнор... Да только ли они? А что, если написать книгу, в которой на примере Америки (кстати, хорошо, что это именно Америка, которую тот мир прямо противопоставляет нам) показать, как Ленин искал и находил друзей?

Сама мысль об этой книге глубоко взволновала меня.

Я увидел Ленина вместе с его знаменитыми собеседниками.

Я увидел, как он стоит с Джоном Ридом у карты России и рисует ее будущее, как в живом диалоге с Рисом Вильямсом на трибуне Михайловского манежа помогает тому говорить с солдатами по-русски, как он жестоко спорит с Линкольном Стеффенсом о праве революции карать врагов. В этих беседах Ленин доброжелателен и непримирим железной ленинской непримиримостью, не боящейся сказать другу «нет».

Итак, Ленин разговаривает с Америкой. Вначале я не знал, какой эта книга будет по жанру, по манере, по внутреннему строю. Многое подсказала написанная глава: в центре рассказа должна быть судьба кого-то из американских собеседников Ленина, судьба со всеми ее коллизиями и взрывами, вся книга должна быть написана от первого лица. Именно от первого: от имени военного деятеля, хозяйственника, может быть, дипломата. Даже лучше дипломата — ему ближе всего американские интересы Ленина. Это давало большие преимущества для решения главной задачи — раскрытия образа Ленина. Взглянув на Ленина глазами дипломата Рыбакова, я обретал и свой угол зрения, и свои краски, и какую-то свою интонацию, подсказанную простотой и сердечностью, которая была свойственна атмосфере, окружавшей Ленина.

Имена американских собеседников Ленина хорошо известны. Мне хотелось сообщить о них нечто такое, что наш читатель не знает.

Я написал пятнадцать писем в Америку. Пятнадцать.

Писателям, журналистам, общественным и религиозным деятелям. Многих из них я знал лично.

Я получил ответы на все свои пятнадцать писем.

Эти письма — воспоминания обо всей плеяде людей, которых я позднее показал в книге.

Но письма, при всех их достоинствах, не могли дать всего. Необычайно полезны были беседы с очевидцами и современниками событий. Я приехал в Ленинград и начал предметное изучение дипломатического Питера — без этого не воссоздать атмосферы, в которой жили мои герои.

Мне удалось начертать своего рода путеводитель по дипломатическому Питеру. Я исследовал здание бывшего английского посольства у Троицкого моста, французского и японского — на набережной, американского — на Фурштадтской, Российского министерства иностранных дел — на Дворцовой, 6, и т. д. Больше того: мне хотелось отыскать кого-нибудь из чиновников министерства. По справочной книге «Петроград» я восстановил список личного состава министерства и отправился на поиски. В скромном особнячке на Кирочной я беседовал с человеком, который в свои восемьдесят с лишним лет сохранил и остроту восприятия, и свежесть памяти, и работоспособность.

Для меня эта работа была тем более поучительна, что труд писателя здесь сочетался с трудом исследователя. Были у меня тут и неудачи. Несмотря на помощь американских друзей, мне так и не удалось разыскать текст статьи Бесси Битти о беседе с Лениным. Мне кажется, что, если бы эта статья была найдена, я бы мог вписать в рассказ «Вера» страничку, которой так недостает.

Были и удачи.

В Париже, на авеню д'Обсерватуар, в семье литератора Ли Голда мне был передан из рук в руки архив Джона Рида. Стоит ли говорить, какая это была радость! Когда под рукописной страничкой письма я увидел характерное «Reed», мне показалось, что я ощутил тепло ридовской руки.

Я бесконечно завидую тем, кто может сказать: «Я видел Ленина». Скажу больше — немногие из моих сверстников могут сказать: «Я видел Ленина», но народ это сказать может.

Образ Ленина, каким он возник у меня в книжке, я старался вызвать силой сердца, силой, я хочу сказать, любви, которая живет к Ленину в народе и хочет видеть Ленина живым, только живым.

МАНДАТ

Помню сизое, в отблесках небо над Петроградом, ветер, неживой стук осенних ветвей о крыши домов и оклик:

— Кто идет?

Из окна была видна громада Нарвских ворот и по плечо им белесое облако тумана. Иногда туман подступал

к воротам и накрывал их. Тогда возникал неясный контур ворот, обвалившиеся столбы, руины. Единственное, что незыблемо стояло днем и ночью наперекор туману и ветру,— голос, тревожный, грозно-тревожный:

— Кто?

У входа в здание — международный знак Красного Креста: ярко-белый диск с алым крестом в центре. Парадная лестница ведет на второй этаж. Ковровая дорожка истерлась на сгибах: следы сапог, чиненных гвоздями и деревянной шпилькой, подбитых фигурной резиной и железной подковой, месивших глину и мшистые топи на Висле и Сене.

А на втором этаже сумеречно и тихо. Точно строгое каре на параде — столы, двенадцать столов. Каждый стол обжит прочно: юристы, дипломаты в отставке, много дипломатов в отставке, фармацевты, военные врачи и просто врачи, кадровые чиновники, администраторы — владетельные хозяева лабазов с мукой, бинтами, подсолнечным маслом и йодом, и поодаль, в углу, за столом для заседаний,— четверо большевиков с Николаевской железной дороги и Русско-Балтийского завода на Малой Невке: накануне мы пришли сюда по приказу Петроградского Совета.

Наш угол, где стоит конторка, зовут «красным».

— Ну что ж, это не так плохо,— говорит мой дружок Парамон Дементьев, прозванный за крутой лоб Сократом.— Нет в избе угла, почетнее красного.

Он говорит громко, так, чтобы слыхали все двенадцать столов, но столы молчат, смущенно молчат.

Вечер бесснежный, но морозный.

Шумно распахнулась дверь. Вошел человек, облегченно и счастливо сжал кулаки, вздохнул:

— Good evening, friends![1] — сбросил тяжелую шапку, не снял, а свалил с плеч доху, долго тер озябшими руками щеки.— Colonel Robins...[2] — протянул свою крас-

---

[1] Добрый вечер, друзья!
[2] Полковник Робинс.

ную руку к крайнему столу.— Robins...— Он явно задался целью обойти все столы.

Так вот он какой, Раймонд Робинс! Его официальное качество — представитель американского Красного Креста,— кажется, отступило на второй план. Более существенным оказалось иное: в Петроград прибыл Робинс, рудокоп, фермер, золотоискатель, ковбой и бизнесмен, обладатель миллионов. Он связывал, как говорили, с поездкой в Россию далеко идущие планы.

Его рука, большая и холодная, еще хранит дыхание декабрьской стужи.

— Colonel Robins...

— Is our winter too cold for you, mister Robins?[1]— замечаю я.

— O! Familiar accent! I can feel America! Have you ever been there?[2]

Был ли я в Америке? Да, был. Знаю и Ном, и Ситку, и Фэрбенкс, и даже Форт-Юкон, но не говорить же Робинсу вот так, вдруг об этом. Впрочем, он уже минул наш угол и, склонившись у печи, открыл дверцу.

— Ничего не знаю лучше северной зимы...— замечает он и садится в кресло подле, так, чтобы видеть все двенадцать столов.— Не знаю лучше...— повторяет он, но уже думает об ином, о чем-то совсем ином, что неизмеримо важнее сказанного.— Любое благодеяние обесценивается, если пострадавший должен жертвовать своей свободой...— произносит он неожиданно и поднимает глаза. Он молчит, вытянув навстречу огню белые руки, и свет углей, уже покрытых нетолстой пленкой пепла, лежит на его набухших, с просинью венах.

Потом он говорит, что преуспевающая Америка могла бы помочь разоренной России восстановить хозяйство. Он деловой человек и считает, что отношения могут многое дать и России и Америке.

Он говорит, а в комнате становится все тише. Кто-то зябко поводит плечами, кто-то извлекает платок и тороп-

[1] Не слишком ли русская зима холодна для вас, господин Робинс?
[2] О! Знакомая речь! Я слышу Америку! Вы бывали там?

ливо сушит лоб. А Робинс приподнимается с кресла, не отнимая вытянутых рук от печи, и мне кажется, что его синяки медленно растекаются.

— А не мог бы я, господа, поговорить с Лениным? — произносит Робинс и смотрит вокруг, точно хочет внимательно прочитать все двенадцать лиц; теперь понятно, почему он сел так, чтобы все столы были перед ним...

Поздно вечером я возвращался домой. В те годы мы жили в деревянном флигельке у Николаевского вокзала. Флигелек стоял в глубине обширного двора, открытый всем ветрам. Издали были видны его пять окон. Если четыре окна были затенены, пятое — освещено: вечера отец проводил за книгой.

Отец пристрастился к книге в пору наших странствий по Америке. Томики чеховских рассказов сопровождали нас повсюду, напоминая о родине.

Начав чтение, отец уже не мог оторваться от книги, даже когда она его не совсем устраивала. Дочитав, долго ругался:

«Вот прочел, и... пустой, как барабан пустой... Зачем читал?»

Но чаще было по-иному.

«А вот что говорит твоему сердцу такое имя — Певцев? Прочти его книжку про Кунь-Лунь и Чжунгарию. Ой как занятно!..»

Лет пять назад, расставшись с паровозом, отец пошел сторожем в железнодорожную школу. Он был горд, что мог как равный говорить со старшеклассниками о Пушкине и Толстом, а при случае решить алгебраическую задачу. Этой гордостью, может быть чуть-чуть наивной, объясняется и то, что он на последние гроши, собранные за годы скитаний по белу свету, определил меня в техническое училище. Он хотел, чтобы я стал паровозостроителем, и был немало опечален, когда после училища я пошел в депо. Как все отцы, он хотел своему сыну того, что не удалось совершить самому. В том, как полно удастся осуществить мне свои замыслы, отец хотел видеть

свершение самых заветных планов и своих, и братьев, и всей великой династии Рыбаковых, берущей начало от тех верхневолжских крестьян, что из века в век волокли по большой реке на своей костистой и могучей вые плоты и баржи.

Весть о революции насторожила его, потом воодушевила и увлекла.

«А не конец ли это их царству? — спросил он меня однажды и добавил значительно: — Бойся пули шальной!» Он явно хотел вложить в эту фразу больший смысл, чем она на первый взгляд в себе заключала.

Ему не очень понравилось мое новое назначение в Красный Крест, но, как обычно, он выразил свое неудовольствие в форме шутки.

«Там паровозы строят?» — спросил он меня.

«Нет».

«Плохо,— заметил он, глядя на меня улыбающимися глазами.— А мне бы хотелось, чтобы и там паровозы строили...»

Скоро одиннадцать. Давно погас огонь в печи. Поодаль лежит не дочитанная отцом книга с вложенными в нее очками. Электричество выключили час назад, и его заменила керосиновая лампа. Отец слушает меня, чуть-чуть наклонив голову.

А все-таки время жестоко обошлось с ним: неожиданно резкие морщины, как шрамы, иссекли лицо, такое родное. Мне даже кажется, что я сейчас увидел морщины, которых не замечал прежде, хотя они успели глубоко прорезать кожу.

— Значит, так он и сказал: «А не мог бы я видеть Ленина?»? — переспрашивает отец.

— Так и сказал.

Отец молчит. Пришла в движение память. Наверно, вспомнил Америку. Вспомнил, как строил в сорокаградусную стужу мост из деревянных бревен через Юкон, строил день и ночь, торопясь закончить его к ледоходу. Река тронулась накануне, а в следующую ночь отец был разбужен неистовым гудением колокола. То, что откры-

лось глазам, наверно, уже не забыть никогда. Было тихо, и пламя горящего моста, казалось, добралось до самого облачка. Пламя взметнулось к небу и опало: мост сгорел быстрее свечи. С тех пор отец не мог успокоиться: «Что заставило людей запалить мост? Волчья борьба за золото или жажда разбоя?» И еще: «Человек, запаливший мост, думал ли о людях, которые мост строили? Думал? Тогда почему он зажег?»

А может, отец вспомнил сейчас раннюю весну девятьсот третьего года, когда отправился вместе с такими же, как и он сам, за Полярный круг. Да, так прямо по цельному снежному пласту в глубь белой пустыни шла партия рудокопов во главе с боссом. Где-то там, в полумгле, подсвеченной белесым северным солнцем, говорят, была полузаброшенная шахта. Снежная равнина походила на затвердевший свинец... нет, пожалуй, на белый лист цинка. Снег блестел, по его поверхности передвигалось солнце. Шли два часа и отдыхали, на большее не было сил — ветер сек косо, в висок. На третий день пути на горизонте обозначилась черная точка, будто чистую бумагу прокололи булавкой. Приблизились... Человек, один человек. Он стоял посреди белого поля с распростертыми руками: «Не пущу!» Да, он хотел стать на пути всех, заслонив собою и поле и небо: «Не пущу!» Какая тут, к черту, романтика! У человека были черные, опаленные морозом руки и красные глаза. И этого воспоминания тоже хватит на всю жизнь. В самом деле, почему человек распростер руки? Хотел ли он защитить то, что нашел, или, может быть, хотел защитить собой саму землю и здесь вот, где стоял, и далеко вокруг? Так, может быть, и мост был спален, чтобы охранить землю от грабежа? Тогда какая цена труду, который вложили люди, чтобы этот мост построить?

— У нас думают, что Америка — это размах и риск.— Отец пододвигает керосиновую лампу: ему кажется, что она светит недостаточно ярко.— Размах? Да, но если есть расчет размахиваться... Риск? Да, но если нет иного выхода.— Отец снимает с лампы стекло, выкручивает фи-

тиль и твердыми, не боящимися огня пальцами снимает с фитиля нагар.— Вот я и говорю: коли Америка явилась в Питер в такую пору, значит, наши дела не так уж плохи.— Отец надевает стекло и отодвигает лампу — в комнате посветлело.— В такую пору...

Больше отец ничего не сказал, но этих нескольких слов мне было достаточно, чтобы не уснуть до утра.

В длинных, со сводчатыми потолками коридорах Смольного сумеречно, и плечистая фигура Робинса, идущего впереди, почти слилась с полутьмой.

Сейчас распахнется дверь, и мы увидим Ленина.

Но мы подходим к двери и вдруг обнаруживаем: она полуоткрыта и комната, кажется, пуста. Виден письменный стол, массивный, на резных ножках. На дворе по-осеннему ненастно, а настольная лампа не зажжена, хотя Владимир Ильич, как мне кажется, только что встал из-за стола: на четвертушках, заполненных его быстрой рукой, еще просыхают чернила. Он работает, видимо, при дневном свете даже вот в такой пасмурный день.

— Здравствуйте... здравствуйте! — Он выходит из боковой двери.— Заходите, пожалуйста...— В голосе радушие.— Вот сюда... здесь вам будет удобно,— указывает он на кресла в белых чехлах, большие и домовитые. Он зажигает верхний свет, и из комнаты уходят сумерки.— Вот так лучше.

Робинсу показалось, что последнее слово он понял.

— Лутше... лутше,— повторяет он, улыбаясь, и, обратившись ко мне, произносит озабоченно: — Would you kindly tell mister Lenin... Yesterday evening I walked along the Mokhovaya street...[1]

Да, вчера вечером он гулял по Моховой и был свидетелем такой сцены. Мальчик продавал с рук книжку кого-то из сподвижников Керенского. Подошел патруль, два солдата с красными повязками на рукавах (Робинс положил ладонь выше локтя), и отобрал книжки. «Это контрреволюция»,— сказали солдаты. (Робинс пытался

[1] Не будете ли вы так любезны сказать господину Ленину... Вчера вечером я гулял по Моховой...

произнести это слово по-русски: «Контрреволюция!») Мальчик завопил. Собралась толпа. И все стали кричать на солдат, все тридцать человек. Про книжки, конечно, сейчас же забыли. Только кричали: «Самозванцы! Узурпаторы!..» Вчера вечером эти солдаты были очень одиноки. А Робинс подумал: «Кого же представляют эти два человека, если их... двое, а тех тридцать? Может, и в самом деле... самозванцы, а!»

Робинс умолк и взглянул на Ленина строго, без улыбки. Ленин сдвинул брови — то ли задумался над самой сутью вопроса, то ли почувствовал в тоне собеседника неприязнь. Было тихо. Необычно ярко светило электричество, лампочка была без абажура. И крупинки серебра в обоях будто ждали этой минуты, чтобы стать видимыми. Мне подумалось, что беседа оборвется, не успев начаться.

— Это было на Моховой? — спросил Ленин, не поднимая глаз.

— Да,— ответил Робинс.

— А представляете...— возразил Ленин. (По тому, как он произнес это, я понял, что система контрдоводов уже сложилась в его сознании и ему остается ее только высказать.) — А представляете, если бы этот случай с патрулем произошел вчера в пять часов вечера, ну, скажем, на Васильевском или на Черной речке? Там было бы тоже так... два и тридцать, но тридцать на стороне...— Ленин тронул руку выше локтя, точно неприметным этим жестом хотел обозначить патруль, несущий охрану революционного Питера.

— Но Моховая — это тоже Россия,— возразил Робинс.

— Да, Россия,— произнес Ленин,— но если говорить о России, то она не на Моховой, где живет знать, а там...— Он взглянул в окно, заполненное полумглой. Россия, о которой он говорил, лежала там, он видел ее так, как, может быть, никогда и никто ее не видел.— И те патрули на Моховой... тот патруль говорил от имени России...

Робинс покинул кабинет Ленина уже вечером.

Как было условлено, я проводил Робинса к машине и вернулся к Ленину.

— Эти буржуа, вышедшие из низов, хороши хотя бы тем, что знают жизнь,— заметил Ленин. (Мне показалось, что какой-то гранью своего характера Робинс был ему симпатичен.) — По-моему, это чисто американское явление. Вы согласны?

— Да,— ответил я.

— Кстати, вы действительно жили в Америке? — спросил он.

Я сказал, что в девятьсот втором, когда волна переселенцев двинулась со всего мира в Америку, среди них была и наша семья.

— И все говорите по-английски? — спросил Ленин.

— Все, Владимир Ильич,— ответил я.— Отец говорит: «Ты, Митяй, не больно хвастай своим английским. Невелика заслуга! Если бронзовую лошадку Петра переместить с Сенатской площади туда, где ты был, и она заговорит по-английски...»

Ленин повеселел:

— Значит, невелика заслуга? Но отец... отец тоже говорит?

— Да, но не очень любит.

Ленин вспомнил этот разговор, когда несколькими месяцами позже направил меня на работу в Наркоминдел.

Я шел вдоль набережной. Слева, смягченные легким туманом, несмело прорисовывались линии набережной, моста и зданий по ту сторону реки. Нева, срезанная полукругом моста, поблескивала тускло. Ненастье загасило краски, оставив только черно-белые.

Когда справа осталась Сенатская площадь (бронзовый конь Петра был окутан туманом, точно пороховым дымом), я увидел двух человек, медленно идущих мне навстречу. Раймонда Робинса (он был, как обычно, в своей тяжелой дохе) я узнал тотчас, но кто был второй, в овчинном полушубке и островерхой шапке, какую носят

разве только на нашем юге — на Днепре или даже Днестре? У него был вид крестьянина.

Два человека были так увлечены беседой, что, не рискуя нарушить ее, я мог приблизиться. Сейчас я слышал голос собеседника Робинса. Ну конечно же, он говорил по-английски, говорил с тем характерным произношением, которое выдавало в нем шотландца. У меня теперь не было сомнений, что рядом с Робинсом был Артур Рэнсом. Да, да, это мог быть он...

Какими все-таки своеобразными путями человек может прийти к пониманию революции! Это звучит необычно, но именно своей любви к сказкам Рэнсом обязан тем, что знал Россию, при этом и в беде и в радости. Рэнсом — писатель. Было время, когда имя Артура Рэнсома отождествлялось в сознании английского читателя лишь с книжками для детей. Англичане по маленьким книжкам Рэнсома познавали родную историю, уклад быта и особенно природу: заливы, озера, реки Англии были стихией Рэнсома, путешественника и рыболова.

Рэнсом приехал в Россию как собиратель фольклора. Это было году в тринадцатом. Когда началась мировая война, англичанин пошел корреспондентом на Восточный фронт, на линию огня, в окопы. Он пережил вместе с солдатами и неудачу на Висле, и надежду на победу революции в феврале, и разочарование в этой революции. Именно разуверившись в своих февральских надеждах, он покинул Россию. Весть о победе Октября застала его в пути. Он сдал билет и повернул обратно в Россию. Он поселился в гостинице, половина номеров которой была необитаема, и одна за другой пошли телеграммы в Лондон: «Я хочу, чтобы люди, раздвинув завесу клеветы, которая окружает большевиков, увидели идеал, за который те сражаются...»

А когда кончался страдный петроградский день и последние телеграммы были отправлены, Артур Рэнсом выходил на набережную постоять на ветру.

Иногда рядом с ним оказывался Робинс.

У Робинса была своя судьба, во многом отличная от

судьбы Рэнсома. И все-таки (Рэнсом это понимал) американца и англичанина многое соединяло и в их отношении к России. У себя на родине и один и другой шли отнюдь не революционной дорогой. Происхождение Рэнсома, как говорил он сам, не располагало к тому, чтобы революция стала его стихией, его призванием. И тем не менее и Робинс и Рэнсом увидели в революции то, что не могли увидеть другие.

Ранней весной восемнадцатого столица переезжала в Москву.

Поздно ночью я прошел к запасным путям. Там уже стояли три эшелона. Погрузка была закончена только что, ждали отправления. В поезде не зажигали огней. Эта предосторожность в ту пору казалась оправданной.

Было пасмурно и тепло. На путях еще лежали глыбы снега, не успевшего стаять. В белесой мгле неярко поблескивали озерца талой воды. Где-то далеко-далеко кричали паровозы — глухо, вполголоса, точно опасаясь потревожить и тьму и тишину этой ночи. Свет, пролившийся на землю, был не щедр; казалось, его восприняли только лица — они стали лучше видны.

Приехал Ленин. Он шел вдоль вагонов, приподняв воротник демисезонного пальто, шел медленнее, чем обычно. Он поднялся на подножку вагона и, оглянувшись, посмотрел далеко вокруг. Мне подумалось, что именно в этот миг Ленин прощался с Петроградом. Может быть, он благодарил великий город за подвиг.

Поезд ушел.

Повсюду на путях стояли латышские стрелки и вооруженные рабочие.

Я прибавил шагу и пошел к вокзалу.

— Мить...

Поодаль стоял отец. Он был в своем полушубке, но заметно озяб: видно, стоял давно. Над его правым плечом невысоко поднимался туповатый ствол трехлинейки.

— Вот уйдет третий эшелон, тогда пойдем...— сказал отец.

Мы возвращались домой под утро. Было так же пасмурно. Накрапывал дождь. Поблескивали рельсы. Говорили о поездах, которые ушли в Москву, о Москве, теперь столице, о Ленине.

— Нет, здесь верный расчет,— раздумчиво говорил отец.— Граница все больше становится линией огня. А коли так, зачем на линии огня держать Ставку? Ленин отодвинул ее туда, где ей надлежит быть. По всем правилам военной науки, и не только военной.

Через два дня в Москву переехали и мы с отцом. Ему было труднее, чем мне, расставаться с Питером, но он тешил себя мыслью, что питерский железнодорожник наполовину москвич, а московский — питерец. Пятьсот сорок верст не в счет. К тому же недалеко была железнодорожная школа, едва ли не такая же большая, как в Питере. Отец тут же начал работать в ней.

Большие московские гостиницы «Националь», «Метрополь» сделались резиденцией правительства.

Ленин жил и работал в «Национале».

Наркоминдел разместился в «Метрополе».

Кремль был рядом. От «Метрополя» до Никольских ворот пять минут ходьбы, до Троицких — десять. Действовал еще порядок Смольного, и часы приема иностранных посетителей были самыми неожиданными: в полдень и в полночь, на вечерней заре, а иногда даже и на заре утренней. Дело немало облегчалось тем, что почти весь состав Наркоминдела жил тут же, в гостинице.

В «Метрополе», теперь уже у Чичерина, нередко бывал и Раймонд Робинс. «Наш приятель полковник Робинс»,— говорил Чичерин. А однажды я видел, как Чичерин прошел вместе с Робинсом к главному подъезду, где их ждала машина. Куда они поехали? Быть может, к Ленину. В Наркоминделе было известно, что Робинс все чаще бывал у Ленина.

Робинс, как мне казалось, был интересным собеседником для Ленина. У него были и юмор, и знание жизни, и широта. Да, именно широта, которой всегда отмечен талантливый человек из народа, даже после того, как он

стал человеком состоятельным, завладел миллионами. В нем было что-то от наших уральских заводчиков Демидовых и Строгановых, хотя было и нечто отличное. Те, наши, частенько и не признавали ни черта, ни бога, а этот был набожен, фанатически набожен. Но вот загадка: что влекло его к Ленину? Одни говорили, Робинс, вопреки своей размолвке с Френсисом, американским послом в Петрограде, выполнял его миссию; другие утверждали, что Робинса влечет к большевикам его... религиозность, так как он одержим идеей примирить «Коммунистический Манифест» с библией. Были и третьи: этому миллионеру, вышедшему из сельских пролетариев, говорили они, приятно иметь дело с главой первого рабочего правительства.

Я допускаю, что, беседуя с Робинсом, Ленин знал мнение одних, и других, и третьих.

Знал и все-таки полагал, что этот человек был способен многое понять в Советской России. В планы Ленина. разумеется, не входило обращать Робинса в свою веру, но нейтрализовать его, если можно, сделать лояльным, а еще лучше — дружески расположить, Ленин определенно рассчитывал. Робинс видел разгадку всех тайн в существовании невидимых и мощных сил, кодексом которых была библия. Ленин мог оставить без внимания доводы оппонента, ведь для материалиста они несостоятельны. Но Ленин поступил иначе: на много часов католичество, его суть, его философия стали предметом спора. Ленин выступал в этих беседах как революционер и первооткрыватель. Я представляю, какую щедрость, широту и воинственность обрела в этих спорах ленинская мысль! Именно революционер и первооткрыватель, но, может быть, немножко и дипломат, отстаивающий интересы молодого Советского государства.

Вот и апрель, солнечный и тихий. Тает снег; он теперь лежит длинными утесистыми островками лишь в Александровском саду да в темных московских двориках, отдаленных от неба и солнца многоэтажными домами.

В Колонный зал собрались депутаты Московского Совета. Повод более чем убедительный: Москве необходимы дрова.

— Не могли бы вы мне помочь переговорить с Лениным?.. По-моему, он сейчас в комнате за сценой. Два-три слова, но очень важные.

Передо мной Робинс.

Из-под пиджака — шерстяной свитер с высоким, облегающим массивную шею воротником. Пожалуй, этот строгий костюм больше соответствует суровой натуре времени.

— Я только что видел Ленина...— говорит Робинс и достает из кармана блокнот: хочет удостовериться, что блокнот здесь, ему надо записать нечто действительно важное.— Пойдемте...

Мы идем.

Зеркала вдоль стен — очевидно, во время концертов комната служит и гримерной,— стол, и на нем гора пальто и шинелей. В комнате нет стульев — все на сцене, и Ленин устроился на скамеечке, пододвинул ее к подоконнику, использовав подоконник вместо стола. Скамеечка очень мала (на такой хорошо сидеть у раскрытой печи), но Ленин, я так думаю, не испытывает неудобства. Подобрав ноги и опершись рукой о просторную доску подоконника, он весь ушел в работу. Перед ним листы блокнота, заполненные энергичной скорописью,— очевидно, тезисы выступления.

Он не хочет замечать ничего: и то, что обшлага брюк касаются пола, и то, что сидеть ему вот так не очень удобно, и то, что в комнату могут войти и увидеть его в столь необычной позе. Все это для него не имеет значения. Главное — что надо сполна, обязательно сполна, использовать эти четверть часа и записать все, что следует сказать.

Время от времени он прерывает письмо и как-то печально и, так мне кажется, устало кладет в раскрытую ладонь свой могучий лоб и долго-долго держит его в ладони, точно опасаясь неосторожным движением потревожить и замутить мысль, которая зреет сейчас.

А мы с Робинсом стоим у двери и не дышим, особенно я. Чувствую, что у меня не хватит ни сил, ни смелости подойти к Ленину и заговорить, да и американец, кажется, лишился столь характерной для него решительности. Я не знаю, как долго мы стояли бы вот так у двери, переминаясь с ноги на ногу, если бы Ленин вдруг не поднял глаза.

И здесь действительно рухнуло небо.

Его лицо помрачнело, и нетерпеливо сжалась рука, в которой он держал карандаш.

— Нет, друзья, увольте... Я сейчас занят. Нет, нет...— произнес он, не скрывая своего недовольства.— Если смогу, то через полчаса... Простите. Если смогу...

Мы вышли. Это был Ленин, и мы плохо знали его, плохо. Он мог вот так категорически отказать даже другу, может быть, именно другу.

Мы решили ждать.

Ленин уже был на трибуне, и тишина, нарушаемая сдержанным гудением голосов, овладела залом.

Ленин говорил...

Он говорил о революционной России, поднявшейся на борьбу со старым миром, об ожесточении борьбы и о решимости России отстоять свою свободу.

Вспыхивали и медленно стихали — так остывает добела накаленный металл — аплодисменты. Ленин кончил говорить.

И вновь мы входим с Робинсом в комнату за сценой.

Ленин стоит у того же окна, и солнце золотит у виска его волосы.

— Ну, вот теперь я вас слушаю,— говорит он, оборачиваясь, говорит, а в глазах строгость: то ли он не может простить нашего вторжения, то ли все еще находится под впечатлением всего того, о чем говорил с трибуны.— Да, да, пожалуйста...

Нет, Робинс действительно лишился своей прежней смелости.

Он говорит, что собирается в Америку и в этой связи решил обеспокоить Ленина: быть может, мысль Ленина,

высказанная не однажды, о широком развитии торговых связей могла быть теперь реализована. По крайней мере, Робинс взял бы на себя труд сообщить об этом Америке.

Ленин пристально взглянул на Робинса:

— Америке?

— Да... Америке.— Робинс почувствовал, что его идея увлекает Ленина.— Все сделать, чтобы Америка узнала...

Ленин отходит от окна и движением глаз, даже чуть-чуть руки приглашает нас последовать за ним. Мы тихо идем через комнату по диагонали.

— Ну что ж, мы приготовим к вашему отъезду наш про́ект.— Ленин произносит на старинный манер: «про́ект».— Я говорил уже вам: главное для нас теперь — новые машины для нашей индустрии и земледелия, новые!.. Мы готовы заказать их в Америке в обмен на сырье. Эта мысль ляжет в основу нашего проекта: Америка может рассматривать его как официальное предложение революционной России...

Робинс остановился.

— Быть может, и адрес должен быть официальным?

— То есть?..

— Адресовать президенту...

Ленин взглянул на гостя:

— Вильсону?

Американец помедлил.

— Я бы хотел... попытаться.

Ленин зашагал дальше, мы последовали за ним.

— Ну что ж, если вы полагаете...

Робинс поблагодарил Ленина.

— Думаю, что я уеду в мае... в первой половине.

— Наш проект я вручу сам.

Робинс ушел.

Ленин взглянул на меня грозно (а теперь он отчитает меня за непрошеное вторжение, подумалось мне, обязательно отчитает). Но Ленин вдруг улыбнулся:

— И чего вы с ним вломились ко мне тот раз?.. Бо-

ялись отказать? Ну скажите, побоялись сказать ему «нет»?..

— Да, Владимир Ильич, боялся...— признался я.

Он рассмеялся.

— Зря. В жизни надо уметь сказать человеку «нет»...— Он махнул рукой.— Ну что с вас спросить?.. Чичерин говорит, что прошлый раз в Большом театре вы задели колонну плечом и извинились... Так?

Теперь мы смеялись оба.

Накануне позвонили из Кремля: я буду с Робинсом у Ленина.

Помнится, что Ленин тогда жил на неширокой кремлевской улочке, идущей от Боровицких ворот к Троицким. Я приехал минут за пятнадцать до встречи и видел, как он вышел из этой улочки и направился через площадь, мощенную торцом, к зданию Совета Народных Комиссаров. Дойдя до середины площади, он на минуту остановился, снял кепку и как-то нетерпеливо и счастливо посмотрел на небо, которое было в тот день полно солнца.

Итак, мы были в кабинете Ленина, в его кремлевском кабинете, известном по множеству снимков.

Ленин пригласил Робинса занять кресло слева, то самое невысокое кресло, обитое черной кожей, в котором позднее сидели все знаменитые собеседники Ленина — от Линкольна Стеффенса до Герберта Уэллса.

Ленин заговорил с Робинсом по-английски, и одно это уже свидетельствовало, что за эти пять месяцев он достаточно привык к своему американскому собеседнику. Кстати, позже я заметил: чтобы «разогреть» беседу и сообщить ей непосредственность, Ленин начинал ее с чего-то самого простого, быть может даже личного. Вот и сейчас речь шла о письмах из Флориды (там было имение Робинса) и, кажется, из Лондона (там жила сестра Робинса). Ленин не спешил перейти к делам. Он будто хотел показать, что во всей беседе его интересовало только это,

и ничего больше. Может быть, он полагал, что гость, пришедший с деловым визитом, должен начать деловой разговор сам. Он ждал первого слова Робинса.

— Я надеюсь быть в Вашингтоне еще летом...— произнес Робинс.

Разумеется, американец явился сюда, чтобы продолжить, а может быть, и завершить тот памятный разговор с Лениным в Колонном зале.

— Как я обещал,— заметил Ленин и неторопливо выдвинул ящик письменного стола,— вот документ, в котором наш взгляд на торговлю с Америкой отражен достаточно полно.— Ленин положил перед Робинсом незапечатанный конверт и закрыл стол.

Да, Ленин передал Робинсу документ, открывающий перспективу широких экономических связей между нашими странами, недвусмысленно дав понять, что он доверяет Робинсу в известной мере говорить и от имени русских.

Робинс медленно отвернул клапан конверта и извлек бумагу. Он держал бумагу обеими руками.

— Все, что в моих силах... Видит бог: все...

— Да, разумеется, разумеется...— не без смущения произнес Ленин и взялся за перо.— Так вы едете через Владивосток?

— Да, Владивосток.

— Путь долгий и небезопасный,— произнес Ленин и пододвинул к себе блокнот со штампом «Председатель Совета Народных Комиссаров». Он зачеркнул на бланке «Петроград» и быстро начертал: «Москва, Кремль, 11.5.1918».

Все, что написал Ленин дальше, я увидел, когда вручал этот документ Робинсу уже у выхода из ленинского кабинета. Документ энергично предписывал «оказывать всяческое содействие беспрепятственному и быстрейшему проезду из Москвы во Владивосток полковнику Робинсу». Под своеобразным этим мандатом стояло такое знакомое «Предс. СНК В. Ульянов (Ленин)».

Я проводил Робинса до машины.

Прежде чем сесть в машину, Робинс поднял лицо и оглядел небо. Оно было голубым. Потом он чуть-чуть отошел к машине и робко и внимательно посмотрел вверх — там, на третьем этаже, были окна ленинского кабинета.

Робинс улыбнулся, поднял руку, сжал и разжал пальцы — в окне стоял Ленин.

Робинс уехал. Ленин ждал меня — я вернулся.

— Ну вот, наше послание ушло в Америку! — произнес Ленин. Он уже видел, как стремится Робинс через холмистые зеленые моря Зауралья и Сибири, через ненастье большого океана на восток, на восток, к пологим и скалистым берегам Орегона и Калифорнии.— Что по этому поводу сказал бы Рыбаков-старший? — улыбнулся Ленин.— Кстати, отец с вами, в Москве?

— В Москве, Владимир Ильич.

— Хорошо. Он ведь старый спец по Америке. Как он полагает, получится у нас с ней, а?

Поздно вечером я вышел из Троицких ворот и побрел вдоль Александровского сада к реке. В саду было темно. Снег сошел недавно, и земля не просохла. Сад дышал холодной сыростью. В глубине сада на маковках дубов и лип шумели птицы. Они прилетели в этом году явно до срока — весна была поздней.

Я уже прошел сад и готовился повернуть к мосту, когда слева увидел идущих от реки двух человек. По старой питерской традиции, друзья вышли сегодня вечером к реке. Ну конечно же, это были Робинс и Рэнсом (без дубленого полушубка Рэнсома узнать труднее).

— Вот сейчас условились,— произнес Рэнсом, обращаясь ко мне,— что завтра уйдет в Америку и мое скромное послание.

— Письмо?..

— Да, письмо, при этом в самый высокий адрес... Президенту! Хочу написать, как понимаю положение дел здесь я, человек, проживший несколько лет в России и видевший все своими глазами. Просижу всю ночь, а напишу...

Они ушли.

Робинс готовился к обстоятельному разговору со своим президентом. Главное — сказать ему все то, что Робинс хочет сказать. В этой связи письмо, которое намеревается сегодня ночью написать президенту Рэнсом, в высшей степени важно. Да, письмо, очень личное, написанное простыми и очень человеческими словами, не может не тронуть сердце человека, если по природе он добр. Не может...

Они ушли, а мне отчетливо представилась комната Робинса и эти два человека. Распахнутый чемодан уже стоит на стуле. Дорожный костюм уложен. На столе в толстом конверте лежит послание Ленина и поверх него — сложенный вдвое мандат. Робинс берет стопку исписанных блокнотов, еще раз неторопливо просматривает. Блокноты пронумерованы. Вся история русской революции, как отложилась она в записях Робинса в эти шесть месяцев, здесь...

Он кладет блокноты в конверт и пододвигает его к середине стола, туда, где лежит послание.

Что еще надо взять?

А в своей комнате нетерпеливо ходит Рэнсом, и на мраморной доске стоящего поодаль столика вздрагивает пустой стакан.

Потом он садится и начинает писать.

Он умеет вот так, не вставая, заполнить своим более чем убористым почерком несколько страниц.

«Я пишу так быстро, что едва не сломал перо, помня все время о том, что через несколько часов человек, который должен отвезти мое письмо, уезжает...»

Рэнсом говорит о вождях новой России как о людях с чистым сердцем, чей благородный идеал переживет их.

«Они вписали в историю человечества мужественную страницу... И когда спустя много лет люди прочтут эту страницу, они вынесут приговор вашей стране и моей, в зависимости от того, помогли мы или помешали написать ее...»

Рэнсом закончит свое письмо, когда неяркий майский рассвет уже зажжет над Москвой облака.

Он погасит электричество и уже при дневном свете перечитает письмо, задумается... Над чем? Может, и над своей судьбой.

Вот жил человек, очарованный природой, и думал, что истинное его призвание — ходить росными утрами в лес, слушать зоревое пение соловьев, плыть по спокойным равнинным рекам на лодке или стоять над рекой, устремив взгляд на поплавок. Жил человек и думал, что природа только с ним откровенна и его назначение — прилежно записать все, что она рассказывает ему. Записать и поведать людям. А потом поездка в Россию... И все взорвалось, все взвилось и рухнуло: лес, соловьи, лодка на стремнине, зори... Остались только сумеречный блеск северного солнца и грозный голос: «Вся власть Советам!» Вторглась революция в жизнь человека, и все сдвинулось со своих мест...

Как жить человеку дальше: уйти в революцию и сделать ее своим призванием, дышать ею, носить ее в себе, сделать ее сердцем своим или возвратиться в бестрепетные заводи природы? Как жить человеку дальше?..

Пресса сообщила, что Робинс благополучно достиг американских берегов и хочет видеть Вильсона. Для Робинса наступили дни ожидания. Вот сейчас все его думы о президенте («Сын пресвитерианского священника, профессор, автор книг об Америке»), все думы о Вильсоне обретут истинный смысл.

Первый удар: «Президент отказался принять Робинса». Второй: «Робинс держит ответ перед сенатской комиссией». Третий: «По молчаливому знаку газеты начали кампанию против Робинса».

А потом от здания, которое так воодушевленно сооружал Робинс в своих мечтах о президенте, не осталось и руин: по приказу Вильсона Америка начала интервенцию против России...

Облака плывут над Кремлем, ярко-белые, перистые, напоенные солнцем. Плывут облака над Москвой, и по

торцовым кремлевским мостовым движутся озера солнца. Ленин стоит с Рэнсомом у окна и смотрит, как солнечное озерцо движется по земле, точно теплой волной ударяясь о белые стены. Если подняться повыше, то можно увидеть, как дымная солнечная волна, накатываясь, укрыла темно-красный кирпич кремлевской стены, непрочное золото куполов, деревья, каменные лестницы, мостовые.

Ленин вспомнил Лондон, шумное собрание. Шоу на трибуне.

— Нет, Шоу не клоун! Нет!.. Может быть, он и клоун в буржуазном государстве, но в революции его не сочли бы клоуном... Кстати,— Ленин переводит взгляд на Рэнсома,— вы полагаете, что, если бы вы согласились сказать правду о России, вам бы это разрешили в Англии?.. Разрешили, да? — Ленин делает паузу.— А как же Робинс?..

Вот Ленин и назвал имя американца. Теперь его собеседник может сказать о нем все, что ему так хочется сказать.

Рэнсом задумывается.

— Знаете, что сказал Раймонд Робинс о России перед отъездом в Америку? — Англичанин рад этой возможности, ему приятно вспомнить друга.— Робинс сказал: «Да поймите, Рэнсом, что я не могу враждебно относиться к младенцу, у колыбели которого я провел, бодрствуя, шесть месяцев».

Ленин останавливается у дальней стены, смотрит на карту. В его взгляде задумчивость, мечтательная задумчивость. Точно окинул взором бескрайную даль степи или моря и утолил жадность глаз, а может, и сердца к высокому небу, к солнцу. Нет ничего радостнее для человека, как сознание того, что тот, в кого он уверовал, до конца остался человеком.

— Ну что ж,— говорит Ленин, и неизбывным теплом лучатся его глаза,— Робинс честный человек и более дальновидный политик, чем многие. А насчет... младенца — хорошо!..

Ленин смеется. В этом смехе и его душевное здоровье,

и чудесное настроение. Ах, какое счастье верить в человека и не ошибиться в этой вере! Ленин смеется долго и, успокоившись, говорит негромко:

— Младенец... Да, у колыбели этого младенца были еще миллионы других, не смыкавших глаз... Миллионы...

В этот день Рэнсом занес в свой дневник:

«Больше чем когда-либо раньше Ленин произвел на меня впечатление счастливого человека. По пути домой из Кремля я пытался вызвать в памяти образ другого деятеля такого же масштаба, который обладал бы жизнерадостностью Ленина, но не смог. Этот невысокий человек с лицом, усеянным морщинками, который покачивается на стуле, заразительно смеясь то по одному, то по другому поводу, в то же время готов каждую минуту дать любому, кто попросит его об этом, серьезный совет, причем совет столь основательный и продуманный, что для приверженцев он звучит еще убедительнее, чем всякий приказ.

Каждая морщинка на его лице лучится смехом; это морщинка смеха, а не тревоги. Я думаю, это объясняется тем, что он первый великий руководитель, который полностью отрицает значение своей личности. Он абсолютно лишен какого бы то ни было личного тщеславия. Более того, он, как марксист, верит в движение масс, которые с ним или без него будут неуклонно двигаться вперед. Он безраздельно верит в те стихийные силы, которые поднимают и ведут массы, а его вера в самого себя — это не что иное, как вера в свое умение правильно оценить направление этих сил. Он не верит, что один человек в силах совершить или остановить революцию... поэтому он испытывает такое всеобъемлющее чувство свободы, какое прежде не приходилось испытывать ни одному великому человеку».

А как Робинс, что было с ним? Он остался верен нашей дружбе, на всю жизнь верен.

В тридцатых годах Робинс вновь посетил Россию. Направляясь в Кремль, он предъявил мандат, выданный ему Лениным. Он заявил тогда, что улучшение советско-

американских отношений считает делом жизни. Речь шла о признании Советской страны Америкой.

Робинс дождался своего времени. Все, что он не смог сообщить Вильсону, он сказал Франклину Рузвельту. Он был одним из тех, кто использовал свой престиж, чтобы добиться признания.

Есть такая традиция, освященная устойчивым светом времени: в память о друге человек сажает дерево, многолетнее дерево, которому жить столетия,— дуб, кедр.

Человек точно хочет продлить жизнь друга: «Расти, дерево, шуми звонколистой кроной, и пусть под твоей густой тенью находят отдых люди! Расти, дерево, и пусть шум твоих обильных листьев, то сурово-грозный, то могучевеличавый, то воинственно-гремящий, напоминает людям о далекой стране по ту сторону большого моря и ее великом сыне, чья мудрая вера и воля всегда, пока есть рабство на земле, будут звать людей к борьбе за свободу... Расти, дерево...»

Во Флориде есть «дерево Ленина».

Его посадил Раймонд Робинс, американец, которого Ленин сделал другом Советской России.

ЧЕРЕЗ ОГОНЬ

Машина прошла мимо нас, и след ее шин отпечатался на влажном снегу.

— Кто-то в машине третий,— сказал Робинс, когда автомобиль был уже за воротами Смольного.— Кроме господина Ленина и его жены... В шапке нерусского покроя...

— Даже в шапке нерусского покроя,— усмехнулся Вильямс и взглянул на меня, точно искал сочувствия тому, что намеревался сказать.— Эти американские буржуа! И здесь им видятся зловещие тени!

Ну конечно же, мои американские друзья благополучно пошли по новому кругу. Я даже знал, как будет про-

должен спор. Робинс скажет, что профессия журналиста предполагает умение видеть, журналист — единственный человек, который стоит между событиями и читателем, он очевидец, а это значит, что глаза всегда должны быть при нем. В ответ Вильямс заметит, что до Робинса нечто подобное заявил Теодор Рузвельт, когда хотел скомпрометировать свободную прессу. Все это будет произнесено с добродушием и добрым юмором, какой всегда присутствует в их беседах, хотя не следует переоценивать ни добродушия, ни юмора: то, что они хотят сказать друг другу, они скажут. Так было и прежде: когда в доброжелательном, но упорном единоборстве они отстаивали свои принципы, я мысленно переносился на землю Америки. Нет, они вели спор не только от своего имени — за каждым из них стояла Америка, своя Америка.

— Если в шапке нерусского покроя, то это Платтен,— сказал Вильямс.

— Платтен? Но у нас в Америке говорят,— заметил Робинс, помолчав: — «За новогодним столом не сидят чужие...»

— У нас в Америке еще говорят: «Нет чужих среди людей...» — улыбнулся Вильямс.— К тому же Платтен Ленину не чужой. Не каждый решится пойти с тобой опасности навстречу.

Да, Вильямс так и сказал: «Опасности навстречу», а Робинс внимательно посмотрел на него.

— Погодите, погодите...— произнес он едва слышно.— А не тот ли это Платтен, не тот ли это швейцарец Платтен, что после февраля?..

— Тот.

Мы долго шли вдоль дороги — автомобиль ожидал нас где-то на Леонтьевской,— шли молча.

— Сейчас я вспомнил,— сказал Робинс.— Платтен начинал свою жизнь в России и, кажется, говорит по-русски...

— Хорошо говорит,— подтвердил я.

— А вы знаете Платтена? — спросил меня Робинс.

— Да, немного.

— Что он за человек? Расскажите.

Наш путь лежал на Арсенальную набережную — здесь на рабочем балу выборжцев Ленин встречал новый, 1918 год.

Всю дорогу я говорил о Платтене.

Итак, Платтен, Фриц Платтен. Это был человек лет тридцати трех — тридцати пяти. Казалось, облик этого человека как-то своеобразно воспринял строгую прелесть Швейцарии, ее долин и снеговых кряжей. Человек был и строен, и красив. Мне трудно сказать, когда познакомился с ним Ленин, но в Циммервальде они уже знали друг друга. Я бы не назвал Платтена единомышленником Ленина в те годы или, тем более, другом. Его движение к коммунистам было хотя и неуклонным, но достаточно медленным. В сочинениях Ленина, как узнал я позже, есть страницы, где Владимир Ильич критиковал Платтена, подчас сурово, как, впрочем, есть страницы — и не одна,— где он поощрял Платтена в его действиях и даже защищал. Когда грянул русский февраль и возник вопрос о поездке Ленина в Россию, среди швейцарцев было не много охотников, кто взял бы на себя ответственность за эту поездку. Платтен не просто дал согласие, он был волонтером... Но я, кажется, поспешил и обогнал самого себя. Все, что произошло тогда, я узнал непосредственно от Платтена, и об этом стоит рассказать особо.

Я познакомился с Платтеном вскоре после его нынешнего приезда в Россию. Только что были расшифрованы первые тайные договоры царского правительства, и возник вопрос об их переводе на языки. Я переводил на английский, Платтен помог уточнить немецкий текст. Однажды мы засиделись до утра и возвращались домой вместе.

Невский чем-то напоминал Неву, вдоль которой мы только что прошли. И, как на Неве, берега-тротуары были неколебимо прямы. Ветер свивал здесь снежные вихры, однако гнал их не от берега к берегу, а по течению — в этот поздний час Невский был пустынен.

— Я заметил,— сказал Платтен,— природа не очень торжественно обставляет события, которые ты ждешь всю жизнь. Швейцария, Цюрих, февраль 1917 года... День был пасмурный, с серой водой и небом. Ленин уже пообедал и готовился идти в библиотеку. Кажется, он взял тетрадь и, развернув, обнаружил, что исписал ее еще утром. «Надя, дай мне чистую тетрадку...» В эту минуту он увидел, как через двор, направляясь к их двери, бежит поляк Бронский, именно бежит, заплетаясь в полах гимназической шинели. Ленин устремился к двери, распахнул. Бронский стоял уже на пороге бледнее смерти — он бежал сюда через весь город. «Пал царь,— сказал Бронский,— в России революция!» Вот и судите сами, умеет ли природа торжественно обставлять события, которые человек ждет всю жизнь... «Надя, убери чистую тетрадку,— произнес Ленин, помедлив; эти слова ему были нужны, чтобы как-то разобраться в том большом, что произошло.— Убери тетрадку,— произнес он медленно,— и идем к озеру... там газеты!» Потом не шли, нет, бежали к озеру — под навесом на щите последние цюрихские газеты. К щитам не пробиться. Никогда здесь не было так много народу. Ленин приподнимался на цыпочки, чтобы хоть одним глазом дотянуться до газетной строки: «Петроград. Царь Николай отрекся от престола...» А когда отошли от берега, остановились: там, у самой воды, стояла еще толпа, небольшая и такая тесная, что издали была похожа на уступ камня. Но камень пел, пел по-русски: «Вы жертвою пали в борьбе роковой...» Да, то были русские, стайка гонимых, все те, кто знал Шлиссельбург и Петропавловку, кто гремел кандалами по Владимирскому тракту, обогревал дыханием камни Алексеевского равелина. Ленин устремился туда, запел радостно и воодушевленно-тревожно: «Вы отдали все, что могли, для него...» А потом из России пришла телеграмма ЦК: «Ульянов должен приехать немедленно...»

Минуту ничего не видно — та сторона улицы размылась и пропала в белой мгле. Потом снег поредел, из белой мглы проступили темные глыбы построек. Снега уже

нет, и улица, казалось, открылась из края в край. Только небо в дымах, сизых, тревожных.

— Я хорошо помню: вначале в Россию хотели выехать сотни русских, но, как только выяснилось, что возможен проезд лишь через Германию, их число уменьшилось до нескольких десятков,— все было непросто. Помню один разговор с Лениным в эти дни. Нет, это было не в Цюрихе, а в Берне. Март, самое начало марта, молодая листва еще не набралась сил и на солнце казалась бледно-зеленой. Однако солнце уже яркое, белое в полдень. В ресторане окна открыты настежь, и запахи солнца заполнили дом. Ленин сидит за крайним столиком справа. Он давно поел, допит традиционный кофе — пустая чашка стоит посреди стола. Ленин наклонился над газетой. Видно, он уже пробежал ее от начала до конца — прочел телеграммы, которые все швейцарские газеты дают под одним аншлагом — «Революция в России», и сейчас читал комментарии. На какой-то миг он оторвал глаза от газеты и увидел меня. Увидел и, сложив газету и сунув ее в боковой карман пиджака, зашагал мне навстречу. «А нельзя ли нам уединиться, друг Платтен?» — произнес Ленин, и его глаза стали строгими. Я попросил его идти за мной. «Говорите... здесь можно»,— сказал я, когда мы, пройдя буфетный зал, а затем коридор, оказались в тихой и укромной комнате. «Вот что...— сказал Ленин и открыл окно. Старый конспиратор, он полагал, что шум улицы заглушит наши голоса, но был тот тихий полуденный час, когда затихает даже большой город.— Я прошу вас быть нашим доверенным в переговорах с немецким послом Ромбергом. Больше того: я прошу вас говорить с ним от моего имени... Кстати, мы были бы вам благодарны, если бы вы последовали через Германию с нами... При всех обстоятельствах между русскими и немцами нужен посредник. Если им будет гражданин нейтральной Швейцарии... Вы решились, товарищ Платтен?..» — спросил он. «А вы, Владимир Ильич?» — «Я? — переспросил он.— Разумеется... товарищ Платтен».

Платтен остановился, пошел медленнее.

— Уже когда поезд тронулся,— продолжал Платтен,— Ленин вдруг спросил меня: «А вы не боитесь?» — «А чего мне бояться?» — «Как чего?..— переспросил он.— Ваши братья социалисты предадут вас анафеме... обвинят в том, что продались самому дьяволу...» Я улыбнулся: «А дьявол кто?» — «Немцы, разумеется». Я засмеялся: «Да и вас, наверно, обвинят в том же, Владимир Ильич».— «Каждый воюет как может... Пусть обвиняют — я готов...» А поезд уже шел по немецкой земле. «Островом в море огня мне видится иногда Швейцария...» — сказал я Ленину. «И чтобы уйти с него, надо шагнуть через огонь?» — спросил Ленин. «Да»,— заметил я. «Значит, надо шагнуть через огонь...» — сказал Ленин. Мне кажется, он знал в ту пору, что идет через огонь. Временное правительство только что заявило: каждый, кто осмелится пересечь Германию, будет обвинен в государственной измене. Да, очевидно, он шел через огонь...

Я закончил рассказ, когда наша машина уже была у Литейного моста.

— Через огонь? — взвил могучие брови Робинс и продолжал задумчиво: — Я верю, что это был риск, и риск немалый. Тот же Платтен... рисковал не только своим именем, но и жизнью. А если ты ставишь на карту жизнь, ты должен получить взамен что-то...

— Что именно? — спросил Вильямс.

Робинс забеспокоился:

— Вы это знаете не хуже меня, Альберт. В моих родных местах, во Флориде, где вода лежит на глубине ста футов, прежде чем спуститься в колодец и поскрести его дно (это надо делать и к рождеству и к пасхе, иначе дно зарастет песком), человек хочет знать, что́ он будет иметь за это... потому что на дне отслоился не только песок, но и дурной воздух. Что будем иметь за это! Вот это и есть американская вера. А русская?.. Легко сказать: через огонь! Если ты в своем уме, то, прежде чем броситься в огонь, ты должен дать себе отчет: что сулит тебе такая перспектива?

— Не в этом дело,— усмехнулся Вильямс.

— Но в чем? В чем все-таки? — настаивал Робинс.— Ленин возвращался на родину, он желал свободы своему народу. А Платтен... кого освобождал Платтен?

Вильямс не ответил. Казалось, он ждет своей минуты, чтобы сказать Робинсу все, что хотел сказать.

Мои друзья умолкли. Каждый пытался осмыслить по-своему все, что услышали они о Платтене. Это было тем более значительно для них, что еще этой ночью им предстояло увидеть и Платтена и Ленина.

Мы минули Николаевский вокзал и продолжали путь по Невскому. Робинс предполагал ненадолго остановиться на Невском, 28,— у него были дела в американском генеральном консульстве.

Видно, человека, который был нужен Робинсу, в консульстве не оказалось, и наш друг вернулся тотчас. Мы видели, как он проворно сбежал по ступеням парадного подъезда на тротуар и, очутившись на заснеженной мостовой, медленно пошел к машине.

— Хэлло, Робинс! — окликнул его баритон, низкий и гудящий.— Согласитесь, ничто в мире не может сравниться с русской зимой!

— Да, господин посол, ничто в мире...— смущенно отозвался Робинс и остановился, не зная, продолжать ему путь или подождать посла, который медленно выбирался сейчас из машины, остановившейся в стороне.

— Ничто в мире...— Посол сделал несколько шагов и оглянулся на машину, точно желая удостовериться, стоит ли она там или нет.— Ах, этот Новый русский год, как русский снег... такой холодный!..— произнес посол и вновь посмотрел на машину. Он явно опасался, что она вдруг сорвется со своего места и устремится прочь, бросив на произвол судьбы посла.— В наше тоскливое время почему не отпраздновать еще один Новый год?..— Он нетерпеливо переминался с ноги на ногу, образовав вокруг себя островок протоптанного снега.— На Фурштадтской сегодня весь дипломатический корпус... и русские гости, так сказать, вечер дружбы с русскими.— Он взглянул на

Робинса: — Будет этот Кукорихин или Куковихин со своими сподвижниками. Все они депутаты, все решительно! — закончил речь посол.

— Учредительное собрание на Фурштадтской!.. — вдруг произнес Вильямс, и тишина, первозданная тишина, какой никогда не было здесь с тех пор, как первые строители этого города вбили грубо заструганные сваи в мокрую землю приневских берегов, распростерлась над городом.

Посол онемел, он явно не знал, что ответить Вильямсу.

— Ну что ж! — произнес посол и бойко повернулся, точно желал показать, как безопасно и уютно он чувствует себя на своем островке. — Я еду к Куковихину!.. А вы? — Посол был серьезен, игра плохо давалась ему.

— Мы? — Робинс смутился. — Куда едем мы? — Он был озадачен вопросом посла. — Мои друзья говорят: мы едем к Ленину.

— Ну что ж, пути доброго! — произнес посол, не без труда овладевая собой. — Не теряю надежды, что еще этой ночью вы будете на Фурштадтской! — добавил он и приветственно приподнял руку, желая показать выразительным этим жестом, в какой мере устойчиво его хорошее настроение.

Они разминулись, и посол исчез за тяжелой дверью консульства.

Робинс шел к машине в тревожном раздумье, взрывая грубыми башмаками снежный покров, — позади него далеко протянулась полоса рваного снега. Так выглядит след человека, бесконечно уставшего.

Робинс влез в машину и будто внес туда и тишину, что проволок с собой по рваному снегу, и усталость.

Мы приехали на Арсенальную уже после одиннадцати, но Ленина там еще не было. Только что кончился концерт, и начались танцы. В этом белом зале с окнами, выходящими на восток и запад, в зале, который видел и блеск мундиров, и торжественное пристукивание шпор, этот рабочий вальс в канун восемнадцатого года прозву-

чал необычно... Я взглянул на Робинса. Его глаза были устремлены на паркет: валенки, сапоги на толстой коже, легкие туфли, подозрительно шумные — очевидно, деревянные шлеры (в конце семнадцатого они входили в моду), башмаки с обмотками, солдатские тускло-зеленые «коты» — сапоги с обрезанными голенищами (голенища пошли на вторую пару), еще раз валенки, шлеры, башмаки... Нет, белый зал Михайловской академии (двенадцать окон на запад, двенадцать на восток) не видел такого вальса...

Но, едва набрав силы, оркестр запнулся, и тотчас по залу прошумели аплодисменты, вначале смущенно-робкие, потом неожиданно горячие и единодушные. В левом углу сцены стоял Ленин. Он был в пальто, и капельки только что стаявшего снега серебрили его воротник. Видно, он хотел войти в зал, не нарушая торжества, искал бокового входа и оказался на сцене.

— Вы попали сюда с Арсенальной? — крикнули Ленину из зала.

— Зачем ходить с Арсенальной, когда Симбирская рядом! — произнес он и засмеялся. Как устоять от соблазна лишний раз произнести: «Симбирская... Симбирская...»

То ли зал проник в смысл этих слов, то ли его привела в восторг сама возможность услышать голос Ленина — вспыхнули аплодисменты.

Ленин снял пальто и приблизился к рампе.

— Товарищи... дорогие товарищи выборжцы!.. — Он произнес «выборжцы» с характерным «р». — Поздравляю вас с Новым годом!

Он говорил, и земля, русская земля, огромная и такая неустроенная в эту новогоднюю ночь восемнадцатого года, будто поворачивалась перед ним со всеми своими бедами и невзгодами... Глубоким окопом, что перехватил степь, точно сабельный рубец лицо, шли солдаты, шли почти в рост, как не ходили с начала войны... Стоял завод с черными глазницами окон, диковинно большой и мертвый, — как он держался на ногах с остановившим-

ся сердцем?.. Старик шел несжатым полем, черным и полегшим, останавливался и долго смотрел вокруг, и глаза его, словно бочаги воды, были полны горя... Ленин говорил о том, как тяжел был год минувший и как нелегко придется в год грядущий. Но он убеждал рабочих не падать духом, теснее сплотить ряды...

— Да здравствует пролетариат Питера! — воскликнул Ленин, заканчивая речь.— Да здравствуют выборжцы!

Оркестр грянул «Интернационал».

Его лицо, только что такое радушное, стало торжественным. Строгим.

Начались танцы. Девушка в ярко-зеленой блузе, с косынкой, повязанной вокруг шеи, подбежала к Ленину.

— Владимир Ильич... вальс!..

Ленин смущенно поднес руки к груди:

— С удовольствием, барышня, но, право, я...— Он оглянулся вокруг, точно желая найти себе замену.— Сейчас мы вам найдем кавалера...

Он подвел девушку к капельмейстеру и движением глаз дал понять ему, что единственная надежда на него.

Капельмейстер положил на пюпитр свою палочку (оркестр продолжал играть без него), протянул девушке руки — торжественно и плавно они пошли в вальсе.

Ленин долго следил за ними, пока они не скрылись в толпе танцующих.

Пока под мерные вздохи десяти труб молодые люди кружились в вальсе, гостей пригласили к столу.

— А у вас изобилие! — заметил Ленин, оглядывая стол.

— А это мы от солдатского пайка,— сказала девушка, стоявшая рядом, и оглядела стол.

Граненый стакан с капелькой вина (чуть повыше донышка), правильный кружок колбасы, кольцо репчатого лука, кусочек селедки, пластинка сыра, тонкая, просвечивающаяся, черный сухарь...

— Значит, из солдатского пайка? — переспросил Ленин.

— Завтра уходим, Владимир Ильич...

Ленин задумался.

— Завтра?

— Вечером у нас митинг в Михайловском манеже... Нам сказывали: там будете и вы...

Ленин встал.

— Да, я обещал Подвойскому, буду...

Мы прошли вдоль окон, стараясь не мешать танцующим, и приблизились к сцене. Там, у самой рампы, Ленин беседовал с Платтеном. Ленин говорил, поглядывая на сцену, а Платтен стоял, не в силах поднять глаза, и в его фигуре, чуть напряженной, были и симпатичная неловкость, и радушие, и согласие. И, признаюсь, мне казалось удивительным, что эти люди стояли сейчас передо мной рядом, как, очевидно, стояли рядом где-нибудь в укромной комнате бернской гостиницы, когда впервые заговорили о проезде через Германию, а потом у окна вагона, когда поезд пересекал немецкую землю, и еще позже в пограничном финском городке Торнео — Временное правительство не пустило Платтена в Россию.

— Вы сказали: через огонь...— тихо, но как-то очень внятно произнес Робинс. Видно, он был упорным полемистом, удерживал в памяти все, что было произнесено по поводу Ленина и Платтена, и мысленно продолжал спорить с Вильямсом.

— Видите ли, полковник,— Вильямс не сводил глаз с Ленина и его собеседника,— пока мы скребли колодцы во Флориде, эти люди создали свое понимание идеала... Когда американец с радостью жертвует жизнь ради блага русского, а испанец идет на смерть во имя жизни серба...

— Все это слишком красиво, чтобы быть правдой! — воскликнул Робинс.— В жизни все и проще и жестче...

— Да, в жизни, в жизни...— заметил задумчиво Вильямс.

Мы покинули вечер выборжцев уже во втором часу.

— На Фурштадтскую! — сказал Робинс шоферу, когда мы сели в машину.

— Вы хотите воспользоваться приглашением пос-

ла? — спросил Вильямс. Машина еще не набрала скорость, и он мог говорить, не делая усилий.

— Нет, зачем же? Но проехать по Фурштадтской стоит...

— Ну что ж... На Фурштадтскую так на Фурштадтскую!..

Было тихо и ясно. Когда мы ехали сюда, мне казалось, что все растушевалось в петроградской мгле, все утратило свои очертания — линия набережной, грани невских мостов, ломаные и прямые линии прибрежных особняков. Но вот снег перестал идти, и все обрело твердость — белый бордюр оттенил линии гранита, вернул ему прежние грани. Вместе с новым снегом в городе прибыло и свежести и света.

Машина вошла в Фурштадтскую, и шофер убавил скорость.

Глянул красный уступ елисеевского дома, мрачного, без огней, и напротив него освещенные окна посольского особняка.

Машина остановилась, и Робинс, вздыхая и покряхтывая, выбрался из нее и пошел к парадной двери.

Большие, цельного стекла окна не могли удержать мощных вздохов духового оркестра, которыми вздувало и пучило особняк. (Посол Френсис убежден: духовая музыка — русская музыка.) Матово-белый плафон особняка застилали тени танцующих. То ли зал был подсвечен снизу, то ли был выключен верхний свет и зал освещали тихо тлеющие бра, но тени накатывались на потолок, точно морская волна в пору прилива.

Но вот зеленый сумрак в окнах посольского особняка погас и вспыхнул фиолетовый сумрак, потом бледно-розовый, потом синий. И снег перед особняком становился зеленым, фиолетовым, розовым, синим. И не только снег, но и камни елисеевского дома.

Иногда казалось, что посольский особняк улыбается дому напротив, больше того, кротко подмигивает ему. Но дом был непроницаемо мрачен.

Робинс вернулся, и машина продолжала свой путь.

— Кто гости... русские? — спросил Вильямс.

— Да, почти все...

— Но кто они — депутаты собрания?..— Последние два слова он произнес по-русски.

— Да, депутаты Учредительного собрания,— ответил Робинс по-русски.

— Что так?

— Пятое января не за горами,— ответил Робинс, помолчав.

А до 5 января (день первопрестольный — открытие Учредительного собрания) действительно рукой подать. С тех пор как совершился Октябрь, и на Фурштадтской, и на Морской, и на Французской набережной (не надо торить троп между посольскими особняками союзников) не было более обещающей даты, чем эта. Если и суждено совершиться чему-то значительному, то это произойдет 5 января.

Может, поэтому так людно сегодня на Фурштадтской и русский Новый год, которого нет ни в одном американском календаре, вдруг отмечается с щедростью и размахом, какого не знал здесь даже праздник американской независимости.

В машине тихо, и каждый из нас, как может, переносится в своих мыслях в особняк на Фурштадтской.

Серо-стальной мрамор лестницы, укрытой ворсистой дорожкой (в глубокий ворс, как в траву, каблук приятно вминается), торжественное свечение драеной бронзы, зеленая матовость ломберных столов, белые, в фиолетовых прожилках стариковские руки.

— Карты любят счет... Моя игра. Вы, очевидно, пас?..

Круглый журнальный столик в гостиной точно опушен бородами — шесть человек, шесть солидных депутатских бород: белый клинышек, округлый веник, ухватистый «лемешок», белая «лопата» (такой гребут снег и зерно), плоский «совок», удлинивший подбородок и сделавший его квадратным, и «ложка», разумеется деревянная. Шесть бород, шесть депутатских персон.

У Вильямса Френсиса нет бороды, больше того, его тщательно выскобленные и обильно припудренные щеки соперничают с белизной крахмального воротничка, каменно-твердого, негнущегося, точно специально созданного для того, чтобы подпереть дряблую шею посла и не дать его голове свалиться набок.

У Вилли Френсиса нет бороды, но в зыбкой мгле депутатских бород ему дышится легко.

— А не допускаете ли вы такой возможности,— произносит Френсис и пододвигает руку, непривычно покорную, к середине стола,— делегатов приглашают в Таврический дворец и просят утвердить декреты Советской власти... Прежде всего — Декрет о земле...

Кажется, что по бородам прошел ветер — они грозно вздыбились.

— Но ведь это же экстремизм!..

Рука посла, лежащая на столе, приходит в движение — пальцы вздрогнули. Они вот-вот застучат по столу.

— Но как свидетельствует октябрьский случай, экстремизм... опасно недооценивать...

Бороды недвижимы, они замерли в своей печали.

— Очевидно, есть одно средство,— хмуро гудит «лопата».

— Какое? — нетерпеливо вздрагивает «лемешок».

— Экстремизм...— шуршит пересохшими ветками «веник».

Бороды торжественно вздыблены, и желтое петроградское электричество, как может, золотит их.

Посол встает и едва заметным движением головы, почтительным и нетерпеливо-просительным, приглашает гостей в банкетный зал.

Посол идет медленно, и шесть бород берегут его драгоценное молчание и не менее драгоценное поскрипывание его штиблет.

Кажется, что крахмальные скатерти озарены золотыми нимбами, так они белоснежны, так они чисты. Правильный квадрат стола в дальнем конце зала, куда имеет обыкновение уединяться с особо желанными гостями

посол, накрыт так щедро и изысканно, что возникает желание накрыть это добро стеклянным колпаком и выставить на всеобщее обозрение. Нет, это не картон, не папье-маше, не муляж — это все настоящее, доподлинное, с естественной маслянистостью, ароматом, способностью хрупко колоться, течь, рассыпаться: апельсины, консервированная ветчина, солнечные ломти сыра, кетовая икра, обесцвеченная лимоном и приобретшая золотистый отсвет, колбаса, нежно-розовая, приятно-жирная, шпроты, обильно залитые маслом, севрюга и самое диковинное, непередаваемо-фантастическое — хлеб, белый хлеб, с чуть подпаленной краюшкой; казалось, что представление о нем утратилось еще в том веке, да существовал ли он когда-нибудь, этот хлеб?..

— Вы сказали: есть одно средство? — спрашивает посол.

— Экстремизм, господин амбассадор...— скрипуче повторяет «веник».

Необычно встречается русский Новый год в американском посольстве на Фурштадтской.

Вечером следующего дня я увидел у подъезда Смольного машину Владимира Ильича. Подошла девушка-телеграфистка и ощупала чуткой ладонью смотровое окно. Смольный покинул человек с кожаной сумкой нарочного и, дотянувшись кончиками пальцев до смотрового стекла, отнял руку. Явились солдаты (они несли караул в правом крыле Смольного). Руки медленно двигались по стеклу, точно желая прощупать его твердь. «Четыре выстрела один за другим!..» — «Ленин был в машине?» — «Как всегда, на заднем сиденье...» — «Однако смерть была рядом...»

Автомобиль, стоявший у подъезда, пришел в Смольный час назад. Ленин выступал на митинге в Михайловском манеже, да, на том самом митинге, о котором шла речь вчера ночью на встрече Нового года. Машина отошла от манежа и направилась к мосту через Фонтанку —

это был самый простой и короткий путь. Видно, стрелявший был на митинге. Ему нетрудно было добежать до моста раньше, чем там будет автомобиль Ленина. Взбираясь на мост, машина должна замедлить ход, к тому же туман... Четыре выстрела в упор, четыре пробоины в обшивке автомобиля и в смотровом стекле. Ленин спасся чудом. Чудом ли?..

Был десятый час вечера, когда на парадной лестнице Смольного я увидел Робинса.

— Я узнал об этом в городе,— произнес Робинс, указывая взглядом в сторону подъезда, у которого стоял автомобиль Ленина.— Говорят, что четыре пули почти исключали промах.

— Да, к счастью, все обошлось,— произнес я.

— При чем здесь счастье, когда дело в конкретном человеке? — поднял на меня удивленные глаза Робинс.— Говорят, что он отвел голову Ленина, при этом пуля обожгла ему руку... Но кто он? Ленин приехал в манеж с сестрой Марией. Это была она?

— Нет, хотя она и была в автомобиле вместе с Лениным.

— Тогда, быть может, Подвойский?.. Он открывал митинг, он военный человек...

— Нет, это был не он... Впрочем, его в машине не было.

— Тогда шофер? Он-то был в машине?

— Да, разумеется, был, но был еще и четвертый.

— Кто?

Робинс досадовал, почему я медлю с ответом.

— Это был Платтен,— сказал я.— Тот самый Платтен, сын маленькой Швейцарии, который уже однажды ценой жизни...

— Шагнул через огонь?

— Через огонь.

(Я не видел больше Робинса и Вильямса вместе, а следовательно, не знал, чем закончился их спор, но встреча их была, и разговор имел место, при этом было произнесено несколько слов, которые и решили спор. Что это

были за слова?.. Возможно, Вильямс сказал, что в мире родилась и торжествует новая вера, большая вера коммунизма, когда американец идет на смерть ради испанца, а сын маленькой Швейцарии готов пожертвовать жизнью ради русского.)

Мы поднялись на третий этаж — там в правом крыле был кабинет Ленина.

— Такой день,— произнес Робинс смущенно,— а мы с делом.— Он указал взглядом на папку, которую держал в руках.— Удобно ли?..

— Если Ленин не примет...

Мне хотелось сказать: «Если не примет, то вы поймете: день нелегко сложился...», но Робинс прервал меня:

— Я понимаю... Я все понимаю...

Мы пошли тише, хотя время близилось к урочной минуте.

— По-моему, я вижу господина Ленина...— произнес Робинс.

Я всмотрелся в неясный полусвет коридора — да, это Ленин. Он шел медленно, стараясь приспособиться к шагу своего спутника, которому, как мне показалось, идти было нелегко.

Не сговариваясь, мы с Робинсом замедлили шаг — не хотелось вторгаться в беседу идущих впереди. Впрочем, Владимир Ильич и его спутник достигли бокового коридора и скрылись в нем — кабинет Ленина был там.

Мы готовились уже свернуть в боковой коридор, но едва не столкнулись с Владимиром Ильичем и его спутником,— видимо достигнув поворота, они остановились, чтобы закончить беседу.

— О, мистер Робинс! — воскликнул Ленин воодушевленно (я заметил: голос его был свободен от невзгод минувшего дня).— Вы не знакомы? — Он поднял глаза на своего спутника.

Только сейчас я увидел: то был Платтен. Приветствуя Робинса, он склонил голову.

— Вот я говорю товарищу Платтену,— обратился Ленин к Робинсу, будто желая заручиться его поддержкой

и решить спор,— если бы Пуанкаре не держал деловых людей за руки,— Ленин энергично сжал запястье своей левой руки,— то никакая сила не уберегла бы их от торговли с нами...— Ленин взглянул на меня.— Дмитрий Дмитриевич, так и переведите: «Никакая сила».

— А что ответил господин Платтен?..— спросил Робинс и внимательно посмотрел на спутника Ленина.

— Он полагает...— заметил Ленин и запнулся.— Впрочем, почему я должен цитировать вас в вашем присутствии? — засмеялся он, засмеялся так, точно хотел и подзадорить чуть-чуть Платтена, и, быть может, немного воодушевить.— Итак, что полагаете вы?..

Платтен улыбнулся — воинственность Владимира Ильича была ему по душе.

— Мы говорили о торговой дипломатии,— смущенно заметил Платтен и улыбнулся вновь: возможность изложить свои мысли перед столь своеобразной аудиторией окончательно лишила его смелости.

— Погодите, а почему мы должны беседовать на эту тему в первозданном мраке, словно заговорщики? Кажется, Горчаков сказал: «Благородные цели не требуют тайных средств». Кстати, и вы,— обратился он к Платтену,— закончите с Подвойским — заходите. Имейте в виду, что мы одинаково заинтересованы с мистером Робинсом в ваших идеях торговой дипломатии... Верно, мистер Робинс?..

— Да, интересно,— произнес Робинс.

Платтен все так же учтиво склонил голову.

Мы вошли в кабинет Ленина. После полутьмы смольнинских коридоров желтое свечение лампочки, которой был освещен кабинет Владимира Ильича, показалось ослепительным.

Ленин предложил гостям сесть.

— А вы, Дмитрий Дмитриевич, рядом со мной, да поближе, поближе!..

Он любил, когда я сидел между ним и человеком, с которым он беседует. Его беседа, как всегда, стремительная, построенная на репликах, лаконичных и действен-

ных, требовала внимания, столь неослабного и зоркого, что вряд ли за нею можно было уследить, если ты не находишься с ним рядом. Я взял стул и сел рядом с Лениным. Только сейчас я заметил: кожу его лица, обычно золотисто-белую, точно обволок пепел — слишком большим и ненастным был для него этот день.

Робинс привстал:

— Этой карте не угрожает перспектива быть военной?

Ленин поднял глаза — ему нелегко было оторвать их от просторного листа бумаги, лежащего на столе.

— Я человек прямой, колонел Робинс,— произнес он и остановился. Радушному «друг Робинс» он предпочел более строгое — «колонел».

— До сих пор не лишали меня этого достоинства и вы,— заметил американец.

— Тем более наша беседа имеет шансы быть искренней,— произнес Ленин.

— Иначе в ней нет смысла.

— Итак, вы полагаете, что с этих четырех выстрелов у моста через Фонтанку начался новый этап русской революции и название ему — гражданская война?

Робинс внимательно взглянул на Ленина.

— Я не хотел бы лишать вас качества, которое очень ценил в нашем президенте Линкольне... Он умел не обманываться относительно своих успехов.

— И первым предрек приход гражданской войны?

— Не только предрек, но и попытался предопределить ее исход...

— Ну что ж, я хочу воспользоваться привилегией искреннего разговора до конца... А не думаете ли вы, полковник... если Америка того не захочет, в России не будет гражданской войны?

Робинс потемнел в лице.

— Вы полагаете, что эти четыре выстрела...

— Я полагаю только то, что я сказал: если Америка не захочет, в России не будет гражданской войны...

— Тогда что из этого следует?

— Что следует? — переспросил Ленин и пододвинул

карту.— То, что я хочу вам сказать сейчас, мне не просто сказать именно сегодня, но я скажу: Россия хочет добрых отношений с Америкой...

— Ваша позиция — торговля?

Ленин занял свое место за столом.

— Наша позиция? Вот она.— Он взглянул на карту, и в глазах его отразились и воинственная прямота, и строптивая непримиримость, и вызов.— Вот она — наша позиция! Вы полагаете, что я сейчас буду говорить о льне, пеньке, щетине и необработанных кожах — обо всем том, что извечно Россия гнала по своим санным путям, порожистым рекам и морям на запад? Разумеется, будут и лен, и конский волос, и копыта, как будут еще марганцевая руда, платина, нефть и меха! Будут!.. Но мне видится большее. Не о завтрашнем дне России, а о дне сегодняшнем думаю я, когда говорю о новых стальных путях Сибири и на нашем европейском севере, о новых гидроцентралях на Волхове и Свири, о водной дороге, короткой и действенной, из Сестрорецка в Петроград, об угле на Командорах и лесе в Южной Камчатке... Вот программа нашего технического комбатантства!

— Вы полагаете, что опыт и мысль американской техники могут участвовать во втором рождении России?

— Да, я полагаю, что любое участие Америки в индустриальном прогрессе России может нами приветствоваться, и на этой основе мы готовы все наши заказы адресовать Америке: генераторы и турбины, трубы и провод, паровозы и станки... Да, Россия, социалистическая Россия, готова торговать и сотрудничать с самой могучей страной капитала: ничего предвзятого, только дело! У нас передышка короче короткой — день сегодняшний. Быть может, завтра заговорят орудия и начнется война. Мы должны это сказать друг другу: нет необходимости решать наш спор, скрестив рапиры...

— Вы полагаете, что пришло время сказать об этом прямо?

— Да, время не только пришло, но оно уже уходит... Сказать сегодня.

Он сказал: «Сегодня», хотя не знал и не мог знать, как это верно. Еще 27-й полк нес свою службу в Маниле (густо-синее небо и черные пальмы на белом песке) и сыпучие снега России даже не виделись солдатам во сне. Еще посольский лимузин носил Френсиса по Петрограду и знаменитая фраза «Антибольшевистский переворот назначен на сегодня...» не легла на бумагу. Еще флагманский крейсер «Бруклин» под штандартом командующего Азиатским флотом США шел через грохочущие холмы океана и Остин Ной был мрачнее моря: «Какой смысл было уходить из Владивостока, когда мы все равно туда вернемся?» Еще 8-я дивизия, расположенная в калифорнийском лагере Фремон (черные кактусы на белом песке), не получила приказа: «Выделить пятитысячный отряд для службы в Сибири». Еще Вильсон не предал гласности свои четырнадцать пунктов и тем более секретные комментарии к ним.

Все-таки это был необыкновенный день — 1 января 1918 года. День-остров. Выберись на него и оглянись вокруг. Позади огонь, впереди, быть может, тоже огонь. Все, что хочешь сказать, скажи сейчас, пока полая вода пламени не подобралась к твоим ногам.

Что сказать?..

Робинс стоит над картой.

— Я верю, что мы можем торговать.

— И я верю,— говорит Ленин.

— Америка и Россия могут сделать много доброго,— говорит Робинс.

— Добрые слова гибнут, если они не заключены в железные пределы дела,— говорит Ленин.

— Как вы мыслите?

— Вот мой план,— замечает Ленин и смотрит на карту.

Они склоняются над картой...

Робинс уходит едва ли не в полночь.

Ленин идет вместе с Робинсом, распахивает дверь — у стены стоит Платтен, очевидно, он вернулся давно, но войти в кабинет не посмел.

— Ну что же вы стоите там? — кричит Ленин Платтену.— Заходите! И вы, Дмитрий Дмитриевич... Вы давно вернулись, друг Платтен?

— Часа полтора, Владимир Ильич. А что?

— И все это время просидели в приемной?

— Нет, я был в коридоре...

Ленин не прошел, а пролетел комнату по диагонали, только башмаки гремят.

— Чего ради вы простояли в темном коридоре полтора часа, когда... мне ваше присутствие было необходимо здесь? Поймите: необходимо, и не по соображениям общечеловеческим или там... личным. Отнюдь!.. Вы нужны были мне из соображений... деловых!

Платтен обескуражен:

— Но, быть может, еще не поздно? Спрашивайте, если не поздно?

Ленин подошел к Платтену...

— Да, пожалуй, еще не поздно.— Он взглянул на забинтованную руку.— Жжет?

— Сейчас нет, прежде...

Ленин осторожно берет руку Платтена и переносит ее на свою ладонь.

— Мы марксисты, и не нам клясться на крови...— Его ладонь, удерживающая забинтованную руку, вздрагивает.— Не нам клясться, но гнев, что копился века, не растрачен, и силы наши готовы воспрять невиданно...

Ленин смотрит на Платтена с пристальной строгостью, точно хочет рассмотреть в нем нечто такое, что не рассмотрел прежде. Сейчас я вижу руку Платтена. Ни одна капелька крови не пробивается сквозь пористую ткань бинта.

Я вижу, как побледнел Платтен: кажется, что он сейчас вновь пережил все, что произошло у Симеоновского моста, и слово за словом повторяет вслед за Лениным:

— Силы наши воспрянут...

Я покидаю Смольный после полуночи. В кабинете Ленина свет погашен, но мне кажется, что он все еще стоит у окна, смотрит в ночь.

ГЛАЗА

Случалось ли вам, обернувшись во тьму большого зала, вдруг увидеть глаза? То ли они светятся своим внутренним светом, то ли отразили неощутимый свет извне, но глаза горят и пронзают тьму. Вам даже кажется, что вы увидели цвет глаз — так силен этот огонь. Да, светло-серые, почти белые, полузастланные туманом. Какой огонь несут в себе эти глаза, какая искра накалилась в них: добра, благодатного и щедрого, или неприязни?

Многое в эту ночь произносилось по инерции:

— С Новым годом, с новым счастьем, господа!

— Со счастьем? Новым?..

Чистый кружочек в наледи, застлавшей окно, отогревался нелегко: лед был толстым. На улице ветер и снег. Неудержимо мигает фонарь, точно ему на роду написано мигать и мигать. Ветер сорвал с рекламной тумбы плакат и стучит им, будто жестью. Из трех громовых слов на плакате остались только два, но смысл нерушим: «...власть — Советам!.. Советам!.. Советам!..»

— С Новым годом! С днем грядущим!..

Грядущим? Но что он готовит, этот грядущий день?

Он наступит здесь вместе с бледным рассветом почти в восемь. Каким будет он, этот день, открывающий новый год, а может быть, и новую эру, и что он явит? Наверно, иные краски земли и неба, иные формы облаков, иное свечение... Каким он будет, этот день?..

День настал, и приход его был обставлен природой весьма обыденно. Петроградское небо было, как обычно в эту позднюю пору, невысоким, и краски были тусклые, серо-лиловые, под цвет осенней невской воды (Нева еще не стала), под цвет неба и камня, под цвет Литейного и Невского.

Кстати, утром первого января на Невском было необычно пустынно. Я уже достиг Литейного, когда из-за

угла вышла шумная ватага молодых людей. Да ватага ли это? Их всего трое: двое мужчин и женщина.

— Хэлло, товарищ Рибакоу! Приходите в манеж!..

Утро пасмурное, в неясной дымке тумана лиц не разглядеть, зато плечистая фигура Джона Рида, характерный наклон спины обнаруживаются безошибочно.

— Да, да, приходите в манеж! Там сегодня половина Петрограда.

— Что так?

— Ленин! Товарищ Ленин!..

Рид прибавил шагу и быстро перешел трамвайную линию. Женщина, идущая рядом, едва поспевала за ним, тоненькая, с муфтой из черно-коричневого скунса, с копной тяжелых волос, на которых едва держалась ее меховая шапка. А завершал шествие великан. Да, он был очень высок, этот человек в ушанке, и шел, спрятав руки в карманы, ссутулясь, смешно раскачиваясь, наклоняя голову в такт шагам. Что-то неуловимое (нет, не покрой пальто, не кашне), что-то действительно неуловимое выдавало в нем соотечественника Рида. Да не Вильямс ли это?

— Приходите в манеж!.. Ленин!..— крикнул Рид.

Но проникнуть в манеж оказалось делом нелегким. На подходах к манежу — толпы вооруженных рабочих, автомашины, броневики. В самом манеже негде яблоку упасть, дымят факелы, и черные тени движутся от стены к стене. Матросские бескозырки, серые папахи солдат, надвинутые на уши (здесь только ветра нет, а холод и сырость такие же, как на улице), картузы рабочих, мягкие кепи и котелки служилого люда, а над всем этим, как дым, штыки, лес штыков. Ну конечно же, сюда собрался вооруженный Питер, чьей волей и храбростью был совершен Октябрь.

— Ленин!

Грянули аплодисменты, и манеж точно раскололся. Да, я физически ощутил, как масса народа, заполнившая манеж, раздалась и неширокой стежкой, возникшей в толпе (так колется льдина и возникает полоска чистой

воды), к трибуне направился Ленин. Он шел быстро, приветственно подняв ладонь. Он дошел до броневика, стоящего в центре манежа (трибуной должен был служить этот броневик), и, обернувшись, внимательно оглядел зал. Нет, в облике людей, что пришли сюда в этот новогодний день, не было ничего праздничного — эта мысль не могла не встревожить его сознания. Ничего праздничного.

Только сейчас я увидел, что Ленин вошел в манеж не один. Подле стояла Мария Ульянова, сестра Ильича (я и прежде видел ее рядом с Лениным). Легко угадывался Николай Подвойский в кожаной куртке, полураспахнутой у воротника. Как ни старался я обнаружить Рида, его там не было, хотя спутник Рида (тот, рослый, в русской шапке-ушанке), с которым Рид перебегал трамвайные пути, направляясь в манеж, стоял у самого броневика. По-моему, то был Вильямс, Альберт Рис Вильямс, американский социалист, друг Рида. Митинг открыл Подвойский, открыл, чтобы первое слово предоставить Ленину.

Ленин без видимых усилий поднялся на крыло броневика, потом ступил на площадку, образуемую радиатором, перешел на крышу корпуса и появился на башне.

Зал загудел и стих. Ленин начал говорить.

Зал был огромен, но голос Ленина обнимал зал.

Он говорил о простых и прекрасных вещах: о нашем светлом будущем и борьбе за него, все еще суровой и кровавой, о мужестве, о необходимости сильным поддержать слабых, укрепить веру у колеблющихся и сплотить, во что бы то ни стало сплотить ряды.

Я смотрел в зал. Он был плохо освещен. Виден был лишь броневик, с которого сейчас говорил Ленин, и воины, стоящие подле. Сотни, а может быть, и тысячи людей тонули во тьме. Дымный огонь факелов не мог победить темноты сумерек, которые заволокли зал. Какая мысль светилась во взглядах людей, которые смотрели в эту минуту на броневик?.. Надежда — у одних, вера в недалекую победу — у вторых, решимость идти за Лениным,

за большевиками — у третьих... Но может быть, сквозь толстый полог сумерек, укрывших сейчас зал, на броневик смотрели иные глаза, в которых были предубеждение, неприязнь или даже ненависть? Сумерки были почти непроницаемы, а манеж велик, сумерки могли укрыть, а манеж вместить и злой блеск ненависти... Ненависти?.. Петроград все еще находился в опасности.

— А теперь перед вами выступит американский товарищ...

Это сказал Подвойский. Я взглянул на спутника Рида и сделал еще несколько шагов по направлению к броневику.

— Говорите по-английски, а я буду переводить,— услышал я голос Ленина; сейчас нас разделяло всего несколько шагов.

— Нет, я хочу говорить по-русски...— заметил американец, улыбаясь, и взобрался на броневик.— Товарищи! — обратился он к залу.

Ленин улыбнулся: он знал об умении американца говорить по-русски. Впрочем, на первых порах мне показалось, что американец не без оснований решил говорить без переводчика. Его речь была стремительна. Американец назвал себя социалистом и сказал, что симпатии трудового народа Америки на стороне русской революции. Но уже следующую фразу он произнес не без труда.

— Какого слова вам недостает, товарищ Уильямс?..— поднял на американца смеющиеся глаза Ленин; он продолжал улыбаться, но в этой улыбке не было иронии: веселая отвага американца, решившегося с трибуны говорить по-русски, была симпатична Ленину.

— Enlist,— несмело произнес оратор.

— Вступить...— подсказал Ленин, и множество людей улыбнулись вместе с ним.

А оратор обратился за помощью к Ленину вновь, и, ответив ему все так же охотно, Ленин добавил:

— Да, да, товарищ Уильямс.

Я не ошибся: то был Альберт Рис Вильямс. Если верно, что его дед был шахтером, а отец — проповедником,

то в его облике дед определенно возобладал над отцом: железная могучесть шахтера передалась внуку. И не только могучесть, но и бесстрашие: в дни революционных битв Вильямс вместе с Ридом был среди рабочих и солдат, штурмовавших Зимний.

Вильямс кончил. Раздались аплодисменты. Ленин аплодировал вместе со всеми. Теперь Ленин стоял рядом с Вильямсом. Его определенно умиляла дерзость американца. «Однако я не ожидал от вас такой храбрости,— точно говорил Ленин.— Вон вы какой...» А Вильямс и сам, казалось, несколько опешил. Происшедшее и для него было неожиданностью, мне так казалось — радостной неожиданностью.

— Ну вот, как бы там ни было, начало в освоении русского языка сделано,— вдруг заговорил Ленин. Он поднял глаза на Вильямса, тот был много выше.— Но вы должны продолжать заниматься им серьезно,— добавил Ленин и едва не коснулся полусогнутой ладонью груди Вильямса.— А вы,— обратился он к спутнице Вильямса (позже я узнал: это была знаменитая Бесси Битти, корреспондентка сан-францисской «Кроникл». Она сейчас была рядом с Вильямсом и все порывалась заговорить с Лениным),— вы тоже должны изучать русский язык.— Ленинская улыбка перенеслась на нее.— Дайте в газете объявление, что хотите обменяться уроками. И потом просто читайте, пишите и говорите только по-русски.— Ему было приятно радостное внимание американских друзей.— С соотечественниками не разговаривайте,— произнес Ленин, смеясь,— все равно пользы от этого не будет!..— Он собрался идти, потом обернулся, точно вспомнил нечто важное, и сказал Вильямсу и Битти: — Когда мы встретимся в следующий раз, я вас проэкзаменую...

Ленин простился и поспешил к выходу, и все, кто стоял подле, устремились вслед. Ленин шел сейчас тем же быстрым шагом, каким вошел в манеж, приветственно подняв руку. И едва он вышел из манежа, толпа расступилась.

Между входом в манеж и машиной теперь было свободное пространство. И Ленин стал видим далеко вокруг: из распахнутых ворот напротив, из окон большого дома, что стоял поодаль. И много глаз следило за ним, исполненных веры и верности. И опять я подумал: быть может, были там и иные глаза, глаза, застланные зимним ненастьем, хмарью, едким дымом ненависти? Были?

А машина с Лениным прошла мимо меня, прошла небыстро: и дорога, и скорость, и ветер, если его можно было вызвать в большом городе, были впереди. Я видел, как машина, повторяя неровности дороги, устремилась вперед, потом повернулась и ушла за угол, в сумерки боковой улицы, в полутьму деревьев, нависших над дорогой, в тишину. Чем дальше я шел, тем бóльшая тишина окружала меня, неощутимая и бездонная, как вечность. Сознаюсь, что я не слышал ни голосов, ни выстрелов. Я хорошо помню, что выстрелов я не слышал.

Ночью поднялся ветер. Он дул со стороны Финского залива, наперекор течению Невы. Если бы Неву не сковал лед, она бы вышла из берегов. Ветер дул неистово, и с каждым новым его порывом скрипели схваченные морозом деревья в парке Смольного и гремела, неистово гремела крыша. Между десятью и двенадцатью в Смольном был свой час «пик» — от далеких питерских окраин и застав сюда съезжались все, кого не было в течение дня, именно в этот час здесь можно было увидеть революционный Питер, да только ли Питер? Как в ту октябрьскую ночь на белом снегу, застлавшем смольнинский парк, догорали поленья. Их неяркое мерцание было видно издалека. Горящие угли не успевал затянуть пепел, ветер срывал его.

Я едва не столкнулся с Ридом у входа.

— Вы были в манеже? — спросил он, не останавливаясь, спросил по-русски.— Нет, нет... вы были? — прервал он меня. Ему не терпелось сообщить мне нечто необычное, при этом все, решительно все он хотел сказать

по-русски.— Ленин... вы слыхали: Ленин...— Бледность его лица была нерушима вопреки холодному ветру, который проник и сюда.— Ленин...— произнес он не столько голосом, сколько дыханием, шумным и прерывистым.

— Что случилось? — спросил я его.

— В Ленина стреляли... Четыре пули по машине...

— Но он жив?..

Рид хотел ответить единым духом, ответить по-русски, но память изменила ему.

— Альберт...— молвил он, беспомощно всплеснув руками.

И тотчас над ним выросла фигура Вильямса.

— Ленин невредим...— сказал Вильямс.

Я вздохнул. Ах, какими добрыми в этот миг показались мне и хмурое небо над Петроградом, и гаснущие огни на снегу, и деревья.

Мы отошли в сторону, под защиту мощного дуба, и Вильямс продолжал:

— Да, в манеже... через минуту после того, как отъехала машина... Четыре пули по кузову. В машине несколько дыр, пробито стекло...

Я смотрел на Вильямса: нет, сейчас он не был похож на того Вильямса, что стоял вместе с Лениным у броневика в Михайловском манеже за десять минут до покушения. И я подумал: наверно, и в сознании Ленина этот день, этот тревожный новогодний день, такой опасный и все-таки счастливый, будет отождествляться и с именем Вильямса, с веселым, озорно-веселым диалогом, который возник между ними на глазах у целой армии питерских добровольцев.

Я так думал.

А несколькими днями позже я вновь увидел Ленина и Вильямса рядом. Впрочем, Джон Рид был третьим.

Было это на том самом заседании Учредительного собрания, на котором эсеро-меньшевистское большинство сказало «нет» декретам революции о земле, мире и было распущено.

Ленин сидел в первой ложе справа и молча наблюдал

за происходящим. Он сидел неглубоко, положив бледные руки на борт ложи. Когда, увлеченный волнением зала, он пододвигался ближе к барьеру, свет ложился на его лицо. Был виден золотистый отсвет его волос, блеск глаз: они были строги в этот день.

Потом Ленин поднялся и вышел из ложи, а когда появился в ней вновь, подле него были Джон Рид и Альберт Рис Вильямс. И зал, как ни был увлечен тем, что говорилось с трибуны, невольно обратил глаза к крайней ложе справа: там Ленин беседовал с американцами. В какой-то миг показалось, что беседа увлекла Ленина: его лицо оживилось. Он улыбнулся, потом сделал движение рукой (жест был не резкий, но очень эмоциональный) и неожиданно засмеялся.

Рид стоял к залу спиной, и я не видел его лица, но зато лицо Вильямса было хорошо видно. Кстати, как мне казалось, Ленин говорил сейчас, обращаясь именно к Вильямсу, потому что тот пытался что-то объяснить Ильичу и неловко и смущенно двигал длинными руками. Я подумал тогда: как-то сложится его судьба? Он, в сущности, молодой человек, и впереди мгла десятилетий. Сейчас он наш друг, но останется ли он им через десять, двадцать, тридцать, а может, и сорок лет?

Я не знал тогда Риса Вильямса так, как узнал позже. Дорога только начиналась, годы испытаний были впереди. Ему еще предстояло взять на себя почин создания революционного иностранного отряда и самому выступить на фронт. И книга Вильямса «Сквозь русскую революцию» еще не была написана тогда, книга суровой и радостной правды о революции в России. И столица России еще была в Петрограде, и Вильямс не знал о своей встрече с Лениным в Кремле. «У вас прекрасная коллекция документов»,— сказал Вильямсу Ленин, убеждая его написать книгу о Советской стране. И Вильямс еще не пересек океана и не познал стыда и мук допроса в так называемой «оверменовской комиссии». «Я верю в Советскую власть»,— заявил он комиссии. И идея большой поездки по Америке еще вынашивалась Вильямсом, поездки по

сыпучим равнинам американского Запада, по богатым тихоокеанским городам, по степным поселкам хлопкового и табачного юга. И разумеется, в тот момент, стоя перед Лениным, Вильямс еще не знал о своей новой поездке в Советскую Россию через несколько лет после революции, о встрече с Михаилом Ивановичем Калининым, о своем решении поселиться на несколько лет в России и изучить все процессы ее становления: по своей давней и испытанной привычке, Вильямс не хотел, чтобы между ним и жизнью был еще третий человек,— он все хотел видеть сам, все испробовать своими руками. Он подолгу живет в деревне — вначале на Украине, близ гоголевской Диканьки, потом в Подмосковье. Он и механик, и косарь, и пахарь. И не мог Вильямс заглянуть на двадцать с лишним лет вперед и увидеть, как июньским утром дымное пламя немецких минометов опалит созревшие русские хлеба. Едва весть об этом достигла Америки, Вильямс, по честной и бескорыстной службе сердца, счел себя мобилизованным. И вновь, как некогда, он проехал Америку из конца в конец, рассказывая о России и справедливой ее борьбе...

В тот вечер, когда Вильямс, робея и смущаясь, стоял перед Лениным, трудно было заглянуть на десять, двадцать, тридцать, а тем более сорок лет вперед, но хотелось верить: он будет нашим другом, большим нашим другом...

А зал, огромный зал следил за тем, как Ленин беседовал в ложе с американцами, чей радикализм был столь хорошо известен Петрограду. Какие тайны поверял вождь Республики Советов своим американским единомышленникам, по каким вопросам советовался? Что мог означать нетерпеливый ленинский жест, ободряющий кивок, наконец, улыбка, одновременно ироническая и такая сокровенная, больше того — таинственная? Не созревал ли в крайней ложе справа заговор, угрожающий самим устоям Америки?

Подле меня сидел человек с бычьей шеей. Голова возникала у него из плеч, точно обломок колонны. Его кос-

тюм из ворсистой серо-коричневой ткани выдавал в нем иностранца.

Я посмотрел в его сторону и вздрогнул. Я увидел глаза, которые мне виделись все эти дни. Они были обращены на ложу, где Ленин беседовал с американскими друзьями. Говорят, что одними глазами нельзя выразить ни скорби, ни радости, ни гнева. От меня был скрыт рот человека, мне были доступны только его глаза, и в них была ненависть, столько ненависти, что одним ее огнем можно было бы сжечь человека. И я подумал: эти глаза смотрели на Ленина из тьмы, эти глаза мне виделись, эти... они не могли быть иными.

Я встретил моих американских друзей через час на дорожке, ведущей от парадного крыльца Смольного к воротам.

— Послушайте, о чем вы беседовали с Лениным? — обратился я к Вильямсу.

— О чем? — Вильямс улыбнулся. — Ленин спросил меня, как подвигается дело с изучением русского языка, могу ли я понимать все эти речи. — Вильямс не без смущения пожал плечами. — «В русском языке так много слов», — сказал я Ленину... — Вильямс виновато улыбался, — не желая того, я заставил Вильямса еще раз пережить смущение, которое он испытал так недавно. — «О нет! — решительно отрезал Ленин. — В том-то и дело, что языком надо заниматься систематически!» И Ленин стал обстоятельно излагать свой метод. Ленин советовал вначале выучить все существительные, потом все глаголы, потом все причастия и прилагательные... освоить грамматику, орфографию и синтаксис, а затем... «Вы же знаете, что следует делать затем? Практика везде и всюду, да, практика...»

— Даже с трибуны Михайловского манежа? — спросил я Вильямса.

Вильямс потер согнутым пальцем подбородок.

— Даже с трибуны манежа... — улыбнулся Вильямс. — В общем, он продолжал разговор, который был в манеже...

Вильямс ушел, и мы остались с Ридом одни.

— Вот сейчас смотрел в зал и думал,— произнес Рид, устремив печальные глаза во тьму смольнинского парка,— революция совершилась, революция продолжается, и много битв еще предстоит впереди... много...

В эту минуту мимо прошел человек с обломком колонны вместо головы.

Я взглянул на моего собеседника. Нет, я не спросил его ни о чем, я просто взглянул на него. Но Риду мой взгляд показался вопросительным.

— Кто бы это мог быть? — как бы переспросил Рид и ответил себе и мне: — Мой соотечественник, которому революция помешала овладеть русскими нефтяными полями.

Мы расстались, а я долго смотрел во тьму, куда ушел этот человек, ушел и унес свои глаза. Их было трудно ему нести, очень трудно — так они были обременены ненавистью...

Я вновь увидел Риса Вильямса месяца через полтора. Был февраль. Пришла телеграмма с фронта: немцы возобновили наступление. Свет в окнах Смольного, как это было в Октябре, не гас до утра.

Питер взялся за оружие. По заснеженному невскому льду, уже тронутому февральской оттепелью, дни и ночи с правого берега на левый двигались рабочие отряды. Шел отряд по Морской: рабочие в стеганках, солдаты в серых папахах, матросы, матросы, много матросов. И рядом с ними высокий человек, чуть сутулый, в легком пальто и шляпе,— я узнал Вильямса.

Отряд прошел, поземка замела его следы, но еще долго в смутной полумгле февральского дня я видел сутуловатую фигуру американца...

«Всех благ тебе, наш друг,— хотелось сказать человеку,— всех благ на долгом и нелегком пути, который ты избрал».

СЕРДЦЕ

Память прочно сохранила подробности этого утра. Петроград, осеннее ненастье, предрассветное небо с остановившимися облаками, черные окна (они так и не зажглись в эту ночь и казались чернее обычного), мокрые камни и площади, тишину, как обычно в эти дни, недолгую и непрочную.

Броневик ворвался на площадь и ударил под арку по толпе. Крик, живой комок боли некуда было упрятать. Толпа приникла к стене, черная, как стена, и нерасторжимая с нею, но человек выпал из толпы, как выпадает яблоко из рук. Один человек, второй... Вот тогда-то из-под арки полетела граната. Раздался взрыв, очень сильный (казалось, и черные окна осыпались и сдвинулись со своих мест облака). На этот раз тишина была прочной.

А потом к броневику подошел парень в форменной фуражке железнодорожника и сунул в неширокую щель броневика штык: «Кто там есть еще живой-здоровый, выходи!» Но ответа не было, и парень отошел в сторону и положил ладонь на рукоятку гранаты: «Выходи, говорю!..»

В это утро парень показался мне самим олицетворением мужества: нелегко встать перед броневиком один на один.

Деталь, может быть, незначительная: эти оконные стекла посол привез в Петроград из-за океана. У них было немалое достоинство — скрашивать петроградский сумрак. Да, стекла обладали способностью обращать серый день со шквальным балтийским ветром в едва ли не калифорнийскую благодать. Всем комнатам служебного особняка посол предпочитал «фонарь» с оранжевыми окулярами. Здесь было все, что требовалось для беседы: иллюзия золотого солнца, крепкий бразильский кофе, почерневшие бананы (их запахом напитана даже обшивка софы), граммофон с устрашающим раструбом и стопка пластинок, разумеется, народные мелодии: заунывные —

Миссури, грозные — Кордильер. И голос посла был мягкий, как вата, и, как вата, душный.

— Америка уже вернулась из своего похода за свободу...

Таинство причастия, великое таинство первой встречи с соотечественником, происходило у посла в этой комнате. И день следующих встреч устанавливался тоже здесь. Они должны происходить систематически, иначе в них нет для посла смысла. Именно систематически, хотя разговор никого ни к чему не обязывал — свободная беседа интеллигентных людей в час досуга; театр, прогулка на острове, встреча с поэтами — именины сердца, домашний спектакль, новая книга... митинг на Сестрорецком. Да, митинг на Сестрорецком тоже возможен. Вот и вся беседа. Послу не обязательно идти дальше, послу... Главное, чтобы расписание встреч выполнялось свято и присутствовала формула: «Америка уже вернулась из своего похода...»

Пусть горит земля за окнами и сердце России стучит громовыми раскатами «Авроры», оранжевое солнце в посольском особняке должно быть незатухающим, и на его блеклое свечение должны сходиться граждане заокеанской державы, если они хотят вернуться на родину.

— Нет, Америка лишь собирается в свой поход за свободу...

Это сказал послу Джон Рид. Сказал и точно выбил в «фонаре» оранжевые окуляры, дав грозовому небу вломиться в дом, небу и ветру, который бушевал над Петроградом.

Два человека стояли сейчас лицом к лицу, белые в своем гневе. Две Америки. Потом дверь распахнулась, будто ее в самом деле разверз ветер, широкая спина Рида возникла в пролете двери и исчезла. Посол медленно раздвинул шторы, взглянул на улицу. Рид уходил. Тишина словно приковала посла к окну. Уходил, уходил... Какая сила увлекала сейчас этого человека, думал посол, и какая это должна быть сила, если тот пренебрег общностью рода и класса, нерасторжимой общностью традиций и самого строя жизни? Какая это должна быть сила?..

...Из окна гостиницы был виден клен. Зеленым я его уже не застал. В начале октября он был желтым, в конце ноября, с первыми морозами и снегом,— цвета красной меди. Казалось, что отсвет клена лежит на стенах комнаты, беленной известью, на потолке, на кафеле. Кафель был горячим только под вечер, когда топили в гостинице печи, но Рид все тянулся ладонью к его полированным камням. Хотя он родился на американском северо-западе и привык к холоду, он был порядочным мерзляком. К вечеру он перебирался со своей машинкой ближе к печи. Раздумывая, он приникал к стене, и кафель приятно согревал спину.

Есть фотография, где Рид сидит за машинкой. Он в пиджаке с закругленными полами. Белая сорочка оттеняет его стриженый затылок и шею. Руки белые, почти неотличимые от обшлага крахмальной сорочки. Мягко отсвечивают волосы. Чуть выше виска лег на лоб темный завиток волос. Руки задержались на клавишах. Минута раздумья. Лист, вложенный в машинку, начат. Виден номер страницы (черновик пронумерован — он все делал тщательно) и четыре строки, написанные без помарок. Писал он не быстро, точно торил тропу в зарослях леса, точно прорубал тоннель в массиве породы. Взмах и удар киркой — сделан шаг, еще взмах — еще полшага. И вид Рида (пиджак с округлыми полами, крахмальная сорочка), и обстановка комнаты (стол с изогнутыми ножками, толстая книга со множеством закладок, пепельница) переносят нас в атмосферу большого города, отделенного от войны непробиваемой стеной океана.

Иным я помню Рида в Петрограде, в комнатке с красным кленом под окном. Рид работал в белой сорочке, выше локтя закатав рукава.

Комната была заполнена листами плакатов. Ими были выстланы пол, кровать, подоконник, они были прикреплены к тюлю и зеленому сукну штор. Казалось, что в тишине этой комнаты, изредка нарушаемой стрекотом машинки, плакаты продолжают сражаться: «Всем честным гражданам!», «Всем рабочим и солдатам!» и еще:

«Всем, всем!». Слова гневались, взывали к разуму и участию.

Маленький англо-русский словарик Рида был не в силах вместить эти моря гнева. Рид вновь и вновь обращается к русским текстам. И его речь, каких бы отдаленных проблем она ни касалась, все чаще заканчивалась вопросом:

«Не были бы вы так любезны пояснить мне: «Жизнь и служба казака были всегда неволей и каторгой... Как понять это — «неволей»?..»

Собственно, эта фраза явилась поводом и для нашего знакомства. Я подозреваю, что Рид впервые увидел меня, когда я переводил импровизированную беседу коменданта Смольного с иностранными корреспондентами.

В людском море, каким был тогда Смольный, Рид приметил меня настолько, что однажды окликнул:

«Не были бы вы так любезны...»

Я шагал длинным коридором Смольного. Навстречу, едва не сталкиваясь со мной, спешили люди. В коридоре не было света, и лица были затемнены. Рука на белой перевязи — солдат с фронта, светлая блуза — наверно, телеграфистка, скрип костыля во тьме — опять солдат, блеск кожанки — самокатчик, опять костыли — солдат... И вдруг в коридоре, где тьма была особенно плотна,— стесненное дыхание, потом вздох и голос:

— Не были бы вы так любезны, товарищ Рыбаков...

В стороне на длинном столе, накрытом клеенкой, гудит и сыплет искрами самовар. Подле хлопочет солдат, смертельно уставший. А еще дальше, склонившись над столом,— Рид. Видны горящие глаза, нос, широкий у переносья, крупный подбородок — тьма оставила на лице все самое характерное. На том конце стола, где сидит Рид,— точно рассыпанные ветром страницы рукописи. Наверно, он облюбовал это место, чтобы накоротке, «в два удара», набросать корреспонденцию, которая еще сегодня должна быть передана за океан.

Накануне я видел его с Лениным.

Это было в парке Смольного. Был поздний вечер,

и Ленин вышел ненадолго подышать. Рядом был Рид. Они подошли к старому дереву с раскидистой, но сейчас обнаженной кроной, и Ленин медленно поднял глаза. Чтобы увидеть маковку, надо было отойти, и Ленин пошел по неглубокому снегу, осторожно ставя ноги. Рид последовал за ним. Они стояли и смотрели на дерево. Ленин что-то говорил, все выше поднимая руку, а Рид задумчиво слушал, глядя на Ленина.

Я не знал, о чем шла речь между ними, но мне показалось, что так могут говорить люди, которые в беседах между собой уже проложили первую стежку и могут коснуться частностей, без которых нет жизни,— о небе, снежном поле или, как сейчас, о дереве.

Быть может, этот разговор был аллегорическим и дерево явилось поводом для большего?

Кстати, как могла произойти их первая встреча? Очевидно, был кто-то третий, кто знал Рида и рассказал о нем Ленину.

А могло быть и иначе. Ленин беседовал с иностранными корреспондентами. Беседовал не раз. Многих он знал уже в лицо.

«Нет, мне чужда ваша точка зрения...»— мог бросить он корреспонденту и при этом назвать его имя.

Или:

«Ну, что ж, это разумно... Я, пожалуй, тоже думаю так».

Да, с каждым днем он все лучше знал корреспондентов, и не только в лицо. Он знал, какие вопросы характерны для одного и какие для другого, чего можно ждать от одного и что вряд ли позволит себе другой.

«Скажите, а что за человек этот темноволосый американец... такой... не без симпатии?.. Писатель?.. Автор нескольких книг? Вот как! А почему же я не читал его?..»

Могло быть и так. Могло быть.

— Не были бы вы так любезны...— просит сейчас Рид.

Ну конечно же, надо прояснить смысл очередного документа. Этой ночью революционная армия в сражении

под Царским Селом рассеяла (единственное это слово он произносит по-русски) войска Керенского. В Смольном получено донесение. Вот его текст, переписанный от руки.

Он наливает чаю мне и себе:

— Пожалуйста...

Я перевожу донесение, а он пишет, изредка прихлебывая из граненого стакана.

— Да, да... «Принять все меры к захвату Керенского...»

Я не успеваю закончить последнюю фразу, а он уже опускает на стол стопку плакатов, да не стопку, а плиту, скрепленную клейстером, который успел превратиться в камень. Может, поэтому ее соприкосновение со столом вызывает такой грохот.

— Вот, содрал с рекламной тумбы на Невском,— прочно переходит он на английский.— С одного удара низверг и кадетов и правых эсеров...— Он осторожно отдирает от плиты первый плакат.— Знаете, как у реставраторов живописи — древняя икона нанесена на самый холст.— Он наловчился отдирать плакаты, не повреждая их.— Чтобы добраться до такой иконы, надо смыть три слоя: портрет фаворитки императора, пастушка с рожком, зеленое поле с рябыми коровами... Древняя икона всегда на самом дне...

— Но ведь это всего лишь история!— пробую я подзадорить его.— Не каждый любит оглядываться назад, да, может, газетчику это и ни к чему. Газета — не книга...

Он встревожился:

— Книга?..— Потом произнес задумчиво: — Книга... книга...

И вот мы сидим в комнатке с белой кафельной стеной. Одиннадцатый час вечера.

— Значит, не каждый любит оглядываться?..— Он пододвигает большой чемодан, обтянутый кожей, и едва трогает замок. Чемодан шумно распахивается, и невидимая рука разбрасывает по полу листовки.— Вот мое богатство! — улыбается Рид.— Нет, газетчик должен оглядываться.

— Так вот где у вас хранится старинная иконопись!

Ночью мы идем с Ридом вдоль Обводного канала. На Риде короткая куртка на меху, «канадка». Руки в карманах, плечи приподняты.

— Мир интересует только одно: как это было в России. Нет, никакой беллетристики! Нужна книга записей, свидетельство летописца... От часа к часу, ото дня ко дню... Каждая деталь бесценна, если она документальна... Именно летопись революции...

Он ушел — у него была встреча с друзьями,— и я продолжал путь один. Вода была недвижима. Время от времени на ее поверхность ложился сухой лист, и слабые круги шли по воде. Вода успокаивалась, а лист продолжал лежать.

Рид был художником, влюбленным в свет и краски. Наверно, ему хотелось щедрой горстью бросить на холст краски, как в его мексиканской книге: блеск песка, белая глина, рассеченная трещинами, небо цвета ультрамарина, жирная зелень кактусов. Быть может, его будущая книга о России будет строже по краскам: строгость русского Севера, строгость возмужания. Строже и документальнее: он недаром говорил о свидетельстве летописца. Но краски будут и здесь. И главное — там он был свидетелем событий, хотя и деятельным, здесь — участником.

Высыпал снег, и клен под окном Рида потускнел и медленно погас. Но зато заревой свет в окне был все гуще. Будто окно похитило у клена его блеск и свечение. Рид работал над книгой, и друзья берегли спокойное пламя освещенного окна: они бывали теперь не так часто. Может быть, в эти дни как раз и были написаны страницы, которые позднее заняли свое место в книге: поездка в Пулково, Ленин, выступающий на Втором съезде Советов. Помните, как здорово там у Рида: «Было ровно 8 часов 40 минут, когда громовая волна приветственных криков и рукоплесканий возвестила появление членов президиума и Ленина — великого Ленина среди них». И лаконичная зарисовка Ленина, говорящего с трибуны: «Широкий благородный рот, массивный подбородок, бри-

тый, но с уже проступавшей бородкой, столь известной в прошлом и будущем. Потертый костюм, несколько не по росту длинные брюки. Ничего, что бы напоминало кумира толпы,— простой, любимый и уважаемый так, как, быть может, любили и уважали лишь немногих вождей в истории. Необыкновенный народный вождь, вождь исключительно благодаря своему интеллекту, чуждый какой бы то ни было рисовки, не поддающийся настроениям, твердый, непреклонный, без эффектных пристрастий, но обладающий могучим умением раскрыть сложнейшие идеи в самых простых словах и дать глубокий анализ конкретной обстановки при сочетании проницательной гибкости и дерзновенной смелости ума... Тысячи простых лиц напряженно смотрели на него, исполненные обожания».

А название, наверно, возникло позже. Первая мысль: «Рождение бури». Потом эти слова сместились в подзаголовок и возникли новые, не столь лапидарные, но более мужественные: «Десять дней, которые...»

Рид выехал в Америку в феврале.

Самое большое богатство — чемодан с листовками и плакатами.

Падал мокрый снег. Рид ехал через город в фаэтоне.

Уже на вокзале носильщик едва оторвал чемодан от земли. Рид улыбнулся. «Бумаги что железо — одного веса»,— подумал он.

В мглистую мартовскую рань корабль подплывал к Америке. Рид стоял на палубе. Точно из воды, медленно поднялись небоскребы, сутулые, без плеч, шатаясь от непосильной ноши,— им было явно не под силу подпереть небо.

Рид сошел в нью-йоркской гавани и собирался уже сделать первый шаг, когда из полумглы выступили двое. Они были широки в плечах и толсты, как кули с древесным углем, лежащие подле. Дежурное приветствие (в Америке ничего не делается без приветствия) и при-

вычное движение руки к лацкану пиджака. За лацканом — тусклая бляха агента тайной полиции. Они указали взглядом на чемодан. Значит, им уже все известно. Молва и на этот раз обскакала Рида. Они предупредительно приняли из рук Рида чемодан и ушли, даже не предложив Риду следовать за ними.

Рид стоял на цементной платформе пристани. Дул ветер и холодил затылок. По серому небу мчались облака. Не облака, а железные чушки — как только они не свалятся с неба! Ветер взрывал воду, и на лицо ложилась водяная пыль. Вода была солоновато-терпкой, горькой. И на душе было горько. Вот так, будто у тебя отняли нечто такое, без чего ты уже не сможешь жить: книгу, годы. Взяли и отняли сразу три года жизни, может быть, самых дорогих, а вместе с ними мысли, которые, казалось, возникли раз и никогда не повторятся.

Не такой он себе представлял встречу с родиной, не такой.

И в этот миг, стоя на цементной платформе нью-йоркской пристани, Рид острее, чем когда-либо прежде, осознал, чем были для него годы, проведенные в России, и чем в конце концов могла явиться для него эта книга. Ну конечно же, это мог быть рассказ о революции, может быть, первый и действенный рассказ о событии, которое решительно изменило судьбу человека и показало ему его завтрашний день. Как должен быть счастлив человек, которому суждено свершить это нелегкое и такое благородное дело! Разумеется, эта книга могла явиться исповедью Рида перед временем, перед самим собой, наконец, перед Америкой. Нет, не перед той Америкой, что сейчас выступала в полумгле раннего нью-йоркского утра жирными боками своих банков и деловых контор, а той, что лежит на каменистых полях Запада, на некогда плодородных равнинах, разрушенных эрозией, на дорогах... Она могла явиться исповедью, в которой бы человек осмыслил все, что было пережито в эти годы, и решил, как надо жить завтра. И не беда, что в эту исповедь зримо вторгался громогласный и жесткий говор афиши и плаката,— может

быть, сегодняшний день и отличается тем от дня минувшего, что сердце разговаривает с сердцем, как площадь говорит с площадью,— ничего не тая. Исповедь... Нельзя отнять у человека слово, которое в нем вызрело. Ведь бывает же так с человеком: если слова этого не произнесешь — сердце остановится...

Нет, Рид не отдаст так просто того, что добыто в эти годы, что выстрадано и вошло в жизнь.

И он рванулся вперед, неся с собой бурю.

Казалось, в квадратную комнату, куда был внесен чемодан, вторглись вместе с Ридом и небо, укрывшее землю и воду от горизонта до горизонта, и океан, лежащий рядом.

Нелегко устоять перед такой силой.

Победил Рид.

В Нью-Йорке он облюбовал маленькую комнату с кафельной стеной, как в России, но только не квадратную, а пятигранную. В комнате было одно окно. Оно повисло где-то между землей и небом. Облака были по плечо Риду, да что облака — солнце было на уровне вытянутой руки. Но гул и скрежет, которые издавал город, поднимались и сюда, выше солнца и облаков.

Рид извлек из чемодана бумаги.

Это и в самом деле было похоже на чудо, что Рид донес в эту заокеанскую даль, на эту заоблачную высоту свой чемодан.

Книга должна родиться здесь. Но от замысла до свершения было не близко. Нет, древние летописцы не знали такого подвижничества. Дни и ночи, дни, дни, ночи...

Белый накал электричества и стук машинки.

Он кончил книгу на исходе ночи и едва дождался утра, чтобы отнести издателю. Уже на город пали туманы, и небоскребы стояли точно обезглавленные. Блестели тротуары от холодной январской влаги, и еще не погасшие фонари тускло отражались на мокром камне. А человек спешил через город со свертком под мышкой, словно город гнался за ним по пятам, пытаясь отнять.

И наборщик протянул руку к затененным ячейкам

наборной кассы и положил на верстатку первую крупинку свинца. «Эта книга — сгусток истории...» — прочел он первую строку.

Нет, недаром Рид бежал через город с рукописью в руках. Невидимые тени действительно гнались за ним. Нью-йоркский издатель Гораций Ливерайт задумчиво свел лохматые брови: он понимал, рукопись какой книги находится у него в руках. Он понимал, что отныне он бросил вызов врагу беспощадному. Кто ему противостоит? Город? Нет, не город. Сильные этого города. Гораций Ливерайт, прежде чем сдать книгу в набор, перепечатал ее и схоронил экземпляры в разных концах города. Если полиция отнимет один экземпляр манускрипта, останется другой.

Первое посещение полиции было корректным. Агенты полиции вошли в наборный цех: «Простите, но рукопись мы должны конфисковать...» Хрустнул замок портфеля, и рукопись потонула в его черной коже. Но на другой день в цехе появился новый экземпляр, и заповедная строка легла на верстатку вновь: «Эта книга — сгусток истории...» На этот раз полиция грубо вторглась в дом: «Эта книга не должна набираться...» Кожа портфеля действительно казалась бездонной. А потом набег следовал один за другим: на закате солнца и его восходе, ранней осенью и на ее исходе, зимой и в начале весны.

В марте, я это знаю, шелковистая зелень затягивает прибрежный песок в Гудзоне, и небо в Нью-Йорке, зажатое камнями, кажется недосягаемо высоким, как из колодца.

Книга вышла в марте.

Известна даже дата: 18 марта.

Первый экземпляр Рид вручил издателю: «Моему издателю Горацию Ливерайту, едва не разорившемуся при печатании этой книги».

Книгу ждали в Москве. Думали: каким путем она придет, когда придет? Через Владивосток — далеко, к тому же весна девятнадцатого года... А может, через Скандинавию, а потом через Ревель и Ригу? И таким путем

шла почта из Америки в Россию. Нет, все-таки через Скандинавию.

— Есть ли уже в Москве книга Рида?

— Кажется, есть один экземпляр, но его отдали в Кремль. Читает Ленин.

Мне виделся поздний вечер в квартире Ильича в Кремле, сияние настольной лампы, раскрытая книга и словарик рядом, тоже раскрытый, лежащий корешком вверх. Недели две, как перестали топить, и по вечерам в комнате прохладно. Начало мая. Ленин сидит, накинув на плечи демисезонное пальто, то самое, черное, с плюшевым воротником. На кухне хлопочет кто-то из домашних. Сюда доносится негромкий говор, гудение печи, клокотание кипящего чайника. Ленин любит эти звуки, уютные звуки обжитого дома, где все имеет свой установившийся черед. Может быть, эти звуки напомнили ему Симбирск, родительский дом, когда за стол садились большой семьей: отец сидел во главе стола, мать — напротив. Но это было давно, и нужно немалое усилие, чтобы все это вспомнить.

А сейчас Ленин еще ниже склоняется над книгой и, протянув руку, обнаруживает, что чашка, стоящая рядом, пуста.

— Дай мне, пожалуйста, чаю, Маняша!..— кричит он сестре, не отрываясь от книги.— Да погорячее...

В полночь, когда в доме уже все давно спят, он тихо закрывает книгу (палец удерживает непрочитанные страницы), ненадолго выключает свет. Минута раздумья. Окно будто пододвинулось к нему. Видно все, что лежит за его чертой: небо, по-весеннему высокое и студеное, бегущие облака. Ветреный, ветреный май... То ли на кремлевском холме так сквозит, то ли повсюду в Москве? Ветрено и холодно.

Он вновь включает лампу и склоняется над книгой.

Через два часа, когда он гасит свет вновь, чтобы погрузиться в думы, он видит, что с погасшей лампой света почти не убавилось — утро уже пришло.

«Вам удалось уже прочесть Рида?..»— этот вопрос я

слышу все чаще. Еще не увидев книги, я чувствую: теперь по Москве уже ходит несколько ее экземпляров.

Да только ли по Москве? На книгу отозвались парижские газеты, потом лондонские, потом берлинские. Плотина прорвана, попробуй теперь унеси чемодан с листовками революции, укради манускрипт, рассыпь набор! Попробуй, когда книга пошла гулять по свету, как ветер, которому не заказаны рубежи!

Попробуй надень кандалы на ветер...

Поздняя осень девятнадцатого года. Вечер. Снег. Ясность.

Только что в Кремле закончилось совещание коммунистов, уезжающих на Украину,— там будет дан контрреволюции решительный бой.

Перед коммунистами выступал Ленин.

Поезд уходит сегодня в двенадцатом часу ночи. До отхода всего три часа, но никто не торопится.

Все еще идет снег, а толпа у Большого дворца не расходится.

— Ах, как у него хорошо было на душе сегодня!..

— Да, да...

— Простите, но чем вы объясняете... как бы это сказать по-русски?..

Человек запнулся: то ли неожиданно оборвалась мысль, то ли действительно не нашел подходящего русского слова.

Я оглянулся — Рид.

Нет, не в куртке на меху и шапке-ушанке. Короткое пальто, шляпа, без перчаток.

— Идите сюда, я вам отвечу на все вопросы...

Он поднял руку, поднял высоко, намереваясь с грохотом опустить ее на ладонь собеседника,— так здороваются только в России.

— На все вопросы...

Мы уходим далеко, к Тайницкому саду. Снег неглубок, и можно идти тропкой даже там, где еще никто сегодня не ходил.

— Ленин? Нет, еще не говорил, видел... но только из-

дали. Он приметил меня и кивнул головой очень радушно. У него действительно очень хорошо на душе: эта осень была тяжелой, но зато... Увижу еще сегодня. Ночью? Очевидно, в десять, как в Смольном...

Риду очень нравится задеть плечом ветвь, полную снега. Дерево вздрагивает, и снег падает большими хлопьями.

— Как вы думаете, он читал уже?..

— Да, несомненно.

— Значит, его улыбка этим вечером и кивок... не просто приветствие?..— Рид посуровел.— Как вы?..

Вот бывает же так у писателя, подумалось мне. Все время, пока пишется книга, один человек стоит перед глазами, только один. Кто же этот человек, невидимо слившийся с тобой? Друг, непреклонно строгий и взыскательный, чьими устами глаголет правда, твоя юная подружка, совсем юная, в простодушном взгляде которой тебе вдруг почудилась мудрость мира, твой многоопытный родитель, который всегда, сколько ты помнишь себя, был и судьей твоим и советчиком, или, как сейчас, вождь, наставник, истинно добрый гений твой? Ты пишешь, и прозорливые его очи глядят тебе в сердце. И нет странички, да что странички — фразы, слова, которые бы ты не соизмерил с его быстрым и требовательным взглядом на жизнь, с его совестью, с нерушимой правдой его бытия: как он, что скажет он, отвергнет нетерпеливо и бескомпромиссно или все-таки примет? И у Рида, наверно, было так в его пятигранной комнате в Нью-Йорке. Писал и все думал: «Как все-таки примет книгу он, в России?..» И сейчас эта тревога не утратилась. Может быть, наоборот, сейчас она стала острее, чем прежде.

— Улыбка Владимира Ильича и кивок этим вечером... не просто? Как вы?..

Мы возвращаемся. Снег забелил Риду плечи.

Рид смотрит на часы.

— Скоро десять... Мое время.

Он не может скрыть волнения: никогда встреча с Лениным не вызывала у него такой тревоги, как этим вечером. Впрочем, никогда прежде ей не предшествовало так

много, как сегодня. Я это тоже понимаю, может, поэтому волнение Рида сообщилось и мне...

Мы вновь встречаемся с Ридом за полночь.

В эти полтора часа выпало много снега, и кругом белее белого. В кремлевском городке светло как днем. Рид — рядом, торжественный и безгласный.

— Как?

— Хорошо.

Он останавливается и распахивает пальто. В его руках трепещет страничка. Наполовину она исписана. Я узнаю стремительную ленинскую руку. Хочу вынести на свет, смотрю на небо. Ах, какая светлая ночь, но все-таки буквы невидимо слились — нет, мне не прочесть.

— Хорошо... все хорошо? — спрашиваю я.

— Он дал мне крылья! — говорит Рид.— Крылья дал!

Мы простились.

Только позже, много позже я понял, что в эту ночь, освещенную мглистым свечением зимнего неба, я держал в руках страничку с ленинским текстом, который и сегодня открывает книгу Рида: «Эту книгу я желал бы видеть распространенной в миллионах экземпляров и переведенной на все языки...»

Ленин действительно дал ему крылья.

И в какой уже раз я вспомнил жизнь Рида, все, что я знаю о нем, и, конечно, историю его книги. Это был подвиг сознания, а значит, и сердца — оно неотделимо... И в памяти встал хмурый рассвет над Петроградом, мокрые камни Дворцовой площади, броневик перед аркой и человек с гранатой в руках,— да, храбрый человек, вышедший на борьбу со старым миром один на один. С ним был его разум, его светлый разум, да еще сердце, которому ничто не страшно.

ФЛАГ

Я жду приема у Ленина и оставшееся время использую для зрительного знакомства с теми, кто пришел сюда до меня.

Их двое.

У окна сидит человек в байковой куртке; из того немногого, что он только что сказал секретарю, я понял, что он приехал накануне из Питера по делам академии. Поодаль, у входной двери, расположился военный — его ярко-черные брови необычно сочетаются с копной седых волос.

В те редкие минуты, когда он поднимает глаза, они обращены к двери кабинета — он явно досадует на человека, который беседует сейчас с Лениным: для такого позднего вечера тридцать минут — срок достаточный.

Военный не хочет скрывать своего волнения: пепельница, которую он держит на коленях, полна окурков.

Наконец дверь кабинета раскрылась, и на пороге появился крестьянин в холщовой рубахе, расшитой грубым, давно выцветшим узором. Он надел тулупчик, взял шапку-ушанку, вздохнул и, коснувшись ладонью груди, пошел к выходу.

— Вы видели, как он тронул грудь и посмотрел вперед?..— произнес военный.— Это жест человека, которому далеко до дому...

— Небось шел через горы и реки,— сказал я.

Военный встал, быстрым жестом смахнул с колен пепел, прошел к печи.

— Через горы — куда ни шло, а вот пройти через линию фронта, как сделал этот американец... пострашнее.— Из-под его исчерна-смоляных бровей смотрели на меня глаза, такие же густо-черные и сверкающие.— Знаете, когда снаряды стучат по каменистой земле, точно кулаки в грудь, и воздух так напитан дымом, что... хоть зарывайся в землю... Если тебя за горло не взяло, не очень-то пойдешь в такое пекло...

— За горло? — переспросил я. Меня все больше за-

хватывал рассказ военного об американце, перешедшем линию фронта.— Тогда почему же человек пошел?

— Почему?

— Да.

Военный взял пепельницу и загасил папиросу.

— Он шел к Ленину.

— Теперь?

— Да, пять дней назад, на границе в ста верстах от Риги,— сказал военный.

— И его пропустили наши?

— Разумеется,— заметил военный и добавил: — Как мне кажется, американец должен быть уже здесь. Такой моложавый, не без симпатии, то ли Брайд Мак, то ли Мак Брайд.

— По-моему, его не было,— сказал я.

— Тогда ждите,— произнес военный и улыбнулся.— Стоит ждать.

Через фронт — с белым флагом! Однако этот американец должен быть человеком незаурядным... И я увидел вдруг сумеречное утро после недавнего дождя, озерца воды с отражением черных дымов, набегающих на землю валами, унылые бугры вдоль траншей, невысокие, в рост человека, столбы, разбежавшиеся по полю, и для надежности связанные колючей проволокой (чтобы удержали строй), унылую гладь поля и человека, идущего через поле с белым флагом.

В эту осень в Москву съехалось много американцев, и мудрено было обнаружить среди них человека, о котором говорил в тот поздний час мой собеседник. В особняке на Софийской набережной жил американский издатель — он отказывался покинуть Россию без того, чтобы не увидеть Ленина. В Москву прибыла делегация старообрядцев, представляющих русскую общину в Сан-Франциско,— по их словам, поездка в Россию утратит многое, если они не встретятся с Лениным. И наконец, корреспонденты... В Наркоминделе, в большой приемной Чичерина, и в полуденный час, и в час полуночный можно было встретить иностранных корреспондентов; при этом амери-

канцы, как было еще в Смольном, задавали тон... Чичерин читал телеграммы корреспондентов; если удавалось улучить минуту, приглашал корреспондентов к себе, нередко журил с той веселой дотошливостью, с какой умел это делать только он. Мне было интересно наблюдать в эту минуту Чичерина. В жилете, с закатанными рукавами сорочки, он стремительно двигался по кабинету. Иногда в пылу полемики Чичерин выходил в приемную, корреспонденты окружали его, и едва видимая пелена дыма, заполнявшая приемную, медленно сгущалась. Впрочем, бывало и так, что купол дыма, укрывавший всех, кто стоял под люстрой, точно раздавался и был слышен голос Чичерина:

«Дмитрий Дмитриевич, вы знакомы с новым корреспондентом «Тан»?»

Так было и в этот раз.

Пепельная мгла под большой люстрой, где Чичерин сражался с корреспондентами, казалось, разверзлась:

— Дмитрий Дмитриевич, я хочу представить вам американского журналиста Мак Брайда и прошу быть его гидом при посещении Кремля.

Чичерин обернулся, щуря глаза,— не просто было рассмотреть человека.

— Мистер Рыбаков, мистер Мак Брайд,— произнес Георгий Васильевич.

Человек поклонился мне, и его улыбка, застенчивая и строгая, точно озарила в этой табачной полумгле лицо. Он был могуч в плечах и, как мне показалось тогда, довольно высок. И мне подумалось, что, когда он шел по этим болотам, белый флаг в его поднятой руке был виден издалека.

— Как вы полагаете,— спросил он меня, и его глаза, только что такие горячие, будто обдало холодным ветром,— могу я спросить господина Ленина о том, в какой мере Советское правительство... намерено привлечь к эксплуатации своих недр иностранный капитал?

— Разумеется, мистер Мак Брайд, можете,— ответил я.

— Exellent! Отлично! — произнес мой собеседник и, достав из жилетного кармашка микроскопический блокнот и такой же величины карандашик, сделал необходимые записи. — И еще один вопрос. Почему в Советской стране меньшинство... правит большинством? — произнес американец. — Так, по крайней мере, формулирует этот вопрос наша пресса. Могу я его задать?

— Разумеется, — сказал я.

И мой собеседник сделал следующую запись.

— И попросить разъяснений о сущности Советской власти... ее природе, ее принципах, ее институтах? — поднял на меня глаза Мак Брайд.

— Думаю, что вы получите ответ и на этот вопрос, — заметил я.

Мой собеседник вдруг улыбнулся.

— У мистера Мак Брайда есть еще вопрос? — спросил я.

— Да, разумеется, есть вопрос, но... деликатный.

— Ну что ж... Можете задать и его, — заметил я.

— Нет, я, пожалуй, этот вопрос не задам! — решительно заявил Мак Брайд и, наклонившись ко мне, произнес доверительным шепотом: — Знаете, наша пресса пишет о разном... подчас даже фантастическом... и есть вопросы, о которых спрашивать неудобно.

— Почему же... спросите, — подтвердил я.

— Вы полагаете? — просиял он. — Нет, пожалуй, не спрошу!

Он так и не признался мне, какой вопрос волновал его. Да это, пожалуй, было и неважно.

Кстати, мне подумалось, что он был очень искренен в своих сомнениях, в тревогах своих. В сочетании с тем немногим, что я уже знал о Мак Брайде, это его качество было мне особенно симпатично.

Что заставило его взять в руки древко с куском белой ткани и пошагать через рубеж, разделяющий враждебные армии? Не просто же страсть к сенсации? Хотел ли он увидеть в вожде новой России Линкольна нашего века или он мечтал об ином? Среди тех американских газет-

чиков, с которыми меня свела судьба в эти годы, было немало таких, кто стал журналистом по зову сердца, по призванию. В этом случае газетчик был искателем правды и на пути к ней, многострадальной и недоступной, готов был идти в огонь. Помните Рида? Его походы по белым мексиканским пескам, когда вместе с воинами Вильи и Сапаты он врывался в горящие города? А какая мечта привела в Россию Мак Брайда? Седоголовый человек с черными бровями сказал мне в тот вечер: «Он шел к Ленину...» К Ленину? Но с какой целью? Конечно, первое впечатление обманчиво, но Мак Брайд, как воспринял его я, был не очень похож на того газетчика, для которого сам факт интервью у премьера, тем более красного премьера, был вожделенной мечтой жизни. Очевидно, Мак Брайд шел к Ленину за иным, что имело отношение к самому американцу, что определяло его тревоги и помыслы.

Как было условлено, я встретил Мак Брайда у Троицких ворот без четверти три.

— Очевидно, минувшая ночь прошла в раздумьях: задавать тот проклятый вопрос или нет? — спросил я американского корреспондента смеясь.

— А откуда вы знаете? — вспыхнул Мак Брайд.

— Вы хотите сказать, что я ошибся?

— Нет, вы правы,— произнес он и пошел быстрее. Мне показалось, что, ускорив шаг, он хотел не столько уйти от разговора, сколько от своих собственных мыслей — сомнения все еще одолевали его.

Мы вошли в приемную, и, обратив глаза на Мак Брайда, я был поражен цветом его лица — нет, оно казалось не смуглым, а белым. Мне было понятно состояние моего собеседника: в конце концов он был на исходе длинного и трудного пути.

Как я понял, в строгий распорядок ленинского дня вторглись внеочередные дела и прием начнется с небольшим опозданием. Я попросил у секретаря последний номер «Таймс» и передал его американцу. Мак Брайд тихо

ахнул («Таймс» от 2 сентября в Москве — не сюрприз ли это?) и углубился в чтение передовой,— о лучшем средстве справиться с волнением нельзя было и мечтать.

Было двенадцать минут четвертого, когда дверь кабинета едва слышно приоткрылась и на пороге появился Ленин.

— Рад вас видеть. Извините, что задержал,— произнес Владимир Ильич.

Мак Брайд пошел навстречу Ленину. Казалось, что при одном взгляде на улыбающегося Ленина все переживания Мак Брайда кончились.

— Наоборот, извинения должен принести я, что побеспокоил вас своим визитом,— развел руками Мак Брайд.— К тому же самая середина дня, для вас это не просто.

— Прошу вас.— Ленин предложил гостю войти в кабинет первым и, поотстав, поднял на меня веселые глаза.— Ах, Дмитрий Дмитриевич, вместо того чтобы занять гостя беседой, вы перепоручили эту обязанность лондонскому «Таймсу»!— Смеющиеся глаза Ленина остановились на газете, которую только что держал Мак Брайд.

— Но ведь это было гостю интересно,— попытался возразить я.

— Вы хотите сказать: интереснее, чем беседа с вами? Однако сегодня вы не щадите себя.— Ускорив шаг, он быстро обогнул стол.— Прошу вас,— указал он американцу на кресло и, дождавшись, пока тот сядет, опустился сам.— Как вам Москва, что видели, как долго намереваетесь остаться у нас?— произнес Владимир Ильич и бросил на американца стремительный взгляд.

Мне подумалось, что эта фраза, такая непринужденно-радушная и, в сущности, обычная, нужна была ему, чтобы внутренне сосредоточиться — беседа обещала быть напряженной.

— Мне была интересна Москва... и Большой театр, и Красная площадь,— ответил американец (и ему нужны были эти минуты, чтобы собраться с мыслями).— Кстати, мне говорили, что в первый же день по переезде в Моск-

ву вы обошли Кремль и осмотрели его памятники? Новая власть бережет русскую старину?..

— Я люблю Кремль,— улыбнулся Ленин.— С его холмов видна история России.

Он точно взглянул на кремлевский холм издали, с высокого и тугого разлета Москворецкого моста, когда Кремль возникает у тебя на глазах непередаваемо молодой, в завидной могучести своих дворцов, храмов и теремных церквей. Вот там устремил чистое золото Иван Великий, развернул круглые плечи Большой дворец, невысоко приподнял над землей свои купола Архангельский собор, не купола, а ядра, и стена, кремлевская стена, точно могучие руки, взяла в оберемок холм со всем его благородным золотом и разноцветьем,— так русская крестьянка сплетает сильными руками сноп сжатого хлеба.

— Согласитесь, что эта любовь новой власти к старине почти парадоксальна? — спросил Мак Брайд.

— Почему же? — возразил Ленин.— Народ почитает свою старину не только в России. В конце концов, это его жизнь.

Мне показалось, что американец насторожился. Не собирается ли он воспользоваться и этой репликой Ленина, чтобы решительно приблизиться к сути беседы и задать первый вопрос?

Мак Брайд вздохнул и сжал губы. Небо над Кремлем заметно потускнело, и в неожиданно наступивших сумерках точно растушевалась смуглая кожа Мак Брайда — сейчас были видны только белки его глаз, напряженно-белые, тревожные.

— Вы сказали: народ,— заговорил Мак Брайд; он, очевидно, искал возможности задать свой первый вопрос.— Но как утверждает западная пресса, народ и правительство в новой России — понятия неравнозначные, больше того: на Западе полагают, что в России диктатура меньшинства...

Ленину явно стоило труда усидеть за столом.

— Пусть те, кто верит в эту глупую сказку, приедут сюда, встретятся с простыми людьми и узнают правду,—

едва слышно произнес Владимир Ильич и, подняв ручку, лежащую на белом листке бумаги (перед нашим приходом он писал), опустил ее на чернильный прибор, опустил бесшумно.— И рабочие, и крестьяне, по крайней мере большинство их, за Советскую власть и готовы защищать ее ценой жизни.— Ленин пододвинул свой стул к креслу Мак Брайда.— Вы говорите, что были на фронте и вам разрешили общаться с солдатами Советской России, и не просто общаться с солдатами, но осуществлять ваши исследования, да, исследования.— На секунду Ильич умолк. Он не хотел это деликатное слово «исследования» заменить никаким иным.— Кстати, у вас была возможность понять дух рядовых. Так или нет? Вы видели тысячи людей, живущих на черном хлебе и воде... Я пойду дальше: может быть, вы видели больше страданий в Советской России, чем могли себе представить. Во всем этом велика роль и вашей страны,— заметил Ленин медленно, будто хотел дать возможность американцу осмыслить эту фразу.— А теперь ответьте мне,— продолжал Владимир Ильич,— если в столь невыносимых условиях народ берет в руки оружие, чтобы защищать Россию — заметьте, новую Россию,— наверно, она и ее порядки в какой-то мере устраивают народ? Тогда о какой диктатуре меньшинства может идти речь?.. Нет, нет, теперь ответьте мне вы.— Ленин махнул рукой и рассмеялся.— Я жду вас: ответьте...

Мак Брайд молчал, нетерпеливо потирая виски, точно кончиками своих чутких пальцев пытался нащупать стерженек мысли, которая так необходима была ему в эту минуту.

— Нельзя жить на одной планете, не питая друг к другу какого-то доверия,— произнес Мак Брайд; его голос хранил еще строгие тона.— Все, что вы говорите о себе, для западного мира это не более как пропаганда... Мы, американцы, люди деловые, мы готовы верить даже словам, однако в той степени...

— ...в какой они соответствуют делу? — быстро подсказал Ленин.

— Если хотите, в какой они соответствуют делу,— заметил Мак Брайд и медленно вобрал в рукава свои белоснежные манжеты.— Короче, намерена Россия иметь дело с американцами, желает ли она в какой-то мере раскрыть перед ними кладовую своих недр... Кстати, есть американцы, которые утверждают, что Россия пойдет с Америкой и на широкую торговлю, и на концессии. Правы они?

— Да, они правы,— воодушевленно поддержал Ленин.— Меня часто спрашивают, правы ли те американцы — противники войны с Россией, прежде всего буржуа, которые ожидают от нас после заключения мира не только возобновления торговых связей, но и возможных концессий. Я повторяю еще раз: они правы. Продолжительный мир явился бы таким облегчением для трудящихся России...— Ленин замолк на миг и взглянул на карту, висящую направо от него, большую карту России; последнее время он все чаще говорил о концессиях, и у него была необходимость постоянно видеть карту.— Россия предоставит на разумных началах Западу концессии и примет техническую помощь от Запада. Мы не можем не считаться с объективным историческим фактом: новая Россия сосуществует бок о бок с миром капитала, и всякая иная политика была бы ошибочной.

Как это было много раз прежде, когда мне доводилось переводить Владимира Ильича, по мере того как продолжался разговор, Ленин укреплял контакт с собеседником и сама беседа становилась все увлеченнее. Нет, здесь действовала не только система доводов Ленина, всегда ощутимо веских, взятых из самой жизни, но и та страстность, то неизменно вдохновенное состояние, которое охватывало его, когда дело касалось святая святых его интеллекта, его душевного мира — убеждений. Не мог Владимир Ильич говорить иначе, когда речь шла о том, во что он верил, что было самой сутью его многотрудной жизни. И еще: всю жизнь эти свои убеждения он сообщал людям, откалывая их от того мира, завоевывая их ум и сердце. Я даже представляю, какое удовольствие испыты-

вал он каждый раз, когда в глухой и темной стене, которую подчас напоминали заблуждения человека, ему вдруг удавалось проломить брешь.

Вот такое же состояние Ленин испытывал и сейчас, увидев, что хмурая неприязнь и предубежденность преодолены и хотя по инерции человек еще мрачно противится, но разум, всесильный разум внемлет голосу правды.

— Господин Ленин, поймите меня правильно,— вдруг произносит Мак Брайд.— Я воспитан в том мире, и наши институты, наши главные институты...

— Парламент? — спросил Ленин.

— Быть может, и парламент,— быстро отозвался американец,— казались мне справедливыми... а вот Советская власть, да, Советская власть как форма правления... полагаете ли вы, что именно она соответствует интересам русского человека... нет, не буржуа, разумеется, а крестьянина, рабочего, и способна защитить его совесть, светлый голос его ума?

По мере того как Мак Брайд развивал свою мысль, я видел, как волнение охватывало Ленина. Мак Брайд еще не кончил, и Ленин не разомкнул губ, но внутренне Владимир Ильич уже спорил с американцем, и голос мысли, неукротимо яростный, стучался и рвался наружу.

Мог ли иначе отозваться Ленин, когда речь шла о Советской власти,— не было для него детища роднее, в ее жилах текла его кровь.

— Что до Советской власти, то она стала хорошо знакомой умам и сердцам рабочих масс всего мира,— произносит спокойно Владимир Ильич, подчеркнуто спокойно — оно, это спокойствие, стоит ему сейчас немало.— Повсюду трудящиеся понимают гнилость буржуазного парламентаризма, необходимость власти Советов, власти рабочих масс, диктатуры пролетариата, понимают, что иначе от ярма капитала они не освободятся.— Беседа достигла кульминации, он хотел сказать все, что хотел сказать, и ему трудно было усидеть, он встал, быстро пошел по комнате.— И Советская власть победит во всем мире, как бы яростно ни бушевала мировая буржуазия!— вос-

кликнул он; революционер в нем был неотделим от премьер-министра (такого сочетания история не знала).— Концессии концессиями, но мировая революция с повестки дня не снята. Буржуазия топит Россию в крови...— Он вновь зашагал по комнате, зашагал крепко, так, что вздрогнул стеклянный колпак настольной лампы, на витой подставке качнулась и зазвенела металлическая ручка.— Буржуазия причиняет рабочему классу России небывалые страдания блокадой и той помощью, которую она оказывает контрреволюционерам.— Он достиг дальнего угла комнаты и остановился. Ленин был возбужден и бледен.— Да, да, помогает контрреволюционерам, но мы уже разбили Колчака и сейчас воюем с Деникиным с твердой уверенностью в близкой победе...

Когда он возвращался к столу, я заметил: его шаг был и не так тревожно-стремителен, как прежде, и не так порывист (ручка на витой подставке утихомирилась и лежала непривычно спокойно) — либо он устал, либо смирил в себе тревогу после того, как было высказано главное.

— Погодите, но вы не задали вопрос, который хотели задать... тот самый, деликатный! — заметил я, когда мы с американцем шли кремлевским двориком.

Мак Брайд обратил ко мне бледное лицо — в своих мыслях он был еще в ленинском кабинете.

— Упаси вас бог! — серьезно произнес американец.— Там я понял, что не смогу спросить его об этом, никогда не смогу спросить его об этом...— добавил американец и облегченно вздохнул; только сейчас он справился со своими сомнениями.

— Простите, но какой все-таки это был вопрос? — спросил я.

Мак Брайд взглянул на ровный ряд просветов Малого дворца, пытаясь разыскать два окна ленинского кабинета.

— Я хотел спросить его,— Мак Брайд указал взглядом на окна,— верно ли, что ваш закон о национализации распространяется и на советских граждан.— Он не без

труда оторвал взгляд от окон, прибавил шагу.— Но когда я увидел этого человека с его заботами о благе...— Он остановился, внимательно взглянул на меня: — А вы знаете... из-за океана он подчас видится иным, совсем иным...

Когда я прощался с Мак Брайдом у Троицких ворот, я немало сожалел, что не увижу его. Да и разговор, который у нас начался с ним до его беседы с Лениным и невидимо продолжился во время этой беседы, как мне думалось, не был окончен. Этот человек казался мне интересным, и очень хотелось продолжить с ним беседу. Однако Мак Брайд, по его словам, мог уехать из Москвы еще сегодня, и я простился с ним, простился без надежды встретиться вновь.

Но произошло по-иному. Около полудня стало известно, что вечером состоится беседа Чичерина с корреспондентом. Речь шла о мирных переговорах молодого Советского государства с прибалтийскими республиками. Эту новость я, разумеется, никак не связывал с отъездом Мак Брайда и был очень обрадован, увидев его вечером у Чичерина: значит, узнав о пресс-конференции, он отложил свой отъезд. Мы обменялись с ним приветственными взглядами, при этом он дал мне понять, что хотел бы видеть меня, как только пресс-конференция закончится. Мы вышли с ним из Наркоминдела уже в одиннадцатом часу и пошли заметно обезлюдевшей в этот поздний час Тверской к гостинице «Люкс», где жил Мак Брайд.

— А это, наверно, не так просто быть премьером и оставаться, постоянно оставаться обыкновенным человеком,— произнес он, когда мы минули Каретный.— Без наигрыша, без рисовки, обыкновенным человеком, связанным живыми нитями с людьми и доступным людям. Согласитесь, не так просто? — Он задумался, и мне показалось, что его сосредоточенность, напряженную работу мысли фиксируют и его размеренный шаг, и сомкнутые губы.— Когда мы вошли в кабинет и я увидел его, я пой-

мал себя на мысли чисто профессиональной: я подумал, как представлю его своим читателям, и уже смотрел на него глазами тех, кто будет о нем читать, только их глазами.— Шаг Мак Брайда стал почти бесшумным, как, впрочем, спокойнее стал его голос.— Слушайте, вот что я скажу своим читателям об этой встрече. Ленину можно дать лет пятьдесят, он среднего роста и, как мне показалось, хорошо сложен — говорят, он всегда увлекался спортом. Он подвижен, скажу больше — деятелен физически, несмотря на то что с того августовского дня, вы понимаете меня, носит в себе две пули. Его голова показалась мне массивной, лоб широким и высоким, рот большим, а глаза широко расставленными, в них то и дело вспыхивал острый огонек, особенно когда он смеялся. В свете полудня, яркого, сентябрьского, его волосы кажутся чуть-чуть пламенеющими, с рыжинкой. Когда он приближался ко мне, я отчетливо различал на его лице морщинки. Некоторые полагают, что это от смеха, но мне думается, не только от смеха, но и от нелегких раздумий и, быть может, страданий, которые принял он, когда был гонимым. Я еще заметил, что во время нашего разговора он все время смотрел мне в глаза. Этот прямой взгляд не мог принадлежать человеку, который хочет быть с тобой настороже. Наоборот, этот взгляд свидетельствовал об искреннем интересе и, казалось мне, говорил: «Я верю, что вы друг. Во всяком случае, у нас будет интересный разговор...» Когда мы располагались у стола, он пододвинул свой стул ближе к моему и повернулся так, что его колени были рядом с моими. Я еще заметил, что он пожал мне руку очень искренне, а когда я вышел из его кабинета, то поймал себя на мысли: кого из государственных деятелей мира я могу поставить с ним рядом? Признаюсь, что я подумал о нашем Линкольне, чей образ возник передо мной в ту минуту. Позднее я объяснил это простотой и скромностью костюма Ленина: на нем были ботинки, как у простого рабочего, поношенные брюки, мягкая рубашка с черным галстуком. Но может быть, дело было и в ином... У Ленина, как и у Линкольна, доброе и сильное лицо.

Ну что ж, для Мак Брайда это было высшей похвалой: Ленин напомнил ему Линкольна.

— Значит, был расчет идти через линию фронта с белым флагом? — спросил я американца.

Он остановился, удивленно и строго взглянул на меня. О белом флаге между нами не было сказано ни слова.

— Был расчет,— ответил Мак Брайд.

ВЫБОР

Те, кто часто видел Джона Рида, может быть, помнят: летом он носил пиджак внакидку и редко надевал кепи; у него были темные, крупно вьющиеся волосы с мыском, который заметно вдавался в пределы большого лба. Иногда у него в руках была газета. Улучив минуту, он отходил в сторону и, присев у окна или полусклонившись над столом, принимался отыскивать на ее порядком потершихся страницах нечто такое, что не успел еще прочесть.

У него и теперь была газета. Он шел, размахивая ею. В заводском садике на Лесной только что закончился митинг. Рид говорил с открытой площадки, которую обступили ярко-зеленые акации,— весна двадцатого года была дождливой. Говорил об Америке, ее литературе, об Уитмене и Джо Хилле, о новых прозаиках и поэтах из рабочих и очень скупо о своей книге, которая вышла недавно. У него был ораторский дар.

Перевод не мог отнять у речи всех красок, Рида слушали.

Мы минули Каляевскую и ступили на Дмитровку.

— Америка в очередной раз поставлена на ноги...— развернул газету Рид, не останавливаясь.

— Не знает, что делать с Биллем Хейвудом? — сказал я наобум.

— Caramba! — воскликнул он, оживившись. Он любил это испанское словечко, нетерпеливое и озорное. В его книге о Мексике оно встречается так же часто, как и в его речи.— Caramba! — повторил он.— Вы уже читали?

— Нет.

— Откуда же вы знаете?

— Так было в девятьсот четырнадцатом, шестнадцатом, восемнадцатом и, очевидно, так и в наши дни.

Он рассмеялся.

— Верно! — Он был рад развернуть газетный лист еще раз.— Америка! Эти «Ай дабль-ю дабль-ю»[1] еще наделают ей хлопот!

— Скажите,— поинтересовался я,— вы были на их процессе в Чикаго?

— Конечно, был.

— И слышали показания Хейвуда?

— Да.

Мне предстояло услышать о Хейвуде нечто такое, чего я не знал. Рассказы американских друзей, с которыми я беседовал о Хейвуде прежде, рисовали мне его человеком необыкновенным. Он вышел из старинной американской семьи. Кажется, его отец был одним из тех пионеров, кто заставил цвести и плодоносить прерии: он пришел в Айову мальчишкой. Именно пришел, босиком, по прериям, пройдя едва ли не через половину континента. У матери Хейвуда была столь же необычная судьба. Она была наполовину ирландкой, наполовину шотландкой и родилась на родине буров, в Южной Африке, где-то у мыса Доброй Надежды. Узнав о неземных щедротах Аляски, ее семья оставила Африканский континент и на парусном судне отправилась в Америку. Судно шло месяцы, потом его пассажиры пересели в поезд, позже — в крытый фургон. Фургон катил по сыпучим пескам, таким же неспокойным и зыбким, как волны океана. Хейвуд родился и вырос на медных рудниках, недалеко от Великого Соленого озера. Мальчишкой он работал на ферме, пас скот, доил коров, потом поступил на рудник и стал рудокопом, добывал и откатывал руду, а потом... Кажется, он встал во главе стачки. Вот, пожалуй, и все, что рассказали мне друзья о Хейвуде и его родных. «Да, да, все,— заметили

[1] «IWW» — «Индустриальные рабочие мира».— Так называли американскую левую профсоюзную организацию.

они при этом.— А теперь прикиньте сами, сколько вложили взрывчатого вещества в свое чадо отец и мать вместе?»—«Это что, вопрос к задаче?»— спросил я. «Ну что ж, пусть будет вопрос к задаче,— ответили они.— Сколько же?» В общем, не мудрствуя лукаво, можно сказать, что вряд ли в начале нашего века в Америке был другой человек, кто бы обладал таким влиянием на рабочий народ, как Биг Билль (Большой Билль — так звали его рабочие). Дело опасно осложнялось тем, что его позиции сближались со взглядами коммунистов. Процесс в Чикаго, на котором был Джон Рид, очевидно, вызван этим.

А между тем предгрозовые сумерки над Москвой сгустились. Потом небо вздрогнуло, звонко треснуло, и хлынул ливень. Мы добежали до ближайшего особняка; над его парадной дверью был навесик. Но под навесом было уже полно, и мы перебрались под крону старой липы. Кто-то крикнул с балкона, повисшего над нами: «Не стойте, ради бога, под деревом, убьет!» Мы засмеялись и перебежали улицу; прямо перед нами входная дверь в дом была полураскрыта. Вбежали — здесь было темно и тихо. Пахло кухонным дымком и кислым тестом. Сплошная завеса ливня застлала улицу, дальние дома едва прочерчивались. Рид стоял у самой двери и, улыбаясь, смотрел на улицу. Вода скатывалась с его волос. Когда молния вспыхивала, ее белое свечение касалось лица Рида — вода бежала по щекам.

Рид отошел от двери. Шум ливня здесь был тише.

— Итак, процесс в Чикаго,— напомнил я. Мне подумалось, что Рид сумеет рассказать мне сейчас о Чикаго, у нас было время, ливень не мог закончиться внезапно.

— Я как-то писал о процессе в Чикаго,— произнес Рид, глядя, как по улице — от тротуара до тротуара — мчится дождевой поток.— А то, что написано однажды, уже не повторить ни устно, ни письменно, да и, откровенно говоря, повторять не хочется. Я лучше расскажу вам о речи Хейвуда, расскажу коротко, хотя Хейвуд и говорил на процессе четыре дня... Вы никогда не видели его портретов? Он необычен даже внешне. Он высок и кре-

пок, как корабельная мачта. Черная шляпа, точно черная туча, затеняет лицо; у Хейвуда нет одного глаза, он потерял его в детстве. Но от этого лицо стало еще более выразительным. Страсть и решимость и, как это ни странно, кротость отражает оно. О чем говорил Хейвуд? Он говорил не о себе, может быть, даже не о своих друзьях, он говорил об Америке, говорил возвышенно и нежно, как только любящий сын может говорить о своей матери. Он говорил, как в этой стране, которую сама природа сделала кладовой богатств, власть и сила возобладали над справедливостью. Он был истинным сыном Америки, и никто лучше его не знал ее жизни. Может, поэтому все, о чем говорил он, возникало зримо, воспринималось глазом: ты был не слушателем, нет, ты был очевидцем. И ты видел такое, что до сих пор видел только он один, что было достоянием лишь его ума, его опыта и сердца. Я и сейчас помню, как Хейвуд говорил о медных рудниках в Бютте. Он говорил, вытянув перед собой руки, и я видел, как стелется над городом ядовитый дым, сизо-черный, тяжелый, плохо повинующийся даже ветру. Дым раздел деревья, выполол начисто траву и цветы, птицы летели от Бютте, собаки обходили поселок, кошка, самая терпеливая и живучая тварь, бежала прочь. Лишь человек не покидал поселка, хирел, терял силы, но не уходил. Рядом было кладбище, такое же новое, как поселок: за те немногие годы, пока существует Бютте, его население было поделено поровну между поселками живых и мертвых. Не только Бютте назвал он, он говорил о Фолк-ривер, говорил о Колорадо. Он так и сказал: «А напротив этого ада». Не скупясь на краски и не злоупотребляя ими, он рассказал, как живет в трех шагах от ада каста господ. Ад и рай? Да, пожалуй, ад и рай. Он хорошо видел разницу в положении богатых и бедных в Америке и говорил об этом прямо, суровым языком правды, как человек, понявший главное, самое главное, что надо знать рабочему. Чего требовал он? Элементарного: он считал, что блага следует распределять справедливо и дать рабочему человеку возможность жить. Кто-то сказал, что уже тогда он

был коммунистом. Ну что ж, если опыт жизни такого человека, как Билль Хейвуд, привел его к коммунистам,— слава коммунистам!

Ливень стих, и мы вышли на улицу. Солнце еще не прорвалось сквозь тучи, но сильный послегрозовой свет уже залил город. Сверкали мокрые тротуары, мягко поблескивала чисто вымытая листва, и могуче, сквозь асфальт и камень, прорывалось дыхание напоенной дождем земли.

— Что думают эти сто человек, считающие себя сподвижниками Хейвуда? Да, их было, кроме Билля, ровно сто. Никто не мог бы так справедливо и полно представить Америку, как они. Все они люди необозримых наших просторов: те, кто рвет скалы, грузит пароходы, рубит лес,— одним словом, все те, кто делает работу сильных. Верно, что у них лица солдат и воинов, но есть и лица ораторов и поэтов. Кто-то сказал: «Да разве это суд? Это собрание!» Верно, такое впечатление, что эти люди собрались сюда, чтобы держать совет, как привести Америку к счастью. И вопросы, которые возникали, подсказаны были этой высокой мыслью: «Думаете ли вы, что человек имеет право эксплуатировать две или три сотни людей и жить?», «Можно ли эксплуатировать человека и жить за его счет?», «Имеет ли человек право на стачку?», «Могут ли интересы собственности возобладать над интересами гуманности?». Нет, более представительного совета, чем этот, я не видел. Он был бы очень хорош, этот совет, если бы пришло время призвать к ответу судью, что судил Хейвуда и его друзей... Ах, какую речь закатил бы тогда Билль Хейвуд!..

Вода схлынула с мостовой, теперь она бежала нешироким ручейком вдоль тротуара. Она несла обломанные грозой ветви деревьев и блики полуденного солнца: тучи схлынули, посветлело небо.

— А вам удалось поговорить с Хейвудом тогда? — спросил я Рида, когда мы дошли до центра.

— Да, незадолго до моего отъезда,— сказал Рид.— Он прочел «Десять дней...» и заметил: «А знаешь, Джек,

я бы назвал книгу иначе. Я назвал бы: «Протоколы русской революции». Это сильнее, и потом: революция! Понимаешь? — спросил он и засмеялся.— Скажи, Джек, неужели там промышленностью управляют рабочие?»— «Именно рабочие»,— ответил я...

— Вот вспомнил,— как-то внезапно произнес Рид, когда мы, расставаясь, подали друг другу руки.— Прошлый раз, вот так же на прощанье, Хейвуд вдруг сказал мне: «Ты художник, Джек. Ты сразу все поймешь. Сейчас я нарисую тебе портрет одного человека, а ты скажи, кто это». И он заговорил. Помню, что Хейвуд говорил о маленьком человеке с изъеденным лишаями черепом, как у ребенка, больного глистами. В этом портрете были одна-две детали очень верные, и они объяснили мне всё. «Гомперс»,— сказал я Хейвуду. «Да, он». И мы простились. Он произнес только имя Гомперса, но я знал, как много это значит. Есть такая благородная ненависть в рабочем человеке, которую не растопить, не выветрить, человек проносит ее через всю жизнь, через все ненастья и невзгоды. Она зреет в нем вместе с его сознанием. Если говорить о борьбе рабочих в Америке в начале нашего века — да только ли в начале нашего века? — наверно, надо говорить о двух силах, двух классических силах. Одна проповедовала классовую борьбу. Эта сила отождествлялась с именем Билля Хейвуда. Другая — классовый мир. Ее представлял Гомперс, председатель Американской Федерации Труда. Но сказать так — значит сказать не все. В начале века смерч пронесся над Америкой. Никогда прежде Америка не была так близка к революции, как в эти годы. И тогда страх родил Гомперса, родил и приказал: ложью смирить этот смерч, ложью, ложью.

Вот и все, что рассказал мне Джон Рид.

Мы расстались, и я подумал: вот этого мне как раз и недоставало, чтобы до конца понять Билля Хейвуда.

Ненависть ко лжи и Гомперсу — это и есть Хейвуд.

Между тем прошло несколько месяцев. Газеты сообщили, что Хейвуд взят под залог на поруки. Потом, как писали газеты, адвокаты возбудили ходатайство перед

новым президентом Гардингом о помиловании. Гардинг сказал, что будут помилованы все, кроме Хейвуда. Перед Хейвудом возникла перспектива пожизненной каторги. Сообщение, которое пришло вслед за этим, не явилось неожиданностью: Хейвуд скрылся; возможно, он бежал за пределы страны.

Признаться, эта новость глубоко взволновала меня; вновь с необыкновенной ясностью встал передо мной разговор с Ридом о Биг Билле. Я думал о человеке, который в своей борьбе и своей вере был прав, тысячу раз прав и все-таки был объявлен преступником. Человек, за которым на бой и смерть пойдут тысячи и тысячи, должен скрыться с людских глаз, может быть, сменить имя, стушеваться так, чтобы ничто не напоминало о том, что он жив. А может быть, и в самом деле он ушел из Америки, ушел, чтобы дождаться своего часа и вернуться? Тогда он в дороге, дороге трудной. Солнце движется извечной своей тропой по небу, а он шагает. Взбирается к зениту и падает за океан луна, а он идет. Вздувается море, и волны бегут к берегу и убегают от него: прилив, отлив, прилив,— он идет, идет. Как можно дальше уйти от Америки, дальше, дальше. Может быть, он взобрался на скалистый канадский берег и, оглянувшись назад, на реки и долы, вздохнул: «О-о-ох... И у дороги есть конец!» Или бросился на палубу, нагретую полуденным солнцем: «А до того берега, что до солнца,— вечность!» Или лег в теплую воду, отстоявшуюся на донышке лодки: «С попутным ветром до Мексики одна ночь!..» Много путей у человека, и над каждым стоит солнце — выбирай. Над каждым ли?

А весной двадцать первого года, необычайно знойной, стало известно: Билль Хейвуд прибыл в Москву. Так вот над какой дорогой стоит солнце!..

Очень хотелось повидать этого человека, заглянуть ему в лицо, может быть, немножко проверить себя: таким ты себе его представлял?

Пригласительный билет на беленом картоне: «Билль Хейвуд, прибывший на днях в Москву, расскажет...» Не-

большая комната на тридцать — сорок стульев будто бы заранее ограничила состав присутствующих: здесь представлена рабочая пресса мира.

Три больших окна выходят на Москву-реку. Солнце садится где-то позади нас, но окна по ту сторону реки в огне закатного солнца. Комната полна света, устойчивого, нерезкого, почти без теней.

Я слышу шаги Билля Хейвуда, когда он идет по коридору: твердые, неудержимо нарастающие. Но он входит в комнату, и кажется, что по коридору прошел кто-то другой, кто был и могучее его, и грознее, и полон более устрашающей мощи, хотя Хейвуд и диковинно велик. В его лице сила своеобразно сочетается с мягкостью. Быть может, это выражение от улыбки.

— Дорогие друзья...— произносит он первые слова. Он видит перед собой рабочую прессу мира, всех тех, кто является его товарищами в борьбе.— Дорогие друзья, две недели тому назад я прибыл из Америки...

Вот и начал он свой рассказ. Говорит он негромко, быть может, много тише, чем говорит обычно, будто желая смирить свой голос, приноровить его к небольшим размерам комнаты.

— Мне кажется, что однажды я уже был здесь. Россия — это Ленин, а с Лениным я впервые встретился одиннадцать лет назад.

Да, он видел Ленина в девятьсот десятом, в Копенгагене. Тогда там собрались социалисты со всего мира. Нельзя сказать, чтобы это был съезд единомышленников, но там были Клара Цеткин и Роза Люксембург. Уже пущены в ход часы войны, и слишком явственно стучал их маятник. Было душно, как перед грозой.

Как отвратить войну?

Хейвуд выступал перед рабочими Копенгагена.

Иногда он выезжал на митинг вместе со своими друзьями. Его переводила Клара Цеткин и Александра Коллонтай.

Его слушал Ленин, слушал и запомнил, хорошо запомнил.

— А помните, товарищ Хейвуд? — сказал он ему уже теперь в Кремле.— Помните?

Хейвуд говорит все в том же доверительном тоне; так можно говорить за домашним столом, в кругу близких, под мягким светом старомодной лампы.

— Товарищ Ленин...

Хейвуд думал о встрече с Лениным в ту последнюю ночь на американской земле, когда пришел к друзьям-латышам, живущим вблизи порта, и попросил их приютить его до утра. И в тот пасмурный рассветный час, когда ступил на борт судна, переправившего его через океан, и в тот миг, когда смотрел на статую Свободы («О Фурия, хватит мне глядеть на твою спину — я еду в страну истинной свободы!»), и, наконец, в тот яркий полдень, когда пересек советскую границу и все, кто был рядом, запели «Интернационал». Да что рядом? Пели земля, небо, облака в зените, река в низине, сосны на горах, сами горы...

Все пело, а человек говорил себе:

— Ленин, Ленин...

И вот облачное небо над Москвой, высокие кремлевские купола, чистое солнце на камне и торце, холодная свежесть, ветер.

Ленин накидывает пальто на плечи, надевает кепку.

Ленин идет с Хейвудом от Малого дворца до Боровицких ворот.

— В Советской России рабочие управляют промышленностью, товарищ Ленин?

— Да, товарищ Хейвуд. В этом — коммунизм...

Мы слушаем Хейвуда, а солнце уже село и погасли блики, вначале на реке, а потом и в окнах, по ту сторону реки.

Вопрос корреспондентов к Хейвуду:

— В каком случае вы могли бы продолжать свою деятельность в профсоюзах Америки?

Хейвуд встает, молча смотрит на реку.

— В каком? Мне надо было бы обратиться в Гомперса.

Рид был прав: ненависть к этому человеку была у Хейвуда в крови.

Пресс-конференция закончилась.

Я шел вдоль реки, думал.

Вот родился в Америке человек, который мог бы назвать себя сыном ее степей и рек, сыном ее гор, взрытых ветрами и вознесшихся в поднебесье, сыном ее озер, снегов и облаков.

Он не искал легкой дороги в жизни и посвятил себя труду, который дает Америке силу. Шерсть, медь, масло, олово и цинк, золотоносную руду Америка принимала из его рук или из рук таких, как он.

Из всех богов, которые обитали на земле и на небе, он избрал одного: верность. Верность матери, отечеству, своему классу. Это был честный бог — верность.

Повинуясь ему, он оскорбился там, где должен был оскорбиться. Человек возмегодовал, где должен был возмегодовать рабочий человек, возвысил голос... «Нельзя, чтобы люди обворовывали друг друга, отнимая у слабых кров, хлеб, воду, самый воздух, который дает человеку жизнь!»

Это сказал он. Его совесть, совесть таких, как он,— их в Америке миллионы,— это сам народ Америки, сама Америка.

Тогда почему под большим небом Америки Хейвуду не оказалось места?

Нет, Хейвуд не мечтал о несбыточном. Он просто хотел справедливого распределения благ, он хотел, чтобы рабочий, творец и созидатель, был господином своей страны, а не рабом.

— В Советской России рабочие управляют промышленностью? — спросил Хейвуд Ленина.

— Да, товарищ Хейвуд. В этом — коммунизм,— ответил Ленин.

...Кажется, еще в начале осени того же двадцать первого по Москве разнеслась весть, что Хейвуд обратился к Ленину с необычным проектом: создать где-то в Сибири силами друзей Советской России, представляющих

разные народы и страны, большой промышленный комбинат, своеобразную индустриальную республику.

Хейвуд хотел (и в этом сказывалась его шахтерская душа), чтобы республика легла на землях Кузбасса. Говорили, что Ленину этот проект понравился. Хейвуд полагал, что комбинат, или, как он его назвал, Автономная индустриальная колония, может явиться школой технического опыта и для наших кадров, но он опасался, что наши друзья, увлеченные этой идеей, недооценивают трудности, которые могут возникнуть.

Признаться, я подумал, что этот проект был очень похож на нашего американского друга. Хейвуд, подобно многим профессиональным революционерам, вышедшим из среды рабочих, жаждал созидательной деятельности, тем более что она служила процветанию Страны Советов.

Тогда я еще не знал, что самая суть этого проекта мне откроется в беседе между Лениным и Хейвудом.

До начала заседания Совнаркома оставалось минут восемь. Вошел Владимир Ильич, как всегда со стопкой новых книг. У него был дар «рассеянного внимания»: неотрывно следя за ходом заседания, он мог делать еще одно дело, например просматривать новые книги. Ленин сел за стол и, тщательно разрезав первые листы книги (разрезной нож он принес с собой), углубился в чтение.

Потом он вдруг отстраняет книгу, становится веселым — глаза сощурились, будто он застеснялся своей веселости.

— Знаете, Дмитрий Дмитриевич,— произносит он, улыбаясь, и движением глаз, все еще смеющихся, дает понять мне, чтобы я подошел к столу поближе.— Мне нравится эта ваша покладистость и, может быть, мягкость. По-моему, это не наживное, а от природы, так сказать... Ах, терпение и такт могут сделать многое! Вы думаете, я не видел, как вы разговаривали тот раз с Робинсом? Я вижу, я все вижу. Или как вы обошлись с этим петухом... Вандерлипом. Нет, что ни говорите, а будут у нас дипломаты...

Именно в этот момент на фоне белой входной двери

возникла могучая фигура Билля Хейвуда и рядом широкая, не менее мощная — Куйбышева. Ленин увидел их еще в дверях и, вложив разрезной нож в книгу, которую читал, вышел из-за стола. Хейвуд шагнул ему навстречу.

— I remember! I remember well...[1] — услышал я голос Хейвуда.

Потом Ленин обернулся ко мне и, протянув руку, будто готовясь сгрести меня, произнес:

— Дмитрий Дмитриевич, очень важно, чтобы эти несколько фраз были переведены точно.— Он взглянул на Хейвуда.— Очень важно, чтобы точно,— повторил он.

Я поклонился собеседникам Ленина.

— Мы приветствуем почин наших друзей, желающих помочь нам восстановить промышленность,— начал Ленин.— Приветствуем и благодарим! — взглянул он в лицо Хейвуду.— Но мы хотим, чтобы все, кто едет к нам, были предупреждены, как им будет трудно. Предупреждены! — В голосе Ленина появились нотки, так знакомые всем, кто слушал его, когда он говорил перед большой аудиторией.— Надо, чтобы к нам ехали те, кто готов на лишения, самые тяжелые, неизбежно связанные с восстановлением промышленности в стране отсталой и неслыханно разоренной. Вы понимаете меня? — вновь взглянул Ленин на Хейвуда.

— Понимаю, товарищ Ленин,— произнес Хейвуд.

— Надо, чтобы наши друзья,— продолжал Ленин с тем же воодушевлением и страстью,— были готовы работать с максимальным напряжением сил и наибольшей производительностью. Вы понимаете меня, товарищ Хейвуд?

— Да, конечно,— произнес Хейвуд.

— Надо, чтобы наши друзья не забывали о крайней усталости голодных и измученных русских рабочих и крестьян... крайней усталости...— Голос Ленина затих.— Не забывать и всячески помогать русским братьям, чтобы

---

[1] Я помню! Я хорошо помню...

создать дружные отношения, чтобы победить недоверие и зависть. Ясно ли это нашим друзьям?

— Ясно, товарищ Ленин.

Это был необыкновенный разговор: революционная Россия говорила с рабочей Америкой.

Наверно, никогда прежде русский и американец не понимали так друг друга, как в тот раз Ленин и Хейвуд.

Это было в двадцать первом, но, в сущности, это был разговор грядущей Америки и России.

Я бы мог на этом закончить рассказ, если бы не одна встреча, происшедшая недавно. В клубе автозавода принимали иностранных гостей. Был май, необычно теплый. Молодая листва, словно зеленый дымок, охватила деревья. По вечерам было еще свежо, но москвичи спешили переодеться во все летнее. Вот и на этом вечере женщины были в летних платьях, и это придавало ему свою прелесть. В этот вечер хорошо пели наши гости, а ничто так не объединяет людей, как песня. Иногда кто-нибудь из гостей поднимался, и тогда песня стихала. Помню, говорили батрак из Южно-Африканского Союза, проникший в Москву путями, известными только ему, грузчик из Австралии, юнец с густым румянцем, который точно прокалил его смуглые щеки, и старый мастер из американского штата Юта. Это были речи-реплики, речи-тосты. В них было и озорное словцо, и крепкая шутка, то есть все то, что красит речь рабочего человека, когда у него хорошо на душе. Случилось так, что за столом оказалось несколько человек, знающих английский. Они по очереди переводили речи гостей. На мою долю пришелся мастер из Юты. Он был высок и диковинно сутул — очевидно, человек этот был рожден, чтобы ходить под высоким небом, а не сидеть в темном забое у Соленого озера, упершись головой в низкий свод. Я слушал старого мастера и думал: откуда могли происходить его предки — из Абердина или Грино? Его быстрая, чуть-чуть глуховатая речь явно выдавала в нем шотландца. Пока я гадал, перебирая знакомые мне шотландские города, старый мастер

прервал свою речь многозначительной паузой и заговорил... по-русски.

Несколько слов, которые он произнес при этом, меня взволновали. Смысл этих слов был несложен: конечно, интересно увидеть Россию в первый раз, но еще интереснее приехать сюда вторично и сравнить с тем, что ты видел прежде, много лет назад.

— Вы жили в России? — спросил я.

— Жил? — Он улыбнулся. — Работал! В Кузбассе работал!

— Автономная индустриальная колония? Билль Хейвуд?

Мне показалось, что из множества русских слов, которые знал старый мастер, я выбрал наиболее приятные для него.

— Биг Билль! Биг Билль! — заговорил он горячо.

Очевидно, мы нашли с ним тему для разговора, которого не могла прервать даже поздняя ночь.

Прием закончился, а мы не могли расстаться. Мы покинули заводской клуб и пошли ночной Москвой. Где-то у реки мы остановились и долго слушали, как вода ударяет о берег.

— Вы, вероятно, знаете... — произнес он по-английски; то, что он хотел мне сказать, ему легче было сказать по-английски. — Биг Билль — самородок золота, истинный самородок. Говорят, что, взявшись за создание колонии, он что-то недоучел. Я вам скажу больше: среди наших друзей были такие, кто склонен был считать, что это дело вообще не надо было начинать, если колония прожила шесть лет, всего шесть лет. А я думаю: надо было начинать, надо!

На минуту он задумался, глядя, как мягко поблескивает поодаль вода. Потом заговорил тише:

— Знаете, есть такой ночной час, предрассветный, когда темнота сгущается, хоть глаз выколи. И вдруг на небе — звезда, такая яркая, какой не было в течение ночи. Эта звезда — вестница солнца. Вот такой была для нас новая Россия. Она народилась, когда ночь была очень

темна, ни луча надежды. Мы бедные люди, у нас не было ни золота, ни больших денег, но у нас были сильные руки, опыт жизни, умение. Эти богатства мы привезли тогда в Россию. Я так думаю, что это принесло России свою пользу. У Хейвуда были вера и ненависть... А Гомперса он действительно ненавидел, ненавидел на всю жизнь, потому что любил Америку.

Мы медленно пошли дальше. Было тихо. Пахло непросохшей землей.

— У меня на родине говорят,— задумчиво произнес мой собеседник.—«К тому, что скажет смерть, не всегда можно что-нибудь добавить». Гомперс похоронен рядом с Рокфеллером, Хейвуд — у кремлевской стены, рядом с Лениным. Что можно к этому добавить?

Мы расстались. Мне казалось, что старый американский рабочий выразил самую суть того, что определило жизнь Билля Хейвуда.

НОЧЬ

Вечер приходит в кремлевский городок своей стежкой. Зашумели деревья в Тайницком садике сухой листвой и смолкли. Вспыхнул закатный блик на карнизе Малого дворца и нехотя перекочевал на крышу. Меловые стены церквей вдруг стали синими, а потом лиловыми. И свет в городке стал лиловым. А закатный блик уже зашагал по куполам и вспыхнул на Иване Великом. Вспыхнул и погас, точно передал непрочный свой свет далекой звезде, что уже зажглась на вечернем небе. Пока блик перебирался с карниза на крышу, с крыши — на золоченые купола кремлевских церквей, солнце село...

Восемнадцатый год. Конец октября.

Вечер.

Стол придвинут к окну.

Видны крыша арсенала и окна верхнего этажа без единого огонька.

Перевод должен быть закончен еще до полуночи:

статья из «Таймса» о планах французов в бассейне Черного моря.

На столе секретаря рядом лежит русская газета. Во всю страницу аншлаг: «Наши войска преследуют врага за Волгой. Позади Самара, Сызрань, Симбирск, Казань...» Мне стоит труда, чтобы не взглянуть на газету еще и еще. От одних этих слов захватывает дух.

Представляю, с каким волнением и радостью взял в руки эту газету Ленин: «Позади Симбирск...» Телеграмма от бойцов Первой армии была недавно, помните, та, о взятии Симбирска. И ответ Ильича: «Взятие Симбирска — моего родного города — есть самая целебная, самая лучшая повязка на мои раны». После Симбирска были Сызрань и Казань. Красный флажок на своей большой военной карте Ленин передвигал сам. И все-таки эти новости выглядели с газетного листа необычно: «Наши войска преследуют врага за Волгой... Позади Самара, Сызрань, Симбирск, Казань...» Я вижу, как он развернул газетный лист, наклонился и отпрянул, отпрянул резко — волнение ворвалось в грудь. Захотелось крикнуть: «Послушайте, послушайте, кто там есть...» Но он сдержал себя. Медленно встал, опираясь на правую руку (левая все еще болит — в плече пуля). Встал и придвинул стул, медленно зашагал по кабинету: от пальмы — к кафельной стене, а потом опять к пальме. Подошел к окну и свободным, не знающим предела взглядом окинул небо, сизочерное, будто в грозовых бурунах,— ах, выйти бы сейчас на берег моря, на простор, на ветер!

Дверь в кабинет открыта. Видна спинка кресла, книги в шкафу позади кресла, полураспахнутая дверца шкафа. Час назад Ленин ушел из кабинета. Тихо, и только телефонные звонки и голос секретаря:

— Кто приехал?.. Товарищ из Америки?.. Ах, тот, что с пакетом?.. Ждем, разумеется, ждем... Да, от Тома Мунни...

Я не ослышался: так и было сказано — от Тома Мунни. И точно кто-то положил на грудь теплую ладонь: Мунни. Я смотрел в окно. Где-то над Москвой собирались

тучи. Они теперь были ливневые. Неосторожно тронь их — и потоки ливня зальют город. Я смотрел в окно и видел лицо человека. Глаза большие, печально устремленные. Бледный лоб, очень высокий: человек уже начал лысеть. Лицо немолодого рабочего, может быть отца семейства. Жизнь не баловала его: вон какие морщины разгулялись по щекам, хотя человек и не стар совсем. Он, кажется, литейщик. Наверно, лет двадцать простоял у печи. Я знаю: нет ничего более жестокого, чем белое пламя литейной. Огонь иссушил кожу лица, устояли только глаза. Устояли и глядят на мир бесстрашно, с надеждой. Нет, он не трибун, с виду конечно, и не вожак рабочей рати. Он просто рабочий, знающий, почем фунт лиха. А это не так мало. Его самоотверженность отсюда. И наверно, трезвость и упорство в борьбе. Упорство рабочего человека, знающего, кто ему друг и кто враг, хорошо знающего, кто ему враг. Он умел разговаривать с отцами города и в открытом бою неизменно брал верх. Но то, что не удалось сделать в открытом бою, отцы города (да только ли они?) сделали тайно.

Первые газетные сообщения. Очень сжатые: «На военном параде в Сан-Франциско взорвалась бомба». И следующее: «Полиция сбилась с ног. Арестован вожак местных синдикатов Том Мунни». И естественно, портрет Мунни, тот самый: впалые щеки, глаза, заполненные тенями. Америка смотрела на портрет. Миллионы людей напряженно всматривались в лицо человека. Еще Мунни не сказал ни единого слова в свое оправдание. Ни единого. Был только портрет. Конечно же, портрет на газетном листе не может сказать всего. Но было немало людей в Америке, которым он кое-что сказал. Он слишком зрел и умудрен опытом бытия. Эта строгость и эта мудрость в глазах, мудрость ума, а может быть, и жизни. Его бросили в тюрьму летом шестнадцатого года. Сейчас осень восемнадцатого. Больше двух лет. Суд уже состоялся: смертная казнь. Приговор обжалован. Ответа нет. Он ждет казни. В больших американских тюрьмах казнят по четвергам. Человек ждет от четверга к четвергу. Прошел

четверг, и впереди точно сто лет жизни. Точно сто лет, а жизни всего шесть дней. Только шесть. Человек шагает по камере. По диагонали — три шага, по прямой — два. Шум шагов да блеск крыши напротив. Солнце приходит только туда, а в окне камеры отраженный свет, да и то июньским утром с семи до половины десятого. А сейчас осень — солнце ушло на год. От июня до июня что от четверга до четверга... А где следующий июнь? В том веке?.. Нет, до него не достать... По диагонали — три шага, по прямой — два. Нет солнца. Сумерки. Они тяжелее темноты. Если в Москве одиннадцать, какой час в Сан-Франциско? А в Москве сколько сейчас? Где-то в коридоре бьют часы, и их удары неторопливо идут по комнате: восемь... десять... одиннадцать...

Открылась дверь — на пороге человек. В руках действительно пакет. Нет, не белый в толстом конверте. Пакет тщательно зашит в материю: может, сатин, а может, атлас. Такой идет на подкладку. Человек стоит ко мне спиной. Я вижу его большие красные руки, на дворе холодно. Он кладет пакет на стол секретаря и едва удерживается, чтобы не потереть руки,— на дворе действительно холодно.

— Да как вам сказать,— говорит человек; голос, что руки, тоже плохо слушается — надо отогреть.— Все было: и легко и лихо.

Да, он так и сказал: лихо. Сказал с тем особым выговором, с каким произносят это слово украинцы. Осторожно закрылась дверь. Человек ушел. Едва слышно зашумели шаги; в них была задумчивость, а может быть, и усталость. Наверно, она была и прежде в человеке, эта усталость, но только теперь, когда дело сделано, она взяла человека в плен всего.

Я приподнялся, взглянул в окно, но человека мудрено было увидеть. Ночь теперь была черной, как кусок атласа, что лежал на столе. И только слышались шаги человека, все такие же размеренные. Шаги по камню. Но смолкли и они. Да и пакета уже нет на столе. Его отнесли Ленину, сейчас он дома.

И снова телефон гудит в ночи.

«Враг потеснен за Волгу... Наступление развивается...»

«В Москву пришел эшелон с хлебом».

И телеграммы из Нью-Йорка, одна, вторая:

«Спасти Тома Мунни...»

Опять Мунни!

Ленин, наверно, уже вспорол черную материю и извлек письмо.

— Надя, Надя!.. Ты взгляни, ты только взгляни, какое это письмо! Помнишь Копенгаген и друга Лунина?

— Лунина?..

— Как же... эм, дабл о, эн, уай...

— Ах да...

И он пододвинул письмо в поле света настольной лампы, и свет точно разрезал письмо надвое. Видна только подпись: «Том Мунни».

Он вспомнил Копенгаген, конгресс социалистов, ну да, тот самый, на котором разыгралась эта знаменитая дискуссия о кооперативах. Ленин выехал туда из местечка Порник на берегу Бискайского залива. Домик таможенного сторожа, в котором приютили Ленина с семьей, стоял у самого моря. Если смотреть с берега (он здесь очень высокий), то чайки над лиловой водой казались седыми и даже мелово-белыми. Корабли шли далеко от берега. Были видны лишь их мачты и редко-редко корпус. Корабли опасались приближаться к берегу: у моряков Бискайя пользовалась дурной славой («Бискайская яма», «Кратер Бискайи» или просто «Злая вода»). Казалось, что блестящий круг моря — это всего лишь маковка горы, поднятая почти к самым облакам. Наверно, так должна выглядеть плоская вершина Столбовой горы, ее срез. Склон начинается у горизонта, очевидно очень крутой. Будто корабли силятся взобраться на вершину (на горизонте неясно мелькнул срез мачты, потом корпус) и не могут: то ли сил недостает, то ли терпения. На самом деле корабли опасались приближаться к острогрудым камням Бискайи и, едва приметив их, уходили прочь. Но у берега Бискайя была мирной, по крайней мере в лето десятого года.

Ленин любил сидеть на камнях и смотреть в море. Иногда он беседовал с хозяевами. Они рассказывали ему о здешних людях, тружениках моря, рыбаках, грузчиках, чернорабочих Бискайи, обо всех тех, кто связал жизнь со своей грозной кормилицей. Хозяевам пришлись по душе их русские постояльцы умной простотой характера, точным и скромным образом жизни. А от уважения до привязанности и, может быть, настоящего доверия — один шаг. И под вздохи моря, то стесненные, как при сердцебиении, то мерные, как при легком шаге, жена сторожа поведала русским одну из своих тайн. Хозяйка — католичка, у нее есть свой духовник. Он хорошо знает семью хозяйки: мужа, сына, пожалуй, сына даже лучше, чем мужа. Он знает, как ведет себя малыш в семье и на улице, как учится. Пастор установил, что в семье таможенного сторожа растет способный малыш, очень способный. «Самые способные из христиан должны посвятить себя распространению веры Христовой,— однажды сказал духовник женщине.— А чем при монастыре не школа? Она даст вашему сыну не худшее образование, чем школа светская. Нет, не только богословие, но и математика, родное слово...» Конечно же, жена сторожа не вольна была возразить своему духовнику, но подумать она была вольна. «Математика — хорошо...— подумала жена сторожа.— А как... свобода?» На свете нет ничего, что бы человек мог променять на свободу. Нет!.. Она не отдала сына.

Ленин вспоминал этот разговор вновь и вновь. Он вспоминал его не раз и на Бискайе и в Копенгагене, куда вскоре направился с Надеждой Константиновной на конгресс социалистов, и еще позже, в Стокгольме, куда приехал для встречи с матерью, встречи и прощания, последнего прощания.

В Копенгагене русские делегаты часто ездили на море. У конспирации свои законы — море не выдаст. Иногда рядом с русскими были американцы: могучий, с черной перевязью, закрывающей глаз, Билль Хейвуд и худой, с бледным лицом Том Мунни. В здешних местах нет ничего приятнее сентябрьского моря: спокойного (штормы

приходят в ноябре) и еще теплого. Русские и американцы шли берегом. В море садилось солнце. Чем ниже оно опускалось, тем становилось больше, багровее. Казалось, солнце коснется поверхности воды, и вода заклокочет и задымит. Вот таким зловеще огненным и огромным виден из телескопа Юпитер. Но море приняло дневное светило молча. Только вода всхолмилась и побелела — так, по крайней мере, виделось это людям. Мунни шел рядом с Лениным. «Кстати, как пишется ваша фамилия? — спросил Ленин.— Эм, дабл о, эн, уай?.. М-у-у-н?..— Ленин указал взглядом на пугливый лик луны, выдвинувшейся из-за облаков: прежде чем обнаружить себя, луна явно хотела удостовериться, что солнце уже зашло.— М-у-у-н! Луна!.. Вы — Лунин!.. Ну что ж, и у русских есть такая фамилия — Лунин!..» А солнце провалилось в море, и вода теперь была не белой, а желтой, как в Бискайе после заката. И Ленин вспомнил Порник, домик таможенного сторожа и разговор с женой сторожа. Она так и сказала: «Что бы человек мог променять на свободу?» Они долго шли берегом, и Мунни сказал: «Свобода! Нет ничего прекраснее...» И Ленин откликнулся: «Да, друг Лунин, нет ничего прекраснее...» А потом был Стокгольм, тоже море. Корабль, русский корабль уходил в Россию, и Ленин провожал на пристани мать.

Нелегко ей было приехать сюда. Семьдесят пять лет — это очень немало. Но встреча с сыном была слишком дорога Марии Александровне, и она решилась. По утрам по своей давней привычке Ленин работал в библиотеке, но зато после обеда он был неотлучно с матерью. В девятьсот четвертом во Франции, когда они встретились последний раз, Мария Александровна хотела многое видеть, и они бывали с сыном повсюду. А здесь даже знание немецкого не увлекало ее. Дни их свидания были сочтены — месяц примчался и умчался на крыльях,— и свою более чем скромную комнатку в отеле они предпочитали прелестям шведской столицы. Они точно предчувствовали, что это их последняя встреча. Она сидела у окна и, по своему обыкновению, что-то шила, а он смотрел на нее из

глубины комнаты. За окном пламенело предвечернее небо. Его блики текли по цинковым крышам, по монашеским клобукам куполов, по блестящей хвое сосен — парк был рядом. Ленин смотрел на мать: это было похоже на чудо. Она явилась сюда из далекого далека, что отстояло от этих мест на многие десятилетия, она явилась сюда из детства. И все принесла с собой, ничего не забыв, все самое дорогое: дом с садом позади, отцовский кабинет с уютным креслом и стопкой «Русских ведомостей», и радостную солнечность большой комнаты, и, конечно, Волгу со Свияжью, просторы поля и неба. Она могла, как сейчас, даже надолго умолкнуть в своей светлой думе, покорно сложив перед собой маленькие, в морщинках руки, но все оставалось с нею. И глиняный кувшин с холодным молоком из погреба. И ломоть серого, обсыпанного мукой пшеничного хлеба, которым они завтракали в детстве. И деревянная шкатулка, в которой мать берегла школьные сочинения Оли и Володи. И рояль, на котором она играла по вечерам,— дети засыпали под мерные его вздохи. И ее сопрано, очень душевное, и эта строфа из «Аскольдовой могилы»— так хорошо она получалась у мамы...

А может, от нее неотделимо не только детство, но и годы юности, годы суровой зрелости, годы борьбы — бессонные ночи, тревожные ночи, когда уводили из дому ее детей у нее на глазах, одного за другим... И угрюмая полутьма тюремных сторожек, и желтый свет фонаря на мокрых стенках, и холодный мрамор судебных палат и присутствий, и более чем напряженный диалог с сановными жандармами: «Можете гордиться своими детками: одного повесили, а о другом также плачет веревка!» И ее голос, полный неуступчивой силы: «Да, я горжусь своими детьми!» А сейчас она сидела тихая, исполненная мудрой печали, и вечернее солнце, коснувшись цинковой крыши напротив, высеребрило ее платье. Счастье ее сейчас уместилось в сумеречных стенах этой комнаты — только бы сын был рядом, ощущать его дыхание, слышать голос его.

Лишь однажды она нарушила устоявшийся порядок здешней жизни: пошла в город, пошла с сыном — он вы-

ступал перед рабочими. Никогда прежде она не видела его говорящим с трибуны. Нелегко ей было не выдать своего волнения — она совладала. Только раз, когда сын гневно возвысил голос, говоря о палачах России, Мария Александровна побелела. Быть может, в ее памяти встала весна 1887 года, Петербург и речь старшего сына — речь Саши на процессе народовольцев.

А месяц действительно примчался и умчался на крыльях — стокгольмская пристань, расставание... Ленин бережно подвел мать к мостику, прощаться надо было здесь; вот здесь, у трапа, ему предстояло последний раз видеть мать, говорить с нею. Уже палуба корабля была запретной — там он был бы государственным преступником. Сырая мгла Шлиссельбурга, камни Алексеевского равелина, снег и рытвины Владимирки, Сибирь, смерть начиналась за полированным, коричневого дерева барьером палубы. И в какой уж раз на ум пришли слова, сказанные женщиной из Порника и с таким чувством повторенные Мунни! Помнится, американец произнес эту фразу с глухой тоской, будто бы догадывался, что враги его уже гнут и калят железо, в которое навечно закуют его.

«Лунин... Друг Лунин, как ты?..»

Ленин берет письмо и идет в кабинет. Коридор затемнен и заполнен тишиной. Он идет неторопливо. О чем он думает сейчас? Вот весть об Октябрьской революции разлетелась по миру и окрылила людей надеждой. Разлетелась по всему миру и прибавила простым людям и силы и веры. Всем людям, даже тем, для которых уже погасло солнце. И надо все сделать, чтобы укрепить в человеке волю к борьбе, ободрить, прибавить силы.

Ленин ушел к себе, но дверь к нему открыта.

На какой-то миг смолкли звонки, и тишина, теперь уже полуночная, вошла в Кремль — в городе он засыпает последним.

Слышен лишь голос Ленина:

— На провод Симбирск... на провод.

Он произносит «Симбирск», как, наверно, произносил это слово в детстве: энергично, с характерным Ильиче-

вым «р». Сказал «Симбирск» и, наверно, вспомнил июньское солнце на волжском песке, запах ромашкового луга у Волги, цветение вишен за домом в садике, который выходила мать, светлое платье матери, склонившейся над молодой яблонькой, бесконечно родной голос: «Дети, помогите мне окопать это деревце...»

— Волгу на провод...— говорит он и замолкает, точно ждет, когда за окном стихнет ветер.— Все города: и Казань, и Самару, и Сызрань...

Он говорит, а я думаю: «Вот как своеобразно он встретился сегодня ночью со своим детством».

— Каждый город — база наступления... Наступления... Наступления...

И эти слова невидимо перекликаются у него с письмом, которое он получил из американской тюрьмы. Невидимо перекликаются.

А он вновь переждал, пока стихнет ветер, и вновь заговорил, теперь уже громче прежнего, с очевидным намерением, чтобы его услышал и я.

— Рыбаков здесь? Я, кажется, видел здесь Рыбакова...— И еще громче: — Дмитрий Дмитриевич, вы здесь? Зайдите, пожалуйста.

Он стоит посреди кабинета. На столе — кусок атласа, того самого, в который был зашит пакет, пришедший из Америки. В руках — бумага, извлеченная из пакета, тонкая, просвечивающаяся. Волнение, вызванное письмом, не покидает Ленина. Дыхание затруднено (это я слышу), да и прежней свободы движений нет: несколько дней назад он снял левую руку с перевязи.

— Вот, получил письмо из Америки! — произносит он, едва приподняв над столом руку — он оберегает ее от резкого жеста.— Переведите. Надо, чтобы его прочли все... все прочли...

Я беру в руки письмо.

— Но это будет через час, Владимир Ильич, а может, и полтора...

— Ничего, я сегодня уйду не скоро...

Он показывает взглядом на стол, застланный военной

картой, и невысоко поднимает руку, но опустить ее уже не может. Некоторое время он держит ее вот так, на весу, и смотрит на меня. В глазах смятение и легкая обида на себя («Ах, не надо, не надо было поднимать руку!»), но боли в глазах нет — он не хочет, чтобы была видна его боль людям.

— Да, да, время не ждет.— Он встал уже над картой, и его мысли перенеслись в далекие заволжские степи.— Есть такой момент, чисто психологический,— отсюда и известный военный закон: если не развивать успех и не преследовать противника, ему потребуется немного времени, чтобы пережить потрясение. Где-то там, между Волгой и Уралом, враг уже собирает резервы... копит силы... копит...

Я иду из кабинета. Двери, как прежде, распахнуты: из кабинета — в зал заседаний Совнаркома, из зала — в комнату секретаря, где стоит и мой стол. Я иду и слышу, как позади меня тревожится голос Ленина:

— Все фронты мне на провод... Все фронты... Наступление!

А письмо уже лежит передо мной, и кусок черного атласа действительно похож на небо над Кремлем. И вновь, как прежде, я вижу лицо Тома Мунни, слышу голос его:

«...Приветствую вас, товарищи, в ваших исканиях, в вашей величественной борьбе!

Привет вам, русские рабочие, и в несчастьях, и в невзгодах, и в скорби вашей.

Мне хочется сказать вам, что всем своим существом я с вами; что во мне, в моей скромной по своему значению личности, вы имеете искреннего вашего сторонника и горячего приверженца вашего великого дела.

Не проходит дня, чтобы я мысленно не был с вами. Ваши могучие усилия, ваши напряженные искания влекут мои думы к вам...»

А Ленин невидимо созвал в этой ночи Совет Труда и Обороны, и голос его гремит над страной, и его раненая рука простерлась над просторами Родины.

— Развивать успех, развивать!.. Наступление!..

И голос Мунни, идущий издалека, рядом с голосом Ленина в этой ночи, ощутимо рядом:

«Я ваш приверженец, я иду по вашим стопам, насколько условия моей теперешней жизни позволяют мне, а условия эти (таковы уж они) не слишком позволяют проявить себя.

Я печалюсь вашими печалями, страдаю, пока у вас неудачи, и ликую, когда вы одерживаете победы...

Мое личное положение весьма серьезно, но это вопрос лишь моего собственного спасения. Гораздо больше меня интересует спасение того, что достигнуто рабочим классом России в его борьбе...

Еще больше сил, еще больше могущества я желаю вашему удивительному революционному духу, которым проникнуты все ваши честные намерения и благородные усилия.

Величайшее несчастье жизни моей — это то, что я не могу участвовать в вашей славной работе, вместе с вами...»

А Ленин точно разбудил ночь, растолкал, растормошил первозданную тишину полуночи. На проводе — штаб Первой армии, Второй, Третьей, штаб Восточного фронта.

— Наступление...

И голос Тома Мунни:

«...Это послание я передаю с одним русским товарищем, который возвращается в Россию, чтобы присоединиться к русским борцам в их великой работе.

Я передаю его своими руками из «Сан-Францисской Бастилии» в надежде, что вы его получите.

Искренне, честно, по-братски я ваш в деле освобождения от капиталистического рабства».

И голос Ленина живет в этой ночи:

— На Урал... на Урал... Наступление!..

А ночь сгустилась и начала редеть.

Стихли телефоны, и последний самокатчик со срочным пакетом выехал из кремлевских ворот.

— А как письмо Тома Мунни? — подал голос Ленин.

Я вошел в кабинет и положил письмо, английский и русский тексты.

Ленин взял русский текст и углубился в чтение. В эту ночь ему предстояло еще раз пережить это письмо.

Очевидно, что-то новое, а поэтому и волнующее открылось ему в письме в этом новом чтении.

— Владимир Ильич...

— Нет, нет... я дочитаю.

И потом голос Ленина, очень тревожный,— он говорил по телефону, объяснял, настаивал, а может, и требовал:

— Надо рассказать миру об этом человеке... Рассказать о его вере и преданности и поднять в людях все самое чистое, все благородное и спасти... Во что бы то ни стало спасти человека... Да, да, энергией, волей миллионов спасти.

Когда минут через десять я вошел в комнату вновь, свет был выключен и Ленин стоял у окна.

Его лицо было таким же строгим. как прежде, но не было уже усталости. Глаза были устремлены вперед, туда, где горели подожженные зоревым солнцем облака, а может быть, дальше, много дальше.

Ночь кончилась. Всходило солнце. Солнце надежды.

МАЛЫШ

И теперь, когда я прохожу мимо этого дома, я вспоминаю те далекие и бесконечно родные мне годы. Я вижу, как на площадь мягко въезжает старомодный «роллс-ройс» и останавливается у главного подъезда. Щелкает и легко распахивается дверца. Прохожие, перебегающие площадь, замедляют шаг.

— Чичерин,— произносит кто-то из них.— Приехал Чичерин.

Да, это действительно Чичерин. Прежде чем войти в здание, он на какую-то минуту останавливается и окидывает площадь взглядом, одновременно беглым и внима-

тельным. Вот он увидел кого-то из сослуживцев, и его темные, чуть-чуть навыкате глаза просияли. Толпа горожан с радостным любопытством следит за ним.

— Наркоминдел Чичерин!

Он входит в здание.

— Здравствуйте! — раскланивается он.— Здравствуйте!

В приемной неяркий свет, темные панели пригасили его.

— Итак, что же я должен знать?

Эту фразу он произносит каждый раз после того, как отлучается из комиссариата. Ее следует понимать так: какие пришли телеграммы, какие были звонки?

— Звонил Ленин и позвонит еще.

Он входит в кабинет, краем глаза поглядывает на телефонный аппарат — ждет. Он садится за стол, на какой-то миг задумывается. «Ждать или звонить?» Чичерин берет трубку. Может быть, она кажется ему ручкой двери, за которой — Ленин. Сейчас откроется дверь, и Ленин приподнимает усталое лицо.

Трубка снята.

— Да, Владимир Ильич... Чичерин.

Вздрогнула мембрана и загудела. Это его голос; как всегда, возбужден.

— Конечно, Владимир Ильич,— говорит Чичерин.— Именно обзор... Нет, не только Европа и Америка, но и Восток... Большая пресса о больших проблемах... Да, разумеется.

Он кладет трубку, задумывается.

— Восток...

А у подъезда уже стоит машина со звездным флажком: у Чичерина прием. Беседа заканчивается через час. Дверь полуоткрыта, и все, кто дожидается Чичерина, слушают, как он прощается с заморским гостем. Главное, что составляет суть беседы, произнесено, и остается лишь, соответственно умению и такту, завершить встречу. Кажется, сами слова уже ничего не значат, и все-таки тишина становится ощутимо хрупкой, а слух таким восприим-

чивым! Французский, на котором говорит гость, кажется примитивным в сравнении с языком Чичерина. Легко, без видимых усилий он переходит с французского на английский и потом вновь возвращается к французскому. Мне кажется, что одно это способно повергнуть собеседника в уныние. В поединке, которым всегда является беседа дипломатов, это дает хозяину заметные преимущества.

Гость уехал.

Значит, большая пресса о больших проблемах? Так, кажется, он сказал Ленину?

Поздно вечером он излагает мне свой план.

— Я обещал Ленину: все самое существенное, что сообщила иностранная пресса сегодня, должен знать он. Главное — по нашим проблемам, потом по проблемам общим... Быть готовым ответить на любой вопрос, имена и даты держать в памяти. Кстати, когда открылась Версальская конференция? Дату!.. Нет, это не мелочь! Мы с вами должны знать и даты, это наша профессия. Итак, когда?

Я знаю, и это в его манере. Он любит вот так, полушутя, полусерьезно, озадачить собеседника неожиданным вопросом: «Дату!»

— Дмитрий Дмитриевич, вы теперь дипломат. Отныне это ваша профессия, а профессии учатся. Да, да, я не боюсь этого сравнения: как мальчик, посланный на обучение к бондарю,— пока не научишься набивать обручи, не заработаешь сухаря! Нет, язык — это полдела! А вот уметь наблюдать людей и знать стежку к человеческим сердцам — это сложнее. Фрак? Уметь носить фрак и не замечать его на себе — тоже искусство немалое. Говорят: «Он родился в рубашке». А о вас пусть скажут: «Родился во фраке...»

А в открытое окно видна Москва, которой в эту ночь не очень хочется спать.

— Вот тут у меня есть теремок,— тянется он к дверце, врезанной в полированное дерево шкафа.— Время позднее, в добром доме ужинают,— распахивает он дверцу.— В прежние времена хозяин дома держал в заповед-

ном этом уголке коллекционные вина и фрукты. Как говорят, чем бог послал...— Он извлекает крахмальную салфетку и расстилает ее на краешке стола.— Никогда не было здесь столь обильных запасов, как сейчас! — смеется он и кладет на салфетку краюшку черного хлеба и дольку сыра.— Я предпочитаю черный хлеб белому: только он дает силу рабочему человеку.

Чичерин режет на тонкие ломтики хлеб и сыр, изящно раскладывает.

— Итак, прошу к столу,— указывает он взглядом на салфетку и, возобновляя прерванный разговор, спрашивает: — Что за человек корреспондент «Таймса»?.. Нет, это я знаю, обстоятельнее! Имейте в виду, Ленин знает корреспондентов лучше, чем мы, знает и умеет не то что ладить — строить отношения, подчас сложные, но очень искренние, а потому прочные, настоящие. Вы никогда не думали над таким фактом: кем был для него Джон Рид, когда явился впервые в Смольный? Иностранным корреспондентом. Или Линкольн Стеффенс и Роберт Майнор? А как он подвинул их к революции! И заметьте: свято храня принци́пы! Главное — принци́п!

Как все старые интеллигенты, он говорил «принци́п».

Прощаясь, я взглянул на стол. На крахмальной салфетке лежала недоеденная черная корочка, и по невидимой ассоциации я вспомнил весь день: визит заокеанского гостя, изысканный французский язык Чичерина, разговор о фраках и принципах.

В полдень в доме открывали окна. Открывали широко, так, что было видно небо, просторное, ничем не защищенное, совсем не городское. И все, что лежало за окном — характерный шатер Троицкой башни, квадратное здание арсенала, даже громоздкий чугун музейных пушек вдоль стен,— казалось легким, по-осеннему невесомым.

Я не заметил, как мальчик вошел в комнату и сел поодаль, но хорошо помню, как улыбка сбежала с лиц усталых людей. Он сидел передо мной. Конверт был большим

и синим, таким же, как небо за окном. И глаза у малыша тоже были какие-то сине-серые. Если бы не опорки (в таких вот Россия прошла войну и революцию) да гимнастерка, белая, стиранная дождем и солнцем, малому можно было бы дать лет десять. А на самом деле? Может быть, десять, а может, и все двенадцать.

— Как ты прошел сюда? — заметил кто-то из сидящих рядом.

Но мальчик только повел глазами и указал на конверт, лежащий на коленях:

— Вот...

— Ленин занят и освободится через часа три. Будешь ждать?

Мальчик сжал губы.

— Буду.

— А не проголодаешься?

Паренек вздохнул:

— Нет...

Кто-то сбегал к секретарям и принес стакан чаю и невесомый сухарик.

— Макни в чай. Сухарик с чаем — хорошо.

Но мальчик не шелохнулся.

Потом на сухарик лег кусочек сахара. Сахар был серый, бог знает сколько он пролежал в кармане или в уголке портфеля. Мальчик скосил глаза на сахар и улыбнулся; казалось, мужество вот-вот покинет его. Эта крупинка сахара могла заставить его вновь почувствовать себя ребенком.

Мальчик улыбнулся и отвел глаза от сахара.

А я смотрел на малыша и не мог дышать от волнения. Прямо передо мной с синим конвертом на коленях сидело наше будущее. Оно было таким строгим и воодушевляющим и еще таким слабым! Ручеек в открытом поле, изначальный проблеск большой реки.

А солнце добралось до кремлевских золотых глав и погасло.

Сумерки заволокли кремлевский городок.

— Кто меня здесь дожидается?

Вошел Ленин.

Вошел быстрым и все-таки усталым шагом.

— Кто здесь?

Мальчик смешно вытянул длинную шею (вот-вот обломится), привстал:

— Я... здесь.

Ленин остановился, удивленно посмотрел на малыша:

— Ты? Вот как! Пакет?

Мальчик встревожился: неужели все кончится так просто — Ленин примет пакет и уйдет?

— А тут не по-нашему... не по-русскому...

Ленин улыбнулся:

— Вместе разберем как-нибудь.— Он взял в руки пакет, взглянул, приподняв бровь.— Ах! — Надорвал конверт, извлек несколько мелко исписанных четвертушек.— Так, так... Гм!..— Нахмурил брови, и вновь к нему вернулась усталость.— И давно ты меня ждешь?..— взглянул он на мальчика.— Да ел ли ты сегодня, друг мой? А почему чай остыл? И сухарь цел и сахар, почему? Так не годится! Пойдем ко мне. Мой дом рядом. Печку растапливать умеешь? Разогреем обед, сами разогреем и пообедаем! — Он протянул руку и примял непокорный мальчишечий вихор.

В коридоре прошумели их шаги, потом прозвучал детский смех, неожиданно громкий, и все стихло. Пришла тишина, тишина большого дома, для которого вечер означал и покой и отдых. И может быть, потому, что она была так нерушима, тишина, я увидел, как два человека прошагали в дальний конец коридора и проникли на кухню. Мне виделось, как они гремят посудой, весело хлопочут у печки. А может, они сели уже за стол и Ленин, обратив глаза на мальчика, неожиданно затих... Нет, это была не просто беседа.

В том конце коридора Ленин в самом деле говорил с нашим будущим, с тем заветным, что будет жить в далекое время, когда Россия шагнет к коммунизму.

Двумя часами позже я был у Ленина вновь.

— Каков малыш, а?

Встал, прошелся по комнате и, остановившись подле меня, заговорил:

— А знаете, чем нынешние дети отличаются от прежних? Тем, что горе, которое они несут, не детское...— Отошел к окну, молча посмотрел на площадь, на арсенал, на вечернее небо. Что-то он узнал о мальчике такое, чего не знал я. Ленин вернулся за стол.— Кстати, знаете, от кого этот конверт [«написанный не по-нашему»]?— спросил Ленин.— От Роберта Майнора! Он снарядил ко мне паренька. Майнор!

Я простился, и долго-долго в памяти звучало имя, названное Лениным.

Роберт Майнор, газетчик, наш большой друг, был к тому же еще и художником. Я видел его черно-белую графику. Впрочем, не только я. «The Call» (махонькая газетка на серой бумаге, она призвана была сказать свое слово солдатам интервенции, высадившимся в Архангельске) делалась им не без таланта и в какой-то мере напоминала те американские газеты прошлого века, где редактор в едином лице объединял и очеркиста, и репортера, и, если надо, художника.

Признаюсь, я плохо помню статьи Майнора (очевидно, потому, что они редко подписывались), но графика Майнора была более чем выразительна.

Его рисунок, писанный черной тушью (нет, не перо, а кисть), воспринял что-то и от карикатуры и от плаката. Рисунки были гиперболичны, как следует быть хорошему плакату. Но Майнор был не только редактором и художником — он был и корреспондентом, поэтому часто заходил ко мне в Наркоминдел. Как и прежде, в его руках была папка с рисунками — цветная графика на какое-то время возобладала над черно-белой (пришел мир, а вместе с ним и краски).

В те годы иностранные корреспонденты собирались в Наркоминделе по пятницам на своеобразные пресс-конференции. Майнор иногда заходил ко мне, мы смотрели его новые рисунки.

— Знаете, Майнор, судьба свела меня с вашим нароч-

ным в приемной Ленина,— сказал я ему, когда он в очередной раз зашел ко мне.

— С моим нарочным? — как-то очень неспокойно переспросил меня он.— Ах, да...— И его лицо стало сумрачным.

Майнор стоял у окна и смотрел на площадь. Прохладное сентябрьское солнце лежало на ее камнях. Через площадь спешили прохожие. Где-то позванивал трамвай.

— С моим нарочным? — переспросил он. Видно, с воспоминанием о нарочном и синем пакете у него возникали совсем иные ассоциации, чем у меня.— Вы напомнили мне одну историю,— вдруг заговорил он.— Хотите услышать об этом все? Только под открытым небом. Петровский бульвар...

— Ну что ж...

Мы иногда выбирались с ним на Петровский бульвар и подолгу сидели в тени старых деревьев. Из этой полутьмы небо казалось бездонно глубоким и ярким. Вот и сейчас мы вышли на Неглинную и добрались до Трубной. Говорил Майнор.

— Это было не теперь. Все случилось еще в первый мой приезд в Россию. Погодите, я вам скажу точно: летом или ранней осенью восемнадцатого... нет, все-таки летом, в августе. Вы же знаете, что в ту пору в Москве было не меньше моих соотечественников, чем сегодня. И каждый считал необходимым пожаловать ко мне. Впрочем, справедливости ради следует сказать, я был доволен. В моем родительском доме в Америке было всегда много гостей. А это, как вы знаете, преемственно. И вот однажды ко мне явился некто, по имени Майкл Чамбер, и распростер объятия. Он был очень живописен, поверьте моему профессиональному оку, очень. От американца у него остались кепи и кашне, знаете, такое кашне, разграфленное серо-красными полосами, а в остальном он был одет, как все: сапоги на толстой подошве, френч, брюки. Ну, эти ваши брюки с пузырями, какие носят все военные... Нет, не галифе! Нечто русское, возникшее в наше время. «Эх, Роберт, нет живее города, чем Чикаго! Ты помнишь,

как взвился Чикаго, когда Мунни собрались вести на плаху? И вот, представляешь, из Чикаго — в русские леса и болота!.. На Каледина!.. Бей!.. Даешь!..» Эти слова он произносил по-русски, произносил великолепно, и это окончательно покорило меня. Шутка ли, американский рабочий, ставший командиром русского партизанского отряда! Это же мечта моей жизни. В общем, мы расстались друзьями, чтобы назавтра встретиться вновь. Назавтра он не пришел... Ах, эти русские трамваи! Невозможно говорить!

Мы шли через Трубную, и трамвай, спускавшийся к площади от Сретенки, безбожно гремел. Майнор точно поторапливал трамвай взглядом: «Ну, скорее же там, проезжай скорее...»

— Он не пришел ни через день, ни через неделю. Зато недели через полторы после нашей встречи явилась его жена: «Майкла арестовала ЧК!» Она опасалась за его жизнь. «Только вы один можете...» Да, она так и сказала: только я один на всем белом свете могу ему помочь. По правде говоря, вся эта история меня взволновала. Знал-то я этого парня недолго, но он влез мне в душу. В общем, было бы непорядочно не протянуть ему руки. Самый действенный путь — письмо к Ленину. «Дорогой товарищ Ленин, произошло роковое недоразумение... Жена арестованного и я просим вас вмешаться... Только вы...» Я решил написать это письмо, не теряя ни минуты. Жена бедняги Майкла сидела тут же и как умела помогала мне. Я отправил письмо в Кремль. Ленин, если письмо попадало ему в руки, отвечал на него тут же. Разумеется, все, что в его силах, будет сделано. Он обещал ответить дня через три. Я почти торжествовал победу. Скажу вам больше: я даже попробовал представить, как Майкл вваливается ко мне в своем полосатом кашне и брюках пузырями... Минуло три дня, и письмо от Ленина пришло. Я до сих пор помню это письмо, написанное ровным и жестким почерком: «Дезертировал... похитил жалованье полка... Не могу ходатайствовать».

Майнор сидел поникший. Наверно, рассказ заставил

пережить его все это еще раз, пережить остро. Мимо прогремел очередной трамвай, и стало тихо. Да, было тихо и немного торжественно. Вероятно, это ощущение явилось от чистого неба над нами, золотисто-ясного: то ли блуждающий блик вечернего солнца коснулся неба, то ли отблеск сентябрьской листвы, которой осень вызолотила землю.

— Вы понимаете,— продолжал он,— сколько я должен был перечувствовать, прежде чем решился вновь пойти к Ленину, а бывал я у него нередко. Но я пошел. Сколько грозных и в высшей степени справедливых слов мог бы Ленин сказать в мой адрес! А он? Он не произнес ни единого. Больше того — он вел себя так, будто бы со времени нашей последней встречи не произошло ничего чрезвычайного. Стоит ли говорить, что за эти три года я видел Ленина много раз и ни разу он не обмолвился. Мне даже показалось, что он забыл...

Майнор умолк.

Ветер ворошил опавшие листья.

— И только теперь?..— спросил я Майнора, спросил тихо, не поднимая глаз.

Он не торопился закончить свой рассказ.

— Да, только теперь. «Вы знаете, кого вы мне прислали с пакетом?»— спросил Ленин, имея в виду малыша, которого вы видели. Я сказал: «Знаю, он сын моей квартирной хозяйки». Ленин возразил: «Он сын красноармейца, погибшего под Петроградом». Сейчас, сию минуту, подумал я, он произнесет слово, которого я ждал три года. И я почти не ошибся. Он сказал: «Справедливость может быть суровой, но пусть она будет справедливостью». Больше он ничего на сказал. Он неколебим, когда речь идет о принципах.

Вот и все, что сказал мне в тот вечер Майнор, но мне подумалось, что слова эти невидимо продолжают беседу, которая однажды уже была у меня.

И теперь, когда я прохожу мимо этого дома, я вспоминаю те далекие и бесконечно родные мне годы. Я вижу, как на площадь мягко вкатывает громоздкий «роллс-ройс»

и останавливается у главного подъезда. Щелкает и легко распахивается дверца. Прохожие, перебегающие площадь, замедляют шаг.

— Чичерин...— произносит кто-то из них.

И я слышу Чичерина, его грудной баритон: «Главное — принци́п, главное...»

ДЕНЬ

Все чаще Ленин принимает меня вечером.

— Я читал сегодня в «Юманите»,— указывает он взглядом на этажерку у окна — там лежат подшивки иностранных газет, которые он получает,— баварское правительство возглавил некто Кар. Что его связывает с рейхсвером?

Минуту он слушает спокойно, чуть-чуть откинувшись в кресле, полузакрыв глаза. Мне кажется не случайным, что в столь поздний час всем иным делам он предпочел это: слушая, Ленин отдыхает.

— Нет, погодите, тут следует придумать что-то более действенное.— Ленин встает и идет к этажерке с газетами. Он достает подшивку и разворачивает ее.— Не вижу картины, вы понимаете, не вижу. Хочу знать, что думают хотя бы Лондон, Вашингтон, Париж...

Он уже развернул «Юманите», отыскал нужную заметку, прочел ее один раз, второй.

— Но я вас, кажется, прервал? Итак, что же дальше?

Иногда он, продолжая слушать, пододвигает блокнот и стремительно заполняет его записями. У него своя система сокращений, неожиданных, но в высшей степени оправданных и действенных, приближающих его письмо к стенографии.

— А не находите ли вы, что мистер (Ленин называет имя английского корреспондента, недавно прибывшего в Москву) никогда не поймет и не примет революции? — спрашивает он.— Нет, вы мне скажите: да или нет? — Он слушает внимательно, низко склонившись над столом, по-

глядывая на меня мягко сощуренными глазами.— Что ни говорите, а он не может простить нам нефтяных земель, отнятых революцией. Ох, не усложняйте, не витайте в небесах — все в этих землях!

Уже поздно вечером он вдруг встает:

— Уважьте, Дмитрий Дмитриевич, расскажите, как вы везли мистера в автомобиле. Смешнее этого ничего не слышал! Ну, я вас прошу, еще раз расскажите! — И, подняв руку, кричит в открытую дверь: — Кто там есть? Идите, идите сюда скорее, послушайте, как это смешно! Итак, машина перевернулась, и вы увидели, что шофер сидит за рулем вверх ногами? И мистер в такой же позиции? Мне сказали, Дмитрий Дмитриевич, что вы просидели этак в автомобиле до утра — боялись потревожить знаменитого иностранца. Ах, эта ваша... деликатность!

Мне кажется, что он ищет смешные ситуации и несказанно рад, когда их находит. В смехе он черпает силы. Рассмеялся и отдохнул. Какая-то частица его жизнелюбивой энергии отсюда.

Но в этот раз и смех не может совладать с усталостью.

— Погодите,— произносит он тише,— а вот сейчас мы проверим, как вы знаете Америку. Проверим! Что вы слышали о Вандерлипе? Нет, не экономисте, а магнате, финансовом магнате.— Он испытующе смотрит на меня, но говорит уже не мне, а себе: — Вандерлип...

Идет дождь, и город молодеет. Он хорошеет на глазах, становится праздничнее. Упал неяркий вечер. Пробежала парочка, расплескивая лужи. Потом фыркнул и задрожал на своих нетвердых колесах автомобиль. Ломовая лошадь тащила тяжелый воз, и пар зыбился над ее взмокшими боками. И в ночи вдруг вспыхнули белокаменные колонны Большого театра...

Занавес уже поднялся, когда в ложу вошел человек в черном. Не надо было напрягать зрение, чтобы хорошо рассмотреть его. Он сидел у самого барьера ложи, и его маленькая рука лежала на красном плюше. Спектакль еще не

увлек его, и человек кочующим взглядом обегал зал: рассматривал зрителей, может быть, немножко показывал себя. На нем был черный костюм в полоску, сорочка с твердым воротником, парчовый галстук с жемчужной брошью, какую носили еще в прошлом веке. Конечно же, это был иностранец, быть может недавно приехавший в Москву. Если он не дипломат, то для него посещение Большого театра в некотором роде отождествляется с вручением верительных грамот: здесь он представлялся если не стране, то Москве. Кем мог быть этот человек? Влиятельным клерком из английского доминиона? Преуспевающим американским бизнесменом? Американские бизнесмены, даже преуспевающие, всегда были диковинно старомодны.

Человек смотрел теперь на сцену и улыбался. Казалось, он принимает музыку как солнце — глазами, кожей рук и лица. Нет, если он и в самом деле только что переступил порог города, то он, наверно, американец: только американец может почувствовать себя так хорошо в чужом городе на второй день после приезда. Человек аплодировал спектаклю охотно, да и улыбка его была доброжелательна. Иногда он оборачивался в полутьму ложи и, все так же улыбаясь, произносил несколько слов, очевидно делился впечатлениями, и в своих репликах был так же добр, как и в аплодисментах.

Тремя днями позже я увидел иностранца на улице. Он шел по Кузнецкому. На нем были боты, какие носят золотопромышленники на Аляске, и плащ. Он останавливался и смотрел на лошадь, тяжело идущую в гору, на витрину. Собственно, ничто так не поразило человека, как витрина. Он распахнул плащ и, достав платок, поднес его ко лбу. Кажется, это была та витрина, в которой РОСТА выставляло свои плакаты.

Человек прищурил глаза, и в этом взгляде строгая, без единой смешинки мысль, упрямая, быть может, беспокойная, может, тоскливая. Кстати, человек шел от площади, которая позже получила имя Воровского. Очевидно, он шел из Наркоминдела.

Кем мог быть этот человек и какая тропа привела его в Москву?

С этим вопросом у меня не связывались ни радости, ни печали, но по неизвестной причине я пытался на него ответить: что-то сравнивал, что-то соизмерял. Я не знаю, как долго продолжалась бы эта работа, если бы на другой день я не обнаружил на большом листе «Таймса» человека в дождевике. Черным по белому там было написано: «Американский промышленник Вандерлип в Москве». Вот уже несколько недель, как это имя прочно утвердилось на страницах европейских газет. Но цель миссии едва обозначалась: Вандерлип привез в Москву проект советско-американского договора. Какого именно? Очевидно, экономического. Концессии? Быть может. Где именно? Очевидно, на Дальнем Востоке. Пресса пыталась комментировать: если проект Вандерлипа будет принят, это сулит американцам немалые выгоды. Но было и иное мнение: никто не ездит в Москву без ведома госдепартамента. Миссия Вандерлипа инспирирована кандидатом в президенты Гардингом. В предстоящем единоборстве с демократами американский банкир с его инициативой должен сыграть свою роль. Так или иначе, а Вандерлип прибыл в Москву.

Потом я увидел Вандерлипа в приемной Наркоминдела. Только что закончился прием у Чичерина. Американец еще был под впечатлением беседы. Он вышел из кабинета и остановился. Глаза его горели. Щеки подрумянены ярко-пунцовым стариковским румянцем. Седой пушок шевелюры взбит. Он стоял посреди приемной и тщетно пытался застегнуть портфель, желтый, украшенный бляхами и ремнями, диковинно громоздкий. Вандерлипу было нелегко справиться с многочисленными замками портфеля, но он совладал. Смешно притопнув, он двинулся к выходу, но, вспомнив нечто важное, остановился. Он стоял посреди комнаты, глядя по сторонам, как человек, который очутился посреди пустого поля и не знает, куда ему устремиться. Потом остановил взгляд на девушке, сидящей за столом:

— Mister Chicherin has promised me to call... he has promised...[1]

Вандерлип вышел.

Дверь в коридор оставалась открытой, и было еще долго слышно, как скрипит его большой портфель.

Вошел Чичерин.

Матово поблескивает на спине черный шелк жилета — он без пиджака. Не останавливаясь, Чичерин закатал рукава. Зябко потер от запястья до локтя бледные, в голубых венах руки.

— Стенографистку! — Он любил работать вот так, в жилете, с закатанными рукавами.— Уехал уже? — Он прислушался, скосив глаза на открытое окно. Оттуда доносился затихающий шум автомобиля.

— Уехал, Георгий Васильевич!

— Вот и прекрасно! Позвоните ему через час и скажите: завтра в одиннадцать его примет Ленин.— Чичерин взглянул еще раз в окно. Шум удалявшегося автомобиля затих.— Дмитрий Дмитриевич, вы поедете с ним. Беседа должна переводиться! — Он повернулся и быстро пошел в кабинет.— Стенографистку!

Позднее московское утро. Вандерлип предупрежден: я должен быть у него в пятнадцать минут одиннадцатого. Город накрыт туманом, густым и белым. Такое впечатление, что ты идешь по мосту, а под тобой дымит паровоз. Все — прохожие, лошади, церквушки, дома — обратилось в силуэты. Машина идет еле-еле. Купол Василия Блаженного срезан туманом. Машина осторожно движется по мосту, идет вдоль барьера Софийской набережной. Сейчас пятнадцать минут одиннадцатого. Очевидно, гость уже позавтракал и, присев у огня, закурил папиросу. Быть может, он стоит у окна и смотрит на ту сторону реки. Громада того берега проступает и сквозь туман. Хочешь не хочешь, а ты должен смотреть на нее снизу вверх... Там Кремль, там Ленин.

---

[1] Господин Чичерин обещал мне позвонить... он обещал...

В особняке сумрачно и сухо. Пахнет тлеющими березовыми дровами, некрепким табаком. Старый лакей с белыми баками ведет меня внутрь дома.

— Все уехали,— говорит он, поднимаясь по ступеням, ведущим в гостиную, и его колени неприятно хрустят.— Все уехали,— повторяет он.

Кажется, лакей с белыми баками забыт здесь старыми хозяевами, как, впрочем, и вот эти бронзовые бра и ломберный столик на изогнутых ножках, неизвестно почему выставленный в коридор, и кресло с лоснящейся кожей, и настольная лампа на массивной, налитой свинцом подставке — в исторических романах автор разделывается с героями при помощи такой подставки.

— Все уехали,— говорит лакей и входит в гостиную с окнами, которые обращены к Кремлю.— Вот только...— указывает он взглядом на открытую дверь, ведущую в соседнюю с гостиной комнату.

В дверях Вандерлип. Он в том же черном костюме, в котором я видел его в Большом театре, и парчовый галстук, скрепленный брошью, тот же.

— О-о-о, уехали... и Уэллс уехал! — произносит он по-английски.— Я предложил ему посетить балет и рынок. Да, да, Сухаревский рынок... Я верно произношу? Я предложил, а он поднялся... Э-э-э, говорит, в среду из Ревеля в Стокгольм уходит пароход... О-о-о...

Он говорит едва ли не скороговоркой. Чтобы уследить за темпом его речи, надо к ней привыкнуть. Его язык лаконичный, броский, часто афористичный. Кто сказал, что строй английской фразы неколебим и в ней должны присутствовать обязательные компоненты — подлежащее, сказуемое? Ведь не он, Вандерлип, служит языку, а язык призван служить Вандерлипу. Поэтому с языком надо обращаться как с деньгами: чем свободнее себя ведешь с ними, тем полнее они тебе служат. Что же касается того, что его речь не всегда понятна собеседнику, то тем хуже для собеседника. В конце концов, должен приспосабливаться он; пусть знает, с кем имеет дело.

Мы сверяем часы.

— У нас еще есть время. Повезите меня окольным путем. Ну, если можно, через Красную площадь. Нет прекрасней этой площади,— говорит он, усаживаясь в машине.— То, что называется миссией Вандерлипа,— я один. Да, да, ни секретаря, ни переводчика... Совсем один! — повторяет он и смеется.— Путешествие цивилизованного американца в большевистскую Россию. Мои друзья в Америке говорили мне перед отъездом: «Это что-то вроде походов Стенли по дебрям Африки».— Он теперь хохочет, обхватив маленькими растопыренными пальцами сердце, будто опасаясь, что оно выпадет.— А-а-а... Вот какой они видят Россию, а? — продолжает хохотать он и, запрокинув голову, останавливает взгляд на куполах Василия Блаженного.

Туман рассеялся, и обнажились купола, один из них с черным провалом — след артиллерийского снаряда.

— Это что такое? — спрашивает он.

— Снаряд,— говорю я.

Он мрачнеет.

— Революция? — переводит он на меня глаза; смех погас, а вместе с ним и яркие краски лица: оно теперь тусклое.

— Да, революция,— говорю я.

Он шарит торопливыми глазами по сторонам. Очевидно, хочет заговорить о чем-то таком, что способно увести от неприятной темы. Прямо во всю стену четыре слова: «Религия — опиум для народа».

— Видите? — спрашивает он, указывая глазами на надпись.

— Да.

— О-о-о... Прошлый раз мы гуляли здесь с Уэллсом. Я говорю: «А уж эта надпись здесь ни к чему, я бы ее смыл».—«А я бы ее оставил,— возразил Уэллс.— Это реликвия, а реликвии надо хранить, если даже они нам не очень нравятся. Надпись сделана рукою революции».— Вандерлип зябко поводит плечами — это слово непрошено вторглось в его речь.— Миссия Вандерлипа,— произносит он, глядя на свой портфель, когда машина въехала в

Кремль.— В наше время даже дипкурьеры остерегаются ездить в одиночку. А мне нравится. Э-э-э...

Странное дело: эти междометия Вандерлипа — «О-о-о...» и «Э-э-э...», наверно, тоже от свободного обращения с языком. Каждое из них, как я уже успел заметить, не имеет точного смысла. Вандерлип говорит: «Э-э-э...»— и это означает «да»; он восклицает: «Э-э-э!..»— и это значит «нет», при этом разница в интонации неуловима даже для искушенного уха.

Я смотрю на Вандерлипа. Он умолк, весь ушел в себя. Что зреет сейчас в тайниках его сознания? Не иначе как разум свой, сердце он схоронил в сейф, самый надежный, в котором он хранит святая святых своего состояния. Только слабые и, в сущности, незначительные признаки способны обнаружить его переживания: блеск глаз, подергивание правого плеча, по-стариковски подобранные губы, легкая испарина на лбу... Но как все это перевести на язык элементарных мыслей и объяснить состояние человека? Кто сказал, что наблюдательность доводится родной сестрой художнику? А дипломату? Что, дипломат без глаз?..

Мы шли длинными кремлевскими коридорами, и Вандерлип молчал. Он уже переселился в своих думах в кабинет Ленина. Сейчас он всего лишь излагает свои взгляды, но еще минута, и он ринется в бой.

Мы входим в кабинет Ленина. Еще не произнесены слова, ни единого слова, но свет, обильный и мягкий, уже обнял нас. Из окон видна кремлевская площадь, купола соборов, необозримое небо.

— Ах, как долго я сюда шел...

Это говорит Вандерлип, говорит улыбаясь — у него и в самом деле такой вид, будто бы он достиг перевала.

— Располагайтесь,— произносит Ленин,— садитесь, пожалуйста.

Вандерлип клацает замками, и портфель распахивается.

— Господин премьер-министр, я рассчитываю на откровенный разговор...

Комната и в самом деле полна света. Все, что уместилось в комнате, высветлено солнцем, доступно глазу, даже названия книг на корешках, даже петитная газетная строка.

— Да, на совершенно откровенный разговор... Не надо недооценивать нашей морской мощи, но через два года мы будем еще сильнее, да, в двадцать третьем году Великобритания уступит нам первенство на морях...

Первых двух фраз было достаточно, чтобы гость воодушевился. Сейчас уже не было нужды в бумагах, которые он извлек из портфеля. Все, что он имел сказать Ленину, хорошо отложилось в его сознании. Через два года владычицей морей станет Америка. Советский премьер ошибается, если думает, что Америка боится Японии. Нет, Америка верит в победу на Тихом океане. Если хотите, это исторический оптимизм. Короче, Америке придется воевать с Японией. А воевать нельзя без керосина и бензина. Америке нужна Камчатка. Вандерлип хочет говорить начистоту: продайте Камчатку! Нет, эта сделка выгодна не только Америке. Вот посудите: вы заинтересованы в признании Америки. Там предстоят выборы. В марте в Белый дом придет новый президент — Гардинг. Да, Вандерлип гарантирует, что в Белом доме будет новый президент. Могущество демократов на закате. Они терпят поражение даже на юге, где они были извечно сильны. Камчатка даст Америке бензин, красной России — популярность у американского народа, а следовательно, и признание. Вандерлип — республиканец, а сегодня это значит многое. Да, демократы стремительно утрачивают позиции. Вы раздумываете, стоит ли вам продавать Камчатку? Тогда отдайте ее на концессию, но в этом случае признания Вандерлип не гарантирует.

Я замечаю, Вандерлип говорит с Лениным тщательнее. Он как бы вызывает Ленина: «Будем говорить по-английски, так мы лучше поймем друг друга...» Но Владимир Ильич верен своему правилу: официальные беседы он ведет через переводчика.

— Так как же, господин премьер-министр? Э-э-э...

Ленин смотрит на своего гостя. О чем думает Ленин? Наверно, о том, как может этот человек в такой ослепительный полдень у всех на виду обнаружить нечто такое, чего извечно люди стыдились.

— Я говорю в открытую. Мне нечего скрывать,— повторяет Вандерлип.

Ленин встает и предупредительным жестом дает понять собеседнику: он может сидеть. Просто Ленину хочется сделать несколько шагов по комнате.

Он любит во время беседы шагать из одного угла кабинета в другой, может быть, взглянуть из окна на площадь, проводить взглядом машину или прохожего.

— Я человек практический,— говорит Вандерлип.

Ленин улыбается. Очевидно, этому разговору недоставало душевного контакта, вот его собеседник и обратился к личному.

— Практический,— смеется Ленин.— Тогда посмотрите, что такое советская система, и введите ее у себя.

Вандерлип подскакивает и идет к Ленину.

— Может быть,— говорит Вандерлип по-русски.

— Так вы говорите по-русски?

Американец беспомощно машет рукой.

— Как же, не одну сибирскую область я объехал верхом на лошади.

Ленин смотрит на гостя внимательно: оказывается, интерес Вандерлипа к русскому Востоку имеет свою историю.

— Я получил ваше послание,— говорит Ленин.

Вандерлип вскинул брови.

— Да... И что же?

Ленин подошел к Вандерлипу, подошел близко, мне так кажется — угрожающе близко. Я подумал: сейчас, сию минуту, одним словом, ощутимо жестким, Ленин даст понять своему знатному гостю, какая земля зеленеет за окном, какое солнце стоит над нами и кто в конце концов является его собеседником.

— Но заключение договора предполагает полномочия с обеих сторон,— замечает Ленин, замечает строго. Это

свойство ленинского характера: он не боится обострить разговор.

— Полномочия подоспеют в нужный момент,— говорит Вандерлип.

Ленин все еще стоит подле Вандерлипа.

— Отлично... отлично...

Невидимый проводок накаляется в глазах гостя — Вандерлипу явно не под силу такой напор,— в очередной раз он должен все обратить в шутку, во что бы то ни стало обратить в шутку.

— Э-э... вернусь в Америку и обязательно удостоверю, что у господина Ленина нет рогов.

— Как вы сказали? — переспрашивает Ленин и отходит к столу.

Вандерлип наклоняется и, подставив по указательному пальцу к виску, угрожающе движется вперед.

— Я же говорю: нет рогов у господина Ленина! Нет рогов!..

Ленин хохочет тем всесильным смехом, каким смеется только он.

— Значит, нет рогов?

— Нет, нет...

Потом смех стихает, стихает медленно. Они стоят сейчас один против другого, строгие, настороженно строгие. Я смотрю на них и не могу не подумать: вот и сошлись лицом к лицу два мира.

Вандерлип уходит.

Ленин возвращается за стол. Долго сидит, охватив ладонью склоненный лоб. Кисть руки заслонила глаза; впрочем, они сейчас, кажется, закрыты. Молчит, думает, потом вдруг отнимает руку, в глазах — любопытство, без улыбки.

— Нагой, совсем нагой. Как вам это нравится?

В самом деле, только что произошло необычное: на глазах у белого света, нисколько не смущаясь, обнажился человек, обнажился, да еще прихвастнул тем, что все одеты, а он голый, совершенно голый.

Был день, ослепительный московский полдень.

ДВОЕ

Не доводилось ли вам зимой или даже в начале весны встречать в Москве гостей, прибывающих с Запада? Право же, смешно наблюдать, как гости выходят из вагона, подняв пудовые воротники (разумеется, воротники сооружались для русской поездки), и через десять минут, к изумлению, а может быть, и к стыду своему, обнаруживают, что их не опалило знаменитой московской стужей. Видно, неумирающий призрак восемьсот двенадцатого года навсегда поселился в западном мире...

Март девятьсот девятнадцатого.

В Москву прибывала миссия Вильяма Буллита. (Цель миссии? Видимая — нормализация отношений между союзниками и Советской Россией. Истинная цель, разумеется, была иной.)

Под стеклянным шатром перрона зашумели колеса, и паровозный пар мягко потек по асфальту. Поезд последний раз вздрогнул и остановился. Я готовился увидеть, как из вагона двинутся на перрон тяжелые шапки и дохи, но был немало удивлен, когда увидел Буллита в более чем легком пальто. То ли он похвалялся своей храбростью (он любил демонстрировать ее и позже), то ли молодостью (ему не было еще тридцати), то ли завидной могучестью своих рук и плеч (как истинный дипломат, он знал, что спортивные успехи — гимнастика, верховая езда, даже бильярд — могут оказать магическое действие на карьеру), а может быть, и первым, и вторым, и третьим.

Буллит обменялся рукопожатием, откланялся и двинулся к выходу. Видный, пышущий здоровьем, знающий цену человеческой гордыне, Буллит будто бы говорил всем, кто этого еще не уразумел: «К вам приехал Вильям Буллит. Вы только подумайте — сам Буллит пожаловал к вам! Поздравляю!..» Он шел впереди, вся остальная миссия — поотстав. Кстати, это соответствовало и физическому росту сподвижников Буллита. Одни были ему по надбровные дуги, другие — по подбородок.

Однако вскоре Буллит остановился и стал дожидаться, очень терпеливо, пока с ним поравняются все, кто шел позади. Он дождался и с величайшей покорностью и почтительностью (до сих пор она не угадывалась в нем) обратился к человеку в бобровой шапке, который был ему по плечо и которого в этом церемониальном марше американцев бесконечно устраивало место завершающего. Да, рядом с Буллитом оказался маленький человек с бородкой клинышком, с белыми аристократическими руками и с манерами... Нет, он нисколько не чувствовал себя ниже Буллита, даже физически. Теперь они шли к машине рядом, и, пока это продолжалось, он ни разу не пытался поднять на Буллита глаза. Наоборот, Буллит все ниже сгибался к нему, как бы подчеркивая свое почтение.

Буллит задержался у машины, очевидно приглашая своего собеседника воспользоваться ею, потом поспешно подался в дверцу, а тот, в бобровой шапке, отказался. Буллит уехал, а человек с острой бородкой медленно оглядел площадь. Он увидел девицу в зеленой, не по сезону, шляпе. Приподняв подол длинного, в немыслимых оборках платья, девица быстро перебегала площадь. Не без любопытства оглядел красноармейца в старой шинели и новом шлеме с ярко-красной звездой. Потом он долго смотрел на женщину в лаптях, которая стояла поодаль и держала у губ пальцы, сложенные щепоткой,— знак русского горя...

Да не Линкольн ли это Стеффенс, имя которого я увидел час назад в списке американцев, прибывающих в Москву? Кого ожидает он и не нуждается ли все-таки в машине? Он видел меня среди встречавших. Может быть, он не сочтет за бестактность, если так просто подойти к нему и предложить машину? Я подошел и назвал его Стеффенсом — да, это он, я не ошибся,— однако предложение о машине не воодушевило его. Он взглянул на меня пристально, от этого взгляда его лицо не стало добрее.

— Нет, благодарю вас... Я ожидаю друзей. Они запаздывают...

Да, это был знаменитый Линкольн Стеффенс, автор

книги «Позор городов» и «Времена Твида в Сан-Луисе», один из рыцарей более чем грозного легиона «разгребателей грязи». Суд Стеффенса, суд честного пера, был для промышленных и финансовых магнатов грознее официального правосудия Америки: он был неустрашим и неподкупен.

Я уехал. Машина шла через город, а эти двое — Буллит и Стеффенс — не покидали меня. В самом деле, какой смысл преуспевающему дипломату, едущему в Москву с более чем ответственной миссией, брать с собой такого человека, как Стеффенс, и к тому же недвусмысленно демонстрировать симпатию к нему? Какую роль может взять на себя Стеффенс и сочтет ли он уместным взять ее на себя — роль щита, парирующего удары, или разящего меча? А может быть, по мысли Буллита, Стеффенс призван, сам не догадываясь об этом, дезориентировать Москву? В самом деле, один-два разговора Буллита со Стеффенсом на людях, подчеркнутое внимание к Стеффенсу или кажущаяся задушевность в отношениях могут расположить русских. Старая истина жива и сегодня: скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты... А возможен и иной вариант: Буллит способствовал поездке Стеффенса, чтобы показать ему Россию девятнадцатого года, Россию, потонувшую во тьме нетопленых и неосвещенных городов... «Этим... брюзжащим надо показывать красную Россию именно теперь... Показать и оставить наедине со своей совестью: пусть думают!..» Или еще вариант: столкнуть неуступчивость старого либерала, безжалостно сшибить его привередливую правду с правдой красной России. Да, чем не замысел: обрушить на большевиков страсти Линкольна Стеффенса! Пусть сожжет он их своей бескомпромиссной совестью.

На другой день Буллит был в Наркоминделе у Чичерина.

Он заметно смутился, когда увидел Чичерина в полувоенном костюме. Что мог подумать Буллит? «Очевидно, советский министр иностранных дел предпочел в этот раз военный костюм черной паре, чтобы недвусмысленно дать

понять знатному иностранцу, что революционная Россия не сложит оружия, пока последний иностранный солдат не покинет ее пределов...»

Буллиту стоило труда, чтобы улыбнуться, когда пришло время представлять своих сподвижников по делегации. Он это делал тщательно, не уходя за пределы официального характера встречи. Чичерин, наоборот, был прост и приветлив. По своему обычаю, протокольное рукопожатие он сопровождал одной-другой фразой, часто очень непосредственной... А костюм, военный костюм Чичерина? (Кстати, Георгий Васильевич любил этот свой костюм.) Ну что ж, пусть суровый защитный цвет, как цвет неласкового фронтового неба, напоминает иностранцам о жертвах России. По многовековой традиции, русские — любезные хозяева, но именно в силу этой традиции и опыта они не склонны обманываться: война продолжается...

— Как приняли гости русскую зиму? — произнес Чичерин, смеясь, и взглянул в окно — там мартовское солнце, уже весенне-яркое, растекалось по снегу.— Не обожгла она, наша зима, не опалила?

Гости рассмеялись, и только Буллит невесело и внимательно посмотрел на Чичерина и сощурил левый глаз, стремясь сдержать дрожащее веко (в минуту волнения оно трепетало неудержимо): он искал в этих словах второй смысл.

Через полчаса американцы покинули кабинет Чичерина.

Буллит казался необычно возбужденным.

— Послушайте, Стеффенс,— склонился Буллит к нему почтительно,— мы едем сейчас смотреть Москву. Да, да, по большим и малым ее кольцам...— повторил Буллит с очевидным намерением показать, что осмотр будет отнюдь не официальным.— Хотите с нами?

Стеффенс смешался. Он печально и смятенно посмотрел вокруг.

— Мы едем... Как вы?..— Буллит выразил голосом нетерпение.— С нами?

Мне казалось, что едва заметная белизна тронула щеки Стеффенса.

— Да, я готов.

Они уехали.

Они уехали, и опять, как накануне, эти двое овладели моим сознанием. Да, Буллит не терял времени даром и постоянно держал в поле своего внимания Стеффенса. Прежде чем Стеффенс соберется посмотреть Москву, Буллит хотел показать ее сам.

Вечером раздался неожиданный звонок в Наркоминделе:

— Стеффенс просит принять.

Он вошел встревоженный, утомленный.

— Можно?

Долго сидел, не говоря ни слова. Сейчас ему не пятьдесят три, а все шестьдесят. Лицо стало желтым и рыхлым, ввалились глаза, его воинственно устремленная вперед бородка потеряла прежнюю форму.

— Не могли бы вы быть вместе со мной?.. Я хочу видеть Москву. Только не сегодня, а завтра... Я хочу все видеть в истинном свете, а вечер обманывает...

— Но вы сегодня смотрели Москву...

— Нет, это иное... совсем иное.

— Ну что ж, пожалуйста.

Уже за полночь меня вызывают к наркому. Он работает едва ли не до утренней зари. Он все в том же полувоенном костюме, но вокруг шеи повязан шарф.

— Застудил горло...— произносит он, не отрывая глаз от газеты. Он понимает, что сочетание пестрого кашне и военного костюма выглядит более чем своеобразно.— Эти мартовские ветры не по мне...— Он отрывает глаза от газеты, смотрит на меня, смотрит удивленно, будто впервые увидел меня.— Устали, наверно? Нет, нет, скажите откровенно... Устали? Чаю хотите, горячего и крепкого? Сколько там на часах? — близоруко всматривается он в циферблат настольных часов.

— Скоро два, Георгий Васильевич.

— Два... Еще рано. Нет, нет, вы не смейтесь, дейст-

вительно рано...— Он откидывается в кресле, как-то сразу потеряв интерес к газете и к чаю.— Что-то я сегодня устал раньше обычного. А знаете, чем лечится усталость безошибочно?

— Чем, Георгий Васильевич?

— Музыкой. Сяду за инструмент — и словно в озерной воде искупался. Даже вот так, ночью...— Его глаза повлажнели.— В ночи хорошо играется. Ах, музыка мудра, мудра... В ней человек обогнал самого себя на тысячелетие... Слушаешь, и одна мысль: вот на каком языке заговорят наши далекие потомки... Их язык будет точнее, тоньше, может быть, в нем будет больше интеллекта... Как вы думаете?

Он встал, пошел по комнате, дошел до дальней стены. Там, в тяжелом багете, бушующее море, холмистое, в черно-белых тучах, в штормовом дыму — Айвазовский.

— Хорошо играется...— Он быстро взглянул на меня.— Ну, как вам нравятся наши гости?.. Этот молодой, да ранний? Вы заметили, как он брал папиросу? Тремя пальцами. Есть в нем грубая самоуверенность молодого буржуа. Явление чисто американское... Однако внешне вполне лоялен... А этот Стеффенс хорош. Что ни говорите, а в нем прощупывается аристократическая косточка. Вы заметили, как он смотрел на Буллита? Наверно, так владетельный князь смотрит на нувориша... Или это сравнение устарело? Кстати, Стеффенс приезжал в Петроград летом семнадцатого года и, кажется, слушал Ленина... Был у вас? Просит показать Москву?.. Полагаете, что хочет проехать с вами по тем местам, где был накануне с Буллитом?.. А что может означать такой план?.. Ну что ж... Все, что захочет увидеть, надо показать, но объяснить... ничего не оставить без ответа... объяснить... Однако сегодня я действительно устал...

Я ухожу.

Где-то далеко-далеко от кабинета Чичерина, в затемненном коридоре, останавливаюсь. Нет, меня не обманул слух: я слышу сдержанное гудение рояля. Негромко, точ-

но опасаясь потревожить покой большого дома, играет Чичерин...

Утром мы едем с Линкольном Стеффенсом смотреть Москву.

«Неужели он хочет повторить свой вчерашний маршрут?»

Прошла ночь, а он все еще странно возбужден, будто ко вчерашним тревогам и сомнениям прибавились новые.

— Что бы вы хотели увидеть в городе? — спрашиваю я.

Он устремил на меня пасмурные глаза.

— Что?.. Разумеется, то, что сочтете необходимым показать мне вы...— Он все еще не спускает с меня глаз, и неожиданно (так кажется мне) его лицо добреет.— Пусть это будет свободный полет, так сказать, из одного конца города в другой, но так, чтобы были не только дома, но и люди.

Набегают снеговые тучи, идет снег.

Стеффенс сидит рядом со мной и молчит. Даже за окно не смотрит.

Такое впечатление, что пытается додумать что-то очень важное, в чем-то разобраться до конца, с кем-то доспорить и защитить свою истину.

— Революция — это счастье в слезах,— вдруг говорит он и смотрит на меня.— А очень часто и несчастье... тоже в слезах.

— В слезах?

— Да, и в крови...

Однако вон какие костры запалил в нем первый день пребывания в Москве.

Где-то на Арбате старик в стоптанных сапогах с короткими, едва ли не по щиколотку, голенищами выносит из парадной двери особняка софу, обшитую бордовым плюшем. Он ставит ее на тротуар, садится и блаженно смотрит на небо.

Стеффенс просит остановить машину.

— Что происходит?

— Ущемление! — отвечает старик и, взвалив софу на

спину, несет ее во двор, к флигельку, крашенному озорным ультрамарином.

Стеффенс идет вслед.

— Ущемление,— рассуждает вслух американец.— Что это такое?

Я перевожу ему это слово, объясняю, какой смысл оно обрело.

— Ущемление... ущемление...— повторяет он.

Мы следуем за стариком с софой и приходим во флигелек, в его большую комнату. Не обращая на нас внимания, старик осторожно сбрасывает софу с плеч и садится на нее, садится так, как сидел, когда софа стояла на тротуаре.

— Кто переезжает сюда? — спрашивает Стеффенс.

— Хозяин,— отвечает старик.

— А туда? — указывает Стеффенс на особняк.

— Туда... я.

— Почему?

— Как — почему? — недоумевает старик.— У меня семь душ семейства, а у хозяина трое...

— Но почему, почему? — настаивает Стеффенс.

Старику непонятно недоумение иностранца, потом его озаряет.

— Революция! — поднимает он указательный палец.

Стеффенс озадачен, он долго не может вымолвить ни слова.

— А вы кто? — наконец спрашивает он у старика.

— Кто я? — Старик светлеет. Видно, необходимость думать о себе окончательно приводит его в хорошее настроение.— Кто, говоришь, я?.. Сразу и не ответишь! Я, видишь ли, работный человек, кровельщик... Вот пригнись маленько — видишь в окне крыши?.. Да, да, цинковые и железные, некрашеные и крашеные — это все моя работа...

Мы идем со двора.

— Или тебе профессия моя не нравится? — кричит старик вслед.— Небось буржуй... А?

Стеффенс останавливается и смотрит на меня, но я

не перевожу: не очень хочется переводить ему эти слова.

В машине Стеффенс снова уходит в себя, молчит, не поднимая головы, только стекла очков блестят.

— А что все-таки сказал этот... кровельщик, когда мы уходили?

— Кажется, он принял вас за буржуа.

Стеффенс снимает очки: глаза живые, беспокойно-веселые.

— Да, да, я хорошо слышал... он сказал: буржуа, буржуа...

Потом быстро надел очки, точно спешил схоронить за их непроницаемым свечением движение и блеск самих глаз.

— А Ленин вернулся в Россию уже признанным вождем рабочих? — вдруг спрашивает Стеффенс.— Видимо, признание пришло к нему раньше?..

— Да, много раньше.

— Это... не простой факт. Не простой...

— Да...

На Брянском вокзале мы идем через рельсы. Где-то далеко у запасных путей общежитие молодых железнодорожников и их столовка. В общежитии разномастные кровати, одеяла тоже разномастные. На окнах столовой — марлевые занавески, столы без скатертей, но тщательно окрашены. Пахнет жареным луком и пшеном.

— Что на обед? — переспрашивает паренек в солдатской гимнастерке.— На первое — кондер, на второе и третье — тоже кондер...— заканчивает он, смеясь.

— Кондер? — не понимает Стеффенс.

— Да,— весело замечает паренек.— С дымком очень вкусно, особенно если в печку соломки подсыпать. Как в степу...

По-моему, парень тронул даже сердце Стеффенса.

— Степь... это Дон? — задумчиво спрашивает Стеффенс.

— Да, верно, Дон,— говорит парень.

— Вы оттуда?

— Точно... по мобилизации,— отвечает по-военному парень.— По партейной, так сказать...

Стеффенс идет к выходу.

— Может, попробуете кондеру... за компанию?..

— Что, что он сказал?

Я смеюсь:

— Приглашает к столу.

— Так...

Мы идем к выходу.

Уже на рельсах он останавливается.

— Кондер... Это очень вкусно?

— Как кому...

— Тогда почему они все такие веселые?

Теперь мы едем по нешироким улочкам, примыкающим к Петровскому парку.

— Ленин, говорят, из дворян? — спрашивает Стеффенс вне связи с тем, что говорилось только что: у его мыслей какой-то свой черед.

— Да, отец был дворянином.

— А среди его сподвижников есть дворяне?

— Если говорить о сподвижниках, то там больше рабочих и интеллигентов... Из разночинцев, знаете?

— А дворяне все-таки есть?

— Наверно, есть. Да важно ли это?

— Очень важно.

Машина движется медленно, и, заслышав ее шум, к окнам подходят обитатели маленьких особнячков, каменных и деревянных, каких много в этих улочках.

— Кто живет в этих домах?

— По-моему, военные, офицерство.

— Новое?

— Нет, почему же? И старое...

Он пристально всматривается в окна. Теперь и я вижу: к окнам приникли лица, много лиц. Женщина с белыми распатланными волосами, очень бледная. Юноша в гимназической форме, лица не видно, но неудержимо блестят на его форменной гимнастерке надраенные пуговицы — солнце прямо перед домом.

Калитка, врезанная в высокие деревянные ворота, распахнулась. Вышел старик в бакенбардах, с деревянной лопатой в руках. Короткая тужурка, отороченная заячьим мехом, полураспахнута. Виден стоячий воротник кителя. Старик уже наработался во дворе: лицо раскраснелось, верхние крючки кителя расстегнуты.

— Остановите автомобиль здесь,— говорит Стеффенс.

Мы выходим. Небогатый кирпичный особнячок. Дверь с облупившейся краской. Старинный звонок (из того века) с ручкой, которую надо дергать.

— Да, хозяин...— Старик торопится сцепить крючки на воротнике кителя.— С кем имею честь? — Голос стеснен дыханием.— Да, пожалуйста. Чем могу быть полезен?

Парадная дверь открывается.

Стеффенс просит у хозяина разрешения задать ему несколько вопросов.

Хозяин смешался.

— Я, собственно, не знаю, смогу ли быть вам полезен...— Он как-то судорожно ощупал свою большую костистую грудь, точно хотел защитить ее ладонью; рука у него тоже была большой, белой, в зеленых венах.— Впрочем, как будет угодно гостю...

Свободным и, как мне показалось, несколько церемонным жестом он указал на дверь (так хозяин приглашает гостей из гостиной в столовую).

Мы вошли в дом.

Все было затенено комнатными цветами: мощными пальмами с железными листьями, дымчатыми кактусами неожиданно яйцевидной формы, могучими фикусами с крупными полированными листьями и олеандрами с ярко-розовыми цветами,— их удушливое дыхание, чем-то напоминающее запах миндаля, казалось, наполняло дом.

— Тут вам не пройти без провожатого, в моих джунглях...— заметил хозяин, указывая дорогу к окну.— Вот заселил дом тропической экзотикой. Всегда считал, что полезно для моих легких... А на крещенье был доктор из молодых и сказал — вырубить! Ну конечно, не вырубить, а убрать из дому... Что ж, убрать так убрать! В наше вре-

мя мы должны уметь расставаться... и не только с цветами. Пожалуйте сюда...

Письменный стол придвинут к глухой стене. На столе — стопка писчей бумаги, чернильница на литой чугунной подставке с моделью пушки, очевидно именной подарок.

У стола — старинные стулья с мягкими кожаными сиденьями. Хозяин приглашает сесть.

— Чем могу быть полезен?

Стеффенс потонул в кресле — торчит только его бородка и очки, застланные бликами. За ними, как прежде, плохо просматриваются глаза.

— Наш хозяин артиллерист?..— Тонким перстом Стеффенс указал на пушку.

— Профессор артиллерии...— произнес тот и оглядел смеющимися глазами комнату.— Был... профессором артиллерии, был профессором... у богини войны.

— Был... в смысле того, что сейчас уже не является?

Профессор улыбнулся: у него, наверно, возникло желание разразиться тирадой, но он сдержал себя, почти сдержал:

— Я подал в отставку... вместе с моей богиней.

Теперь над креслом поднялись две руки, поднялись в нерезком движении, выражающем недоумение:

— В смысле того, что богом войны стал аэроплан?

Профессор возликовал:

— Нет, трехлинейная винтовка! Даже больше: обрез. Знаете, такое бревно с самоварной трубой...

Стеффенс не сразу уловил иронию:

— С трубой?

— Да, самоварной. Разве не понятно?..

Пауза.

Стеффенс смотрит по сторонам. Видит портрет в темной, мореного дуба раме. Время затенило портрет, но седые усы с подусниками и эполеты с пышной бахромой, расчесанные едва ли не так же тщательно, как подусники, не в силах затенить даже твердая копоть десятилетий.

— Профессия артиллерист в вашей семье преемственна?

Профессор вздохнул:

— Да, предки.

— Предки?..

— И потомки.

Стеффенс захрустел пальцами.

— Сыновья?..

Профессор протянул руку и сдвинул с места чугунную пушку. Там, где стояла она, глянул кусок новой клеенки.

— Два сына...

— Они с вами?

Рука с зелеными венами пододвинула пушку на прежнее место.

— Младший командует красной артиллерией на Волге, старший... осенью взят ЧК и, кажется, расстрелян.

Руки Стеффенса упали.

— Он кто был? В том стане?..

Профессор продолжал смотреть на пушку.

— Эсер...— Он уперся взглядом в пушку, точно хотел ее сдвинуть вновь, на этот раз глазами.— Господи, словото какое... нерусское...

И опять профессор вел нас через зеленую полумглу, разгребая худыми руками скрипучие листья:

— Вырублю все... вырублю...

Потом мы ехали через Москву-реку, и Стеффенс остановил машину у моста. По льду, синему, истончившемуся, ветер мел сухой снежок — тонкая линия располосовала лед наискось.

— Раскололось... вы взгляните только, как раскололось!..

Стеффенс смотрел на полосу льда, на снег, на реку, но не о реке он думал в эту минуту, не о реке:

— Раскололось!..

Я заметил: в эти два дня он не произнес ни единого слова, которое бы точно определило его взгляд на то, что он увидел в Москве.

Вечером у Чичерина была очередная встреча с Булли-

том. Американцы уехали из Наркоминдела в седьмом часу (они спешили в Большой театр на спектакль), уехали все, за исключением Стеффенса. Он позвонил мне и попросил разрешения зайти.

— Не смог бы я воспользоваться вашей любезностью... Нет, я займу у вас не больше четверти часа.

Я согласился.

— Да, переговоры начались...— произнес он, входя, произнес так, будто хотел всего лишь заполнить паузу. Казалось, что его ум занят бóльшим, неизмеримо бóльшим, чем то, что явилось поводом для его приезда в Россию.— Шел сюда и вспомнил Петроград в июле семнадцатого года. Помню особняк и балкон, оплетенный фигурным железом. Ленин говорил, а мимо шли толпы. Они останавливались, слушали и шли дальше, а на их место приходили новые.

Казалось, Стеффенс сказал все, что хотел сказать, и, откашлявшись, поднялся.

— А, наверно, нелегко отцу, когда сыновья вот так вдруг становятся лицом к лицу... врагами?

Он ушел.

Я так и не уразумел, это ли он хотел мне сказать или нечто иное.

Потом в коридоре послышались шаги. Открылась дверь — Чичерин.

— Вот хорошо, что я вас застал!..

Вошел в комнату, приблизился к журнальному столику, без видимого интереса развернул газету, бросил:

— Этот ваш... Стеффенс просится на прием к Ленину. Хотел бы, чтобы приняли его, только его... Что это значит?

Чичерин ушел.

В самом деле, что это могло бы значить?

Стеффенс не хочет, чтобы его смешивали с другими. Есть миссия Буллита — государственная. И еще есть Стеффенса — человеческая.

Нет, это не одна миссия, их две.

И человека два.

Двое.

Буллит понимает это не хуже нас. А лояльность Буллита?.. Это не столько суть его, сколько линия поведения. Старая истина гласит: «При всех обстоятельствах не лишай себя привилегии казаться доброжелательным».

И вновь неспокойные мысли обступают меня.

...Оркестр закончил вступление, и взвился занавес. Розоватый сумрак (на сцене рассвет) уже осветил сидящих в зрительном зале. Лицо Буллита, его округлые щеки, его нос, разделенный на кончике едва заметной бороздкой, его глаза с дрожащим левым веком (оно подергивается сейчас: что-то вспомнил и затревожился) точно покрыты маслянистой влагой и блестят больше обычного.

В ложу вошел Стеффенс и сел на свободный стул во втором ряду. Буллит обернулся к нему, улыбнулся сочувственно.

— Боже, когда вы отдыхаете?..— Он явно испытывал неловкость, что позади него сидит Стеффенс.— Я смотрю на зал и думаю, что этот театр является клочком сухой земли в городе, затопленном водой революции... Вы видели толпы людей у входа? Как они ломились сюда!.. Будто здесь и только здесь их спасение...— Он помолчал, испытующе глядя на Стеффенса.— Прежде человек в своих мечтах стремился переселиться в будущее, теперь — в прошлое. Прийти в театр, чтобы переселиться в мирное время. Вы заметили, как зовут здесь прежние времена: мирное время...

Буллит умолк ненадолго.

— Вы взгляните только на эти лица... вы взгляните... Прав я?

А Стеффенс действительно смотрел на лица сидящих в зале. Их взгляд был устремлен дальше сцены... Что выражал он? Очевидно, театр был для этих людей клочком земли обетованной, здесь они говорили с будущим... Все хотят говорить с днем грядущим, но для них он больше, чем для нас... Больше?

Два человека смотрели в зрительный зал. Что они хотели увидеть в нем и что видели?

И у одного и у другого была перспектива встречи с Лениным. Как сложатся эти беседы? Миссия одного была государственной, миссия другого — человеческой. Кто знает, какая из них важнее и ответственнее.

Двумя днями позже стало известно, что Ленин принял Буллита.

Ленин изложил ему позиции молодой Советской Республики. Да, прекращение военных действий на всех фронтах, войска интервентов должны быть выведены из пределов России и прекращена помощь антисоветским правительствам. Это главное. Все остальное — царские долги, торговля с Западом, правовое положение иностранцев, распределение продовольственной помощи, идущей из-за границы,— все остальное, как бы оно ни было важно, не может быть решено без решения проблемы главной.

На другой день утром раздался звонок от Стеффенса:

— Мне сказали, что вы будете присутствовать на моей беседе с Лениным...

Мы встретились в Наркоминделе в десять и пешком пошли в Кремль.

За ночь выпал снег и забелил крыши домов. Снег был мягким и, казалось, теплым; хотелось взять его в ладонь, сжать.

Стеффенсу было жарко в его тяжелой бобровой шапке. Он снял ее, подставил лицо солнцу.

— Когда мы уезжали из Парижа, там на улицах продавали мимозы... А через месяц обещали сирень... Но вот и в Москву пришла весна...

— Сирень у нас будет в конце мая,— сказал я.— Может быть, даже в июне.

Он оживился:

— Да, в июне я видел в Петрограде сирень. Очень хорошо помню, где-то в садике, за чугунной оградой, кажется, на Миллионной... Есть такая улица в Петрограде?

— Есть.

Мы поднялись на Красную площадь и пошли к Троицким воротам.

— А верно, что после покушения Ленин стал еще непримиримее в своей решимости отстоять...

— Что?

— Революцию...

— В этом у него не было недостатка и прежде.

Мы только что минули Троицкие ворота, когда далеко впереди возникла характерная фигура Ленина. Видно, у него была деловая встреча где-то в ином месте Кремля: в руках Владимира Ильича я увидел легкую папку, которую он нес, прижав к груди. До встречи с Линкольном Стеффенсом оставалось минуть десять — пятнадцать, и Ленин заметно спешил. («А он еще одет по-зимнему,— подумал я.— Но скоро сменит пальто с шалевым воротником и шапку-ушанку на демисезонное черное пальто с плюшевым воротником и кепку с широким матерчатым козырьком — верх кепки он забирает назад».) Он шел, приподняв левое плечо: после ранения он по-особому, осторожно и как-то неловко, держал это плечо. Он шел рядом с тропкой, приминая неглубокий снег,— редкая возможность походить прямо по снегу.

— Ленин? — спросил Стеффенс и остановился пораженный.

— Да, Ленин...— сказал я.

Точно уговорившись, мы молча наблюдали, как Ленин приближается к входу в здание. Быть может, ему удобнее было войти в здание одному.

Теперь мы идем медленнее, и мысленно я провожаю Ленина. Он уже поднялся к себе и снял пальто. Достал платок и вытер вспотевший лоб — слабость. Вызвал секретаря и торопливо сел за стол — надо успеть подписать бумаги до приема,— все, что можно сделать сию минуту, откладывать не следует.

— Этот американский литератор, Линкольн Стеффенс... уже пришел?

— Должен быть с минуты на минуту, Владимир Ильич.

— Как только придет, скажите...

Мы ненадолго задерживаемся в комнате ожидания.

— Да, да, Владимир Ильич вас уже ждет.

Едва приметив нас в дверях, Ленин поднимается и быстро идет нам навстречу; его лицо еще хранит прикосновение ветра, щеки подрумянены, и ресницы влажны,— наверно, когда шел по снегу, смотрел на солнце.

— Здравствуйте... здравствуйте...— Он протягивает руку и указывает на кожаные кресла у письменного стола.— Я знаю, что вы бывали в России прежде. Какой вы нашли ее теперь?

Ленин пошел к столу.

Мне казалось, что Стеффенс тщательно обдумал вопросы, которые он предполагал задать Ленину, давно обдумал и все-таки волнуется. Стеффенс достает блокнот и кладет его на стол, извлекает карандаш и пододвигает его к блокноту, подвигает осторожно, будто соприкосновение карандаша и бумаги небезопасно. Ленин смотрит на него, прищурив глаза, и улыбка — как мне кажется, ироническая улыбка — тронула его губы. «Ну, ну, будет мешкать, решайтесь»,— точно говорит Ленин.

Признаться, и я затаил дыхание: как себя обнаружит Стеффенс в эту минуту, которая, больше чем любая иная минута за все время его пребывания в Москве, может быть названа кульминационной? Именно сейчас должны заговорить и немые глаза и сомкнутые уста, все недоговоренное, а может, и вовсе не сказанное должно быть высказано в эту минуту. То многое или, наоборот, немногое, что мы знали об этом человеке, должно обрести истинную цену сейчас.

Стеффенс перевернул страничку блокнота и заговорил. Да, он пытался сформулировать свой вопрос. Он спрашивал, намерена ли революция продолжать репрессии против своих врагов.

Ленин встал.

— Это вас беспокоит? — спросил он, выделяя «вас».

Я взглянул на Стеффенса: у него хватило сил поднять глаза.

— Не только меня...

Ленин зашагал по комнате.

— Кого может тревожить это?

— Париж..— сказал Стеффенс изменившимся голосом.

— Париж! — воскликнул Ленин и шумно двинулся по комнате.— Хотите ли вы сказать,— произнес Ленин, не останавливаясь,— что те самые люди, которые только что организовали убийство семнадцати миллионов человек в бессмысленной войне, теперь озабочены гибелью нескольких тысяч во время революции? Это вы хотите сказать?..

Ленин шагал по комнате, а в кадке у стола вздрагивала и мелко трепетала твердыми листьями пальма.

— Если мы хотим победы революции...— сказал Ленин, остановившись у кресла Стеффенса; отражение фигуры Ленина легло на кафель позади.— Если мы хотим, мы должны знать, что революция не делается в белых перчатках...

Ленин вернулся на свое место. Лицо стало теперь бело-желтым. Он сидел, положив на стол руки. Казалось, что даже сердце уже унялось, а руки не могли успокоиться, им это было не под силу.

Ленин возобновил разговор не без труда, голос его был едва слышен. Он говорил, как победила революция в России, как она сплачивала народ, сколько терпения и мужества проявила новая власть, стремясь склонить на сторону народа нетрудовые слои населения, и чем закончились эти опыты... Гуманность была принята за слабость, терпимость — за малодушие.

— А об остальном вы знаете...— произнес Ленин.— Революция имеет право карать своих врагов... чтобы жили миллионы.

Стеффенс пристально смотрел на Ленина. Странное дело, но на лице Стеффенса я не прочел ни смятения, ни тем более несогласия. Наоборот, он был благодарен Ленину, что разговор, который начался столь бурно, не оборвался, не осекся на полуслове, появилась надежда его продолжать.

— Хорошо,— сказал Стеффенс,— предположим, вы действуете во имя большинства, но Россия — это прежде

всего многомиллионное крестьянство. Дали вы крестьянам землю? Как серьезно вы улучшили положение деревни?..

Ленин взял лист писчей бумаги и мягкий карандаш.

— Вот наш курс в крестьянском вопросе...— произнес Ленин и провел прямую; он любил писать мягкими карандашами, и линия получилась жирной.— Вы хотите знать, где мы находимся теперь? — Ленин сместил карандаш в сторону от прямой.— Вот где мы находимся... Как вы понимаете, мы вынуждены были прийти сюда,— он измерил кончиком карандаша расстояние от первой линии до второй,— но наступит время, и мы вернемся к нашему курсу...— Ленин внимательно посмотрел на Стеффенса.— Главное — что мы знаем, на каком расстоянии мы сейчас находимся от основного курса, а следовательно, точно представляем, когда и как вернемся к нему.

Он пододвинул свой стул с плетеным сиденьем ближе к кожаному креслу Стеффенса (он делал это, когда у него устанавливался контакт с собеседником) и заговорил убедительно:

— Важно понимать, что это не отход от принципа, а временная мера, продиктованная войной...

Мы возвращались со Стеффенсом из Кремля.

Небо потемнело, падал снег.

...А вечером я был у Ленина вновь.

Казалось, что разговор со Стеффенсом происходил не сегодня: Ленин говорил на разные темы, много шутил и ни разу не вспомнил утреннюю беседу. И только перед самым моим уходом он вдруг дал понять, что все помнит.

— Знаю я вас... дипломатов,— произнес он, улыбаясь.— Вот был здесь у меня с иностранцем один ваш коллега. Сидел как на иголках, все опасался, как бы я не сказал чего лишнего! — Ленин встал и от удовольствия потер руки.— Уж он и краснел и бледнел... Очень тревожился, что я скажу все напрямик и испорчу дипломатию... Представляю, как он крестил меня про себя: ах, не дорос Ленин до истинной дипломатии!..— Он крупно зашагал по комнате, остановился в ее дальнем конце, про-

изнес строго: — А ему невдомек: прямой разговор часто полезнее этой вашей... карусели. Правда лечит души...— Он посмотрел на меня пристально.— Кстати: Стеффенс... Поймет он нас, а? Поймет новую Россию?..

Он поднимает на меня глаза. В них — вечно бодрствующая мысль.

— Дипломат?.. Вот вчера я говорил Чичерину: нам нужна новая дипломатия. Какая?.. Способная идти на бой с врагом, идти самоотверженно, с сознанием, что дело твое единственно правое... Да, способная храбро сражаться за наши идеалы и собирать силы. Собирать!.. Все лучшее, что есть там, все честное, деятельное отвоевать у того мира... Правдой нашей отвоевать, правдой! — Он внимательно посмотрел на меня.— Ведь правда, Дмитрий Дмитриевич, у нас! А чего только человек не может сделать, когда на его стороне правда...— Он задумался, встал вдруг, быстро зашагал по комнате, остановился.— А к нам придут за честностью, за разумом, за жизнью светлой, за счастьем, в конце концов... Человек зрел. Он понимает: только наша правда может сделать его счастливым...

В начале апреля американцы уезжали из Москвы.

Пасмурные сумерки медленно заволакивали город, с минуты на минуту должны были зажечься электрические огни; все вокруг было сумеречным, затененным, светились только рельсы да островки неяркого весеннего снега между ними.

Буллит стоял у окна вагона. Он был мрачен, хотя, казалось, миссия удалась — позиции сторон были определены; думалось, соглашение возможно. И все-таки было нечто иное, может быть, даже большее, чем переговоры в Москве, что отравляло настроение Буллиту.

Раздались три урочных звонка.

К окну подошел Стеффенс. Он увидел меня и медленно поднял руку.

Поезд ушел до того, как на перроне зажглись огни.

Я видел, как движется поезд и два человека стоят у окна и смотрят на вечерние поля.

А мимо идет Россия, заснеженные поля с темными пятнами оттаявшей земли на буграх, овраги, заполненные тьмой, увалы, перелески, деревни, долгие, как перелески, и, как перелески, темные, без огней.

Буллит смотрит на поля, на неоглядные поля и леса... Нет, дело даже не в переговорах. Чего-то он не увидел в Москве такого, что хотел увидеть, а что-то увидел зримо, как видят явь. Что именно? Новую Россию, решившуюся стоять насмерть.

И Стеффенс смотрел на необозримые просторы, что медленно проплывали рядом...

Два человека стояли во тьме и молчали. Да, да, посреди огромного, покрытого наледью русского поля, которое сейчас пересекал поезд, стояли два человека и молчали.

А за окном была Россия. Апрель. Девятнадцатый год...

Вот так мысленно я провожал Стеффенса до Парижа. По моим расчетам, он должен быть там еще до середины апреля,— кажется, в эту пору в Париже зацветает сирень...

Я мысленно провожал Стеффенса, и одна мысль волновала меня: как откликнется Стеффенс на поездку в Москву, верно ли он поймет жизнь нашу, такую нелегкую и сложную в эту весну девятнадцатого года, советских людей, которые хотели быть и были очень искренними с ним, и, наконец, Ленина, напряженный и все-таки глубоко откровенный разговор с которым не мог не взволновать Стеффенса...

Потом пришла телеграмма, из которой я понял: Стеффенс уже в Париже, и сообщение, короткое сообщение, но в нем было все, что так волновало меня. Стеффенса встретил в Париже Бернар Барух, тот самый Барух, экономист и финансовый магнат.

«Так вы съездили в Россию?»— спросил Стеффенса Барух.

«Нет,— ответил Стеффенс.— Я ездил в будущее, и оно прекрасно...»

Думал ли он тогда, что на многие годы, которые ему предстоит прожить, эти несколько слов станут для него формулой надежды: «Я ездил в будущее...»

ВЕРА

Г. Б. Краснощековой

Ветер с юго-востока, и небо над Москвой серо-белесое, пропахшее пылью. Все обесцветила и перекрасила пыль: и небо и землю. От этой пыли высоки и неистово красны вечерние зори. Заволжское солнце сожгло поля. Может, и ветер с тех полей и пыль?

Она позвонила мне уже за полдень.

— Господин Рыбаков? — Моя фамилия, в которой соединились страшные для американцев «р» и «ы», была преодолена сравнительно легко.— Не были бы вы так любезны меня принять. Я Бесси Битти.

— Простите, я не ослышался? Бесси Битти? «Красное сердце России»?

Она рассмеялась:

— Именно «Красное сердце».

Да, это была Бесси Битти, автор книги «Красное сердце России». Ну конечно, та самая Битти, что говорила с Лениным в памятный новогодний день в манеже.

Кто-то рассказывал мне о ней: кажется, аристократка, и отнюдь не оскудевшая. Вряд ли ее привели в Россию убеждения, скорее поиски необычного. Но здесь, в России, Битти вначале встревожилась, потом сникла, потом воспрянула и уехала, исполненная желания сделать нечто доброе. Ее книга «Красное сердце России» не во всем верна. Но книга дружественная. В семнадцатом Битти было тридцать, сейчас тридцать три.

— Простите, я могу быть у вас сегодня? Это, кажется, рядом со мной...

...В дверях стоит женщина. В ее улыбке и радушие и милая кокетливость.

— А в Нью-Йорке тоже жарко. Именно жарко, а не знойно. Влага проникла во все поры города. Бедные мужчины! Не успевают менять сорочки: три сорочки в день!

Она произносит эти несколько слов и смотрит на меня: сумела ли она дать представление о том, как жарко в Нью-Йорке? Я молчу, что-то не очень хочется продолжать этот разговор о жаре. Три сорочки в день! Они так богаты, что перестают замечать это.

— Я все знаю! — грозит она мне пальцем.— Мне сказали мои русские друзья, что во вторник вы отправляетесь на Волгу. Да, да, агитпароход «Сара...», «Сарапу...».

— «Сарапулец»,— спешу ей на помощь.

— Вот видите, я все знаю. А Калинин? Это верно? Нет, нет, я не спрашиваю. Я только хочу знать, не могла бы я рассчитывать на благоприятный ответ, если бы...

Поезд идет уже степями. У окна сидит Калинин и смотрит в степь. Он крестьянин, он все понимает. Хлеб убран, и степь обезлюдела, тревожно обезлюдела. Сиротливо стоят скирды соломы — две-три на каждый ток.

— Взглянешь на эти скирды и все поймешь,— говорит Калинин.

Битти неотрывно следит за Калининым. Это, наверно, профессионально для газетчика: все, что лежит в поле зрения, изучать строгим, испытующим взглядом.

— Правда, что его имя назвал на пост президента Ленин?

— Правда.

— И-е-е-с!

Трудно сказать, что означает это «И-е-е-с!», в какой мере оно доброжелательно. Мне кажется, все-таки доброжелательно. Почему ее прибило к нашему берегу? Во многом этому, наверно, способствовал характер. Ей нравится казаться необычной. Путешествие в Россию для людей ее круга больше чем необычно. В день переворота Битти находилась в Петрограде. Говорят даже, что была вместе с Ридом и Вильямсом в момент штурма Зимнего и вела се-

бя храбро. Может, и в этом сказалась жажда необычного? Возможно. Однако виденное для нее не прошло бесследно. Что-то отслоилось в сознании. Сердце не заковано в панцирь, трудно надеть панцирь на глаза и мысли.

А поезд идет степями. Как-то странно, совсем не по-августовски пустынны поля. Поезд неожиданно останавливается на полустанке: то ли ждет встречного, то ли запасается водой.

Калинин выходит из вагона. На нем сапоги, полотняная рубашка с отложным воротником. Он снимает очки, неторопливо начинает протирать. Протерев, надевает, смотрит вокруг, щурится. Приметив Калинина, к нему приближается старик в кубанке. Брюки его заправлены в шерстяные носки, рубашка без пояса. Он не доходит до Калинина нескольких шагов, останавливается.

— Никак... Калинин, Михаил Иваныч?

— Я.

Старик делает еще шаг.

— Вот я гляжу...

Но Калинин уже двинулся к нему.

Поезд ждет встречного, ждет минут сорок, и все это время два человека стоят поодаль и смотрят в степь, а глаза у них странно пасмурные, будто набрались они хмари у самой степи.

Только теперь я вижу рядом с собой Битти. Она стоит с раскрытым блокнотом в руках и молча смотрит на людей, что тихо беседуют у края степи, смотрит, и карандаш беспомощно повис над блокнотом, как слово на раскрытых губах.

Она дожидается, пока Калинин вернется к вагону.

— Могла бы я спросить вас? — поднимает Битти карандаш.

— Да?

— О чем вы говорили с этим человеком?

Калинин останавливается, снимает очки, пристально смотрит на Битти.

— Он сказал мне: «Михаил Иваныч, я знаю, с чего начинается голод. Будет голод, какого никогда не было...

и тысячи тысяч...» Я сказал: «Сегодня у нас нет столько сил, чтобы совладать с бедой, сегодня. Но мы идем к тому, чтобы Россия никогда не голодала, мы идем к этому». Он сказал: «Не верю. Мне семьдесят с гаком, и, сколько я себя помню, всегда был голод. Да иначе и быть не может! Нет столько солнца у бога, чтобы согреть всю землю, нет столько влаги, чтобы ее напоить, нет столько снега, чтобы укрыть всю ее. Укроет с одного края, сдвинет одеяло — и оголит другой край. Нет столько силы у бога».—«У него нет, у нас будет».—«Дай вам бог». Вот так-то и поговорили.

Где-то уже за Тамбовом, в открытой степи, затянутой вечерней мглой, у развилки дорог расположился табор. Горел костер, и ветер гнал тяжелые клубы дыма у самой земли: очевидно, солома была влажной. Люди сидели у костра и смотрели на огонь. Там были и мужчины, и женщины, и много детей. Рядом шел поезд, но никто не поднял головы. Насущнее того, о чем шла речь у костра, не было ничего. На остальное не оставалось ни глаз, ни слов. О чем же могли говорить люди у скрещения степных дорог? Куда держать путь: на запад, на некогда хлебную Украину, или на юг? Еще одно непонятное имя стало близким: хлебные края начинаются в Тихорецкой. Да, Тихорецкая — тихая река, тихая реченька. Если повторять это имя бесконечно, то одно оно может вызвать у ребенка мираж о горячем хлебе и парном молоке. Тихорецкая — тихая река, тихая реченька... А какая она на самом деле, эта Тихорецкая?

Мы находимся в пути уже второй день, и Битти заметно посуровела. Что-то задумчивое осело на донышке ее глаза. Битти оделась в дорогу, как на прогулку. Вначале с нее слетела шляпка, ее сменила косынка — самая обычная косынка из кремового сатина. Битти повязывает ее низко, до самых бровей. Потом блузу заменила куртка, простая и непритязательная, а клетчатую юбку с бретелями — темная юбка от осеннего костюма. Единственное, чего она не могла заменить,— это туфелек, но банты на них... кажется, вспорхнули и исчезли бесследно.

По каким-то признакам мы чувствуем, как приближается к нам Поволжье, а вместе с ним и большое горе, которое вон как привольно разлилось на его землях и водах. В уже по-осеннему сухой листве, в блеске паутины, в движении пыли, которая вдруг горой встает над степью и закрывает полнеба, горой черной, бурой или зловеще багровой, во всем стоит беда. И какой панцирь может уберечь глаза и сердце человека от того, что стало сегодня в этой степи самим запахом земли и неба?

В вагоне нет света. Иногда дым застилает окна, и становится еще темнее.

— В ту ночь я была в Петрограде...— вдруг произносит Битти: все, что она хочет сказать, у нее возникает вдруг, вне связи с тем, что говорилось только что, по крайней мере так кажется людям, сидящим с нею рядом.— Я вошла в Зимний вслед за солдатами. По парадным залам дворца вели человека в черной паре. Он показывал на обнаженную лысину и просил послать кого-нибудь за своей шапкой. Наверно, солдатам было смешно, что в эту минуту человек думает не о голове, а о шапке, но кричали вполне заинтересованно: «Шапку!.. Надо принести шапку! Человек может простудиться! Шапку!» А высоко, почти под стропилами крыши, там, где были комнаты для прислуги, стоял солдат и смотрел в окно. Я спросила его, о чем он думает. Я люблю задавать этот вопрос. Он протянул руку в ночь, за Неву. «Видите,— сказал он.— Это Петропавловская крепость». Я спросила его еще раз, о чем он думает. Он сказал: «О России. О новой России, которую мы построим, хотя на этой земле были Зимний дворец и Петропавловская крепость». Тогда я подумала: «Больше того, что они имеют, им ничего не надо, решительно ничего».

Нет, не все, что говорит она, возникает в ней неожиданно. Многое определено ее способностью видеть.

Вечером мы сидели с Битти на песчаном откосе и ждали парохода. Поодаль у желтой волжской воды стоял Калинин и смотрел в степи Заволжья.

— Я вот о чем думаю,— говорит Битти, указывая

взглядом туда, где стоит Калинин. С какого-то времени эти строгие тона стали заметнее в ее голосе.— Я думаю, нет обязанности сегодня тяжелее, чем быть большевиком.

В полночь пароход отчаливает.

На заре он останавливается у дальнего края большого села. Село стоит на круче. Бьют в колокол. От его могучих ударов, кажется, гудит и колышется сама земля. Площадь черна от людей, точно сами коричнево-сизые степи втекли в нее.

— Собрать силы и засеять землю... Наше завтра... дети наши.

Недвижима и тиха площадь, лишь глаза горят, накаленные изнутри, да редко-редко выкатится слеза и побежит по щеке торопливой змеистой стежкой.

Только выехали из села — под бугром, у степного колодца, толпа. Махонький попик в блеклой, потертой рясе читает молитву. Он читает ее воодушевленно, глаза обращены к небу:

— Смилуйся, господи, мы рабы твои!

И, упав коленями в пыль, на сухую землю, толпа глухо вторит:

— Смилуйся, господи... не обессудь рабов твоих...

Калинин выходит из машины, останавливается поодаль, сняв картуз. Молча и печально-строго смотрит на молящихся. Не прерывая молитвы, попик поднимает молящихся и идет к селу. Он оставляет их на дороге, торопливо подходит к Калинину. Его глаза горят недобрым огнем.

— Вот... вот...— тычет он крестом в растрескавшуюся землю.— Разгневили господа... Ничем не отвратить кары... ничем... кары...

Калинин бледнеет. Он снимает очки. Я заметил: это он делает в минуты волнения. Рука его дрожит. Наверно, ему хочется сказать попу нечто беспощадное: «Не юродствуйте!» Но он смиряет себя.

— Уходите,— говорит он едва слышно,— мне стыдно за вас. Уходите.

Поп вздымает руку с крестом и бежит к толпе. Время

от времени он останавливается и, ухватив обеими руками крест, машет им. Трудно понять этот жест. То ли он грозит небу, то ли призывает его на помощь.

Пароход идет всю ночь. Вода кажется черной и парной, точно земля, вспаханная по весне. И, точно тяжелые ломти земли, взрезанные лемехами, ложится вода за винтом.

— А ведь это мужество... истинное мужество,— произносит Битти, глядя на черную воду,— вот так подняться перед голодным селом на трибуну и заговорить о завтрашнем дне. Вы понимаете — завтрашнем! — Она умолкает и смотрит вперед.

Берега затянуло тьмой, но в сумеречном свете безлунного неба нет-нет да глянет откос, склон взгорья, открытое поле, спокойно спускающееся к воде.

Она говорит, а поля светлеют, светлеют. Они мне не кажутся сейчас такими пустынными, эти приволжские степи! Будет же день, когда засуха навсегда отступит от этих земель, навсегда отступит. Всматриваюсь во тьму: кажется, вижу белую рубашку Калинина. Он тоже смотрит туда, где легли степи Заволжья. Наверно, думает о том же...

Почти в полночь пароход ненадолго останавливается у песчаной косы. Ветер с Заволжья. Пахнет пылью и дымом: горит трава в степи. От берега стремится огонек. Нет, не лодка, а именно огонек, одинокий и мерцающий, точно слабый блик на воде. Огонек ближе, ближе и вот он уже под нами, на черной, задумчиво шумящей воде. На борт поднимаются три человека: старик в брезентовом плаще и ушанке, парень в буденновском шлеме и в ботинках на босу ногу и девушка, почти подросток, в солдатской гимнастерке.

— Мы как Помгол, Михаил Иванович...— говорит девушка воодушевленно, очевидно не замечая, что слова не такие уж веселые: Помгол — комитет помощи голодающим.

— Погоди, Фрося,— говорит старик и начинает что-то обстоятельно объяснять Калинину.

Только парень молчит, охватив загорелыми руками грудь, спрятав подбородок; молчит, зубы стучат — озяб.

Калинин протягивает руку.

— Там ваше село?

— Правее, Михаил Иванович,— поправляет старик.— Точно за мысом.

— Так,— говорит Калинин и долго смотрит во тьму.

Наверно, видит село, все село, над которым встала беда. Видит большие и малые семьи. В этот поздний час они собрались, как бывало, за столом. Небогатый ужин окончен, но никто не встает. Невеселая дума одолела всех. Видит мужиков. Никогда забота о доме, о семье, близких не казалась им такой несказанно большой, как сегодня. Вот они вышли сейчас под звездное небо и молча стоят во тьме посреди база, у гумна, на краю огорода. Кажется, отсюда рукой подать и до беды и до радости. Наверно, видит Калинин и ребят, которых сон свалил до того, как они успели поесть.

Все село видит Калинин.

— Значит, там село?

— Там, Михаил Иваныч, за мысом.

Потом Калинин говорит:

— Ехать? Ну что ж, можно ехать, да только не навстречу смерти. У голода нет глаз. Пусть спросят дорогу к хлебу. Хлебных дорог все меньше. Ребятишек бы спасти — вот забота, а по весне засеять поля. Все силы собрать, а обсеменить землю. Эх, столовую бы на каждое село! Были бы сыты дети.

— Мы как Помгол, Михаил Иваныч...

— Остановись, Фрося!

Девушка умолкает. Смотрит немигающими глазами на Калинина, потом говорит:

— Мои уехали еще в том месяце. Все уехали, а я — нет. Я к самой беде припаяна.

А паренек молчит, только глаза светятся, обращенные на Калинина. В них и мальчишеская покорность и готов-

ность... Только бы глазом повел этот человек, и парень готов на все...

— Падать духом нам никак невозможно,— говорит старик. Сейчас он должен произнести нечто такое, что выстрадало в нем давно и прочно легло в сознании.— Вот расскажу я вам случай из жизни...— Он смотрит на воду, точно она, только она и может напомнить этот случай.— Тот раз, по весне, когда у нас было худо, дочка моя совсем собралась помирать. Приехал я со степу, а она уже лежит... ноги под себя подобрала, молчит, глаза синим дымом заволокло, а я-то знаю, что это за дым. Внучек вокруг бегает, тормошит: «Маменька... мам...» — а она молчит. Смотрит и молчит. Человек я смирный, а тут меня такая злость взяла: застучал я ногами, замахал руками, на внука ей тычу: «Сердце у тебя есть, бессовестная? На кого ты его кидаешь? Умереть и мне сейчас всласть, а не должен! Встань, говорю тебе!» Что вы думаете? Собрала где-то остаточек сил и встала. Я ее своей злостью отходил, застращал и засовестил. Нет, я знаю: падать духом нам невозможно. Падем духом — погибнем.

Ночью причалили к селу. По пологой горе оно спускалось прямо к Волге. Долго шли широкими и пустынными улицами. Вышли на площадь. В большом доме под цинковой крышей свет. Постучали.

— Кто там?

— Вот приехали из Москвы. Калинин...

— Калинин? Я тотчас...

Голос осекся. В окнах колебнулся свет. Большая тень вошла в комнату и растеклась по стенам. Потом упал засов. В дверях с керосиновой лампой в руках стоял человек, непомерно большой и, как мне почудилось, с оплывшим лицом — прорези глаз почти сомкнулись.

— Да, председатель здешнего Помгола. Сельский житель... Нет, не агроном, педагог.

— Телефон есть?

— Да.

— Как связаться с Москвой? Через Царицын или Саратов?

— Царицын.

Мы сидим у керосиновой лампы, ждем Москву, и наш хозяин, точно извиняясь за себя, говорит:

— Как будто и не голодал, а превратился бог знает во что. Нет, рука у голода не костлявая...— Он едва удерживается, чтобы не протянуть свою опухшую руку.

Калинин хмуро глядит на хозяина:

— Но как могло случиться, что председатель комитета распух от голода? Сейчас все-таки не весна... Вы такой один на все село?

— Один, Михаил Иваныч.

— Почему же так?

Председатель пробует улыбнуться, но улыбка получается странно жалкой: оплывшее лицо потеряло подвижность.

— Мне при моей фигуре пайка мало, Михаил Иваныч, а на добавку я не имею права.

— Но вы ведь больны?

— Если все умирают, умру и я.

— Умрете раньше.

— Ну что ж, умру раньше. Я пришел в революцию волонтером.

— На тот свет тоже... волонтером?

Председатель садится на краешек лавки. Пододвигает кисет и непослушными пальцами пытается нацедить махры. Но пальцы дрожат, и махра просыпается на пол.

— Мне уже поздно менять характер, Михаил Иваныч,— говорит он, пытаясь запалить козью ножку над стеклом керосиновой лампы.

Все молчат. Остро пахнет махорочным дымом.

Звонит телефон. Это за стеной. Калинин идет туда. Из-за толстой стены голос едва пробивается. Москва. Председатель положил на край стола непогашенную цигарку — над ней недвижимо стоит дым: кажется, что люди, заполнившие комнату, перестали дышать.

— Семенная рожь, семенная. Фунт с собранного хлеба? Каждый уезд... каждый?.. Вагоны... вагоны?.. Саратов?.. Батраки?.. Сызрань?.. Да... да...

Эти слова, такие разрозненные и тревожные, рисовали картину бедствия. Где-то в этой дремучей ночи были приведены в движение большие силы: под мигающим светом керосиновых фонарей тысячи людей держали совет, невидимая, но сильная рука гнала на восток вагон за вагоном, состав за составом, и всё, что имело голос, и то, что было от природы безъязыким, вопило: «Голод... голод...»

А за стеной теперь говорил Калинин, рассказывал, и там, далеко-далеко, кто-то встревоженный и внимательный слушал его.

Чтобы разговор был сокровенным, надо видеть глаза человека, с которым говоришь. Может, Калинин видел эти глаза, наперекор ночи видел, наперекор рекам, лесам и верстам, что легли в ночи.

— Да, верно, да...— отвечал Калинин едва слышно.

Щелкнул рычажок — Калинин положил трубку. Почти беззвучно открылась дверь, вошел.

Председатель поднялся со скамьи, встал что гора.

— Ленин, Михаил Иваныч?

— Ленин...

Казалось, вздрогнула гора.

— О хлебе?

— Да, о хлебе и... о вас.

— Что?

Тихо. Только слышно, как дышит председатель.

— Сказал: пусть честность всегда будет с нами. Всегда...

— Еще?

Калинин молчал.

— Сказал еще, что нужны волонтеры жизни, а не смерти.

Первый раз я видел, чтобы гора плакала.

А утром опять гудит колокол над Волгой, и людские реки медленно стекаются на площадь, и по дощатым, наскоро сбитым ступеням Калинин поднимается на трибуну:

— Россия будет самой богатой страной в мире, самой богатой, и никогда не будет у нас голода. Не будет никогда!

А приволжское небо в самом деле сместилось в Москву. Сухая осень, бело-белесое небо, желтые листья, пыль, все такая же солоновато-горькая, как на Поволжье.

Ленин принимает Битти в восемь.

Идем молча. Она привезла эту молчаливость и эту строгость с Волги. Ветер, как всегда, обдувает красную глыбу Исторического музея. Идем, преодолевая его напор.

Вот и Кремль.

Жестко, точно отвердевшая зыбь, отсвечивает брусчатка, и поэтому площадь кажется еще пустыннее, чем обычно.

Через площадь идет человек. Быстр и сосредоточен. Остановился, потом зашагал вновь.

— Владимир Ильич, это вы?

— Здравствуйте! Да, да, вышел под вечернее небо. До Тайницкого садика далеко, не успел бы. А вот здесь хоть и уныло, ни кустика, а все-таки небо.— Он смотрит на Битти, сощурив глаза.— Питер? Манеж? Нет, не забыл. Сестра как-то напомнила. Она была со мной.— Он смотрит на Битти внимательно.— Значит, все видели?

Битти заметно взволнована.

— Все... благодарю вас.

Мы входим в здание. Битти идет впереди, мы — сзади.

— Мне так кажется,— говорит Ленин, точно советуясь со своим раздумьем,— что и дипломат должен знать свой народ больше в беде, чем в радости...

Через час мы прощаемся с Лениным все на той же площади перед арсеналом. Он не теряет надежды еще сегодня вечером дойти до Тайницкого садика. Получасовая прогулка перед сном — нет лучшего средства от головной боли.

— Что передать Америке? — переспрашивает он Битти.— Так и передайте: мы не завидуем ей, даже в нашем нелегком положении. Она богата, мы бедны, она сильна, а мы еще очень слабы, она, быть может, даже сыта, мы...— Он умолк, сурово взглянул на небо.— Но у нас есть то,

чего нет у нее,— вера. А это даст нам все: и силу, и хлеб... много хлеба.

Прощаемся. Ленин идет через площадь к реке, мы — к Троицким воротам. У самых ворот я оглядываюсь. Далеко в неясном свете ночного неба видна фигура Ленина. Мне кажется, что он все еще во власти своих дум об Америке и России. Это я вижу по его шагу, необычайно молодому и быстрому. И удивительное дело: в своей стремительности он будто увлек за собой и землю и небо — вон как помчались ему вслед и деревья, согнутые ветром, и гонимые ветром облака...

И все мысли о нем, только о нем, о его и нашей вере, прекраснее которой нет ничего на свете.

ТРОПА

Вьюга стихла, и вечернее солнце высветлило город. Оно стояло невысоко, и от этого свежевыпавший, еще не тронутый ледяной коркой снег казался шероховатым.

— Я как лошадь, идущая чутьем к дому,— произнес Рид, когда мы поднялись по Тверской.— Все дороги у меня кончаются здесь.— Он указал взглядом на окна, освещенные закатным огнем.— Мой друг редактор, как всегда, полон сил.— Мне показалось, что он остановил глаза на окне с открытой форточкой.— Войдем?

Мы поднялись на третий этаж. Где-то внизу работала печатная машина, и большой дом редакции будто дышал.

Вход в кабинет охранял транспарант, неусыпно горящий: «Редактор читает полосы».

— Однако нелегко переступить этот предел!— Рид поднял смеющиеся глаза.— Но мы попробуем.

Плечистая фигура редактора газеты возвышалась над профессорской кафедрой — редактор берег сердце и предпочитал работать стоя.

— Какая полоса, Александр?— спросил Рид весело. Очевидно, с этой фразой он не раз вступал сюда.

И произошло чудо: лицо редактора, которое, казалось,

навсегда приняло выражение суровой решимости, оживилось.

— Послушайте, Джек.— Редактор отнял от мокрой полосы, лежащей перед ним, глаза, а вместе с ними и рыхлую, в красноватом овале бороду.— Вот тут мы соорудили анкету.— Редактор снял пиджак и, оставшись в жилете, закатал рукава.— Да, анкету: «Ваши планы? Ваш следующий шаг в жизни?» Если вас обстрелять такой торпедой,— как?

— Нет, вы безнадежны, Александр!— улыбнулся Рид.— Неужели вечер не вызывает у вас желания отдохнуть?

— Вечер вызывает у меня желание работать,— еще выше закатал рукава редактор.— Итак, ваш ответ? «Следующий шаг... Планы?..»

— Ну что ж, ответ так ответ!— воскликнул Рид воодушевленно.— Вот он: хочу быть куском набатной стали, в которую колотят во время пожара! Или лучше колоколом! Да, колоколом, но не тем, что в урочный час гонит рабов на молитву, взвиваясь и падая, как бич,— нет, хочу быть колоколом, что в полночь врывается под крышу дома грохотом тысячи мортир и зовет на бой... Хочу быть колоколом!

Редактор был человеком рациональным и не любил метафор.

— А в переводе на язык дела, Джек?

— Хочу написать книгу, вторую книгу о России, и напечатать там, хотя...— он задумался,— хотя понимаю, что в этот раз путь в Америку будет нелегким.

Из газет я уже знал: Пальмер, министр юстиции в кабинете Вильсона, возбудил судебное дело против Рида и требует его возвращения на родину. Видно, Рид решил явиться.

Мы покинули редакцию на пределе ночи.

— Вы сказали: «В этот раз путь в Америку будет нелегким»,— заметил я.

— Да, в этот раз еще более трудным, чем тогда,— подтвердил Рид.

Я вспомнил рассказ друзей Рида о том, как он пробирался из Америки в Европу.

Он плыл на торговом корабле и долгие дни, пока корабль пересекал Атлантику, стоял у топок.

Для товарищей по кораблю он был Джимом, в судовом журнале значился: Гормли, Джим Гормли. Корабль благополучно достиг Бергена, и Рид перекочевал на другое судно.

— Пальмер настаивает на вашем возвращении и отказывает в визе? — спросил я.— В его требовании нет логики...

— Как и во всем ином.

Тремя днями позже я узнал, что Рид уехал.

...Мартовский вечер с синими тенями на снегу.

Звонок из Кремля.

— Дмитрий Дмитриевич, я решил вас нынче не ждать... Нет, нет, помилуйте, такой вечер! Поедемте в Сокольники — нет под Москвой лучшего леса и лучшего снега. Мы с вами на снежной стежке все обсудим. Снег еще хорош...

Ленин любил Сокольники. В прошлую зиму там, на Лесной даче, жила Надежда Константиновна, и Ленин бывал там едва ли не каждый вечер.

И вот Сокольники, и в самом деле снежная стежка, кое-где обсыпанная хвоей.

— Вы помните, как объясняли прогресс Америки в том веке? — произносит Ленин и отворачивает меховой воротник пальто: мы идем быстро, и края воротника обнесло инеем.— Там собрались со всей земли самые предприимчивые, храбрые, вольнолюбивые, все, кого вгоняли в землю и гнули к земле...— Он пошел вдоль леса боковой дорожкой — из-за холма выглянула стайка деревянных домов.— Когда-то гонимые бежали в Свет Новый, теперь они повернули обратно. Впрочем...— Ленин обернулся, спокойно взглянул на меня:— А если еще и бегут туда, то лишь для того, чтобы вызволить из плена своих собратьев...

— Рид? — спросил я.

Ленин стоял сейчас рядом со мной, и его лицо, освещенное сиянием снежного поля, было хорошо видно мне.

— Да, если хотите, Рид,— произнес он хмуро.

— Рид отплыл в Америку из Петрограда,— заметил я и взглянул на Ленина: его лицо оставалось сосредоточенно-печальным.— В бункере парохода.

— Да, в бункере, но остановлен в Або,— сказал Ленин тихо.

— Остановлен — значит, арестован?

— Одиночная камера городской тюрьмы в Або,— произносит Ленин все так же тихо.

— Обвинение — нелегальный въезд в страну? — спросил я.

— Нет, обвинение много серьезнее...

Он остановился и суровым взглядом окинул лес. Лес был тих, как нерушимо спокойными были небо над нами и поля, лежащие за лесом. Казалось, века, пронесшиеся над этим лесом и полем, спрессовали тишину, обратили ее в камень. Поэтому она так тверда. Если бы тревога, которой полнится и горит сердце, способна была взломать эту тишину, то как бы вздрогнуло и загремело небо!

— Что-то надо сделать теперь же,— произнес он едва слышно.— Надо...

Мы идем. Я слышу, как хрустит снег, схваченный вечерним ледком. «Надо сделать теперь же, надо...»

Весна пришла поздно, деревья стояли полуобнаженные, и только старая липа у храма Христа-спасителя, склонившаяся над водой, необыкновенно зелена в эту холодную пору. Она точно прилетела из теплых краев и припала к воде, чтобы утолить жажду и полететь дальше.

Ранний вечер.

— Товарищ Рыбаков? Я вам уже звонил дважды... Это я... Опознали? — Однако нелегко узнать голос редактора, того самого, с бородой лопатой, читающего полосы за профессорской кафедрой.— Сегодня вечером в редакции будет совершенно неожиданно американский делец, друг Ливерайта...

— Это какого же, издателя Рида?

— Да, именно того Ливерайта! Снаряжен доброжелателями Рида в Европу, в известном роде председатель комитета по спасению Джона Рида, писателя и героя мексиканской войны. Очень колоритен, борода пошире моей... Призван поднять в защиту Рида прессу. Предки из Полтавы, говорит по-русски, но без вас нам не обойтись — Америка.

— Он был в Або?

— По-моему, был.

И вот кабинет редактора.

Полосы на кафедре. Стакан с чаем на донышке, очень крепким. Очки в металлической оправе, лежащие дужками вверх. Дужки, что руки, слабо распростерты — жест усталости.

Редактор говорит по телефону. Гневается, отчитывает, остерегает, но голоса не хватает ни на одно, ни на другое, ни на третье — час поздний.

— Что значит — полоса не резиновая? — спрашивает он.— Вот я встану у талера и докажу вам: резиновая! Все заверстаю, всему найду место! — Он положил трубку и взглянул на меня, будто желая найти у меня поддержку.— Легче всего запоминаются глупости: «Полоса не резиновая!..»

Где-то в стороне, быть может даже над нами, хлопнула дверца лифта.

— По-моему, он...— оживился редактор.

В дверях стоит старик: борода действительно пошире редакторской, ярко-черные усы и подусники, а вокруг, точно нимб, сияние седины.

— Здравствуйте, здравствуйте...— Рука горячая и молодая, он жмет, чуть-чуть удерживая вашу руку в своей.— Чаю? Ну что ж, не откажусь...— Когда смеется, губы словно румянеют и завидно белы молодые зубы.— Как говорят на Русской горке во Фриско: «На дорогу — посошок...» А с дороги можно?

— Дорога длинна? — спрашивает редактор.— Длинна и трудна, небось бочаги да кочки, а?

Американец смотрит на редактора — глаза острые.

— Да, кочки, кочки,— говорит он уклончиво.

Он сидит, положив руки на стол.

— Да, верно, камера сорок два. Одиночка, плохо отапливается. По стенам пошла плесень. Сердце прежде не болело — сейчас худо, и разболелись суставы. Старая истина: ревматизм начинает с ног и рук и кончает сердцем. Истосковался по свежему ветру, по открытому небу. Написал письмо Магрудеру. Знаете? Наш консул в Або. «Вы считаете меня виновным? Вы требуете моей явки в суд... чего же вам бояться? Пустите меня в Америку — я хочу говорить с ней». Что ответил консул? Лучше бы отказался принять письмо или вернул его, чем вот так... В общем, они предали Рида анафеме.

Человек медленно сжимает кулаки. Кожа побелела, кулаки дрожат.

— Да, он сказал: «Я сын Америки... Мои предки поселились там триста лет назад. Мой прадед Генри подписывал Декларацию независимости. Другой мой предок был генералом в армии Вашингтона. Третий — полковником в армии северян. Суд? Пусть будет суд! Но только без посредников... Здесь я весь — спрашивайте меня, но дайте говорить и мне...»

— Ему ответили?

— Нет.— Он пододвигает стакан с чаем, охватывает ладонью, точно пробует, остыл чай или еще нет,— он, видимо, пьет его холодным.— Газеты утверждают: американцы не могут простить Риду письма́ Ленина, которое нашли при нем...

— Письма́ Ленина?

Старик отпивает глоток, короткий глоток.

— Нет, не письмо, но в известной мере документ.— Он взял стакан и пригубил, пригубил, чтобы скрыть глаза, теперь смеющиеся.

— Документ Ленина?

— Еще какой документ! — подтвердил американец и, неторопливо допив чай, добавил: — Слово господина Ленина о книге Джона Рида...

— То самое, которым должно открыться новое издание книги? — спросил я.

— Да, это...

Он достал платок — цветной платок, который носовым можно назвать лишь условно, так он был велик,— и тщательно вытер губы.

— Но ведь легко доказать, что письмо Ленина — всего лишь предисловие к книге, которая издана в Нью-Йорке и разошлась в тысячах экземпляров,— возразил я.

Старик стукнул ладонью по ребрышку стакана, стекло звенело,— только сейчас я заметил на среднем пальце старика массивный перстень с крупным аметистом, темно-лиловым обычно, густо-красным теперь, в электрическом свете.

— Когда есть желание осудить человека,— произносит он, глядя на пустой стакан,— ничто так легко не доказывается...

— Вы полагаете, что Риду угрожает?..

Человек отодвинул пустой стакан, точно хотел сказать, что все, что он намеревался нам сообщить, он уже сообщил.

— Да, я полагаю, что приговор может быть очень суровым. Очень... И все, что может сделать ваша пресса...— Он вынес руку в поле света, но перстень был мертв.— Вы даже не представляете, господин редактор, как к ней сегодня прислушиваются там...— Старик ткнул средним пальцем — камень ожил — в окно. За окном еще удерживалась тьма, утро было далеко.

— Как знать, может, и представляю,— заметил редактор.

Ночь, а с нею тишина и покой приходили в Наркоминдел после двух... Я знаю признаки ночи: от подъезда отошла машина — нарочный увез в Кремль последний пакет. По коридорам прошагал ночной вахтер. Слышен его вздох и щелканье выключателя. И размеренно, раздумывая, точно ошибка будет непоправима, принялись отсчитывать ночное время часы.

В коридорах темно, лишь неясно маячит дальнее окно, будто полярное солнце, низкое и белесое.

Тихо.

Дверь в большую приемную полуоткрыта, хотя света нет, только матово отсвечивает багет да тревожно пульсируют красные нити детектора.

В эфире гроза — звонкий треск грома, клокот ливня. И вдруг голос, задуваемый ветром:

«...Чума в Персии... Землетрясение на Кипре... Смерч... Смерч...»

Мне трудно расслышать, что следует за сообщением о смерче. Я вижу солнце Сахары, колючее, застланное песком, неожиданно черным.

«Гельсингфорс... Гельсингфорс... Лондон сообщает: в Або сегодня казнен американский коммунист Рид, друг Ленина...» Казалось, смерч взломал тишину полуночи и тебя обсыпало черным песком: «...Казнен Рид...»

Я выключаю приемник. Темно и тихо. Дверь в коридор открыта, и далеко-далеко светится все то же окно, действительно похожее на полярное солнце. А в сознании голос, как песок сыпучий: «...Казнен Рид, друг Ленина...»

Я встаю, и мои шаги отзываются эхом в большом и пустом сейчас доме. Выхожу на улицу. Небо мягкое, окутанное глубокой мглой. Кажется, что именно в полночь к городу подкрадывается весна и входит в него, входит сторожко, чтобы рассмотреть дороги и тропы, а потом вторгнуться. А сейчас в городе тихо и не слышен мягкий шаг весны.

«...Казнен Рид, друг Ленина...»

А ведь это право надо завоевать, чтобы в минуту опасности тебя назвали другом Ленина.

Где-то долбит камень упрямая вода. Невидимо утончились над Москвой облака, и в городе посветлело. Виден темный островок Александровского сада, изгиб кремлевской стены. Там, за ее могучим пределом, Малый дворец, и окна ленинского кабинета там. Колеблется ли в них зеленый сумрак настольной лампы или темно уже?.. А мо-

жет, Ленин не спит и телеграмма пододвинута в поле света: «...В Або казнен Рид...» Я даже вижу, как Ленин зашагал по комнате, зашагал шумно (вздрогнуло стекло в книжном шкафу и беспомощно мигнула не крепко ввинченная лампочка). Потом остановился, охватив ладонью лоб, будто там, в недрах его мозга, что-то горячо взорвалось: «Весна двадцатого года!.. Кто сказал, что весна — это шум деревьев, свечение грозового неба?.. Весна — это пустые амбары, пустые овины, хлеб с соломой, тоскливые вереницы очередей, вокзалы, забитые людьми, медленно идущие поезда, точно люди, у которых нет сил передвинуть ноги, женщины на крышах вагонов, тиф, тиф, тиф и крик над страной, детский крик: «Хлеба!» Ленин шагает по комнате, останавливается, вздыхает: «Вот так нахлынули наши беды, большие и малые, а тут...» Нет боли больней, чем боль от сознания, что ты лишен возможности протянуть руку, помочь.

Я иду. Наслаиваются тучи, тускнеет небо, и полуночная тьма точно возвращается в город. Я сейчас вспомнил... Тот раз, у редактора, когда Рид заговорил о своей второй книге, я подумал: это будет не просто книга о России,— это будет книга о Ленине. Есть в жизни человека такая пора: человек прозревает и вдруг обнаруживает, как необыкновенно богат мир, который его окружает. Встреча с Лениным была для Рида именно таким прозрением. Для Рида Ленин — мир, чьи просторы способны питать человеческое сознание бесконечно, и Рид не перестает наблюдать Ленина и делает всё новые открытия. Мне кажется, что записная книжка Рида, заключенная в красный сетчатый коленкор, полна записей о Ленине. Быть может, некоторые из тех мыслей, которыми он делился со мной, заимствованы из этой книжки.

«В Кремле, под холмом, в саду, который называется «Тайницким», есть тропа... неширокая, в светлые здешние ночи почти белая, неторопливо бегущая. Наши полуночные беседы с ним часто заканчивались здесь. Мир открылся мне своими новыми гранями на этой тропе...» И еще: «...В моей жизни две поры: до встречи с Лениным

и после встречи с ним. Ни один человек не дал мне столько, сколько он...» Или еще, очевидно, под впечатлением встречи: «...Он взглянул на солнце, и мне почудилось: у него золотые глаза, совсем золотые — лучистые, полные доброты и лукавства, строго-мудрые...» И последнее: «Иногда мне кажется — эта книга уже вызрела, она стала моим сердцем, и ничто не стоит между нею и мною, ничто не может мне помешать сделать ее книгой, даже железо на окнах, даже каменные стены одиночки, куда путь мне, наверно, не заказан... Готов гвоздем выцарапать эту книгу на тюремном камне, гвоздем!..»

А небо застлано тучами, и будто вновь безнадежно отделился рассвет. Когда же будет утро?

Утро приходит, холодное и неожиданно ясное: над Кремлем, над белыми стенами его храмов, над его башнями, звонницами и куполами соборов плывут облака.

У подъезда в Малый дворец стоит «роллс-ройс»— видно, Ленин собрался на съезд профсоюзов, который открылся накануне.

Я встречаю Ленина на лестнице. Он задумчив, но на лице никаких следов печали — ну конечно же, он ничего не знает, ночные телеграммы будут у него на столе уже после возвращения со съезда. А быть может, сейчас и говорить не надо, если сказать, то позже?

— Дмитрий Дмитриевич, по-моему, вы хотите мне сообщить что-то, так?

Я останавливаюсь.

— Хотите сообщить?

— Хочу, Владимир Ильич.

— Тогда говорите, только быстрее,— произносит он, и мы выходим из дому.

Точно ветром потянуло — холодно.

— Владимир Ильич, вечером я слушал радио...

Он нетерпеливо машет рукой:

— Ах это ваше радио! Небось опять кинули в небо эту птицу на разлатых лапах, а?.. Кстати, утки-то уже летят! — Он смотрит на небо и улыбается — небо весеннее, голубеющее.— Ну, и что же?

— В Або казнен Рид,— выпаливаю я с маху и смотрю на Ленина, смотрю и глазам своим не верю: Ленин смеется.

— Пустое! — произносит он.— Слышите, пустое! Ваше радио в очередной раз вас подвело. Рид жив!

Он решительно направляется к машине.

— Да, да, Рид жив, и мы его обменяем и возвратим в Россию,— произносит Ленин на ходу.— Говорят, финны просят за него своих профессоров, арестованных нами за контрреволюцию.— Ленин оборачивается, он все еще смеется.— Это же антипатриотично... приравнять одного чужого к своим двум, да еще профессорам!.. Впрочем, двух так двух... За Рида не жаль целый факультет! А откуда все-таки взялся этот слух, а? Откуда? — Он подходит к машине, но, прежде чем войти в нее, оборачивается: — Слух как сигнал тревоги?

Кажется, он уже не торопится и машина, что стоит у крыльца, ни к чему здесь — ее можно отпустить.

— Знаете, Дмитрий Дмитриевич, там, в Тайницком... на этой тропе он мне сказал однажды: «Я видел рождение нового мира...» Так и сказал: «Я видел...»

Ленин уехал.

Я заметил: по мере того как он говорил, беспокойство овладевало им. Он все еще тревожился за судьбу Рида...

Минул июнь. В кремлевских садиках горячей пылью обнесло листву. Зной удерживается допоздна — зной от нагретого камня и неба, медленно остывающей воды. Давно закончился длинный совнаркомовский день, и просторные кремлевские покои заметно опустели, но окна все еще распахнуты. Сумерки входят в дом, свивают уютные гнезда в потаенных углах, заволакивают тусклой пленкой стекло, кафель, полированное дерево. И вместе с сумерками входит тишина.

— Да есть ли здесь живая душа?..— В пустых комнатах голос Ленина звучит громче обычного.— Я говорю: кто здесь есть?

Он выходит из кабинета. Пиджак распахнут, и темный, в косую полоску галстук (для него этот галстук необычно наряден — очевидно, дань лету) выбился из-под жилета.

— Дмитрий Дмитриевич! Вот вам новость: Рид в Москве и сейчас будет здесь,— произносит он и устремляется к телефону: — Комендатура? Там в проходной будке у Троицких... Рид, Джон Рид, американский коммунист! (Я слышу, как загремела телефонная трубка.) Дмитрий Дмитриевич, где вы? Да неужели не дождались?..

Но я жду, только не здесь, а далеко за пределами дома, за кремлевскими соборами, на холме: слишком далек и труден у них был путь к этой встрече, чтобы мешать им. Вон там, под холмом, отсвечивает тропка, та самая... Хрустнула ветвь и, точно обломившись, упала. По тропе шли два человека...

ДРУГ

Доброе утро,
Революция!
Ты будешь мне
другом
Самым лучшим.

ЛЕНГСТОН ХЬЮЗ

До полуночи оставались минуты, когда я покинул здание. Где-то за Москвой-рекой взошла луна, и на кремлевских камнях лежал грозный перст колокольни Ивана Великого. Тишина втекала в город вместе с холодным дыханием зелени, вместе с туманом. Она шла, эта тишина, из неширокой поймы Москвы-реки. А луна уже драила тускнеющее золото куполов, дымчатые даже в этот поздний час квадраты торца, острые и округлые кремлевские камни — они будто дожидались полуночного часа, чтобы обрести свои истинные линии и формы. Наверно, необычно гулко в этой тишине прозвучал бы голос человека!

У дороги, там, где кремлевский холм спускается к ре-

ке, стояли два человека. Луна уже коснулась своей невесомой ладонью их плеч. Это были Ленин и Рид. Говорил Рид. Я еще раньше заметил: он умел говорить одновременно просто и возвышенно. Простота его речи — от зрелости, от желания, чтобы тебя понимали все. А возвышенность? Наверно, от самой натуры Рида, в конце концов он поэт! Я прибавил шагу и минул их. Но чем дальше я шел к кремлевским воротам, тем тише становился мой шаг.

Казалось, волнение, которое владело людьми, стоящими на холме, переселилось в меня.

Нет, не случайно Ленин вот уже какой раз избирал своим полуночным собеседником Рида. Говорят, вот так же было и в Питере, в той квадратной комнате с серебристо-сиреневыми обоями, в одной половине которой был кабинет Ленина, а в другой, за фанерной перегородкой, спальня. Тогда беседа начиналась в кабинете, а к полуночи переносилась за перегородку, к чайному столу.

Я готовился сойти с тротуара на дорогу, когда услышал у себя за спиной шаги. Я обернулся. Луна и в самом деле высветлила дорогу. Поодаль шел Рид.

— Я вас наблюдаю уже минуты три,— произнес он задумчиво.— Вы не очень спешите?

Я пошел медленнее.

— Нет.

— Тогда пойдемте вместе.

Между мной и Ридом все еще было шага три; он не сделал попытки сократить расстояние, я тоже. Луна зашла за облака, но Рид был хорошо виден мне. У Рида внешность рабочего: широкая и чуть-чуть покатая спина, короткие и сильные руки. И одевается просто: серый или темный костюм самого обычного покроя, белая сорочка с отложным воротничком, расстегнутая на одну-две пуговицы. Вот и сейчас сорочка будто была пропитана неярким светом лунной ночи. С реки тянул ветер, свежий, припахивающий прелым деревом. Рид зябко поводил плечами.

— А на юге сейчас черное небо,— произнес он, под-

няв голову.— И звезды... кажется, в кулак.— Он взглянул на свой кулак и рассмеялся.

— В Мексике, на родине генерала Панчо? — спросил я.

— Нет, почему Панчо? — улыбнулся он, потом поднял кулак.— Вива Панчо! Вива Вилья!..— На какой-то шаг он опередил меня, незаметно взглянул в лицо.— А знаете, у него была добрая душа. О, это очень важно — иметь добрую душу! И характер. Характер — это, пожалуй, для такого человека, как он, даже важнее доброты. Я так думаю — важнее.

Он шел сейчас совсем рядом со мной. Это сочетание чуть-чуть выпуклых глаз и крупного подбородка делает его лицо очень выразительным, хотя и некрасивым. И его глаза, и благородный лоб, и губы очень хороши, хотя в лице нарушены пропорции. Впрочем, этого не хочешь замечать — весь он складен.

Рид пошел тише и вдруг остановился.

— Подождите минутку. Дайте отдышаться.

Он поднес руку к груди.

— Сердце?

— Да, как говорят врачи, подступило к горлу.— Он откашлялся — осторожный сердечный кашель.— Ну вот, кажется, вернулось,— попробовал улыбнуться он.— Теперь пойдем, но только не быстро.

Мы пошли тише, а я подумал: «Ведь у него здоровое сердце, совсем здоровое. Что так?» Этот кашель, сухой и прерывистый, непрошено вторгся в беседу и мог разрушить ее, разрушить непоправимо, но Рид умолк лишь на минуту.

— Чего-то не хватало и генералу Панчо. Очень существенного! — произнес Рид. Энергичный характер этих слов недвусмысленно свидетельствовал: Рид хочет говорить о Панчо, все остальное сейчас для него не имеет ровно никакого значения.

Да, одно время Рид думал, что рядом с генералом должен встать кто-то второй — сподвижник, товарищ. Он не боится произнести этого слова — комиссар! Рид думал,

что такой человек должен быть вызван самой жизнью, логикой бытия, но он ошибся. Человек этот так и не пришел. Ему иногда кажется, что огонь революции чем-то похож на всесильное пламя, которое бушует в недрах нашей планеты. Если оно не вырвется в одном месте, проложит себе дорогу в другом.

Он помолчал, задумавшись.

— Вот я еще что хочу сказать: даже когда я ничего не знал о Ленине, я думал, он должен прийти, этот человек. Он не может не прийти. Я понимаю это, я, видевший Панчо.

Он вновь необычно воодушевился. Панчо и Ленин. Для него это уже решенный спор, но как нелегко ему было решить! Вряд ли в его сознании один так просто, без борьбы, уступил место другому. В жизни ничего не происходит без борьбы. Наверняка было время, когда он решительно не знал, кому отдать предпочтение.

Мы вышли на Красную площадь.

— О, там зреют события немалые,— указал он взглядом на небо, восточный край которого был прямо перед нами.— Ленин сказал: знамя спасения идет на Восток.— Рид продолжал смотреть вперед.

Ни единый проблеск утра еще не потревожил неба. Оно было непроницаемо темным, может быть, даже мертвым, и казалось невероятным, что именно здесь его сизочерная льдина начнет подтаивать.

— Восток...— повторил он задумчиво.— Ленин сказал так... Ленин!

Мы простились.

— Так вы едете? — крикнул я ему вдогонку.

— Да. Завтра.

Он помолчал, будто взвешивая эти слова, потом произнес:

— Завтра.

Я еще долго видел его в ночи, видел, как он шел через Красную площадь. Посреди площади он остановился и оглядел ее так, точно видел впервые. Что означал этот взгляд? То ли человек был застигнут врасплох необыч-

ным видом площади — в этот поздний час площадь особенно хороша в своей спокойной и торжественной прелести,— то ли оглянулся и подумал: где он и как он пришел сюда? «Знамя спасения идет на Восток...» Сейчас Рид стоял на берегу нового моря и готов был шагнуть навстречу его тревожной стихии. «Знамя спасения...»

Рид уехал. Какое-то время о нем не было вестей, потом промелькнула в газетах одна весточка, вторая... Они были не щедры, эти новости, но сознание пыталось восполнить то, чего не было в них. Так бывает с машиной, идущей ночью по гребню горы. Вот ее огонек блеснул на самой маковке увала и скрылся, заслоненный ребристой стеной камня, потом прочертил тьму и вновь исчез, на этот раз надолго, потом приподнялся над горой — нет, не сам, а его неяркий отсвет,— и вдруг возник далеко в стороне, как корабль, брошенный на край моря шальной волной.

Шли дни, самые обычные. Кончился август, и начался сентябрь. В Москве все еще было тепло, но листва в парках потускнела, небо по вечерам было уже не таким белесым, как летом, гуще, синее, звезднее, да и ветры несли запах осени. Пришла телеграмма из Баку: там открылся съезд народов Востока. Собрался весь революционный Восток — полторы тысячи делегатов. Потом еще телеграмма: Рид приветствовал делегатов съезда. (Огонек и в самом деле взметнулся на маковке увала.)

Я видел, как Рид взошел на трибуну и, отвечая на приветствия, невысоко поднял ладонь. Зал продолжал греметь: «Америка!» Лицо Рида становилось все сосредоточеннее: складка на переносье была и глубже и жестче доброй вмятинки на подбородке... «Товарищи...» Потом... (Нет, огонек на хребте горы исчез надолго.)

Был уже вечер, когда позвонили из Кремля: «Севр... Необходима информация по Севрскому договору...» Машина спускается по Кузнецкому мосту и поворачивает на Неглинную. Скоро вечер, но уличные фонари не зажжены. Густо-лиловые, предгрозовые сумерки. Город будто лег в теплую воду — душно. Наверно, у Ленина только

что закончилось очередное заседание. Выключив верхний свет, он пододвигает к себе настольную лампу под абажуром, и зеленый сумрак обволакивает бумаги, никелированный металл длинных ножниц, мрамор чернильного прибора. Он ждет этого часа, чтобы обнять мыслью большие и малые дела мира. «Вот Севр... Кстати, почему союзники для переговоров избрали этот город? Кажется, в Севре была ставка кайзера? Значит, это демонстративно?»

А машина входит в Кремль. Здесь светлее, чем в городе. День прощается с Москвой на кремлевском холме. А может, это просто отсвечивает белостенный кремлевский городок? В чисто выбеленном доме всегда светлее. Однако вечер пришел и сюда. Он глядит уже из дворцовых окон, в которых, как вода в низину, влилась теплая тьма вечера. А в двух просторных окнах ленинского кабинета полумрак, но не бледно-зеленый полумрак настольной лампы, а желтоватый, зыбкий, едва приметный.

Комната ожидания непривычно тиха. Форточка открыта, но запах табака, отстоявшийся за день, кажется неистребимым.

— Да, да, пожалуйста, можете входить.

Сколько раз я входил в эту дверь, и каждый раз, прежде чем протяну руку к двери, вдруг явственно слышу, как стучит сердце.

— А-а-а... толмач.

В нем нет-нет да прорвется непреоборимое желание пошутить, задиристо, незлобиво, любя, но так, чтобы от смеха вздрогнули стекла. Из его кабинета часто слышится смех. Более чем фундаментальные кремлевские стены не в силах удержать его: он слышен и в коридоре рядом, а когда открыта дверь кабинета, то и здесь вот, в комнате ожидания. Каждый раз, когда смех доносится сюда, озабоченные лица ожидающих светлеют. «Ильич смеется, а это хороший знак...» Впрочем, люди, бывающие здесь, знают, что это признак добрый, но переоценивать его не надо: Ильич всегда смеется и всегда строг.

— Располагайтесь... да поближе...— Он любит, чтобы человек сидел рядом с ним.— Признайтесь: Рыбаков-старший небось в обиде на меня? Признайтесь: в обиде?..

— Да что вы, Владимир Ильич!

— Нет, я знаю, что это так. Я вижу его, вижу, как он сидит у себя, мудрит над логарифмами и ворчит: «Эх, Ленин, оторвал моего Дмитрия от настоящего дела, оторвал...» Да и вы, наверно, тоже так думаете. Ну, сознайтесь, думаете?

— Нет, Владимир Ильич...

Он помолчал.

— Конечно, это очень здорово, когда рабочий человек мечтает о паровозах, это же мечта о нашей силе! Но дипломатия, новая дипломатия...— Он встал и остановился посреди комнаты, издали, не приближаясь, взглянул в окно — там ветер размыл облака.— Вы только подумайте, Дмитрий Дмитриевич, в великом споре двух миров, споре, невиданном по размаху, напряжению, отстоять нашу истину... умом, интеллектом, еще раз умом отстоять! И коли тебе доверили отстоять эту истину, каким должен быть ты, человек? Каким ты должен быть, а?.. Ах, как это благородно!.. Итак, Севр?

Так вот откуда это зыбкое пламя? В Кремле выключено электричество (оказывается, через три года после революции это может произойти даже в Кремле), и на столе у Ленина горят стеариновые свечи. Их пламя залило стол ровным светом.

— Значит, Севр? Нет, меня интересует Турция. Что имеется еще о ее реакции на этот договор?.. Нет, не только турецкая пресса. Стамбул, что говорит Стамбул?.. Информация... необходима большая информация из самой страны. Вы понимаете меня?

Он берет очки, старые очки в тонкой металлической оправе, и сразу становится непохожим на себя. Впрочем, я, кажется, видел одну фотографию, где он в очках, но это было позже, много позже.

— А знаете? — Его глаза пробегают мелко исписанный лист бумаги молниеносно. У него свои методы чте-

ния. Часто он начинает читать бумагу с конца — так, он в этом уверен, ему быстрее откроется ее смысл.— А знаете, вся эта история с Севром только ускорит развитие событий на Востоке.— Он снимает очки, и облик, такой знакомый по многим фотографиям, возвращается к нему.— Ускорит развитие событий на Востоке.— Он откидывается в кресле и, не выпуская очков из рук, некоторое время смотрит наверх. Потом встает.— Вот только что получил врачебный бюллетень,— пододвигает он серый лист бумаги.— Заболел Джон Рид.

Минуту тихо, только слышно, как плавится стеарин.

— Тиф, Владимир Ильич?

— Да.

— Кризис минул?

— Нет. Сейчас...

Он заметил смятение на моем лице.

— Но тридцать три года что-то значат сами по себе... А? — спросил он.

И в тишине кабинета, нарушаемой легким потрескиванием стеариновых свечей, мне вдруг послышался кашель, осторожный сердечный кашель Рида.

— У него... сердце, Владимир Ильич...

— Сердце?

Он встает, берет графин с водой, подходит к пальме. Он делал это и прежде, когда хотел справиться с волнением. Молча он следит, как впитывает воду высохшая земля. Он опрокидывает графин и, взяв из кадки сосновую щепочку, старательно взрыхляет у самого ствола землю, точно хочет помочь деревцу напиться.

— Еще на той неделе получил от него письмо,— произносит он, не отрывая задумчивых глаз от пальмы.— Рид писал, что жена только что прибыла из-за океана.— Он возвращается к столу и ставит графин.— Письмо, разумеется, было деловым, но вот эта деталь: из-за океана.— Волнение отразилось в его голосе, волнение, вызванное письмом Рида, а может быть, воспоминаниями, вспомнил что-то свое, что отождествлялось с письмом, полученным от Рида.— Рид всегда будет близок нам уже одним тем,

что понял главное. Самое главное. А для него это было совсем не просто. Заметьте: не просто.

Какой-то новой гранью мне открылся ленинский характер и в этот вечер. Кто-то сказал, пытаясь объяснить его привязанность к Риду: а не был ли он у Ленина советником по американским делам? Советником? Нет. В этом не было необходимости. А вот другом-собеседником, может быть. Что влекло Ленина к этому человеку? Любовь Рида к новой России, его способность понять ее? Да, конечно. Его верность принципам революции? Да. Его интеллект? Быть может, и это. Но было и нечто иное. Человек деятельной воли, Ленин тянулся к большому сердцу, если видел его в человеке, а значит, к человеческому теплу, участливости, обаянию — всему тому, что не дает остыть человеческой крови.

Мы простились. Теперь машина шла ночной Москвой. Будто отпрянули красные камни Исторического музея, густо-красные, необычно темные в эту беззвездную ночь, точно задымленные. Где-то над головой в бездонной выси, намертво заслонив собою звезды, сдвигались тучи. Казалось, что здесь, у этих красных камней, и там, рядом с тучами, было одно слово: «Кризис». Машина взбиралась по неровному торцу Кузнецкого моста, а в сознании жило только одно слово: «Кризис... Кризис... Кризис». Человек будто вышел навстречу смерти. Где-то шел этот бой, и уже все отступило, даже сознание, оставалось сердце (оно уходит последним). Все слова, которые были произнесены когда-то в жизни, собрались в эту ночь к изголовью человека, все слова: «А теперь я буду читать Джо Хилла. Слушайте... «Если я солдатом буду, то пойду под красный стяг...» Только слушайте... Как начинается эта русская песня?.. Ну, подскажите же... Я все забыл... забыл все...» Видно, и в самом деле все слова собрались в эту ночь к изголовью, и все-таки нет сил их вспомнить... А машина взбирается по Кузнецкому мосту все выше и выше. Я смотрю на небо: тучи раздались и сомкнулись. Свет вспыхнул и погас, ни единая его капелька не достигла земли.

Тремя днями позже я был вызван в Кремль с очередной папкой информационных материалов по Севрскому договору. Шло заседание Совнаркома. Был одиннадцатый час вечера, и комната ожидания опустела. Последний ее посетитель, видимо, был вызван только что: над папиросой, лежащей в пепельнице, вился едва заметный дымок. Потом из-за двери, где происходило заседание, послышался шум отодвигаемых стульев, распахнулась дверь, и в ее пролете я увидел Ленина. Это была та самая минута, когда, закончив заседание, Ленин еще задерживался на какой-то миг, чтобы отдать последние распоряжения секретарям, ответить на неожиданно возникший вопрос, ободрить шутливой репликой товарища, только что подвергшегося жесткому разносу. Обычно эта минута была самой веселой и шумной. Но сейчас тишина, необычная тишина вдруг вторглась в зал и осекла людей на полуслове. Ленин стоял у большого стола, молча, глядя на четвертушку бумаги, лежащую перед ним. Очевидно, в последнюю минуту, когда он уже готовился покинуть зал, кто-то из друзей пододвинул эту бумагу к нему и что-то сказал. Сказал и побоялся: не ранит ли, не опалит ли сердца?

— Джон Рид...— внятно и, может быть, чуть-чуть громче, чем обычно, произнес Ленин.— Умер Рид...

В зале стало еще тише. Все, что открывала глазу распахнутая дверь, даже неясные очертания облаков за окном, точно окаменело на миг.

Только к полуночи Ленин принял меня. Он сидел у себя за столом, и его лицо казалось сейчас пепельным — он очень устал за этот день.

— Вон какую бурю родил Севр на Востоке! — произнес он, когда чтение бумаг было закончено.— Это только начало.— Он скользнул глазами по огромной карте Азии, висящей сбоку.— Пора подниматься континентам! — Встал и подошел к карте, подошел быстро, как имел обыкновение делать это во время полемической беседы, когда быстро найденное слово решает исход спора.— Восток...— Он осекся. Лицо его стало сурово-печальным,

и рука... Руку он не успел отнять — она лежала на синей чаше Каспийского моря.— Благородный человек,— произнес Ленин тихо; по какой-то ассоциации, недоступной внешнему глазу, он вспомнил опять Рида.— Есть законы, по которым народ приходит к революции. Рид понял эти законы.

Ночь. Опять я иду через Красную площадь. Да, именно здесь мы стояли с Ридом. А потом он дошел до середины площади, остановился и долго-долго смотрел вокруг. «Есть законы, по которым народы приходят к революции». И мне подумалось: народы и люди. Вот шел по свету человек, шагал через океаны и пришел именно сюда, пришел, чтобы встать у этой стены навечно...

ДЕЛЕЦ

Из всех ленинских фотографий эта особенная. У Ленина задумчиво-строгие глаза, чуть печальные. Такое впечатление, будто он долго и задушевно беседовал с человеком, которого знает много лет, или слушал музыку... Кстати, фотография относится к ноябрю двадцатого года. Именно в один из этих дней он был у Горького и слушал бетховенскую «Аппассионату». «Изумительная, нечеловеческая музыка...»— это сказано в тот раз. Быть может, фотография нравилась и Владимиру Ильичу. Не поэтому ли он подарил ее Хаммеру?

«To comrade Armand Hammer from Vl. Oulianoff (Lenin). 10.XI.1921». «Товарищу Арманду Хаммеру от Вл. Ульянова (Ленина). 10.XI. 1921».

Помнится, когда мы вышли из кабинета Владимира Ильича, Хаммер приблизился к окну.

— Вот что любопытно,— обратился он к Мартенсу, рассматривая фотографию,— здесь написано: «Товарищу Хаммеру». Согласитесь, это звучит почти так: «Товарищу капиталисту Хаммеру».— Американец улыбнулся.— Как понять господина премьер-министра? Это шутка?

Но Мартенс будто и не заметил улыбки Хаммера.

— Шутка? Нет, почему же? Может, и серьезно. Просто добрый знак приязни.

— Да, да. Знак приязни,— сказал Хаммер, воодушевившись, и посмотрел на Мартенса.

Хаммер понимал: каждое дело, тем более такое большое, предпочтительнее вести с человеком, тебе известным. В больших переговорах, которые начнутся завтра, Мартенс представлял советскую сторону. Знал он Мартенса?

Бывает так: ты никогда не видел человека, но твоя способность накапливать в памяти все, что ты знал о нем и услышал позже, сделала свое и этот человек зажил в тебе своей жизнью — ты видишь его, ты говоришь с ним, он постоянно с тобой.

Так у меня было с Людвигом Карловичем Мартенсом. Я никогда не видел его, но каждый, кто приезжал в эти четыре года из Америки, что-то рассказывал мне о нем. Каждый! И сознание, быть может, помимо моей воли, нарисовало его образ. Каким? Да это, пожалуй, и не столь важно. Главное, когда я впервые увидел его (это был февраль двадцать первого года, над Москвой свирепствовали метели, и близость весны угадывалась только в солнечные дни), его образ не потребовал больших поправок в сознании.

Мартенс был нашим первым послом в Америке, послом необычным. Он не вручал президенту верительных грамот в торжественных покоях Белого дома. Не представлял президенту своих советников и секретарей в соответствии с нерушимой «лестницей» посольского протокола: советник... первый секретарь... второй секретарь... третий секретарь... атташе. Да, признаться, советников и секретарей у Мартенса не было — в едином лице он отождествлял посла, первого и второго советников и весь круг секретарей и атташе. Он не имел за этим часовой беседы с государственным секретарем. В ту пору, когда он был послом, казалось невероятным, что все это когда-либо совершится: и торжественный кортеж посольских машин, идущих к Белому дому, и встреча в президентском дворце, и учтиво-радушная улыбка президента, прини-

мающего посла великой социалистической державы, и даже слова президента о дружбе и сотрудничестве. Все это показалось бы тогда более чем невероятным.

Первые сообщения американских газет: в Нью-Йорке начало действовать представительство Советской России, во главе представительства некий Людвиг Мартенс. Так и сообщалось: некий. И вряд ли в ту пору кто-нибудь знал, что Людвиг Карлович Мартенс — русский интеллигент, хотя и немец по происхождению, старый и верный сподвижник Ленина по петербургскому «Союзу борьбы за освобождение рабочего класса», участник Лондонского съезда, механик, математик, изобретатель (ручной пулемет, оригинальный по своим формам летательный аппарат — его изобретения), деятельный коммунист... Известен случай, когда Мартенс пытался переправить из Германии в Россию груз взрывчатки (семьдесят пять пудов динамита!) и был арестован немецкой полицией. Арестован?.. Да, но очень ненадолго. Признайся он, что динамит предназначен для русских революционеров (Москва была перепоясана баррикадами — шел 1905 год), дело кончилось бы плохо. Мартенс сказал, что динамит предназначен для... Америки, и избежал неприятностей. Кстати, все предприятие по отправке динамита в Россию осуществляли трое: Вацлав Воровский, Максим Литвинов и Людвиг Мартенс. Думал ли кто-нибудь из них, что через пятнадцать лет именно они станут первыми послами Советской России за рубежом: Воровский — в Швеции, Литвинов — в Англии, Мартенс — в Америке...

Да, Мартенсу так и не удалось вручить президенту своих верительных грамот, и он их отослал по почте. Белый дом подтвердил получение, однако заявил, что послом России в Штатах продолжает считать гофмейстера Георгия Бахметьева. Иначе говоря, Белый дом декларировал, что он не распространит на советского посла права дипломатической неприкосновенности... Последствия этого заявления не замедлили сказаться. За восемнадцать месяцев, которые Мартенс представлял Советскую страну в Америке, он был подвергнут такой атаке, какую вряд ли зна-

ла история дипломатии. Эта атака была увенчана полицейским налетом на здание советского посольства, или, как оно тогда называлось, «Бюро Российского Советского правительства в США». Двадцать тысяч пролетариев собрались в Медисон-сквер-гардене, чтобы протестовать против травли советского посла. Госдепартамент предложил Мартенсу покинуть Америку.

Итак, до приезда Мартенса в Москву в феврале двадцать первого года я не встречал его, да и где мне было его встретить — Мартенс стал нашим послом в Америке, так и не успев побывать в Советской стране, а Россию он покинул лет двадцать назад. Мне говорили, что, прибыв в Москву, Мартенс в тот же день был приглашен к Ленину. Трудно сказать, о чем шел разговор в Кремле, но, без сомнения, большой вопрос о концессиях, который так волновал Ленина в ту пору, не был обойден.

Помню, что после встречи Ленина с Мартенсом прошло не больше недели. Был февральский вечер, ветреный и снежный. Часов в семь вечера к Ленину явились владимирские крестьяне (их тяжелые зипуны и мешки с сухарями лежали у входа в кабинет). На исходе второго часа беседы Ленин пригласил к себе секретаря; чтобы беседа не ушла в песок, Ленин тут же отдал необходимые распоряжения, а секретаря просил взять эти распоряжения на контроль. Вскоре дверь распахнулась вновь, и на пороге появились владимирцы, заметно возбужденные и чуть-чуть торжественные, а вслед за ними Владимир Ильич. Он приподнял руку и защитил ею глаза, словно желая отвести от них свет люстры — видно, беседа в кабинете происходила при настольной лампе и свет в приемной ослепил Владимира Ильича.

— Мне это будет нелегко сделать, товарищ Чекунов,— сказал Ленин, пожимая руку крестьянина, который был постарше.— Нелегко, но я сделаю... Пути доброго вам.— Ленин сделал несколько шагов к двери, провожая крестьян, которые, надев свои зипуны и вскинув мешки на плечи, медленно направились к выходу.

Я ожидал, что Ленин выйдет вместе с ними, тем более что ему было по пути,— вечерами, до того как вернуться в кабинет и остаться в нем до полуночи, он обычно отдыхал дома — ужинал, час-полтора спал. Но, не дойдя до двери, ведущей в коридор, Ленин неожиданно остановился и, взглянув на меня, вновь приподнял ладонь, защищая глаза от резкого света люстры.

— А, Дмитрий Дмитриевич, вот кстати,— произнес он, все еще удерживая руку у самых глаз.— Мне звонил Мартенс. Он остановился в «Люксе» и заканчивает проект письма о деловых связях с Америкой, но вот проблема...— Он отнял руку от глаз.— Мартенс хотел приложить к письму статьи из американских газет, а перевести их он вряд ли успеет. В общем, помогите ему! У нас есть его телефон, да и номер комнаты, кажется, есть... Впрочем, никаких звонков! Это же в двух шагах от Кремля — через пять минут вы будете там.

Я быстро шел вверх по Тверской. Нет, не только потому, что мороз пощипывал щеки, а ветер настойчиво толкал в спину. Мне не терпелось повидать Мартенса. В ту пору гостиница «Люкс» на Тверской была ковчегом деда Ноя. Кто только не побывал здесь в эти годы! И могучий Хейвуд с черной повязкой, закрывавшей глаз, и Джон Рид в неизменной своей шубе-канадке, и другие.

Жили здесь и многие русские, в частности наши дипломаты, ненадолго приезжающие в Москву. Очевидно, по этому признаку был поселен здесь и Мартенс.

Длинный коридор, слепой, без окон. Желтые сумерки — лампочки едва накалены. Ковровая дорожка, порядком потертая, не гасит шагов. Белая дверь с эмалированным номерком. Стучу.

— Да, да, пожалуйста!

В комнате зыбкие сумерки, горит настольная лампа. Человек, не вставая из-за письменного стола, обернулся.

— Вы ко мне? Заходите, пожалуйста.

Я вижу: светлые брови едва прочерчиваются и глаза светлы. Он снял со стула пиджак, быстро надел, протянул

руку к галстуку, висящему на спинке стула, потом раздумал:

— Простите...— Он слушает меня, чуть нахмурив лоб, прекрасный лоб, гладкий и бледный.— Ленин? — Его глаза ожили, он тронул кончиками пальцев аккуратно подстриженные усы, улыбнулся, быстро пошел к столу.— Прошу вас. Вот сидел работал и забыл обо всем. Вы не замерзли? Чаю хотите? Да, да, вместе со мной, я тоже, кажется, промерз.

На столе уже дымится чай. Он не без удовольствия берет стакан с чаем в руки, как мне кажется, зябнущие (в комнате холодновато), пьет.

— Вот я сейчас расскажу вам об одной встрече, и вы все поймете,— произносит он, прихлебывая чай.— Вы думаете, об американской встрече? Нет, русской.— Он подносит ко рту стакан. Горячее, настоянное на крепких листьях дыхание чая приятно ему.— Недавно я поехал в Перово и пошел по путям. Говорят, что из всех картин живой природы ничто не производит такого впечатления, как зрелище убитого слона. Так нечто подобное я увидел в Перове: кладбище паровозов. Все, что люди пытались вызвать к жизни силой своей страсти и мысли, было повержено. Именно кладбище, и тишина, как на кладбище. Это страшно, когда железо, которое было полно огня, вдруг утратило тепло, обратившись в камень. И вдруг голос: «Не кряхти, Феофаныч, силу потеряешь!» Я остановился — голос был рядом. Молчал я, где-то рядом со мной молчали люди. Наконец кто-то вздохнул нетерпеливо и громко: «Может, закурим?» Я оглянулся: из тьмы смотрели глаза. «Закурим»,— сказал я. «Мой огонь, ваш дым»,— произнес человек и улыбнулся, я понял это по голосу. «Ну что ж,— ответил я.— Давайте огонь, а дым найдется». Человек чиркнул колесиком зажигалки: «А где же дым?» Сейчас человек был виден мне весь: борода красновато-бурая, солдатская шапка, подбитая серой мерлушкой, шинель, опорки с обмотками — видно, пролетарий, вернувшийся с фронта. Я протянул ему папиросы. Он взял. «Берите еще!»—«Еще?»—«Да, одну вам,— за-

метил я,— другую Феофанычу».—«Феофанычу?»— ухмыльнулся он и, сняв шапку, старательно спрятал папиросу за отворот. (Вторую он держал в губах.) «А где же Феофаныч?»

«Мы тут вместе: и он и я. Я просто сам с собой разговаривал и Феофанычем себя величал»,— произнес мой приятель и засмеялся. Он чиркнул колесиком зажигалки еще раз и поднес мне огонь, защитив его ладонью от ветра. Только сейчас я заметил, что он держал в руках самодельную зажигалку редкой красоты. Я потянулся к зажигалке, он охотно передал мне ее. «Хороша штука!»— произнес я. «Хороша?»— переспросил он и взглянул мне в глаза — этот взгляд выдал его. «Небось сам делал?»— спросил я. «Сам»,— ответил он, и вновь улыбка потревожила его губы. Я теперь мог рассмотреть зажигалку внимательнее. Да, она была сделана искусно — гильза винтовочного патрона, обращенного в зажигалку. «Вот кончится гражданская война»,— сказал я. «Да, кончится»,— согласился он. «И будет мир»,— заметил я. «Мир? — переспросил он.— Это каким образом? — Он держал папиросу, не сдувая с нее пепла: у него вдруг пропал интерес к ней.— Месяц назад я, может быть, и поверил бы, а сейчас нет!»—«Месяц назад?»— спросил я, а сам подумал: «Что же произошло в этот месяц такого, что перевернуло все вверх тормашками, по крайней мере в сознании Феофаныча?» «Да не о концессиях ли вы говорите?»—спросил я. «О них,— хмуро ответил он.— Своих буржуев прогнали, а чужих зовем».

— Но вы, вы верите, что в той же Америке это наше обращение о концессиях найдет отклик? — спросил я Мартенса.— И первый концессионер...

— Да, я верю, что мы скоро увидим с вами этого господина,— заметил Мартенс смеясь.— Хотя Феофаныч и не разделяет моего оптимизма...

— Да, Феофаныч... Феофаныч...— мог только сказать я.

Я не встречал Мартенса до осени двадцать первого года. У него было немало забот в эту пору. Вот уже не-

сколько месяцев Мартенс руководил Главметаллом. Дипломат, только что оставивший высокий посольский пост, Мартенс получил назначение, которое, казалось, никакого отношения к его прошлым делам не имеет. Но это только так казалось. Ведь Мартенс был в Америке послом особенным. Все, что было насущным в ту пору для молодой Советской Республики, было насущным и для него: добывал тракторы для России, а заодно механиков для этих тракторов, завязывал отношения с купцами и заводчиками, желающими иметь дело с молодым Советским государством (тридцать миллионов долларов, на которые были заключены контракты, сумма немалая!), бывал на верфях, швейных фабриках, элеваторах, скотобойнях, все хотел видеть и познать, до всего хотел дотянуться и рукой и глазом. Результаты этой деятельности не замедлили сказаться: в Россию шли «фордзоны», хирургический инструментарий, швейные машины и многое другое, в чем остро нуждалась наша страна, планируя сегодняшний и, еще больше, завтрашний день жизни своей. Мартенс был послом, теперь стал командиром промышленности, но кодекс его обязанностей и в Нью-Йорке и в Москве во многом был тем же. Американцам, знавшим Мартенса, и в голову не приходило, что с тех пор, как он перестал быть послом и стал председателем Главметалла, советско-американские отношения уже вышли из сферы его интересов. Нет, было такое впечатление, что именно Мартенс и никто иной продолжал быть советским послом в Америке, хотя временно его резиденция переместилась из Нью-Йорка в Москву.

Мне говорили, что Мартенса мудрено застать в Москве — сегодня он в Курске, завтра — за Уральским хребтом, а когда возвращался в Москву, то бóльшую часть времени проводил в Кашире — вот уже два года, как там строилась электроцентраль, наш первенец. Да, Кашира была первенцем и, быть может, поэтому любимым детищем Ленина.

Ленин, отлично понимавший, что «поток мелочей» может унести у него драгоценное время, необходимое для

крупных дел, не распространял этого правила на Каширу. Ленин сам добывал для Каширы и литейный кокс, и голый провод, и реостаты.

Разговор, свидетелем которого я был, тоже касался Каширы.

Ленин шел от Троицких ворот. У него была деловая встреча в городе, и он, отпустив машину, решил вернуться к себе пешком. Утро было хоть и прохладное, но ясное.

Ленин остановился и посмотрел на лужок, полный солнца, каким оно бывает только в сентябре. Казалось, картина была простой: трава и солнце, а Ленин все смотрел и смотрел, точно увидел нечто необычное. Потом я подумал: в природе нет картины чудеснее этой — луг, залитый солнцем. Хочешь набраться сил и радости — приди и взгляни...

— По-моему, он идет к себе? — услышал я голос рядом.— Верно?

Я оглянулся — Мартенс.

Лицо опалено солнцем, незатухающим, степным: быть может, лишь вчера вернулся откуда-то с юга, ходил вместе с геологами по курским и белгородским землям, пытался достучаться до самой утробы земной. А может, в очередной раз съездил в Каширу, ходил по рвам и котлованам, где кладут фундамент, взбирался на леса.

— Я вам звонил вчера вечером.— Ленин останавливается, смотрит на Мартенса. Глаза радостно прищурены, а в лице нет той землистой бледности, какая появляется у него к вечеру,— он сегодня наверняка хорошо спал.— В Америке есть такой... Хаммер! — Ленин пристально смотрит на Мартенса, выжидает, молчит.— Кажется, выходец из России?

Мартенс задумался.

— Хаммер? Это какой же? Компания медикаментов и химических препаратов в Нью-Йорке?

Ленин просиял. Менее приятно было бы вдруг обнаружить, что Мартенс понятия не имеет о Хаммере.

— Совершенно точно, Людвиг Карлович! Только не Юлий Хаммер, а Арманд, сын его. Говорят, что он по-

дарил Семашко хирургический инструментарий для наших больниц! Но я не об этом.— Ленин вновь задумался, неторопливо пошел дальше.— Важнее иное: Хаммер откликнулся на наше предложение о концессиях, правда очень своеобразно.— Ленин улыбнулся.— Миллион пудов хлеба в обмен на уральские самоцветы...

Мартенс тронул кончиками пальцев усы — жест радостного нетерпения.

— Первый концессионер, Владимир Ильич?

— Первый...

Час спустя я встретил Мартенса у Троицких ворот — он шел от Ленина.

Мартенс был не то что невесел, он был встревожен.

— Однако, Людвиг Карлович, разговор о болтах для Каширы имел свое продолжение? — спросил я, смеясь.

Мартенс только теперь увидел меня.

— Да нет, разговор касался не столько Каширы, сколько,— он взглянул на меня с той хмурой пристальностью, которая выдавала в нем и напряженную работу мысли и беспокойство,— сколько Хаммера! — добавил он и неожиданно улыбнулся — очевидно, вспомнил нечто забавное из своего разговора с Лениным.— Ума не приложу, как быть...

— Очевидно, Ленин хочет видеть Хаммера концессионером,— предположил я.— А сам Хаммер предпочитает быть комиссионером, например по продаже уральских колец и браслетов? Так ведь?

— Нет, не совсем так...— заметил, смеясь, Мартенс: воспоминание о беседе вернуло ему доброе настроение.— Оказывается, за океаном прослышали о романе Хаммера-сына с большевиками и отдали отца под суд. За что, вы думаете? Отец ведь тоже врач...

— Врач? Не за то ли, что он сделал операцию и больной погиб?

— Нет, больной жив.

— Но операция была?

— Да, разумеется, но она использована властями как повод.

— А как же Хаммер?

— Как Хаммер? — усмехнулся Мартенс.— Он сказал: «Все, что я хочу сделать в России, я сделаю». Говорят, что это у него вроде пословицы. Хорошая пословица, не правда ли?

— Простите, но так сказал Юлий Хаммер, Хаммер-отец? Но ведь дело ведет сын...

Мартенс улыбнулся:

— Видите ли, там, в Америке...— Он взглянул на сизое облачко, повисшее над горизонтом, будто бы Америка была где-то за этим облачком.— Там, в Америке, я немного знал эту семью...— Он помолчал.— Как в сказке: у старика было три сына. Но, в отличие от сказки, самым разбитным оказался второй сын — Арманд. Впрочем, каким будет третий сын, трудно сказать — он еще совсем молод. Вместе с доверием отца Арманд унаследовал и его профессию — Арманд врач. Старику сейчас за шестьдесят, сыну — за тридцать, хотя выглядит он много солиднее; легкие седины тоже от солидности, от сознания собственного достоинства. Старик избрал такую позицию: он доверил все дела Арманду, тот не переоценивает доверия отца. Говорят, что день начинается у Хаммеров с того, что сын идет в кабинет отца и остается там часа два. И звон ключей, как стук счетов, сопутствует этой беседе, в такой же мере сокровенной, в какой и лаконично-деловой.

— Но они по крайней мере богаты? — спросил я.

— Я полагаю, да, хотя их возможности определяются не столько собственным капиталом, сколько связями с другими на комиссионных началах. Богаты? Да, разумеется, хотя старик... Я как-то услышал его разговор с молодым служащим, которого Хаммер рассчитывал. Это звучало приблизительно так: «Молодой человек, вы нам больше не нужны». При этом тон был пасторский, а слова, как видите, железные. Впрочем, я не думаю, чтобы старик был скупее или черствее другого такого же хозяина.

— А сын?

— Сына я знал меньше.

Мартенс дошел до моста и оглянулся. Небо было облачным и как будто безветренным. Но то ли оттого, что оно было здесь необыкновенно высоким, то ли от кремлевских колоколен, отвесно вставших перед нами, чудилось, что небо пришло в движение и стало тревожным.

— Не думаете ли вы,— спросил я,— что Ленин уже разобрался в ситуации с Хаммером и имеет свой план? Уже имеет?

За годы общения с Лениным я узнал эту его способность: мы еще изучаем проблему, пытаемся приспособиться к обстановке и определить свое место, а у Ленина уже есть точное представление о том, как события развернутся дальше и как необходимо вести себя нам.

— Да, разумеется, имеет,— быстро согласился Мартенс.— При этом он не скрыл этот план от меня: «Надо заинтересовать Хаммера большим и серьезным делом на Урале».— Мартенс поднес руку к виску.— Может быть, асбест...

— Асбест? — удивился я. Признаться, в ту минуту я имел о нем смутное представление.

— Да, именно асбест — горный лен с его каменными волокнами,— подтвердил Мартенс.— Такого асбеста, какой у нас на Урале, нет нигде в мире. Природная пряжа: и прочна, и эластична, и, главное, огнеупорна. Температура плавки — полторы тысячи градусов!

Я слушал его и думал: «А все-таки он инженер. Вон как он говорит об асбесте — и поэтично и точно».

— Нам этот договор выгоден?

— Если даже все прочие выгоды будут невелики,— заметил Мартенс,— нам важен сам факт договора с Хаммером. Владимир Ильич так и сказал: «Важно показать и напечатать, что американцы пошли на концессии. Политически важно».

— Но Хаммеры как? — взглянул я на Мартенса.

Мартенс улыбнулся:

— Это единственное, что мне пока не ясно, хотя пословица Хаммера-старика...

— «Все, что я хочу сделать в России...»— подсказал я.

— Именно!

Мы спустились в зеленый полумрак Александровского сада и боковой дорожкой, идущей вдоль кремлевской стены, пошли к Охотному ряду. Холодная сырость, которой дышала стена, была приятна в этот летний день.

— Кстати, в нашей беседе возникло имя еще одного буржуа, англичанина Лесли Уркарта,— заметил Мартенс задумчиво.— При мне Ленин получил телеграмму от Красина.

— Это какой же Уркарт? — спросил я.— Не тот ли, что был председателем Русско-Азиатского объединенного общества? Кыштым, Таналык, Риддер-Экибатус. Тот Уркарт?

— Именно, Дмитрий Дмитриевич, тот самый! — заметил Мартенс, и его глаза, такие серо-стальные, мягко накалились.

— Как я понимаю, он хотел бы получить в концессию свои бывшие рудники?

Мартенс остановился.

— Да, речь идет об этом. Именно.

В тот раз Мартенс ничего не сказал мне больше, да вряд ли он знал что-то еще. Имена Хаммера и Уркарта только что возникли, и никто не ведал, как повернется дело. Единственное, что было бесспорно: кто-то из этих двух будет первым концессионером. Кто-то из этих двух. Впрочем, Уркарт не противостоял Хаммеру: один претендовал на асбестовые рудники, другой — на медные; одни рудники были на севере Урала, другие — на юге. Вряд ли могло иметь решающее значение, что один из них хотел арендовать рудники, которыми владел недавно... Итак, Хаммер и Уркарт...

Истек август, а за ним и сентябрь. В Москве все еще было тепло, но изредка внезапно и оглушительно на город обрушивались холодные дожди. Запахло дымом и зимой. Зима выдалась нелегкой — на Украине и Волге неистовое

солнце двадцать первого года попалило хлеба. Еще не справились с войной, на пороге встал голод.

Я часто думал: с тех дней, когда над страной взвилось Октябрьское знамя, не было у Ленина страсти более жгучей, чем страсть созидания. Мне всегда казалось: в этом его истинное призвание, суть его натуры, сущность его гения. Но едва свершилась революция, он должен был отстранить прочь дело, к которому лежала его душа, и, по существу, взять в руки оружие; едва поутих огонь войны и человек принялся за долгожданный труд восстановления, встал грозный призрак голода... А человек жаждал созидания, и образ коммунизма, близкий и ощутимый, был для него вполне конкретен — он видел гидростанции на больших сибирских реках, тракторы и электроплуги на полях, много тракторов, заводы, приведенные в движение разумной силой электричества и пара. Действенным средством восстановления были для него и концессии, хотя Ленин понимал, как велики трудности, которые могут при этом возникнуть. Кстати, только что я прослышал, что в Россию приехал Арманд Хаммер и третьего дня выехал вместе с Мартенсом на Урал. Они ожидались в Москве в конце октября — уральский асбест определенно заинтересовал Хаммера.

Мартенс позвонил мне в день возвращения с Урала. Он сказал, что завтра вечером Ленин примет Арманда Хаммера в Кремле, и просил меня не отлучаться из наркомата после шести вечера. Правда, Хаммер происходит из России и говорит по-русски, однако не исключено, что в ходе беседы возникнет необходимость в переводе текстов.

На другой день к вечеру разразилась гроза с громом и молнией, совсем июльская. Бывает же такое чудо в природе: ждали зимы, и вдруг гроза! Я смотрел, как за окном бушует ливень и в мерцающем свете грозы, то негасимо-синем, то мелово-белом, вздрагивает Китайгородская стена, готовая обратиться в руины. Я смотрел в окно и думал: сейчас раздастся звонок из Кремля, и мне не избежать встречи с грозой. Я не ошибся — телефон ожил в урочную минуту, и я устремился в дымные сумерки лив-

ня. Когда я миновал Троицкие ворота, мое пальто из толстого шинельного сукна было мокро насквозь, вода проникла за ворот и неторопливо текла по спине.

Я вбежал в здание и сбросил с себя пальто. Оно уже не впитывало воду, дождь скатывался с него потоками. Держа пальто на весу, я поднялся наверх и осторожно приоткрыл дверь в комнату секретарей, где обычно дожидались приема посетители Ленина. У окна стоял Мартенс в темно-сером, грубой шерсти, френче, который не брали ни солнце, ни дождь, а в дальнем углу комнаты, у другого окна, стоял человек, которого в толпе я, пожалуй, и не приметил бы — так он был прост собой. Но по тому, как свободно и вместе с тем небрежно сидел на нем костюм, как демонстративно из его кармана торчала газета, а из верхнего кармашка красный карандаш, я опознал в нем американца. Движением глаз Мартенс указал мне на стул рядом с собой и, когда я сел, пододвинул мне номер «Таймса» с отчеркнутой синим карандашом заметкой о поездке Арманда Хаммера на Урал. Заметка была микроскопической, и в ней уместился лишь сам факт: Арманд Хаммер, совладелец такой-то американской фирмы, выехал из Москвы на Урал. Цель поездки — концессия.

Гроза поутихла, но молния еще тревожила небо. Когда она вспыхивала, белые стены арсенала точно пододвигались к окну и мокрые стволы наполеоновских пушек казались пламенеющими. Я обратил взгляд на Хаммера: он продолжал смотреть в окно. Какие ассоциации вызвали у Хаммера эти пушки, лежащие у стен арсенала, трудно было сказать, но Хаммер был хмур.

— Что привело его в Россию? — поднял я глаза на Мартенса.— Жажда деловой деятельности, поиски выгод или желание изведать новую тропу: какие они, эти красные, и можно ли с ними иметь дело?..

Мартенс коснулся кончиками пальцев усов:

— Я тоже думал, и здесь и там, на Урале, когда мы ходили по шахтам, залитым водой.— Мартенс медленно перевел взгляд на Хаммера — он все еще стоял у окна и смотрел, как молния взрывает тьму.— Разумеется, его по-

ступками руководит расчет, хотя он человек и не без фантазии и, так думаю я, нам верит и, в отличие от многих своих коллег, считает, что мы его не подведем. Он пытался обосновать свою позицию, так сказать, теоретически: эту веру к нам внушили ему даже не наш опыт в делах и не наша платежеспособность, а, скорей, наша интеллигентность и порядочность. Он так и сказал: «Вы все — люди идеи, а это самая наивная и вместе с тем честная категория людей — их обманывают, они никогда...»

Я смотрел на Хаммера: в глазах его, которые сейчас были мне хорошо видны, я увидел не столько иронию, сколько любопытство.

Мартенс представил меня Хаммеру.

— Значит, вы старый житель Штатов? — спросил меня Хаммер по-русски.— Портланд, а потом Ванкувер? — Он, казалось, рассматривает меня.— А отец жив? Читает «Русский голос»? Скажу вам по секрету: и у нас читает эту газету вся семья, особенно отец. Наши старики.— Глаза его наполнились живым светом.— Никуда им не уйти от России...

Нас пригласили к Ленину.

Я видел: Хаммер смущенно улыбнулся и, точно отважившись, радостно и робко открыл дверь.

Ленин не сразу оторвался от бумаги, которую читал, осторожно провел ладонью по лбу, задержал ее у виска — жест усталого внимания,— не без труда привстал, опершись о стол.

— Здравствуйте, здравствуйте, милости прошу.— Он вышел из-за стола, пошел навстречу гостю.— Как съездили? Как вам наш Урал?.. Был ли там я? Был и даже много дальше тех мест, где сейчас были вы. Да, за Уральским хребтом, да, под Минусинском... Сибирь, разумеется, Сибирь...— Он указал на кожаное кресло — у него сейчас не было желания вспоминать прошлое.— Прошу вас. Значит, Алапаевск?

Ленин бросил на собеседника испытующе-пристальный взгляд. Хаммер поднял глаза и уловил взгляд Ленина, обращенный на него.

— Господин Ленин, — сказал он почтительно,— я слишком хорошо понимаю, с кем имею честь говорить, чтобы злоупотреблять вашим вниманием.— Он извлек из бокового кармана записную книжку неожиданно большого формата, бог весть как вместившуюся в пиджачный карман, развернул на нужной странице и, прикрыв ее ладонями, тщательно разгладил.— Я уже имел возможность доказать советской стороне свою лояльность...

— Мы это ценим,— сказал Ленин, сказал с тем радушием и доброй веселостью, с какой говорил всегда, когда хотел душевного контакта с собеседником.

— Я счел необходимым напомнить все это, чтобы спросить...— Хаммер сделал паузу и взглянул в книжку — все его слова были там.— Моя фирма и я можем рассчитывать на ваше доверие?..

— Да, разумеется,— сказал Ленин и улыбнулся — его начинал забавлять собеседник.

— Прежде чем сделать следующий шаг и заключить контракт на концессию,— Хаммер пододвинул книжку к свету, чтобы расшифровать мелкую вязь своих записок,— я хочу, чтобы вы поняли, и об этом я сказал мистеру Мартенсу: я заключу договор, если это будет мне выгодно, я это подчеркиваю — выгодно.

— Я не обманываюсь на этот счет, господин Хаммер,— заметил Ленин улыбаясь,— он, видимо, полагал, что легкая ирония должна сопутствовать этому разговору.— Быть может, мы попросим нашего друга Мартенса изложить содержание контракта?

— Да, да, пожалуйста.

Мартенс пододвинулся к свету. Он говорил тихо, и этим подчеркивалась значительность того, что составляло предмет разговора. Да, компания обязуется в первый год реализации дать восемьдесят тысяч пудов асбеста и к пятому году концессии увеличить это количество до ста шестидесяти тысяч пудов. Через каждые пять лет производственная программа предприятия должна рассматриваться заново, в зависимости от того, как изменились технические условия. Разумеется, на концессии действуют

советские законы о труде, при этом по крайней мере половина рабочих должна быть набрана из граждан Российской республики. Концессионеры вносят в Госбанк пятьдесят тысяч долларов — этой суммой как бы обеспечивается договор. Десятая часть добычи асбеста идет Советскому государству в уплату за концессию. Предприятие может быть выкуплено советской стороной, однако об этом концессионеры должны быть предупреждены за шесть месяцев. Стоимость валовой продукции концессии за предыдущий год — размер выкупа.

Мартенс закончил чтение. Ливень за окном стих. Погасла молния, и белая стена арсенала напротив провалилась во тьму. Мартенс отодвинул папку с текстом договора, осторожно откашлялся, точно хотел дать понять Ленину, что первое слово хотел бы сказать он, Мартенс. Ленин в знак согласия кивнул головой.

— Владимир Ильич, вы обратили внимание на размер годовых? — подал голос Мартенс.

— Десять процентов,— произнес Ленин, произнес сдержанно, с явным намерением не обнаруживать своего отношения к тому, о чем говорил.

— Я сказал господину Хаммеру,— заметил Мартенс,— это беспрецедентно низкий процент. Речь может идти о пятнадцати.

Хаммер свел брови.

— Я повезу асбест не из штата Джорджия в штат Каролина, а с другого конца земли,— заметил Хаммер, не поднимая глаз.— Таких расходов на транспорт не знала наша компания.

— Прибыли компании будут велики, если она даст и пятнадцать... Согласитесь, господин Хаммер.— Мартенс хотел использовать еще одну возможность, чтобы отвоевать заветных пять процентов. Инженер, человек дела, он понимал, что какая-то возможность для продолжения разговора еще остается.

— Но поймите, господин Мартенс, я не решаю этого вопроса единолично,— произнес Хаммер.— Я всего лишь представляю компанию... Это ее мнение...

Ленин поднял ладонь, точно этим жестом хотел дать понять собеседникам, что прекращает спор.

— Хорошо, мы согласны,— сказал Ленин, обращаясь к Мартенсу.— А есть ли у нас английский текст, Дмитрий Дмитриевич? — взглянул он на меня.— Быть может, было бы уместно главные статьи договора прочесть по-английски?..

Я взял из рук Мартенса текст договора и статью за статьей принялся переводить.

Хаммер пододвинул к себе записную книжку и, отыскав нужную страницу, положил на книжку указательный палец. По мере того как продолжалось чтение, указательный палец Хаммера медленно передвигался по странице — Хаммер сверял каждую цифру контракта с соответствующими записями в книжке, сверял старательно.

Уже на пороге кабинета, прощаясь с Лениным, Хаммер, помедлив, произнес смущенно:

— Я надеюсь, господин премьер-министр, эти пять процентов не явятся, как это говорят по-русски, камнем преткновения в наших отношениях? Я надеюсь, господин премьер?

— Отнюдь, господин Хаммер.— Ленин взглянул на Хаммера, весело сощурился.— И нам известны законы делового мира! — Наверно, у него было искушение обратиться к более сильному выражению, например, «законы капитализма», но он устоял.— Пока идет торг, допустимы все слова, но, как только он закончился, из всех слов осталось одно: контракт...— С видимым удовольствием он пожал руку Хаммеру.— Вы еще увидите, господин Хаммер, как большевики умеют выполнять контракты.

— Я верю вам, господин премьер-министр,— произнес Хаммер; хорошее настроение теперь владело им.— Кстати, я хотел спросить вас...— Он остановился, в раздумье взглянул на Ленина.— Дело... наше дело и впредь будет пользоваться вашим вниманием?

— Да, разумеется, господин Хаммер.— Ленин улыбнулся.— Простите, у вас есть сомнения?

Хаммер сомкнул губы, задумался.

— Нет, не то чтобы сомнения...— Он взглянул в окно.— Там... дело не является, как бы это сказать, функцией государства, там бизнес делает бизнесмен.

Ленин развел руками, рассмеялся:

— Да, да, совершенно точно: бизнес делает бизнесмен.— Он продолжал смеяться.— Но здесь, в Советской стране, бизнес делает государство!

— Благодарю вас, господин премьер-министр, это очень существенно. Значит, то, что вы делаете для нашего дела, это не просто любезность?

— Никакой любезности, господин Хаммер, это моя обязанность!

— Благодарю вас, господин премьер-министр!

— Пожалуйста, господин Хаммер.

Мы проводили гостя и вернулись в кабинет Ленина. От усталости у Ленина не осталось и следа. Эта встреча с капиталистом (подумать только: первый концессионер!) встревожила и взволновала его.

— Мне кажется, что этот договор имеет немалое значение как начало торговли, но вот что важно...— произнес Ленин.— Необходимо обратить сугубое внимание на фактическое выполнение наших обязательств.— Он выделил голосом «фактическое» и «наших».— Принять меры тройной предосторожности и проверки. Вы понимаете меня: тройной! Не полагаться на приказы!— Он подошел к Мартенсу.— Людвиг Карлович, надо толкового рукастого человека назначить лично ответственным и проверять... Мы должны ухаживать за концессионерами сугубо!— Он подчеркнул «ухаживать».— А что касается этих пяти процентов Хаммера... Нет, нет, я вас понимаю, Людвиг Карлович! Я, быть может, на вашем месте повел бы себя еще жестче. Нам надо уметь торговаться! Но, быть может, в этом случае риск неуместен. Все-таки первая концессия, первая! И потом... важна добрая воля...

Ленин зажег верхний свет и подошел к карте. На северо-восток от Екатеринбурга он отыскал Алапаевск, измерил взглядом расстояние от него до Владивостока, потом до Архангельска, вздохнул. Потом оглядел Сибирь —

его зоркие и быстрые глаза сейчас стремились по алтайским степям, через студеную хмарь байкальских вод. На какой-то миг он задержал взгляд на приенисейских просторах, чуть пониже Березового порога, там, где должно быть Шушенское, и обратил его далеко на Урал, но теперь уже не на северо-восток от хребта, а на юго-восток...

— Уркарт дает нам пять процентов от вала!.. Пять!..— Он отвернулся от карты, лицо его было темным.— Слышите: пять, а мы требовали десять! Нет, здесь не просто желание выторговать у Советской власти копеечку, здесь ненависть к власти Советской...

Он был гневен.

Я покинул Кремль и пошел ночной Москвой. В сознании жил голос Ленина, его лицо, когда он отвернулся от карты и заговорил об Уркарте...

Хаммер и Уркарт... Разумеется, Ленин не обманывался относительно истинной сути одного и другого, относительно их природы. И Хаммер и Уркарт для него были людьми одной классовой сути. И все-таки его отношение к ним было не одинаковым... Или так только казалось мне?

А между тем потребовался всего месяц, чтобы необходимые формальности, связанные с заключением первого концессионного контракта, были преодолены,— уже в ноябре договор был подписан. В документе, который явился своеобразным приложением к договору, Хаммер обязался поставить нам миллион пудов пшеницы. Уже в ноябре Мартенс сообщил мне, что первый пароход с пшеницей отбывает из Нью-Йорка. Разумеется, миллион пудов хлеба для нас количество скромное. Однако главное было в ином: отправкой хлеба Хаммер как бы давал нам понять, что он хочет вести дела с нами под знаком доброй воли.

Ленину было симпатично это качество Хаммера, и он внимательно следил за тем, как выполняется договор с американским концессионером. Во все концы — своим заместителям по Совнаркому и СТО, во Внешторг, в Главметалл шли письма Ленина: «Прошу обратить внимание

на концессию американца Хаммера. Необходимо наблюсти за тем, чтобы наши обязательства по этой концессии выполнялись с неукоснительной строгостью и аккуратностью и вообще за делом понаблюдали повнимательнее...» «Договор о поставке нам 1 000 000 пудов хлеба имеет значение исключительное». «Рейнштейн даст Вам телефонограмму о даче бумаги (о содействии) уполномоченному Хаммера. Помочь ему надо. Взвесьте, как написать, и поставьте, если надо, мою подпись». «Многое говорит за то, что нам очень важно бы опубликовать пошире об этой концессии и о договоре...»

Записки Ленина, короткие (три — пять строк!), исполненные деятельной мысли, вселяли энергию, торопили, воодушевляли, тревожили.

В один из этих дней мне позвонил Мартенс:

— Дмитрий Дмитриевич? Нет ли у вас желания слетать со мной в Каширу? Именно слетать: мой «роллс-ройс» не уступает в скорости «ньюпору» и «вуазену». Хитрец Лежава давал мне за него аэросани, но я не согласился — на колесах как на крыльях... Сорок километров в час — туда и обратно за пять часов. И дипломату важно хлебнуть глоток настоящей жизни... Если не Урал, то Каширa... Как вы?

Я согласился.

Уже за заставой я понял, что хитрец Лежава не прогадал, оставшись со своими аэросанями,— вода в железной утробе «роллс-ройса» неистово клокотала и испарялась раньше, чем мы успевали проехать от одного колодца до другого. Где-то на полпути от Москвы до Каширы, пока шофер с ведрами в руках искал очередной колодец, мы с Мартенсом пошли вдоль леса. Накануне выпал снег и укрыл все окрест. В стороне, на пригорке, виднелась деревня — печально мерцали ее огни. Первый снег, который всегда человеку казался праздничным, сегодня не веселил душу — от этой зимы не ожидали ничего хорошего.

— Как пшеница Хаммера? Пришла? Выгрузили?

Мартенс шел рядом, опустив глаза.

— Да, пришла.

— Ленин знает?

— Знает. Сказал: часть этого хлеба — на Урал, часть — Питеру... — Мартенс помедлил. — И еще сказал: непременно известить Питер и Внешторг. Без тройной проверки ни черта не будет готово, и оскандалимся...

— Так и сказал: оскандалимся?

— Да, так сказал. А что?

— Ему очень хочется, чтобы эта концессия удалась.

— Очень. — Мартенс остановился. — Кстати, вы заметили? Одну концессию поддержал, другую... — Мартенс усмехнулся. — Выходит, к одному лежит душа, к другому — нет.

— А на самом деле?

Мартенс посмотрел вдоль дороги, высматривая шофера, который пошел за водой в деревню, — дорога была пуста.

— На самом деле? — переспросил Мартенс. — Конечно, дело не в этих пяти процентах Уркарта, хотя сама по себе эта цифра может вызвать возмущение...

— Не в этом, а в чем?

Мартенс задумчиво хмыкнул и откашлялся, намереваясь, очевидно, ответить на вопрос обстоятельно.

— Он увидел за этими пятью процентами нечто большее. Он мог рассуждать так: если Уркарт осмеливается говорить о столь ничтожной сумме, значит, он продолжает считать и Риддер-Экибатус, и Кыштым, и Таналык своими. Он точно говорит нам из своего лондонского далека: «Революция? А ее не было! И власть осталась в прежних руках! И заводами и шахтами владеют прежние хозяева! Поэтому о какой плате может идти речь? Чисто символической? Пять процентов — более чем достаточно для символической платы...» Ленин вознегодовал: оскорбление было нанесено самому святому — революции.

— Красин, как я понял, настаивает на подписании с Уркартом договора о концессии? — спросил я.

— Мне кажется, что он не знает всех граней проблемы.

— Вы хотите сказать, не знает всего того, что знает Ленин?

— Именно!

У Мартенса, как я заметил прежде, была такая манера говорить с собеседником: медленно, но точно он подводил к самому важному, потом следовало многозначительное «именно!», и Людвиг Карлович выкладывал все, что намеревался сказать. Так было и теперь.

— Ленин узнал о предложениях Уркарта весной,— произнес он, когда мы прошли лесок и оказались посреди чистого поля,— быть может, в марте, возможно, даже в апреле... Он живо отозвался на это предложение, однако предупредил: концессионер, желающий получить медные рудники, должен гарантировать нам и необходимое долевое обеспечение, при этом в короткий срок, и, что не менее важно, должен помочь нам оснастить другие рудники России. Короче, Ленин возлагал на эту концессию известные надежды. Он даже считал, что средства, полученные за концессию, можно употребить на осуществление плана электрификации...— Мартенс остановился.— Верный своему принципу не полагаться только на документы, а говорить с людьми, знающими обстановку, Ленин пригласил к себе Елисея Домненко. Это имя вам говорит что-нибудь?

— Признаться, нет.

— Елисей Домненко — начальник рудников в Риддере...— заметил Мартенс задумчиво.— Домненко рассказал ему такое, чего, разумеется, никто из нас не знал, тем более Красин, находящийся в Берлине. Оказывается, уходя с Риддера, англичане затопили рудники. Больше того, они изъяли из механизмов важнейшие детали и увезли их. На самих рудниках они оставили своих агентов, судя по всему очень преданных. Кстати, до того, как о концессии узнали в Москве, эта весть стала известна на рудниках. Это навело на мысль, что, несмотря на то что Уркарт в Лондоне, а Риддер на Урале, несмотря на то что в России нет английского посла, а в Лондоне советского, Лондон связан с Риддером достаточно прочно... Впрочем, после

отъезда Домненко на Урал эти предположения подтвердились удивительным образом... Оказывается, вскоре после того, как стало известно, что рудники могут перейти в концессию, работы на рудниках были приостановлены и рабочие распущены... Агенты Уркарта...

— Вы сказали: агенты Уркарта?

— Да, из числа тех инженеров, которые работали при нем... Кстати, Домненко сообщил, что многие и по сей день состоят с Уркартом в переписке и получают от него деньги и даже одежду.

— И это Ленин знает теперь?

— Я думаю, знает.

Мы пробыли в Кашире весь следующий день. То, что я увидел, было мне в диковинку: на берегу Оки встали корпуса теплоцентрали, для которой топливом должен быть подмосковный уголь. Помню, мы шли по зыбким лесам, одевшим здание подстанции, и инженеры, прерывая друг друга, часто в два голоса рассказывали нам, какой колосс будет эта новая Кашира. Помню, цифры, которыми они оперировали не без гордости, показались мне астрономическими: там было и двенадцать тысяч киловатт, и пятьдесят, и даже двести. Меня увлек энтузиазм инженеров, но Мартенс улыбнулся более чем скептически — он был многоопытен.

— Конечно, будет и пятьдесят тысяч и даже двести, но очень не скоро,— сказал Мартенс, когда мы остались одни.— А пока будет тысяча, при этом через год. Одна тысяча.— Он поднял указательный палец.— Но это не должно нас обескураживать... Двести тысяч будут...

Потом я часто вспоминал Мартенса, думал: нет, это был не скептицизм (откуда он у Мартенса?), это был голос трезвого и прозорливого ума.

Мы вернулись в Москву только к утру.

Когда машина шла по заснеженным улицам Москвы, разговор о концессиях возник вновь.

— Вы полагаете, что Ленин еще не сказал своего последнего слова об Уркарте? — спросил я.

— В иных обстоятельствах он бы уже сказал его,—

заметил неторопливо Мартенс.— И слово это было бы отрицательным.— Он помедлил, собираясь с мыслями.— Но в нынешних условиях разговор, возможно, продлится...

Случилось так, что за всю зиму я почти не видел Мартенса. После хмурого и холодноватого марта апрель вломился в город потоками парного солнца. Прежде времени расцвели яблони — как бы майскими морозами не сшибло цвета. Апрельский зной — хорошо ли это для посевов? После прошлогодней засухи жаркое солнце не очень радовало.

В один из этих дней я встретил Мартенса в Кремле. Только что закончилось заседание Совнаркома, и он спешил к себе на Новую площадь.

— Дмитрий Дмитриевич,— окликнул он меня,— в Москве Хаммер, и не исключено, что на днях будет принят Лениным...— Он помедлил, полагая, что сказанного достаточно, чтобы все остальное я понял.

— Не о том ли идет речь, чтобы быть мне...— подал я голос, но он прервал меня весьма энергично:

— Именно, Дмитрий Дмитриевич!

В начале мая я был приглашен к Ленину. Ранний вечер, дождливый. В Совнаркоме окна открыты, и хорошо слышно, как внизу бегают по лужам мальчишки: кто-то смешливый и петушисто-заливистый хохотал и не мог остановиться; кто-то пробовал заплакать, но потом рассмеялся и побежал по лужам, под его босыми ногами вода точно потрескивала.

Когда мы вошли, Ленин стоял у окна, опершись о подоконник, и следил за тем, что происходит внизу. Он нас заметил не сразу, и, когда обернулся, глаза были теплыми — видно, он только что смеялся.

— Вы вновь наш гость,— произнес Ленин, пожимая руку Хаммеру.— Значит, вопреки всем невзгодам, наши дела движутся...

— Да, да, господин Ленин, вопреки невзгодам,— произнес Хаммер.— Эта зима была для России нелегкой.

— Нам казалось, после того что у нас уже было, нам

ничего не страшно. Но голод, голод...— Ленин умолк, и в комнату вновь вторглись детские голоса. Они были очень хороши, эти голоса, в них было и негасимое жизнелюбие, и незатухающая радость, и главное, всевечность человеческой природы.— Спасибо вам за пшеницу, она пришла к нам вовремя. Так, Людвиг Карлович? — взглянул Ленин на Мартенса.

— Именно, Владимир Ильич.

— Ну что ж, теперь, когда мы немножко знаем друг друга, дело пойдет веселее,— заметил Ленин воодушевленно и добавил, обращаясь к гостю: — Чем могу быть полезен?

Хаммер извлек записную книжку, извлек не без усилий: книжка была, пожалуй, больше той, какую мы видели у него осенью. Все, что он хотел сообщить Ленину, было точно обозначено в книжке и в этот раз. Концессия уже начала действовать. В Россию приехали инженеры. Со дня на день ожидается пароход с оборудованием. Быть может, он возьмет в обратный рейс первую партию асбеста. Если местные власти внимательны к концессии, то портовая администрация в Петрограде и представитель Внешторга... В общем, не мог бы Ленин дать понять петроградским властям, насколько все это важно для Советского государства?..

Ленин выходит из-за стола.

— Вы сказали — петроградским властям?— Его лицо озабоченно.— Хорошо, мы вызовем сейчас на провод Петроград.— Он направился к боковой двери, она ведет в аппаратную.— Все, что можно сделать...— говорит он Хаммеру уже из аппаратной; дверь за собой он не закрывает, как мне кажется, предусмотрительно не закрывает.

Слышно, как Ленин вращает ручку аппарата.

— Петроград? У телефона Ленин... Да, речь идет о концессии Хаммера! Господин Хаммер или его компаньон господин Мишель... Так я говорю? Господин Мишель? — спрашивает Ленин, обращаясь к Хаммеру: Ленин хочет убедиться, что Хаммер его слушает, недаром он оставил дверь открытой.

— Да, господин Ленин, мой коллега Мишель.

— Запишите: Мишель. Господин Арманд Хаммер сейчас у меня, я сообщу ему: наши власти в Петрограде. Прошу проследить лично... Всемерное содействие...

Ленин возвращается к себе.

— Я повторю все это.— Он кивает в сторону аппаратной.— Я повторю в письме, которое вы сейчас получите.

Он пододвигает блокнот и, задумавшись на миг, с видимой легкостью заполняет страницу бегущим почерком, потом перечитывает и вдруг (это случается не так часто) вносит в текст письма поправки — одну, вторую, третью. Теперь он переписывает письмо очень тщательно, сворачивает его, вкладывает в конверт, однако клапан оставляет открытым, точно приглашая Хаммера при случае прочесть письмо. Он идет вместе с Хаммером к выходу — не каждый гость удостаивается такой чести. Нет-нет, Ленин бросает на него быстрый взгляд, и в глазах Владимира Ильича блеснет лукавинка, острая, живучая.

— Согласитесь,— говорит Ленин, и в голосе его слышится и любопытство и лихая веселость,— если бы не было у вас уверенности, что с большевиками можно ладить, вы бы не решились, господин Хаммер? Нет, кроме шуток: не решились бы?

Хаммер тщетно пытается втолкнуть в карман записную книжку.

— Не решился бы! — замечает он смеясь.— Не решился бы, господин премьер-министр!

Мы с Мартенсом провожаем Хаммера к автомобилю, который поджидает его несколько в стороне от подъезда. Мостовая уже просохла после дождя. А голоса детей переместились куда-то в глубь кремлевского городка: они стали, эти голоса, слабыми и гулкими, точно неожиданно проникли под островерхие шатры кремлевских башен.

Хаммер вдруг останавливается и, достав из кармана записную книжку, извлекает письмо.

— Мне показалось, что господин премьер написал здесь,— он указывает взглядом на письмо,— написал здесь «товарищ Хаммер».— Он пытается держать письмо

на некотором расстоянии от глаз.— По-моему, я не ошибся: «Товарищ Хаммер». Так ведь?

Я беру письмо, и мне становится понятным, почему Ленин так тщательно писал его, почему он его правил больше обычного, а потом переписал: ведь письмо написано по-английски.

Ленин писал:

«O beg you to help the comrade Armand Hammer it is extremely important for us that his first concession should be a full success.

Yours Lenin».

Впрочем, за английским текстом следовал русский. Ленин перевел письмо вольно, сохранив общий смысл.

«Очень прошу всячески помочь подателю, товарищу Арманду Хаммеру, американскому товарищу, взявшему первую концессию. Крайне, крайне важно, чтобы все его дело было полным успехом.

С ком. пр.
В. Ульянов (Ленин)».

Не прошло и двух недель, как мы с Мартенсом были вызваны в Кремль едва ли не по сигналу тревоги.

Был одиннадцатый час вечера, однако в окнах ленинского кабинета зыбился желтый сумрак. Я надеялся, как это обычно бывало, застать Владимира Ильича над книгой или подшивкой газет и был немало удивлен, увидев Ленина устало вышагивающим по кабинету.

— Вот, извольте: письмо от Хаммера! — произнес он, указывая на стол.— Вы помните мой разговор с Питером, помните мое письмо туда? Так всё сделали наоборот! Вызвал Питер на провод. Будете иметь удовольствие послушать.

Он зашагал к аппаратной. Полы его пиджака пришли в движение. Он сжал и разжал руки — щеки стали грозно-белыми. Он задел край стола и сдвинул скатерть — зеленое сукно вздулось. Он не обернулся.

Было слышно, как порывисто и крепко Ленин повернул ручку аппарата — один раз, второй, третий.

— Сегодня мне показали письмо Арманда Хаммера, да, американца Хаммера, о коем я вам писал! — услышали мы его голос, необычно тихий.— Да, американец, сын миллионера, из первых взявший у нас концессию, архивыгодную для нас! — Ленин сделал паузу, он явно пытался сохранить самообладание и изложить суть дела спокойно.— Хаммер пишет, что, вопреки моему письму, да, да, письму, которое я вам направил в Питер, коллега Хаммера Мишель жалуется на невежливость и бюрократичность Бегге из Внешторга, который принял его в Питере...— Ленин умолк на миг, грозно умолк.— Я обжалую поведение Бегге в ЦК! Это черт знает что! Несмотря на мое специальное письмо, сделали всё наоборот! Прошу вас специально расследовать этот случай!

Он входит в комнату тем же крупным шагом и, не останавливаясь у письменного стола, идет в дальний конец кабинета, потом вдруг возвращается к столу, одергивает зеленое сукно, сурово смотрит на нас.

— Я хотел еще раз вернуться к Уркарту, спокойно вернуться.— Он говорит «спокойно», однако грозная белизна еще удерживается на его щеках.— Уркарт хочет овладеть всей нашей медью, всей. Иначе говоря, медную монополию мы отдадим в его руки. Что-то в этом от стратегии лорда Керзона... Впустить врага, да еще дать ему в руки оружие... Нет! Рабочие, товарищи рабочие нам не простят этого. Своих разбойников прогнали, а чужих зовем... Нет!

Ленин подошел к окну, прислушался — дождь стих.

В этот вечер мы расстались с Мартенсом рано — он спешил в Главметалл (ночью Людвиг Карлович уезжал в Курск), я остался в Кремле.

— Ленин сказал: «Своих разбойников прогнали, а чужих зовем»,— заметил Мартенс, когда я провожал его от Малого дворца к Троицким воротам.— Ленин сказал, а я вспомнил Перово, паровозы, занесенные снегом, Феофаныча... Нет, Ленина в Перове тот раз не было, но была там его недремлющая тревога, великое беспокойство его.— Мартенс остановился, глаза его были хмуры.— Короче,

я понял Владимира Ильича так: «В мире есть только один паспорт, который мы просим иметь при себе каждого, кто едет к нам оттуда: добрая воля, добрая...»

Я покинул Кремль уже за полночь. Земля еще удерживала влагу недавнего дождя, однако небо расчистилось от туч — казалось, что завтра день будет ясным. Я взглянул на часы — было десять минут первого. Значит, поезд в Курск уже отошел. И я подумал о том, что Мартенс, наверное, не спит сейчас. Стоит у окна и вот так же смотрит на небо. Проплыл черный островок леса, просторное зеркало Оки, поле, укрытое туманом, еще островок леса. И он, как и я, вспомнил, наверно, Кремль, разговор у Троицких ворот перед расставанием: «Один паспорт: добрая воля, добрая...»

ПИСЬМО

В длинном ряду окон Малого дворца попеременно вспыхивает свет. Видно, комендант совершает по дворцу свой вечерний обход. Окна в кабинете Владимира Ильича освещены. Нет лучшего времени для работы, как воскресный вечер: Малый дворец безлюден и даже громкоголосые телефоны онемели.

Но в окнах не зеленый сумрак настольной лампы, а белое свечение люстры: значит, Ильич не один. Быть может, кто-то из его постоянных собеседников, с кем он и прежде любил поговорить на свободную тему,— воскресный вечер дает такую возможность. На свободную тему? Да, беседа, как равнинная река, вольно текущая, полноводная. Гегель и Марксова «Рейнская газета», защитительная миссия Короленко по Мултанскому делу и августовское наступление союзников...

Я поднимаюсь на третий этаж. В доме действительно тихо и необычно сумеречно. Двери открыты повсюду, и голос Ильича слышен явственно.

— Да, да. Люберсак мне так и сказал: «Я монархист, и моя единственная цель — поражение Германии»,— про-

изнес Ленин воодушевленно.—«Коли поражение Германии, то нашим союзником может быть даже монархист»,— сказал я и, представьте, пожал ему руку. Каково?

Было слышно, как рассмеялся собеседник Ленина, рассмеялся густым, полнозвучным баритоном.

— Вы полагаете, Владимир Ильич, что и этот факт имеет отношение к американской истории? — произнес собеседник Ленина, отодвинув стул.

— Нет, не этот именно, но аналогичный! — отозвался Ленин быстро — так было всегда, когда система доводов прочно сложилась в его сознании. Излагая эти доводы, он как бы вновь ощущал их логическую силу, их стройность.— Когда американцы вели свою освободительную войну против угнетателей-англичан, им, американцам, противостояли также угнетатели — испанцы и французы... Вы помните, что сделали сыны Америки? Они раскололи единый фронт врага и пошли на союз с французами и испанцами. На союз с угнетателями. Да, на временный союз — вначале победили англичан, а потом, отчасти с помощью выкупа, французов и испанцев...

Было слышно, как собеседник Ленина зашагал по комнате, зашагал небыстрым и легким шагом.

— Пример с Люберсаком и американской историей нужен вам, чтобы объяснить американцам Брест? — спросил человек, останавливаясь; голос его заметно сместился, видно, он стоял сейчас в противоположном конце комнаты, возможно, у кафельной стены.

— Да, чтобы объяснить американцам Брест,— согласился Ленин.— Революция имеет право на союз с одними деспотами против деспотов других, если это служит делу революции...— Ленин на минуту умолк, прислушиваясь.— Это вы, Дмитрий Дмитриевич? Вечер добрый! Тексты я оставил на столе... Мы сейчас уходим! — произнес он и добавил, обращаясь к своему собеседнику: — Да, разумеется, если это служит интересам революции, Вацлав Вацлавыч...

Я невольно остановился: значит, собеседником Ленина был Воровский, наш посол в Стокгольме? Он приехал в

Москву в начале июня и по своей беспокойной натуре очутился в центре событий, которыми жила летом восемнадцатого года Москва: сражался с эсерами на съезде Советов и создавал обширное досье для предстоящих переговоров с немцами, в тревожную ночь на 6 июля готовил коммунистов к уличным боям (эсеры решили взять Москву приступом) и неоднократно, как мне показалось — больше поздними вечерами, беседовал с Лениным, беседовал подолгу. Нет, здесь дело было не только в том, что их связывала давняя и верная дружба. Важным было и другое: интеллект собеседника, острота его политического зрения, его способность прощупывать пульс времени, его умение прозорливо смотреть в завтра. Как мне казалось, Воровский был в курсе больших дипломатических замыслов Ленина. Главные линии диалога, услышанного мною, прочерчивались зримо: как объяснить американцам нашу политику в таком непростом вопросе, как договор с немцами, Брест?..

Мне показалось, что собеседником Ленина был только Воровский, и я немало удивился, когда рядом с Вацлавом Вацлавовичем (в своем темном, безупречно сшитом костюме, с портфелем, перетянутым ремнями, он выглядел человеком, для которого дипломатия была профессией давней) увидел второго. Это был человек немалого роста с усами лемешком.

— Вы полагаете, товарищ Бородин,— обернулся Ленин к своему второму собеседнику,— письмо должно быть послано из Стокгольма нарочным?

— И не одним,— ответил тот.

— Из трех один дойдет наверняка,— сказал Ленин, уступая дорогу своим гостям.— Вацлав Вацлавыч, когда вы намерены покинуть нас? — спросил Ленин, когда они уже были в коридоре. (До возвращения в Швецию Воровский должен был побывать в Германии.)

— В пятницу, с тем чтобы в понедельник быть на месте,— ответил Воровский.— На понедельник у меня назначена встреча с мюнхенскими купцами...

— Узнаю старого боевика,— произнес Ленин.— Не

беда, что ты в Москве и впереди версты и версты, ты должен быть на том конце планеты в урочную минуту.

Воровский смущенно закашлял и, как мне показалось, ускорил шаг.

Разговор, невольным свидетелем которого я был, показался мне любопытным. Речь, очевидно, шла о посылке трех гонцов в Америку с письмом, которое Ленину и его собеседникам представлялось важным. Но сколько я ни думал, мне было трудно проникнуть в тайну этого письма. Кстати, к тому, что я знал тогда, ничего не прибавляла и фраза Ленина о французском капитане Люберсаке и праве американцев раскалывать сплоченный фронт своих угнетателей.

Мое любопытство немало возросло, когда неделей позже (Воровский был уже в Германии, и встреча с мюнхенскими купцами осталась позади), все в такой же поздний вечерний час, я увидел Владимира Ильича и Бородина, медленно прохаживающихся у Малого дворца — после четырех-пяти часов напряженной работы Ленин иногда выходил погулять, подчас вместе с человеком, которого он только что принимал.

— Именно вы нам и нужны, Дим Димыч! — окликнул он меня весело.— Вот мы вам сейчас зададим задачу по истории Америки: чем вы объясните, что Америка семидесятых годов, по крайней мере ее экономика, вдруг обратилась вспять?

Беспокойство охватило меня.

— Но то был регресс частичный и, очевидно, временный? — произнес я несмело.

— Но почему все-таки он имел место, этот регресс, как вы говорите, почему? — повторил Ленин настойчиво.

— Простите, Владимир Ильич, что мой ответ прозвучит чуть-чуть школярски, но деспотия рабовладельцев была по-своему производительна, и прежде чем укрепились новые отношения...

—...должно было пройти время?

— Очевидно, Владимир Ильич,— заметил я.

— Ну что ж, товарищ Бородин,— взглянул он на своего спутника,— после того как мы получили эту справку, справку верную, хотя и несколько ученическую, мы можем запечатать наше письмо и надписать адрес. Не так ли?

Признаться, я с завистью взглянул на Бородина, которому была доступна тайна письма. В тот момент я не знал, что не пройдет и трех дней, как секрет знаменитого письма будет известен и мне, при этом не без участия Бородина.

Старые наркоминдельцы помнят: в наркомате всегда был рабочий кабинет для советских дипломатов, приезжающих из-за рубежа. Здесь они читали прессу и корреспонденцию, встречались со своими коллегами по наркомату, нередко принимали посетителей, писали отчеты. Кабинет был оклеен терракотовыми обоями и слыл у дипломатов под названием «терракотовый».

Был девятый час вечера, когда я встретил Бородина, быстро идущего к терракотовому кабинету.

— Дмитрий Дмитриевич, не могли бы вы быть у меня сегодня часов в одиннадцать?

Просьба Бородина озадачила меня — вечер у меня был всегда занят больше утра.

— В одиннадцать? — переспросил я.

— Да, в одиннадцать...— повторил он с необычной для него жесткостью и добавил, как мне показалось, и мягче и доверительнее: — Ночным поездом я уезжаю в Стокгольм.

«Не о письме ли идет речь?»— подумал я, однако тут же отогнал прочь эту мысль — о письме Бородин мог сказать мне и прежде, для этого времени было более чем достаточно.

Я обещал Бородину быть.

В одиннадцать я направился в терракотовую комнату. Ночью уходила диппочта на запад (не с тем ли поездом, которым уезжал Бородин?), и, как это всегда бывало накануне, в Наркоминделе громче обычного стрекотали машинки.

Дверь в кабинет я застал полуоткрытой — Бородин ждал меня.

— Дмитрий Дмитриевич, я задержу вас лишь на минутку,— произнес Бородин, отрываясь от бумаги, которую он читал с пером в руках.— Вы знаете, что у Ленина был давний план, который он осуществлял с первых дней революции методически: сделать капиталистическую Америку с ее технической мощью, энергией и предприимчивостью ее народа союзницей Советской России! Перспектива такого союза была бы для нас весьма заманчива! Ленин осуществлял этот план с энергией, страстью и, главное, последовательностью, на какую способен только он, и во многом успел: Америка понимала нас до сих пор лучше старушки Европы.

Я слушал Бородина и думал: он мыслит, как стратег, с той прозорливой и всеохватывающей широтой, какая необходима революционеру. В тот момент я знал Бородина недостаточно, но эта его черта была слишком характерной, чтобы ее не заметить. Если бы я мог заглянуть в завтрашний день этого человека, то подивился бы тому, как необыкновенно проявилась эта черта в его деятельности. Бородин взглянул на объемистый пакет, лежащий перед ним:

— Однако события последних трех месяцев в Европе подействовали и на Америку гипнотически...

— Обходный маневр в Бельгии, прорыв линии Зигфрида? — спросил я.

— Да, пожалуй, и Бельгия, и линия Зигфрида,— заметил Бородин и нетерпеливо пододвинул к себе пакет.— Трудно поверить, но патриотический угар заволок и Америку, при этом какую-то гибкость ума утратили даже те, кто нас до сих пор понимал. Возникла необходимость обратиться к Америке — может быть, даже к пролетарской Америке,— объяснить все до конца, и Ленин написал вот это письмо...— Бородин отвернул клапан конверта и быстро извлек стопку машинописных страниц, тщательно сколотых.— Сегодня ночью я увезу письмо в Стокгольм и сделаю попытку...

— ...переправить письмо в Америку? — спросил я осторожно.

— Да, чего бы это ни стоило,— согласился Бородин.— Это тем более необходимо, что есть опасность, да, опасность более чем вероятна: текст письма может быть искажен...

— Каким образом? Ведь все экземпляры письма у вас? — спросил я.

— В том-то и дело, что не все,— произнес Бородин.— Послезавтра письмо будет напечатано в «Правде» и станет достоянием корреспондентов, при этом каждый из них будет переводить текст, как ему вздумается.

— Но может быть, есть резон перевести письмо нам и вручить корреспондентам вместе с русским текстом и текст английский? — спросил я осторожно.

— Вот об этом-то я вас и хотел просить. Впрочем, не один я.

— Чичерин?

— Нет, не только он — Ленин.

Бородин встал и украдкой взглянул на большие часы, стоящие слева в углу,— ну конечно, час отъезда грозно приближался и вожделенных тридцати минут уже не хватало.

— Да, Владимир Ильич хотел бы, чтобы перевод был выполнен самым тщательным образом и закончен завтра же — тексты следует вручить корреспондентам в ночь на двадцать второе. Копия письма для вас должна быть готова через полчаса...

— А как будет в Америке? Не просто сегодня напечатать там письмо Ленина: Дебс — в тюрьме, Хейвуд — объявлен красным, Рид...

— Может быть, Рид,— сказал Бородин.

Мы простились.

И вот письмо лежит передо мной.

«Мы жали друг другу руки с французским монархистом, зная, что каждый из нас охотно повесил бы своего «партнера».

И еще:

«В 1870 году Америка в некоторых отношениях, если взять только «разрушение» некоторых отраслей промышленности и народного хозяйства, стояла *позади* 1860 года. Но каким бы педантом, каким идиотом был бы человек, который на *таком* основании стал бы отрицать величайшее, всемирно-историческое, прогрессивное и революционное значение гражданской войны 1863—1865 годов в Америке!»

Я вспоминаю тот вечер, тот первый вечер, когда я шел коридорами Малого дворца и неожиданно услышал голос Ильича: он говорил тогда о Люберсаке.

Значит, в тот вечер, в тот поздний вечер, когда неожиданно Ленин и Бородин повстречались мне в кремлевском дворике перед Малым дворцом и Ленин с веселым озорством решил проверить, как знают американскую историю дипломаты, последняя точка в письме еще не была поставлена.

Я вышел из Наркоминдела в первом часу ночи. С полчаса, как ушла диппочта (ну конечно же, она отправлялась в Стокгольм одним поездом с Бородиным), и окна большого дома были погашены. Только в трех проемах четвертого этажа горела недремлющая люстра — у Чичерина продолжался страдный день. Завтра приблизительно в это время Чичерин пригласит к себе корреспондентов и вручит письмо. И я переношусь мыслями в завтрашний вечер: мне нравится эта церемония, и торжественная и радостно-тревожная. Вечером секретари Чичерина позвонят корреспондентам: «Господин Арчибальд Кинг... да, текст письма Ленина Америке...» А потом приемная Чичерина, белый накал люстры, приторновато-сладкий запах заморского табака, неловкий, не очень сообразуемый с благородным деревом панелей и чистым свечением люстр грохот подбитых гвоздями башмаков, в которые обуты корреспонденты (дань войне), и голос Чичерина: «Господа, мне поручено сообщить вам, что завтра утренние московские газеты опубликуют...» И долго еще в просторных проемах чичеринского кабинета будет гореть белая люстра и гудеть телефон: «Георгий Васильевич, мы

даем письмо без комментариев? Все комментарии завтра...» И кажется, что в слова эти мощно вторгается гудение печатных машин и первые оттиски газет ложатся в стопу. «Письмо к американским рабочим... Письмо к американским... Письмо...»

Я иду по ночной Москве, и письмо Ильича, как его восприняло сознание при первом же чтении, припоминается вновь и вновь. И ясный взгляд Ленина, и его убежденность, и гнев против деспотии капитала... Кстати, как корреспонденты отзовутся на письмо? Подхватят его и разнесут по миру или сомкнут губы и предадут забвению? Иногда, желая обскакать друг друга (закон капиталистической конкуренции жив!), они могут пожертвовать и собственными интересами, иногда... Если стать у большого наркоминдельского окна, выходящего на площадь, можно видеть, как почтенные представители агентств бегут на телеграф. Впрочем, вначале слышно, как гремит лестница. Нет, не лифт, а именно лестница! Горный обвал кажется игрушечным в сравнении с теми громами, которые сотрясают здание «Метрополя», когда ватага крепконогих молодых людей низвергается с четвертого этажа. А потом можно стать у окон, выходящих на площадь, и взглянуть, как единоборствуют агентства: оказывается, чтобы победить «Ю-Пи» («Юнайтед пресс», год основания 1907), нужны и сильные ноги, и автомобиль со скоростью гоночного, и исправный мотор, и бачок горючего про запас, при этом сердце корреспондента не должно уступать в надежности мотору автомобиля, что стоит у подъезда. Корреспонденты выбегают на площадь и устремляются к машинам, моторы которых заведены. Включают скорость, над радиатором вспыхивает бензиновое облачко, и, подскочив, автомобиль устремляется вперед. Какое дело корреспонденту до того, отвечает телеграмма стратегическим интересам Америки или нет. В конце концов, в агентстве разберутся. Главное — не дать «Эй-Пи» («Ассошиэйтед пресс», год основания 1848) обойти себя на повороте. Но рождение новости, даже сенсационной, в Москве не всегда

отзывается за океаном. Законы политической сейсмографии неисповедимы: точно на полпути из Европы в Америку встала стена и поглотила токи...

Не получится ли так и в этот раз?

Но пакет с ленинским письмом увез в Стокгольм Бородин.

Идут дни — один, второй, третий. Скоро неделя, как Бородин покинул Москву. Где он сейчас? Очевидно, где-то копятся телеграммы: Бородин минул Петроград, он прибыл в Ревель, пароход бросил якорь в Стокгольмском порту... Сам он повезет письмо дальше или у него примет письмо другой, пока еще безвестный, но храбрый человек, готовый выполнить свой долг перед революцией?

И за каждым шагом Бородина испытующе следит Ленин: Петроград, Ревель, Стокгольм...

Кажется, что с тех февральских дней восемнадцатого года, когда в Смольном было получено сообщение о немецком наступлении, в жизни Республики Советов не было более жестокой поры. И огни Смольного будто переселились в Кремль: не спит Ленин. Карта на стене справа исчерчена его карандашом. Густо-красная струйка карандаша протянулась по Волге, пересекла Сибирь, просочилась к Оке и объяла ее берега, неожиданно вспыхнула капелькой крови в самом центре России, под Тамбовом: третий день там бушует огонь кулацкого восстания. Ленин уходит в первом часу ночи и, вернувшись, застает рядом с пачкой утренних газет аккуратную стопку карточек из желтого картона. Неделя расписана плотно: речь на Всероссийском съезде просвещенцев, в Политехническом музее, в Алексеевском народном доме, на хлебной бирже, на заводе Михельсона... Письмо давно написано и отослано, но то, что было сказано в нем, не дает ему покоя. Может, поэтому в его речах все чаще возникает Америка.

«Возьмем Америку, самую свободную и цивилизованную. Там демократическая республика. И что же?.. Если фабрики, заводы, банки и все богатства страны принадлежат капиталистам, а рядом с демократической республи-

кой мы видим крепостное рабство миллионов трудящихся и беспросветную нищету, то спрашивается: где тут ваше хваленое равенство и братство?..»

Это он сказал на заводе Михельсона.

День был пасмурный, далеко не августовский, и под сводами гранатного цеха, где происходил митинг, отстоялся лиловый полумрак. Ленин закончил речь и направился к выходу. Рабочие хлынули вслед.

Владимир Ильич шел, окруженный живым кольцом. Кольцо было нерасторжимым и крепким. Оно смещалось медленно. По каменному полу цеха, через широко распахнутые ворота, по неяркой траве заводского дворика. Уже во дворе кто-то крикнул: «Товарищи, дайте пройти товарищу Ленину к автомобилю!» Кольцо медленно разомкнулось, и все увидели, как Ленин быстро идет к автомобилю, все еще приветственно подняв руку, один идет. Раздался выстрел, потом еще и еще. Кто-то крикнул и побежал. Ленин, опираясь на локти, старался подняться с земли. Его лицо было желтым, под цвет бледного, уже осеннего неба, под цвет неяркой травы...

...Он лежал в своей кремлевской квартире, и перед ним были только столик, покрытый льняной скатеркой, со стаканом воды, термометром, пузырьком валерьянки, горкой ваты да непросторное окно с облачным, уже ночным небом. В комнате было тихо (вода в стакане точно отвердела) и как-то одиноко. Казалось, тишина, что отстоялась здесь, распростерлась далеко в ночи, за пределами этих толстых дворцовых стен, за непробиваемыми валами и каменными глыбами Кремля. Ему невдомек, что комната за стеной полна людей, что город, да что город — вся страна в горестном смятении не может вот уже до полуночи сомкнуть веки... И казалось невероятным, что эту бурю человеческого беспокойства, которая грохочет и гудит вокруг, в состоянии сдержать стены комнаты, в которой он сейчас лежит.

Когда он закрывал глаза, все, что жило в нем в эти дни, что сшибалось друг с другом и единоборствовало, подступало сейчас к кровати, покрытой клетчатым пле-

дом: и тревожные дымы пылающих деревень под Пензой и Рузаевкой, и гул голосов на митинге в Политехническом, и горящие увалы над Волгой, и это письмо в Америку...

Где оно сейчас: все еще по дороге в Стокгольм или минуло Стокгольм, а за ним Гетеборг, а может быть, и Берген и теперь где-то на пути в Америку? Где оно, это письмо? Ему показалось, что рука, схваченная лубком, онемела. Он попытался приподняться, и острая боль поразила его, боль в плече. Он скосил глаза: рубашка была в крови. «Надя,— произнес он (голос, что рука, занемел),— пододвинь подушку...» Где теперь письмо: в Швеции или уже в океане на пути в Америку?..

Он мог всего лишь сказать: «Где теперь письмо?»— и не знал, что на четвертый день путешествия Бородин прибыл в Стокгольм и передал письмо Воровскому. Не знал он, что именно в этот час по беспокойному осеннему океану (в Атлантике дули свирепые норды, и над норвежскими фиордами ветер гнал тучи мелкого снега) возвращался в Россию человек, которому суждено было сыграть немалую роль в судьбе письма, идущего в Америку. Он не знал и того, что человек этот прожил на чужбине одиннадцать лет, одиннадцать нелегких лет, как повсюду на белом свете живут гонимые: корабельный плотник, матрос, землекоп, грузчик. Была у человека фамилия, но больше фамилии было известно его имя, русское имя: Петр. В тот час, в тот нелегкий час Владимир Ильич еще не знал, какая тропа привела человека в дом с серпом и молотом на вывеске и столкнула с послом. Беседа была долгой и показалась человеку странной. Посол спрашивал Петра о том, что на первый взгляд не имело прямого отношения к делу. Как ему жилось в Америке, по каким морям он плавал и как добывал себе хлеб. Не знал и не мог знать Владимир Ильич и того, что беседа эта закончилась неожиданно для Петра: Воровский предложил ему вернуться в Америку с письмом Ленина. Бывает же так в жизни: достигнув родного порога и едва ли не взойдя на него, человек повернул на чужбину. И трудно было на

месте Ильича нарисовать картину обратного пути, пути длинного и во сто крат более тяжелого, чем путь из Америки на родину: как скрывался человек от датской полиции, как прятал ленинские письма в асбестовом футляре, помещенном в печной трубе, как нанимался матросом на американское судно, как достиг, наконец, далекого берега и как в черной ночи, обвив себя канатом, спрыгнул с судна на берег и устремился нью-йоркскими ущельями искать жилье и убежище, и как принес двумя днями позже письмо Джону Риду... В жестокую августовскую ночь восемнадцатого года, когда Ленин лежал в своей квартире с трижды простреленным плечом, он не знал всех этих подробностей и не мог знать, как шло его письмо в Америку, но он знал и верил, что у него и его дела есть тысячи и тысячи друзей и сподвижников, которые донесут письмо до Америки и сделают его достоянием большого народа. Хорошо, что письмо попало в руки Джона Рида,— его страсть и преданность сделают все.

...Ленин поправлялся. В газетах был напечатан бюллетень, очевидно, последний. Перед опубликованием его показали Ленину. Владимир Ильич взял карандаш и, не без труда зажав его еще слабыми, неверными пальцами, приписал: «...Покорнейшая моя личная просьба не беспокоить врачей звонками и вопросами».

Кто-то сказал мне, что Владимир Ильич был на концерте русского хора Пятницкого, а затем беседовал с Пятницким у себя. Нехитрое это сообщение объясняло все: и то, что здоровье Ильича быстро идет на поправку, и что у него хорошо на душе, и то, что он со светлой радостью смотрит вперед. А потом Ленин появился в кремлевском дворике. Он был без пальто, в кепке, при галстуке, кстати, галстук был не будничным, в мелкую горошинку. Просторная черная повязка, поддерживающая от локтя до запястья его левую руку, была снята, и это тоже казалось добрым знаком. Он шел медленно, вложив руку в карман, ссутулив больное плечо. Накануне прошел дождь, однако солнце было сильным, не сентябрьским, и высушило камни и землю. Только в колдобинах еще

сохранилась вода. Ленин иногда смотрел на солнце, щурился и, приподнимая здоровую руку, точно старался отстранить ею дневное светило. Он встретил меня уже у входа в Малый дворец, больше обычного задержав руку над головой.

— Дим Димыч, а письмо наше дошло все-таки в Америку и распропагандировано в тысячах экземпляров! Говорят, довез наш, русский, и передал в руки товарищу Джону Риду.— Ну конечно же, Рид был его слабостью.— В тысячах! — повторил он и рассмеялся.— А вы говорили...

— Да не говорил я ничего, Владимир Ильич...

— Нет, нет... вы что-то говорили... Дим Димыч, что-то в вашем духе.

Он поднял руку, точно характерным этим жестом прося прощения за хорошее настроение, и вошел в Малый дворец.

Иногда мне кажется, что Владимир Ильич создал свое представление обо мне и не может с ним расстаться. Ему хочется видеть меня таким Дим Димычем, добрым малым, чуть-чуть нерасторопным и покладистым, которому легче даются слова добрые, чем злые. И вообще, как он полагает, меня должно устраивать не столько положение дипломата, сколько переводчика,— в этом случае собственное мнение необязательно. «Да не будьте вы этаким... боженькой! — точно говорит он мне.— И боги гневаются!» Он был немало озадачен, когда однажды после встречи с Вандерлипом в ответ на просьбу американца организовать в оставшиеся до его отъезда два дня новую встречу с Лениным я сказал, что просьба такого рода нарушает нормы, принятые в Москве и в Вашингтоне. Потом он часто вспоминал этот случай: «Впрочем, был... такой факт, когда вы превзошли самого себя, да, да, тот самый, с Вандерлипом, но, как свидетельствует молва, «и заяц может поджечь ригу». Подчас мне казалось, что в сознании Ленина существует два Рыбаковых: Дим Димыч, объект его незлобивых шуток, и Дмитрий Дмитриевич, молодой дипломат, пока еще ненаторенный в премудростях нелегкой

своей профессии, но желающий постичь ее честно. «Дмитрий Дмитриевич,— подходил он ко мне, и в его глазах появлялась та суровость, которая посещала его в минуту раздумий над большим и нелегким делом,— а не полагаете ли вы, что нам надо создать наше представительство где-то на тихоокеанском берегу Штатов, на таких же общественных началах, как в Нью-Йорке?..» Нет, человек остро наблюдательный, он постигал людей постоянно, и ничто не ускользало от его глаз.

Он сказал: «Говорят, довез наш, русский...», а сам, наверно, подумал: «А какой все-таки этот русский, что домчал письмо до Америки наперекор океану и длинным верстам, немецким минам и студеным штормам? Какой он, этот русский?» Быть может, Ильич даже захотел представить себе этого человека, с которым породнило его это письмо? Разночинец — бессребреник, шагающий по морям и океанам в поисках правды, или слабый отпрыск некогда знатного рода, отрекшийся от своих отцов во имя революции, или, наконец, пролетарий, верная и бесконечно храбрая душа, партии рядовой, из тех, первых... Какой он, этот русский?

Прошел год. Осень следующего, девятнадцатого года была в Москве теплой, и зелень удерживалась до позднего октября. Потом ударили морозы, один раз, второй, и точно огнем расцветило листву — ярко-желтые, оранжевые, густо-бордовые всполохи пошли гулять по садам и паркам. Первый снег словно лег на огонь — как только он не зашипел и не задымился!

Уже в ноябре, когда Москва была завалена снегом, я встретил Джона Рида у книжных лотков, нашедших убежище под прочной сенью Китайгородской стены. Со времени его возвращения в Москву прошло недели три, он серьезно подумывал о своей новой книге, посвященной России, и собирал материал. Его походы к Китайгородской стене служили этой цели. Вот и сейчас в его руках была книга, разумеется, старая и довольно редкая: «Россия и папский престол».

— Прямой разговор имеет свои преимущества, тем

более с Америкой,— произнес я, листая книгу.— Это понимал, как мне кажется, Чернышевский...

— И Ленин,— заметил Рид и улыбнулся.

То ли дорога, идущая по скату Лубянского проезда, была легка, то ли тема разговора увлекла нас, мы пошли быстрее.

— А как вам все-таки удалось заставить американскую прессу...

— ...проглотить столь горькую пилюлю, как письмо Ленина? — прервал меня Рид.

— Да, пожалуй, так: проглотить пилюлю наигорчайшую... Как?

Рид остановился. Это было нелегко на крутом скате.

— Вы помните в письме Ленина пример с Люберсаком? Так вот вам мой ответ: иногда надо раскалывать угнетателей, обращая огонь одних против других.

— Вы обратились к этому средству, чтобы напечатать письмо?

Рид пошел дальше, пошел медленно.

— Нет, я вам расскажу, как это произошло, а вы судите сами...— Он смахнул с книги легкие снежинки.— Я решил пойти с письмом Ленина... к кому, вы думаете? К сенатору Джонсону.

Да, Рид пошел к сенатору Джонсону и показал письмо Ленина. Рид полагал, что в борьбе со своими политическими противниками сенатор не преминет воспользоваться даже письмом Ленина. Рид хорошо знал Америку и рассчитал все верно: усилиями сенатора письмо стало известно Америке.

Рид взглянул на меня, его глаза, такие молодые, в этот снежный день были полны живой радости.

— Я не знаю, в какой мере выиграл в результате этой операции сенатор,— произнес он ликующе,— но коммунисты от этого определенно выиграли...

Вот и все, что я хотел рассказать об истории письма, отправленного в Америку. А как же гонец Ленина, тот простой русский человек, который после одиннадцатилетней разлуки с родиной едва ли не с отчего порога должен

был повернуть на чужбину? Кто он, этот простой человек, гонец Ленина?

Он доставил письмо, вернулся на родину и был у Ленина. Я представляю состояние Ленина. До сих пор он мог только догадываться, что есть такой человек, который возьмет на себя труд и риск доставить его письмо Америке, должен быть такой человек среди тысяч и тысяч друзей его великого дела, а сейчас этот человек был рядом с ним... Я представляю, как испытующе Ленин смотрит на человека: «Рассказывайте, товарищ, о себе, подробно рассказывайте». Человек говорит, а Ленин думает: «Нет, не разночинец, шагающий по морям, и не слабый отпрыск знаменитого рода, отрекшийся от своего прошлого во имя революции...» «Рассказывайте, товарищ, рассказывайте...» Человек говорит: «Русское имя — Травин Петр Иванович. Рабочий, призванный в революцию в тысяча девятьсот пятом. Приговорен к виселице. Спасся бегством за океан. Коммунист из тех, первых...» Человек говорит, а Ленин точно ловит себя на мысли: «Ну разумеется, русский пролетарий, быть может, питерский, а возможно, ярославский, чьей большой правдой и верностью жива наша революция...» Человек продолжает говорить, а Ленин уже встал и зашагал по кабинету: «Коммунист из тех, первых,— готов он повторять без конца,— коммунист из тех, первых...»

ВОЗВРАЩЕНИЕ

— По-моему, дождь... дождь! — Где-то надо мной, на четвертом этаже, а может быть, на пятом (там работают стенографистки — никто внимательнее их не следит за небом), распахнулось окно.— Дождик, дождик, припусти!

Я выглядываю из окна: небо заволокло, каплет дождь, как из плохо прикрученного крана.

В прошлую весну точно так же все глаза были обращены к небу: будет дождь или нет? Солнце начало палить хлеба с весны и всё, что можно сжечь, сожгло к концу

мая... Хоть бы эта весна была иной! Идет дождь, с каждой минутой все сильнее. Я пытаюсь высунуться из окна. Неровная струйка прошибла борт крыши и протянулась рядом, как трос на ветру. Я хочу дотянуться до нее и не могу. Вода зашумела в желобах и хлопотливым ручейком поползла по пыльной земле.

— Дождик, дождик, припусти!

Шум дождя на какой-то миг заглушил все иные звуки. Сейчас дождь хлещет как из ведра, и я медленно сползаю с подоконника. Звонит телефон, очевидно, звонит давно, его гудящий звук возобладал даже над гулом дождя.

— Дмитрий Дмитриевич? А мы уже потеряли надежду дозвониться! Одну минуту...

Я жду, приникнув к телефонной трубке.

— Сейчас соединю. Дмитрий Дмитриевич,— слышу я все тот же женский голос,— Владимир Ильич говорит с Ростовом.

Наверно, в приемной Ленина тоже окна распахнуты — слышно, как бьют с крыш потоки воды.

Ленин говорит с Ростовом. Быть может, спросил: «У нас дождь, а как у вас там?» Разумеется, ему бы хотелось, чтобы в Ростове был дождь, вот такой же обильный и устойчивый. Впрочем, обильный дождь, кажется, не бывает устойчивым: вода скатывается в ручьи и реки, не успев напитать землю. Или нет? Вон как хлещет ливень, благодатный, весенний.

— Дмитрий Дмитриевич? У телефона Ленин! — Он умолкает, собираясь с мыслями.— Сейчас вам привезут журнал с большой статьей: «Дипломатия и электричество». Просьба быть сегодня вечером у меня с кратким рефератом статьи... Нет, разумеется, не для меня!.. Сию минуту уточню час.— Он вновь умолкает, однако я слышу, как он кричит секретарям: «Что сказал Кржижановский? Что сказал? И Графтио? Да, да!» — Вы слушаете, Дмитрий Дмитриевич? Я жду в восемь. Если меня не будет в кабинете, приходите ко мне наверх. Ну, разумеется, не на чердак, а на веранду. Да, на ту, новую. Вы ведь бы-

ли там однажды? Кстати, самокатчик уже повез вам журнал.

Он кладет трубку.

Я смотрю в открытое окно, за которым хлещет ливень, но не вижу ни темного, обложенного тучами неба, ни шумящей воды. Значит, в восемь. На веранду. Но почему на веранду? Кто-то сказал мне дня три назад: «У Ленина головные боли и бессонница». И еще: «Немец Клемперер, профессор-терапевт, очень известный, смотрел Ленина». Что признал он?

Я подхожу к окну — самокатчик из Кремля будет вот-вот. Ливень, точно мутно-желтый туман, все застлал. Сквозь стену ливня мудрено пробиться даже самокатчику. Я представляю, как вылетает он из Троицких ворот и мчится по торцу и камню, залитому потоками.

— Товарищ Рыбаков... Пакет...

В пролете раскрытой двери стоит самокатчик. Вода еще удерживается в складках и вмятинах его кожанки. Пакет вскрыт, статья лежит сейчас передо мной. Значит, дипломатия и электричество? Электрификация как первооснова экономического могущества панамериканизма? Мысли автора рациональны: создание гидроцентралей на больших американских реках — Миссисипи, Миссури, Теннесси, Орегон. На каждой реке — своеобразный каскад станций, созвездие. Да, гидроцентрали как пионеры, которые первыми приходят на знойные пески, чтобы проложить дороги к городам и заводам... Гидроцентрали — пионеры нашего века... Нет, это сравнение кажется чисто американским лишь на первый взгляд,— кто знает, может быть, придет время, и не столь отдаленное, когда пионерами технического прогресса и далеких земель России тоже будут гидроцентрали? Не об этом ли намеревался сегодня говорить с Кржижановским Ленин?

Однажды я уже был свидетелем их разговора на эту тему. «Дмитрий Дмитриевич, у меня к вам дело! — окликнул меня Владимир Ильич из дальнего конца совнаркомовского коридора — он иногда выходил сюда в перерыве между заседаниями.— Сию минуту! — Он поднял

руку, будто хотел сказать этим, что мне следует подождать его там, где я сейчас находился.— Поймите, Глеб Максимилианович,— произнес он, продолжая прерванную беседу,— нужен план, нет, не технический, а политический или государственный! — На какую-то минуту сумерки скрыли фигуру Ленина, я не видел Владимира Ильича, но голос его будто шел на меня, становясь все объемнее.— Примерно в десять лет построим двадцать, тридцать или там пятьдесят станций. На торфе, сланце и угле. В радиусе на четыреста верст — станция! Перебрать всю страну, город за городом, село за селом! — Голос его возник совсем рядом.— Надо увлечь рабочих и сознательных крестьян перспективой электрической России...» Его рука замерла, будто он хотел дать понять Кржижановскому, что на минуту прекращает беседу, и, обратившись ко мне, спросил: «Дмитрий Дмитриевич, вы сейчас к себе?» — «Да, Владимир Ильич».— «Чичерина увидите?» — «Думаю, что увижу».— «Скажите ему: я еще не получил турецкого договора. Не получил!» Он пошел дальше, пошел все тем же размеренно-раздумчивым шагом, точно приглашая Кржижановского продолжить беседу. Голос его затихал, я только слышал едва различимые слова: «Карту России с центрами и округами...» Идея электрической России владела его помыслами и прежде, но никогда она не увлекала его так, как в эти годы. Реферат статьи «Дипломатия и электричество», который он просил меня сделать к восьми, служил этой цели.

Ровно в восемь я был в Малом дворце, однако Владимира Ильича в кабинете не оказалось. Очевидно, он ушел на веранду. Я поспешил туда.

На пороге квартиры я встретил Марию Ильиничну. Рядом с нею стоял человек в черном пальто. В руках у него был профессорский саквояж. Нет, это не Клемперер — для немца человек с саквояжем слишком чисто говорил по-русски.

— Да, обросли соединительной тканью, но легко прощупываются,— сказал человек и, встретившись взглядом со мной, поспешил к выходу.

Я заметил: выходя, человек достал из кармана варежки и, надев их, сжал и разжал руку. Мне показалось, что рука у него была пружинисто-подвижной, крепкой.

— Значит, завтра в двенадцать, Владимир Николаевич,— подала голос Мария Ильинична.

— Да, да, в двенадцать,— отозвался он.

«У него определенно руки хирурга,— подумал я.— Хирурга? Тогда что означают эти слова: «Обросли соединительной тканью»?..

Человек ушел, а у раскрытой двери продолжала стоять Мария Ильинична.

— Владимир Ильич уже вас ждет,— сказала она так, точно говорила не мне, а кому-то другому, кто стоял позади меня; она смотрела на меня, а видела человека с саквояжем.— Он наверху, и Глебушка там...— Она быстро поправилась: — Глеб Максимилианович...

Медленно я пошел наверх.

Я уже отсчитал несколько ступеней и неожиданно остановился. Я услышал песню — пели вполголоса, опасаясь потревожить покой дома:

Но мы поднимем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело...

Я узнал голоса поющих: мягкий баритон Кржижановского, несильный, но чуткий голос Ленина, может, баритон, как у Кржижановского, а может, и тенор. Пели негромко, но задушевно — волнение вело их. Наверно, вспомнили что-то далекое, но дорогое. Быть может, тот зимний вечер на берегу Енисея, закованного в могучую ледяную броню, когда долго-долго шли вдоль реки и мечтали о будущем.

Знамя великой борьбы всех народов
За лучший мир, за святую свободу...

У Ленина среди самых больших его симпатий и привязанностей — Кржижановский, Глебушка, как иногда он его зовет, а еще реже: Клер — кличка давних лет. Что-то бесконечно дорогое и симпатичное было сердцу Владими-

ра Ильича в натуре этого человека. Быть может, цельность характера, а возможно, интеллигентность или (и это допустимо) артистичность, которая всегда была приятна и обещала столько радостей. Песни Глеба, такие гневно-торжественные и вместе с тем задушевные! Сколько гонимых в минуту беды и счастья пели их! Кто сказал, что техника и поэзия лежат на противоположных полюсах? Когда человек повергнет барьеры, которые еще удерживает природа, он сообщит своим техническим свершениям ту же свободу и фантазию, которую обрела его мысль в поэзии. Да, да, и расстояние между полюсами рухнет, и техника станет поэзией.

За лучший мир, за святую свободу...

На веранде сумеречно, и огни за Москвой-рекой, казалось, поднесены к самым окнам веранды.

— Нет, нет, Дмитрий Дмитриевич, не раздевайтесь, здесь достаточно прохладно,— слышу я голос Владимира Ильича.— К тому же мы скоро сойдем вниз.

Ленин и Кржижановский сидели у стола, и лампа, прикрытая эмалированной тарелкой абажура, была приспущена.

— А зачем нам изобретать деревянный велосипед?— произнес Владимир Ильич.— Все, что можно взять у того мира, надо взять, не делая из этого трагедии. Америка строит станции на своих великих реках, надо пойти к ней за наукой.

— У них клан,— возразил Кржижановский.— Своя заповедь, своя и присяга.— Он пошевелил пальцами и, точно обжегшись, поспешно спрятал их в бородку.

— В любом клане могут быть отступники,— заметил Владимир Ильич.

Он встал, и его шаги загремели по дощатому полу веранды. Нет, ни в походке, ни в лице, ни в голосе не было ничего, что говорило бы о недуге.

— Вы что-то не договариваете, из деликатности не договариваете, так? — произнес Ленин.

Он испытующе взглянул на Кржижановского. Тот

уловил этот взгляд и осторожно разгладил жестковатые брови.

— Когда речь идет об электричестве, Америка, как государство, оттесняется на второй план.

— Это как же? — нетерпеливо передвинулся Владимир Ильич.

Кржижановский заговорил:

— Да, внутри Америки едва ли не на правах суверенной страны есть второе государство — электрическое! У этого второго государства своя конституция, свой уклад быта, своя мзда за преступления и заслуги.

Это парадоксально, но государство это, вызванное к жизни прогрессом нашего века, исповедует законы средневековья. Нигде свет и тьма не переплелись так надежно, как здесь. Самые истые поборники веры Христовой не фермеры и лавочники, а офицеры и ученые. Нет дебрей темнее в наш век, чем дебри техники,— девственные чащи Африки переместились в чертежные мастерские. Китайская стена кажется игрушечной в сравнении с крепостной оградой, которой окружили свое электрическое государство его хозяева.

В этих условиях свобода и независимость человека — явление призрачное. Конечно, и Эдисон и Штейнмец большие ученые, но даже их свобода относительна. Протянуть руку новому миру — значит отступиться от мира того, а отступников карают.

Мы ушли с веранды. Где-то уже внизу, когда лестница осталась позади, Ленин спросил, обернувшись:

— Вы сказали — Штейнмец?

— Да, Карл Штейнмец.

— Тоже ваш брат электрик? — спросил Ленин.

— Электрик,— коротко ответил Кржижановский.

— Небось звезда первой величины, а?

Мы стояли сейчас в прихожей квартиры. Прямо перед нами была вешалка.

— Первой, Владимир Ильич!

— Вот ведь звезда первой величины, а я не знаю. Честное слово, не знаю! — сознался Владимир Ильич с весе-

лой лихостью: ему доставляло удовольствие, что он не знает знаменитого Штейнмеца, все знают, а он нет,— видно, это бывало не очень часто.— Не иначе, как десятка три патентов имеет, а?

Кржижановский снял шарф, аккуратно повесил.

— Две сотни, Владимир Ильич.

— Что же он, построил станцию в Америке?

— Машины для многих станций.

Ленин смутился.

— Значит, Карл Штейнмец?

— Да.

Владимир Ильич снял пальто, однако повесить его не решался, он явно был подавлен величием Штейнмеца.

— А Графтио знает Штейнмеца? — Ленин все еще держал пальто.

— Думаю, что знает. Не может не знать.

Ленин повесил пальто, и мы вошли в квартиру.

— Маняша, где ты? — крикнул Владимир Ильич весело.— Ты Карла Штейнмеца знаешь, а? — Потом повернулся к Кржижановскому, сказал серьезно: — А вот что думает о вашем Штейнмеце Мартенс? Мне даже интересно: что он думает? — Ленин сорвал с рычажка телефонную трубку.— Людвиг Карлович, это вы? А вот мы вас сейчас проэкзаменуем! Что вам говорит такое имя: Штейнмец, Карл Штейнмец? — Ленин затих на мгновение, потом перевел задумчивые глаза на Кржижановского.— Спрашивает: «Это Штейнмец — дуговая лампа?» Да, да, дуговая, дуговая! В начале века все американские города были освещены дуговыми лампами? И генераторы его? И конденсаторы? Ну что ж, благодарю... Нет, нет, все ясно! — Потом повернулся к Кржижановскому: — Всех вы подготовили с вашим Штейнмецем. Всех склонили на свою сторону! Вот и Мартенс ваш.

Кржижановский улыбнулся:

— Это за Штейнмеца вы меня так?

— За него,— ответил Ленин смеясь и, оглядев нас быстрым взглядом, крикнул сестре: — Маняша, ты слышишь меня?

Он взглянул на дверь, за которой была сестра, точно дожидаясь, когда та отзовется и, не дождавшись, вышел из комнаты. Он вернулся вместе с сестрой — его рука лежала у нее на плече.

— Ну, подумаешь, соединительная ткань... не волнуйся,— произнес он тихо и сделал несколько шагов вслед за сестрой, как мне почудилось — единственно для того, чтобы еще на один миг удержать свою руку на ее плече.

Ему стоило усилия вернуться к прерванному разговору:

— Ну, а теперь, Дмитрий Дмитриевич, покажите нам свой перевод...

Да, до того как он произнес эту фразу, прошло какое-то мгновение, короткое, но хорошо ощутимое, когда он еще был мыслью в той комнате, с сестрой,— разговор, который произошел там, немало его встревожил.

— Покажите, Дмитрий Дмитриевич,— повторил он, но все еще думал о том, что сказал сестре.

Он склонился над текстом, и я увидел, как его рука осторожно потянулась ко лбу и, коснувшись его, охватила — ломило в висках. Головные боли у него начинались вечером.

...Прошло не больше недели.

Полдень, яркий для ранней весенней поры, а в коридоре, который соседствовал с кабинетом Ленина, необычно пустынно, и комната секретарей почти пуста, и, что совсем уж в диковинку, дверь в кабинет Ленина распахнута — Владимира Ильича нет. Ну конечно же, мне приходилось видеть кабинет пустым и прежде, но в этот весенний полдень, полный не резкого, но сильного солнца, тишина в кабинете показалась и хрупкой и, сознаюсь, тревожной.

— Владимир Ильич в городе?

— Нет, он дома.

— Дома?

— Да, весь день.

Только сейчас я замечаю: в дальнем конце зала засе-

даний Совнаркома сидит, углубившись в чтение бумаг, Кржижановский,— видимо, и он пришел к Ленину.

— Простите, но сегодня он здесь не будет?— повторяю я свой вопрос, чтобы меня услышал и Кржижановский.

— Да, не будет.

А Кржижановский уже оторвался от бумаг, и его глаза, полуприкрытые жесткими бровями, угрюмо поблескивают.

— Дмитрий Дмитриевич!— В чуть заметном кивке головы и приветствие и желание сказать что-то.— Все, что вы хотели передать Владимиру Ильичу, вы можете сделать через Марию Ильиничну, она сейчас дома.

Он говорит негромко, будто опасается нарушить тишину, которая растеклась по дому,— так говорят, когда в доме больной.

— Вы ее видели, Глеб Максимилианович? — спрашиваю я и подхожу к Кржижановскому.

— Да, сейчас.— Он указывает глазами на бумагу, которая лежит перед ним, приглашая прочесть ее.

Записка Ленина, видно, написана только что — его быстрая и крепкая рука. Еще не проникнув в смысл первой строки, я вижу имя Штейнмеца, того самого электротехника-кудесника («Штейнмец — дуговая лампа!»), о котором речь шла накануне.

«Прилагаю полученное только сегодня. О Штейнмеце. Вы мне, помнится, говорили, что это — мировая величина».

Я смотрю на Кржижановского. Он точно спрашивает меня, дочитал ли я записку, и движением руки, нетерпеливым движением глаз предлагает прочесть ее до конца.

«Не указать ли мне в ответе что-либо практическое? Ибо он предлагает помощь. Не следует ли ввиду сего конкретные (он подчеркнул это слово) виды помощи ему указать?»

Я перевожу взгляд на Кржижановского — он неотрывно следит за моим чтением.

«...Не напечатать ли его письмо и мой ответ?

Верните мне, пожалуйста, прилагаемое и это мое письмо. С Вашим советом. Я думаю еще посоветоваться с Мартенсом. Надо получше обдумать, как ответить. Ваш Ленин».

А Кржижановский встал и медленно пошел вдоль стола. Правую руку он держит низко над столом, время от времени опуская и осторожно касаясь скатерти, точно желая ощутить приятную шероховатость ее ткани.

— Дмитрий Дмитриевич, если собираетесь туда, лучше позже. Сейчас он спит.

— Часа в четыре?..— спрашиваю я.

— Да, пожалуй,— отвечает он.

В четыре я иду.

Дверь открывает Мария Ильинична. Лица ее я не вижу — окно позади,— видны лишь ее волосы, серостальные, точно дым на свету.

— Могу ли я вам передать для Владимира Ильича?

— Да, разумеется, Дмитрий Дмитриевич. Впрочем, может быть, передадите ему сами? Тогда прошу вас минутку подождать — у Володи Борхардт.

Я сижу в столовой, слышу, как где-то под окном идет машина и далеко-далеко, быть может, у Спасских ворот, а возможно, в стороне, на Соборной площади, шагают красноармейцы и их кованые сапоги гремят по камню.

Пахнет спиртом и крепкой горчицей — горчичник умеряет головную боль. Дверь в спальню полуоткрыта, и я вижу, как человек в глухом черном пиджаке снимает с носа пенсне и становится похож на филина. Он кладет пенсне на стол и тотчас пытается взгромоздить на нос окуляры в толстой роговой оправе. Он это делает торопливо, будто хочет предупредить поразительное сходство с филином.

«Значит, это Борхардт? Клемперер — терапевт, Розанов — хирург,— говорю я себе и повторяю вновь: — Клемперер — терапевт, Розанов — хирург... Не может же и Борхардт быть хирургом».

Мария Ильинична выходит, осторожно прикрыв за собой дверь.

Мы сидим с нею.

— Он захотел написать ответное письмо Штейнмецу сам.—Она оборачивается и смотрит на дверь, точно участливо корит брата за упрямство, а может, и радуется его упрямству.— Тот раз, когда возник разговор о Штейнмеце, я слышала... Кстати, хотите взглянуть на письмо Штейнмеца.

— Оно там? — указываю я взглядом на комнату, где лежит Владимир Ильич.— Мне не хочется беспокоить его.

— Нет, письмо у меня.

— Тогда... если можно.

Она идет за письмом, а в моей памяти возникает портрет Карла Штейнмеца (луна, обросшая волосами), и я думаю: «Все-таки любопытно, в какой мере письмо похоже на Штейнмеца. Та же хмурая пытливость в глазах, та же упрямая бороздка у переносья и доброта... Глаза у него теплые, как у человека, который много видел и все-таки сохранил жадное восприятие всего нового. В какой мере его портрет похож на него самого?»

Комната полна света, я вижу письмо от первой строки до последней. Первая фраза звучит воодушевляюще — вот она, добрая мягкость глаз: «Мой дорогой господин Ленин!» Нет, письмо воспринимается с одного вздоха — три фразы, и смысл его испит: «...представляет мне удобный случай выразить Вам свое восхищение удивительной работой по социальному и промышленному возрождению, которое Россия совершает в столь тяжелых условиях. Я желаю Вам полнейшего успеха и вполне уверен, что Вы его добьетесь. В самом деле, Вы должны добиться успеха, так как не должен быть допущен провал громадного дела, начатого в России...»

Мария Ильинична стоит поодаль, я слышу ее дыхание. Мне кажется, что сейчас у нее то же выражение, что и у брата, когда он читал это письмо — порыв, мягкая дума.

«...Если в технических вопросах и особенно в вопросах электростроительства я могу помочь России тем или иным

способом, советом, предложением или указанием, я всегда буду очень рад сделать все, что в моих силах. Братски ваш Карл Штейнмец».

Я пододвигаю письмо Штейнмеца к тому краю стола, где сейчас сидит Мария Ильинична.

— Ответ готов?

— Он писал его все утро.

На стол лег отблеск — дверь позади меня открылась.

— Маняша, Маняша, герр профессор уходит...— слышу я голос Владимира Ильича.

В дверях и в самом деле появляется Борхардт. Он уже снял очки в толстой роговой оправе и вернул на переносье пенсне. Он домовит и неприлично цветущ — его округлые плечи, его шея, наконец, его щеки дышат здоровьем. Он обстоятелен и великолепно снаряжен. Впрочем, это ощущение и от всего вида Борхардта: добротный костюм, который еще сто лет будет новым (сукно точно масло, тяжелое и сверкающее), саквояж из мягкой желтой кожи, толстая цепочка, которая свесилась из жилетного кармана и которую достаточно чуть-чуть подтянуть, чтобы на ладонь легла увесистая тарелочка часов. И все это — и костюм, и саквояж, и даже прохладный металл часов,— казалось, напитано запахами, и в них и покой профессорской натуры, и радость здорового профессорского желудка, и сознание собственного достоинства.

Профессор уходит.

— Борхардт хирург? — спрашиваю я Марию Ильиничну.

— Да, а что?

— Такой цветущий вид может быть только у хирурга, и потом...

— Да?

— Он говорит о сердце...

Она меня поняла:

— Да, о сердце.

Полчаса спустя мы простились.

— Если письмо Штейнмецу будет готово сегодня, я вам немедленно перешлю,— говорит она мне, прощаясь,—

Владимир Ильич хотел бы видеть его уже переведенным.

Мы условились: как бы поздно это ни произошло, я буду ждать звонка Марии Ильиничны.

И вновь я возвращаюсь к себе в Наркоминдел. Значит, Борхардт хирург?.. И потом, этот разговор о сердце. Тот раз речь шла о соединительной ткани... Операция?

Я жду пакета из Кремля.

Над Москвой грозовое небо. Где-то над горизонтом еще осталась полоска сини, но тучи неотвратимо наваливаются и на нее. Такое впечатление, что там с неба сыплются камни и полоска чистого неба иссечена их косым падением.

Я вижу: Ленин полулежит на кровати, укрытый клетчатым пледом. Тем самым клетчатым пледом, который подарила ему мать в их последнюю встречу. Сколько раз, укрываясь пледом, он, наверно, ловил себя на мысли, что мягкая шерсть сберегла тепло материнских рук. Он пододвинул ближе к кровати настольную лампу и положил книгу на колени — так писать удобнее. Быть может, он перенесся мыслью за океан и сделал усилие представить себе Штейнмеца.

«...Дорогой мистер Штейнмец!..

Душевно благодарю Вас за Ваше дружественное письмо от 16.II 1922 г. Я должен признаться, к стыду моему, что первый раз услышал Ваше имя всего только немного месяцев тому назад от тов. Кржижановского... Он рассказал мне о выдающемся положении, которое Вы заняли среди электротехников всего мира».

Ленин отстранил бумагу и задумался. Ему пришел на память первый разговор с Мартенсом. Его фраза: «Штейнмец — дуговые лампы?..» И вопросы к Кржижановскому тут же: «Дуговые лампы?.. Да, да... Этот самый Штейнмец!..»

«Тов. Мартенс познакомил меня теперь больше с Вами своими рассказами о Вас. Я увидел из этих рассказов, что Вас привели к сочувствию Советской России, с одной стороны, Ваши социально-политические воззрения. С другой стороны, Вы, как представитель электротех-

ники, и притом в одной из передовых по развитию техники стран, убедились в необходимости и неизбежности замены капитализма новым общественным строем, который установит планомерное регулирование хозяйства и обеспечит благосостояние всей народной массы на основе электрификации целых стран».

Ленин отнял руку ото лба и пододвинул книгу с бумагой. Казалось, что сухой пламень в висках утих и глазам вернулась ясность зрения — вещи были мягко объемны, блеск не раздражал глаз, синева неба не слепила, а радовала. Да, впервые в тот день, взглянув в окно, он увидел, как неистово взвихрены и напоены светом облака. Какое счастье, когда вот так мысль вырвется на простор, свободная, прекрасная в своей гармонии, в пропорциях своих, вся устремленная в будущее! Ведь так же было всегда, только так: мысль, вечно живая и радостно-деятельная, давала физические силы человеку. А облака были свободны, как мысль, и, как мысль, стремительны...

«Во всех странах мира растет — медленнее, чем того следует желать, но неудержимо и неуклонно растет число представителей науки, техники, искусства, которые убеждаются в необходимости замены капитализма иным общественно-экономическим строем и которых «страшные трудности» («terribles difficulties») борьбы Советской России против всего капиталистического мира не отталкивают, не отпугивают, а, напротив, приводят к сознанию неизбежности борьбы и необходимости принять в ней посильное участие, помогая новому — осилить старое».

Казалось, он устал, вложил карандаш в книгу и мягко захлопнул ее. Натянул плед повыше, выпрямил ноги. Где-то в дальнем конце квартиры, быть может, на кухне, а может, еще дальше, шумит вода, где-то блики солнца, сухие ветви и листья... Сколько прошло с тех пор, как он начал письмо: час, три? Он открыл книгу.

«В особенности хочется мне поблагодарить Вас за Ваше предложение помочь России советом, указаниями и т. д. Так как отсутствие официальных и законно признанных отношений между Советской Россией и Соеди-

ненными Штатами крайне затрудняет и для нас и для Вас практическое осуществление Вашего предложения, то я позволю себе опубликовать и Ваше письмо и мой ответ, в надежде, что тогда многие лица, живущие в Америке или в странах, связанных торговыми договорами и с Соединенными штатами и с Россией, помогут Вам (информацией, переводами с русского на английский и т. п.) осуществить Ваше намерение помочь Советской республике.

С наилучшим приветом.

Ваш Ленин».

Он закончил письмо и позвал сестру.

— Маняша, Маняша, прочти, пожалуйста, и скажи мне: верно я понял Глеба Кржижановского? Именно таким и должен быть наш ответ на предложение Штейнмеца о помощи? Не перемудрили мы здесь, а?

Он передает письмо сестре, а сам думает: «Ну как воспользуюсь я его опытом, когда между нами океан и... не только океан? Был бы рядом, может быть, и призвали бы в советчики и его опыт: вот, мол, наши торфы и угли. А вот реки наши: Волхов, Днепр, Волга... А за тридевять земель от них Енисей и Лена, за тридевять земель. Вот задача: как взнуздать их и принудить работать на Россию? Сколько Штейнмецу лет? Шестьдесят или все семьдесят? Был бы моложе, можно было бы повоевать с Америкой за Штейнмеца. Была бы в конце того века Россия социалистической, кто знает, куда бы направил он стопы?»

— Маняша, я просил тебя узнать: виделся Розанов с Борхардтом? Виделся и увидится еще? Где? В Солдатенковской больнице? И мне надо быть там? Ну что ж, я готов. Значит, операция?

Двумя днями позже я выехал в Швецию — заказ на турбины для Волховской станции следовало оформить до того, как там наступят пасхальные каникулы. Я пробыл в Швеции недели полторы и на обратном пути остановился в Петрограде, предупредив об этом Кржижа-

новского,— мы условились на этот счет заранее. Как обычно, Глеб Максимилианович все точно рассчитал: он едет на Волхов через Питер, однако приурочивает свою поездку к моему возвращению из Стокгольма. Шведские турбины предназначались для Волхова, и Кржижановский хотел явиться на станцию, располагая последними данными. Я прибыл в Питер ночью — Кржижановского там еще не было: поезд из Москвы приходит утром.

Я вызвал портье и попросил его добыть мне мартовскую подшивку «Правды»,— мне казалось, что лучше газеты мне никто не расскажет о том, что произошло в стране в эти десять дней. Однако подшивку я получил только утром, а вместе с нею и вчерашний номер газеты. Я пододвинул подшивку ближе к окну, раскрыл ее. День был ослепительно ярким. Солнце уже взошло, и тяжелые камни Исаакия казались невесомыми. Я принялся листать подшивку, листать быстро — о каких-то событиях я знал из стокгольмских газет, о других слышал от друзей. «Известный американский ученый о Советской России». Да, это письмо Карла Штейнмеца и ответ Владимира Ильича — значит, Ленин осуществил свое намерение напечатать письмо. Я переложил еще несколько листов газеты. Все тот же правый верхний угол второй полосы. Небольшое, набранное черным корпусом сообщение и снимок, даже не снимок, а рисунок, очевидно сделанный по снимку. Пули, две пули? И сообщение, очень лаконичное... Владимиру Ильичу была сделана операция. Вскрыто предплечье. Извлечены две пули, да, те самые, эсеровские,— результат августовского покушения на заводе Михельсона. Операцию делали профессор Борхардт и профессор Розанов. Состояние больного удовлетворительное... Я поймал себя на мысли, что вот уже полчаса смотрю в окно, за которым солнце и тесаные камни Исаакия, вдруг ставшие опять диковинно тяжелыми,— кажется, я вижу, как напряглась готовая прорваться кожа земли... Значит, операция и две пули в предплечье?.. И я вспомнил веранду над квартирой Владимира Ильича, и разго-

вор с Марией Ильиничной, и эту встречу с Кржижановским в зале заседаний Совнаркома, когда он шел вдоль стола и опускал ладонь, касаясь ею шероховатой поверхности скатерти...

Кржижановский приехал часу в одиннадцатом. Видно, долго шел, быть может, против ветра — щеки были подпалены.

— Как с нашим стокгольмским заказом? — спросил он меня с ходу.— Нет, вы скажите, да или нет? — Он достал платок и высушил им глаза — на ветру глаза застлало слезами, он плохо видел.— Ну, дайте я на вас взгляну... Как же, будут у нас машины? — Он взметнул глаза, сейчас тревожно-острые, и увидел подшивку, лежащую на столе,— она была высветлена полднем, и этот рисунок в правом верхнем углу газетной полосы угадывался издали.— Вы уже все знаете? — спросил Кржижановский; глаза его были прикованы к газете.

— Знаю,— сказал я.— Как, обошлось?

Кржижановский дотянулся до газетной подшивки, перевернул страницу — ему так было спокойнее.

— Да кто знает, как обошлось! — произнес он.— На третий день после операции уже принимал иностранцев и добывал гвозди для Каширы.— Кржижановский умолк, взглянул в окно.— Вчера, когда провожал меня в Питер, сказал: «Голова горит... горит...» — Кржижановский подошел к окну, произнес, не оборачиваясь, опасался обернуться: — И еще сказал: «Нет обиды большей, чем та, когда не хватает жизни».— «Не хватает? Это можно было сказать в Цюрихе, Владимир Ильич, когда Октябрь был за горами».— «Значит, жизни хватило, Глебушка?» — спросил меня Ленин, и голос его радостно вздрогнул — легче скрыть горе, много тяжелее — счастье. «Жизни хватило!» — сказал я, сказал то, что он знал и без меня, но мне показалось тогда: из всех слов, которые он хотел услышать, самыми дорогими были эти: «Жизни хватило!»

Кржижановский обернулся, теперь уже не стыдясь, его глаза были полны слез.

ОТЕЦ

Вс. А. Цюрупе

Ветер взвил сыпучее облако, и два человека, идущие впереди меня, расплылись в белой мгле и появились вновь. Я прибавил шагу и узнал Брайант, а рядом с нею — Селина. До пяти оставалось минут десять, и они не торопились.

Брайант шла, чуть-чуть наклонив голову. Когда ветер усиливался, она подносила ладонь к лицу. Казалось, настроение мягкого раздумья владело ею. Может быть, ей привиделось сейчас утро в Портланде, снежное и сумеречное. По первопутку тропы в снегу казались черными и были видны издалека. Снег запорошил окна, и здесь и там уже зажглось электричество. В его свете крахмальная скатерть, хлеб в фарфоровой хлебнице, блюдо с крабами выглядели бело-солнечными. Рид оказался за столом рядом с Луизой и все время, пока продолжался завтрак, читал стихи: «Ветер свивает белые косы, снежные косы...» А потом они смотрели акварели Луизы, и, скосив глаза, она видела, что на свету его брови пушисто золотятся. А еще позже снег перестал идти, и солнце лежало на снегу, свернувшись калачиком, точно рыжий лисенок, и было хорошо стоять на вершине снежного увала, чувствуя, как тебя мягко обвивает, струясь и стекая, и свет и ветер...

Могла же вспомнить Луиза Брайант, идя кремлевскими площадями, занесенными снегом, и день их первой встречи, и встречи последней. Последней? Да, помнится, день был ветреный, запорошенный ломкой листвой и горькой осенней пылью. Если вглядеться попристальнее, то можно и сейчас рассмотреть Никольские ворота и кремлевскую стену: зубчатая стена точно прерывистая цепочка елей. Рид лежит там.

Снег перестал идти, и глянул Малый дворец, вернее, его окна. Два окна на третьем этаже — в кабинете Ильича. Кажется, он у себя — или пришел так рано, или просидел

до рассветного часа с Цюрупой,— ночью идут сводки с Поволжья и Зауралья, голодного Поволжья и Зауралья. «Послушайте, Александр Дмитриевич, вчера звонил из Питера Горький... у Нарвских подобрали труп путиловца. Старый пролетарий, боевик... его руками революция делалась». Когда были сказаны эти слова? Может быть, полчаса назад. Кстати, окно Цюрупы тоже освещено — Александр Дмитриевич бодрствует.

Метель утихла, снежная завеса просвечивает. Брайант и Селин уже достигли Малого дворца. Кого они встретили у самого входа? Да не Ильич ли это?.. Его каракулевый воротник обнесло снегом. Наверно, долго шел снежной тропой, справа была зыбкая мгла Тайницкого сада, а когда, как сейчас, утихало, неясно поблескивали огни Софийской набережной. Коли пошел по Кремлю, значит, не спал.

— Погодите, а почему Салтыковка, и в такую рань? — произносит он и смотрит вопросительно на Брайант.— А не там ли эта крестьянская столовая, о которой мне говорил Александр Дмитриевич?

Последние слова Ленин произносит по-русски, надеясь, что я переведу, но Брайант улавливает их смысл и предупреждает меня.

— Там... там,— говорит она смеясь и, сняв шапку, пытается стряхнуть с нее снег; она делает это тщательно, и крупные снежинки, влажные и разлатые, падают на ее волосы.

— А вы знаете,— вдруг сказал Ленин, глядя вслед Селину (он пошел готовить автомобиль, до отъезда осталось не больше получаса).— Вы знаете,— продолжал Владимир Ильич,— этот долговязый, в железных очках... ну да, Селин... человек незаурядный. Попомните мое слово: незаурядный.— И совсем тихо: — Кажется, Александр Дмитриевич привез его из своей Уфы, а у него есть чутье на людей...

Ему нелегко скрыть расположение к Цюрупе. Как-то они работали в зале заседаний Совнаркома. За два часа было сказано пять слов, но не однажды во взгляде Лени-

на, обращенном на Цюрупу, я видел и участие и суровую душевность. Цюрупа, как он?.. Цюрупа считал, что положение народного комиссара продовольствия не дает ему никаких иных привилегий, кроме привилегии голодать вместе со страной,— трижды на заседании Совнаркома голодный обморок валил с ног этого могучего человека. Ленин серьезно опасался, как бы семья наркомпрода не умерла с голоду. Скрупулезно, как мог это делать только Ильич, он подсчитал бюджет семьи Цюрупы: здесь были и цифра месячной зарплаты (две тысячи), и стоимость обеда (двенадцать рублей один обед), и месячный расход на питание (больше, чем зарплата,— две тысячи пятьсот двадцать). Записка в Президиум ЦИК с этими подсчетами заканчивается тревожно: «Не доедают! Берут 4 обеда, этого мало. Дети — подростки, нужно больше, чем взрослому».

Длинный совнаркомовский коридор. Сейчас мы идем с Брайант рядом. Она так и не надела шапку, и каждый раз, когда мы входим в полосу света, я вижу: крупные капли растаявшего снега лежат в ее волосах.

— Вы заметили: Ленин казался бледным — ему было холодно. Это от бессонницы. По-моему, он не ложился в эту ночь.

— И Цюрупа,— говорю я.

— Они работали вместе?

— Кажется.

В комнате секретариата Цюрупы тихо — ночью Александр Дмитриевич предпочитает работать один. Дверь в кабинет распахнута — он должен слышать нас. Сейчас он отодвинет стул и подаст голос: «Простите, кто там?» Но голоса не слышно, только где-то в коридоре гремят шаги — утренняя проверка помещений.

Мы приближаемся к открытой двери. В плетеном кресле лежит черная кожанка Цюрупы, подбитая овечьим мехом,— видно, снял ее с вешалки только что, ждал нас. На столе стакан с недопитым чаем, густо-коричневым, поч-

ти черным. Колпак настольной лампы не дает свету расплескаться. Цюрупа дремлет, глубоко погрузившись в кресло и поддерживая рукой голову. На какой-то миг мы останавливаемся в двери, не зная, переступить порог или нет. Но Цюрупа медленно отнимает руку ото лба и, встретившись с нами взглядом (глаза, затянутые дремой, не пристальны), долго и недоуменно смотрит на нас: короткий сон, видимо, был крепок.

— Заходите, пожалуйста! — Опершись о подлокотник, он поднимается.— Хотите чаю? Нет ничего лучше хорошего чая после такой ночи... будто в ключевой воде искупался,— уже смеется он.— Бодрость необыкновенная... Хотите? У нас есть минут десять. Пока Федор Федорович автомобиль снарядит.— Он открывает духовку и достает большой чайник; к его крепкому носу подвешено ситечко.— Только имейте в виду: чай наикрепчайший,— произносит он.— Вместе со сном прочь гонит и недомогание, и озноб, и, разумеется, плохое настроение.

Минут через десять приходит Селин. Войдя в кабинет, он снимает очки и разом превращается из Федора Федоровича в Федю. Сколько ему: двадцать два или девятнадцать?

— Машина подана,— произносит он почти торжественно и надевает очки.

...Мы едем уже минут тридцать. Идет снег. Сквозь его пелену ничего не видно. Где-то в белой мгле увязла луна. Иногда ей удается выбраться из снега, выбраться не без труда. Какое-то время она движется с сугроба на сугроб, увязая и останавливаясь. И едва ли не так же движется во мгле наш автомобиль,— только посвист ветра да гудение мотора.

Я не свожу глаз с Цюрупы: иная стихия увлекла сегодня революционера... Цюрупа, Саша Цюрупа. Агент «Искры», ее корреспондент, распространитель, ее друг. Газета входила в город вместе с ним. Цюрупа приехал в Харьков, и газета появилась в землянках и бараках. А потом устремился в Николаев — и газета пошагала,

с завода в порт, с улицы на улицу. «Искра» тревожила, волновала. А потом рывок на север, в Тулу, словно был он коренным туляком, дышал огнем и дымом пролетарской Тулы. А потом — юго-восток, хлебный Тамбов, короткая схватка с полицией, идущей по следу, ссылка... И вот Олонецк, реки в ледяной броне, белая тишина... «Что ждет меня впереди? Тюрьма, каторга, преследования тайной полиции. Но я сросся с этой стежкой, и нет мне другого пути. Только борьба, борьба жестокая, беспощадная...»

Изредка, когда метель утихает, поодаль от дороги виднеются деревни, одна, другая, на взгорке — третья. Они проносятся мимо, темные, молчаливые, словно летучие тучи в ненастье. Я вижу, как Цюрупа вскидывает голову и медленно приподнимается на сиденье (его место — с шофером), провожает деревню долгим, неотрывным взглядом. Его усталым глазам открыто сейчас все: и то, что деревня без огней, и то, что безлюдны улицы (в былые времена мужики вставали раньше), и то, что пусто у деревенского колодца, а трубы мертвы — ни извива дыма. Все видит. Может, потому так молчалив.

— Вчера, когда я была у своих друзей Певцовых на Покровке,— Брайант произносит последнее очень забавно, с придыханием — «на Покровке»,— мне рассказали одну историю...

— Да, товарищ Брайант...— Цюрупа оборачивается. Сейчас я вижу, как пасмурны его глаза, будто каждая деревенька, промчавшаяся мимо, обронила в них по капле своей печали.— Да, товарищ...

Брайант затихает, будто и не рада, что так начала рассказ: в самом деле, такое начало обязывает.

— Человек, который мне все это поведал, обладал тем, что называется, даром вести рассказ, и я, право, не знаю, сумею ли я...

— Да, товарищ...— Глаза Цюрупы все еще хмуры, он не знает еще того, что хочет рассказать Брайант, но чувствует, что в этом рассказе будет и заснеженное русское поле, и зимнее ненастье, и темные деревни, поспешающие

за нами и медленно отстающие, и настроение беды, которую не поднять с земли, не оторвать от ее печальной тверди, не взвалить на плечи и не унести — так она велика.

— Это было в заволжской или уральской деревне,— начала свой рассказ Брайант.— Где-то под Шадринском или, может быть, под Уфой...

— Под Уфой?

Это сказал Федор Федорович и поспешно поправил очки. Сказал и напряженно утих, даже машина перешла с бойкой рысцы на шаг.

— Где-то посреди холмистого поля стояло село, большое, с церковью, с площадью перед нею, с магазинами. Говорят, что оно слыло в тех местах богатым, а если богатым, то хлебным... И в Америке, на нашем северо-западе, самые богатые села хлебные.— Она говорила медленно, тщательно подбирая слова, ей хотелось, чтобы ее рассказ прозвучал убедительно.— Село стояло, окруженное лесами, как крепостными стенами,— не подберешься к нему ни с запада, ни с востока. Один путь — река, а она открыта летом. И у нас на северо-западе есть такие села: не село, а копилка с замком...— Она умолкла, только слышно было ее дыхание. Она очень волновалась: не просто рассказать русским русскую историю. Может, поэтому, чтобы сделать свой рассказ правдивым, она все чаще повторяла: «И у нас на северо-западе».— Нет, это было не поздней осенью, а уже зимой восемнадцатого, когда голод пришел в Петроград и Ленин послал своих сподвижников в хлебные края... И туда, за леса и холмы, приехали двое. Комиссары?.. Может быть, комиссары, да только один был слишком юн, чтобы быть комиссаром.

Машина загудела и внезапно остановилась, точно Федор Федорович сам выключил мотор, чтобы получше расслышать последнюю фразу Брайант («...да только один был слишком юн, чтобы быть комиссаром...»). Снег застилал смотровое стекло, кругом была снежная мгла.

— Приехали!— упавшим голосом произнес Селин и включил мотор. Машина рванулась раз, другой, потом за-

дергалась слабо и часто, без надежды вырваться из снежного плена.— По-моему, где-то здесь деревня,— произнес Селин негромко: влажная тишина лежала вокруг.— Без лошадей нам не выбраться... Где-то здесь деревня со школой.

— А если школа, то кони? — спросил я.

— Может, есть кони, а может, и нет, но школа — наверняка,— сказал Селин.— Я останавливался летом, и сторожиха потчевала меня земляникой.

— Земляникой? — усмехнулся Цюрупа.— Так то было небось в июне?

— В июле! — сказал Федор Федорович.

— Вон как!

Селин выбрался из машины, хлопнул дверцей и исчез.

— Слыхали — сторожиха его потчевала земляникой,— произнес Цюрупа, как мне казалось, не без улыбки. Впрочем, в тишине, которая наступила, каждый таил свою улыбку — что-то было в этом парне воинственно честное.

Мы ждали недолго. Федор Федорович пришел... нет, не пришел, а прибежал, замахал руками, сразу стало видно, какие они у него длинные.

— Школа! — произнес он восхищенно.— И... тепло! Чугунок топится... нет, не углем, а дровами, дровами! Красный, как солнце!

Мы выбрались из машины и пошли за Селиным, осторожно ступая по снегу, точно гуси, вышедшие из воды. В самом деле: посреди небольшой комнаты, полуосвещенной керосиновой лампой, ало рдел раскаленный чугунок.

— Располагайтесь,— произнес Федор Федорович и протянул к чугунку белые ладони.— Вещи можно на лавку,— заметил он, все еще удерживая руки над огнем.

— А как лошади? — тихо спросил Цюрупа.

— Лошадей в школе нет! — произнес Селин все тем же неунывающим тоном.— В школе! — повторил он и смятенно и робко взглянул на Цюрупу.— А на кирпичном заводе есть... Две лошади!

— А может, без кирпичного завода управимся? —

спросил Цюрупа — ему не хотелось отпускать Селина.

— Нет, без завода не получится, Александр Дмитриевич! — заметил Селин и опять взглянул на Цюрупу.

Я приметил в его взгляде любящее внимание, восторженно-преданное, сыновнее.

— Школьный сторож вызвался довести. Верст пять, говорит, не больше. Солнышко подняться не успеет, а я буду...

Тут же, над печью, надел перчатки (будто зачерпнул тепла на дорогу) и вышел.

— Вы сказали: приехали двое? — деликатно, но достаточно настойчиво потребовал Цюрупа продолжения рассказа.

— Двое,— произнесла Брайант, подвигаясь к печи.— Старшему было лет сорок пять, младшему — лет семнадцать... Впрочем, я могу сказать о них и больше. Старший был латыш, да, да, из тех латышских стрелков, что охраняли в первые дни революции Смольный. И фамилия его была чисто латышская — Витол. Он мог сойти и за рыбака с балтийского взморья. У нас на северо-западе я видела таких не раз: их не берет ни погода, ни время. Встретишь через десять лет, а он такой, как вчера: говорят, морской ветер дубит кожу. Я потом узнала: рыбаком он был в начале жизни, а последние лет двадцать рубил под землей соль. А второй... Что сказать о втором? Мальчик! Мокрый чуб и лицо, вымытое до блеска, с порезанным подбородком — накануне впервые побрился и, разумеется, пролил кровь. У нас на северо-западе таких зовут стригунками... Но видно, он был очень привязан к старшему, потому что повторил его даже внешне: и папаха с красной лентой поперек, и кожанка, схваченная ремнем с портупеей, и, разумеется, кобура. Что там было, в кобуре, никто не знал, но кобура была... Так они прибыли в то село... Начдив-большой и начдив-маленький, хотя говорят, маленький был высок, очень высок, на голову выше большого. Прибыли и велели бить в колокола, сзывать народ на площадь. Да, у старшего была чисто латышская фамилия — Витол, а у младшего? Фамилии младшего

я не знаю, но имя... Кажется, его звали Теодор, по крайней мере, так его звал старший.

Скрипнув, медленно отворилась дверь. На пороге стоял Федор Федорович, точно он услышал последние слова Брайант и захотел войти.

— Не забыл ли чего? — спросил Цюрупа и внимательно посмотрел на молодого друга.

— Нет, не забыл,— ответил Селин.— Я только хотел сказать, что я пошел.

— Ну что ж, путь добрый,— сказал Цюрупа и невысоко поднял ладонь.

Федор Федорович ответил таким же жестом, улыбнулся и осторожно закрыл за собой дверь.

Мы обратили взгляд на Брайант.

— Видно, в селе не часто били в колокол в столь необычное время,— продолжала Брайант.— За каких-нибудь полчаса площадь почернела от народа. Кстати, у нас на северо-западе тоже так: и в пожар и в ненастье народ сзывают ударами молотка о рельс. Пришли и те, кто жил вдоль реки, на окраине, и те, чьи дома выходили прямо на площадь. А потом на площадь въехала тачанка, и на ней начдив-большой и, разумеется, начдив-маленький. «Товарищи-граждане...— поднялся во весь рост начдив-большой. Видно, он был предупрежден, что село это необычное, поэтому заговорил так осторожно.— Война идет по России, гражданская война, насмерть бьются идеи и классы. Но у детей нет войны, они все равны. Почему одни дети должны жить, а другие гибнут?» — «Сказки ты приехал нам рассказывать, товарищ дорогой!» Это крикнул человек в кожаном картузе с высокой тульей. Он был необыкновенно широк в плечах, этот человек. «Сказки приехал рассказывать!» — подхватили парни, стоявшие рядом с этим человеком; видно, им не впервые было повторять за своим вожаком, они это делали очень слаженно. Начдив-большой умолк на миг и взглянул на человека в кожаном картузе. Начдив, разумеется, не знал, что он и его сотоварищи явились сюда час назад из соседней рощи — там копились силы для кулацкого бунта; в ту пору

дымные костры этих мятежей возникали повсюду, и нередко их пламя смыкалось с жестоким огнем наступающих белых армий. «Сказки! — повторил человек в кожаном картузе.— Дети повсюду дети, да и наши не щенки!» И тут его слова подхватили не только парни, но и многие из тех, кто стоял поодаль: «Не щенки наши дети!» Я немного знаю психологию площади, когда она слушает оратора. У себя на северо-западе я слушала и Хейвуда и Дебса. Я знаю, что толпа в эту минуту похожа на снеговую гору: один неосторожный шаг, и лавина обнажит гору от вершины до подножия. И еще я знаю: если и есть в природе провидец, то это ребенок. Слабым сердцем своим он первым чует и счастье и беду. Вначале лицо начдива-младшего было светлым, как небо над ним. Потом точно затенилось и потускнело. Затем встревожились и все те, кто увидел на этом лице то, что очевидным стало минутой позже. Толпа кинулась к тачанке, стащила начдива-большого и начдива-маленького... «Сколько ни колоти, второй раз не умрет...» Говорят, когда толпа кинулась на начдива, был слышен детский крик, быть может, кричал мальчик.

Я взглянул на Цюрупу. Раскаленный металл печи, казалось, переселился в его глаза. Они напряженно горели.

— Кто поднял гнев толпы на этих людей? Человек в кожаном картузе и парни, пришедшие из рощи? Но когда толпа обступила тачанку, трудно сказать, кто нанес первый удар,— в слепой ярости площадь была едина. Толпа растоптала начдива-большого, именно растоптала крепкими сапогами, подбитыми гвоздями и смазанными дегтем, а мальчишку... Его избили до полусмерти и сбросили с кручи в овраг. Может быть, мальчишка и не пришел бы в себя, если бы не было рядом реки. В полночь река прибыла, и мальчик оказался в воде. Он открыл глаза, увидел кручу над собой, колокольню над кручей, ту самую церковь, у стен которой... И мальчик вспомнил все, что случилось накануне: площадь, тачанку, начдива на тачанке, речь его о голодающих детях, грозный ропот

толпы, десятки рук, устремившихся к начдиву, удары сапог и эти слова: «Сколько ни колоти, второй раз не умрет...» И ему подумалось, что товарищ его, добрый товарищ, лежит, наверное, в эту минуту на площади мертвый... Он был немало удивлен, когда почувствовал, что может приподняться. Он нащупал, именно нащупал, ладонями тропу и пополз. Иссек и окровенил руки, но продолжал ползти. Он добрался до церковной ограды и, держась за нее, встал. Вот так, привалившись плечом к ограде, он дошел до площади. Небо было укрыто облаками, но сквозь них пробивался свет луны, сильный свет, и он увидел площадь из края в край. Там, где стояла тачанка, лежали ее обломки. До них было шагов двадцать, и он собрал силы, чтобы добраться, когда, оглянувшись, увидел у самой ограды шинель начдива. Наверно, это может сделать только смерть, сознание того, что человек, который дорог тебе, очень дорог, никогда уже не сможет встать с тобой рядом... Наверно, только это может родить в человеке такую силу и, может быть, дерзость ума. Мальчик перелез через ограду, проник на колокольню, и громовые удары пошли по ночному селу, один сильнее другого. Нет, только сознание того, что дорогой тебе человек мертв, может вызвать такое...

Брайант внезапно вздохнула, точно долго шла без дыхания, с сомкнутыми устами, а потом разомкнула их, и воздух сам вторгся в грудь. Она молчала. Ей было нелегко продолжать рассказ. Чем-то невидимым он перекликался с ее мыслями, со всем тем, что она пережила в эти полтора года.

— А колокола гремели над ночным селом, и отовсюду бежал народ... Так бывает, когда случайная искра подожжет вызревший хлеб или саранча появится над весенним полем. Колокола гремели, и площадь, освещенную луной, заполняли люди. Кто-то уже увидел в лунном свете мальчишку на колокольне, и кто-то вспомнил минувший день и крепко выругался, кто-то пожалел, что не добили мальчишку накануне, дали ему подняться и вот сейчас потревожить село... А мальчишка оставил в покое колокола

и полез вниз. Толпа видела, как он лезет с карниза на карниз, перескакивая с крыши на крышу — откуда только силы берутся у человека,— лезет не таясь, желая как можно быстрее сойти на землю. И вот... Чудеса, наверно, бывают и на этом свете. Ну конечно, мальчишка был смел, но не это изменило отношение толпы к нему, а то, что мальчишка идет на верную смерть и, не страшась ее, продолжает идти... Мальчишка спрыгнул на землю и вышел к ограде, туда, где лежал начдив-большой... Теперь было даже интересно, что хочет сделать мальчишка, да что можно сделать, когда человек мертв?.. А мальчишка взобрался на ограду и так, как это делал начдив-большой, тронул усталой рукой лоб и произнес, вздохнув: «Товарищи-граждане Советской Республики...» В общем, он сказал им, что если они хотят его убить, то могут это сделать, но, прежде чем они это сделают, он хочет рассказать им, кого они затоптали вчера на площади.

...На дворе вновь взвыл ветер и бросил пригоршню льдистого снега в окно. Александр Дмитриевич, чьи глаза все это время были прикованы к Брайант, обернулся и не без тревоги взглянул на улицу. Ему, как и всем нам, наверно, увиделось, как идет через большое поле Федор Федорович, увязая по пояс в снегу и протаптывая неширокую тропку лошадям. Цюрупа взглянул в окно, потом на Брайант — ее рассказ увлек его, и молчаливым своим взглядом он требовал продолжения.

— Да, да, он хочет рассказать, кого они затоптали на площади... Он сказал, что человек, который сейчас лежит у церковной ограды,— рабочий, простой рабочий, много лет он проработал на соляной шахте. Коммунистом его сделало даже не доброе слово товарищей, а жизнь: черные, без света, штреки, хотя они и вырублены в белой соли; годы и годы, проведенные под землей, пыль, соляная пыль, которая искровенила глаза и тело, сожгла все внутри. Осенью семнадцатого года вместе с такими же шахтерами он пришел в Петроград защищать революцию и был поставлен на часах у Смольного, где Смольнинский парк выходит к Неве. Он стоял на часах и

осенью семнадцатого и зимой восемнадцатого, когда в Петрограде начался голод. Он жил за Нарвскими воротами в семье тетки и видел, как умирают люди, дети умирают. У него не было своих детей, но от этого его сердце не стало черствее. Путиловцы, они тоже несли вахту у Смольного, называли его «Латыш». Это звучало и грозно и нежно. В семье мальчика умерли трое: два брата и сестренка. Тогда Латыш пришел к отцу Теодора и умолил его отпустить сына на Неву. Добраться до Смольного было не под силу, последние три недели мальчик лежал, а трамваи уже не ходили, и Латыш пригнал на заставу грузовой трамвай, пригнал за полночь. «Вставай, Теодор, тебя ждет внизу трамвай...» — «Что меня ждет?» — «Трамвай, говорю, Теодор»... Он звал его «Теодор». Тогда весь Смольный, от Ленина до часового, стоящего на часах у Невы, кормился перловой кашей. Она и поставила Теодора на ноги... А потом поход на Псков, на немца, а еще позже — на белых в Приволжье. И Латыш стал начдивом-большим... И дни и ночи начдив-большой был на коне. Теодор ехал на линейке, которая шла следом. Где-то начдив-большой пронес Теодора через разлившуюся реку, посадив на загривок своего коня; где-то, укрыв своим телом, промчал через лесок, занятый врагом: где-то ночью село, где спали красные, запалили... Проснулись, когда огонь стал выше звезд, а у огня лапы с когтями — все содрал с бойцов, все спалил. А пока выбрались, огонь раздел донага. Иной раз придет в дивизию новенький, оглядится и врежет начдиву с маху: «Товарищ начдив, простите меня, но не похож на вас Теодор. И глазами иной, и лицо его скроено на другой манер, и кожа другого цвета».— «Всяко бывает»,— скажет начдив и потемнеет — не было для него слов больнее. А кем был начдив Теодору? Отцом? Нет, наверно, больше. Всё говорил: «Один шаг остался, сынок, до мира, только один!» А как-то, когда вновь вернулись под Псков, а потом на взморье, как-то растормошил вдруг ночью, сказал: «Пойдем, я должен это тебе показать, Теодор». И ночью он поволок мальчишку через поселок, потом на гору, потом в лощину,

потом по тропе, что шла над рекой, а потом уперлась в дверь, и они вошли во тьму. «Я должен тебе показать это, Теодор»,— сказал начдив-большой. У него в руках был керосиновый фонарь, и он зажег его. Теодор увидел, что слабый огонь фонаря, очень слабый, повторился и на стенах, и на потолке, и на полу, матово-сером, будто стеклянном... Теодор стоял, не в силах двинуться с места. Куда он привел его? Теодор протянул руку — стены удерживали холод. Поднес руку к губам: соль? Начдив привел его в соляную шахту, где провел свое детство. Ему казалось, что отсюда будет лучше виден и день вчерашний и, может быть, день завтрашний. «Один день остался, сынок, до мира, только один». Это было в ночь на воскресенье, а в понедельник они сели в поезд и уехали на восток. «Вот и все, что я хотел рассказать вам, а теперь делайте со мной что хотите»,— сказал Теодор и оглядел площадь, полную народа, ночную площадь. «Делайте со мной что хотите!» — повторил он и спрыгнул с ограды на землю. Но толпа расступилась перед ним, не только перед ним, но и перед тем, кто лежал на земле. Все смотрели, как Теодор распахнул шинель, укрывавшую тело, и опустился на землю подле мертвого товарища, как отвел волосы ото лба и стер со щеки кровь. «Он был тебе отцом?» — спросил мальчишку голос из толпы. «Он был мне отцом,— ответил Теодор.— Без отца — как без света... Отец»,— сказал мальчик. И вот тут произошло чудо. Столько человек, сколько было в эту ночь на площади, столько рук, сколько было у этих людей, потянулись к мертвому телу и подняли его...

Брайант окончила.

Я взглянул на Цюрупу. Его руки неподвижно лежали на коленях, пальцы были сжаты добела. Я не видел глаз Александра Дмитриевича, они были полузакрыты. Казалось, Цюрупа ушел в себя, неистово гневался, печалился.

— А Федора Федоровича еще нет? — Цюрупа с трудом поднял глаза.— Пора быть.— Он встал, медленно извлек из бокового кармашка своей теплой куртки ярко-

черный кружочек часов, указал взглядом на дверь.— Может, пойдем навстречу?

— Я пойду, а вы побудете с гостьей,— был мой ответ.

— Нет, гостью мы попросим подождать.

Мы вышли, и снежным проселком, кое-где до блеска надраенном ветрами, пошагали к лесу, темная полоска которого едва заметно разделила землю и небо. Дорогу преграждали завалы снега, он был сухим и сыпучим, идти было тяжело, и мы двинулись в обход. Мы шли вдоль завала все дальше, то и дело оглядываясь, стараясь удержать в поле зрения дорогу,— без дороги нам не дойти до леса. Наверно, точно так же шел к лесу и Селин.

— Не просто здесь пройти лошадям. Не пошел ли Селин другой дорогой? — сказал я.

— Иной дорогой — беда,— отозвался Александр Дмитриевич. Он напряженно смотрел вперед.— Там... нет темной точки? Посреди поля? — спросил он, указывая рукой в сторону леса.— У вас глаза помоложе.

— Нет, Александр Дмитриевич, все бело...

Вот так, обходя сугробы, стараясь нащупать ногами неровную твердь пашни, мы достигли леса. Выйдя из него, мы увидели, что небо прояснилось, снег перестал, в бездонно-синей вышине проклюнулась студеным огнем звезда.

— Не они ли это, Александр Дмитриевич? — Я показал на дальний конец поляны, которая открылась перед нами: там явственно проступило черное пятнышко.

— Погодите, дайте присмотрюсь... что-то очи застило,— сказал Александр Дмитриевич и поднес руку к глазам.— Они... Верно, они! Теперь уже и лошади видны.

Александр Дмитриевич прибавил шагу — усталость и нелегкое состояние духа точно рукой сняло.

— Федор Федорович! — крикнул он, когда далеко впереди мы распознали долговязую фигуру Селина.— Вы это?

— Я, Александр Дмитриевич...

Мы возвращались в Москву вечером, и молчание, прочное молчание сопутствовало нам. Может быть, каж-

дый из нас думал о Салтыковке, где побывали мы сегодня. Столовая, которую комитет бедноты устроил в просторном флигеле бывшей барской усадьбы, кормила деревенских детей после школы, кормила скудно, но и это было великой радостью: главное — пережить беспощадно жестокую зиму, перевалить через гору, сберечь детей до весны. И не только Салтыковка припомнилась в эти долгие минуты молчания, но и рассказ Брайант о начдиве-большом и начдиве-маленьком — чем-то этот рассказ перекликался с нашими мыслями о наступающей зиме, а следовательно, о детях, о Салтыковке.

— Мне все казалось,— сказал я Брайант,— будто я слышу рассказ, уже написанный. Сознайтесь, это глава из книги?

— Да, это глава из книги, но пока еще не написанной.

— Она будет написана?

— Пожалуй...

(Забегая вперед, я могу сказать, что Луиза Брайант осуществила свое намерение — в ее книге «Зеркала Москвы» есть этот рассказ.)

А машина шла все дальше, и я не знал, что, как ни примечательно было все, что стало мне известно в этот день, главное мне еще предстояло узнать.

Вьюга стихла, и белые валы снега стояли в поле неподвижные и немые, точно каменные. Молчание, которое владело предвечерним полем, переселилось в машину. Казалось, что нужно усилие, и немалое, чтобы нарушить его.

— Послушайте, Федор Федорович, все собираюсь вас спросить...— сказал вдруг Цюрупа с той характерной хрипотцой, которая была свойственна его голосу, когда он хотел сказать что-нибудь значительное.— Вы под Псковом были?

— Да, был, Александр Дмитриевич,— ответил тот, поразмыслив. Этот вопрос непонятно встревожил его.

— И с начдивом Витолом Волгу одолевали?

Селин молчал. Видно, Цюрупа вконец смутил его своим вопросом, так долго длилось молчание.

— Одолевал.

— А почему тогда... Теодор, а не Федор? — спросил Цюрупа.

Вновь наступило молчание, теперь оно стало физически ощутимым, будто его секунды отсчитывались нашими сердцами.

— А Теодор и Федор — это же одно имя. Отец звал меня Теодором.— Селин откашлялся, видно, жар, объявший его, добрался и до горла, высушил все внутри.— Без отца — как без света,— вымолвил он и добавил: — Отец...

Мы вышли из машины у Троицких ворот и простились с Цюрупой и Селиным. Брайант и я долго видели, как они идут ровной, крутой дорогой в гору — могучий Цюрупа и сутулый Селин. Говорил Селин, видно, говорил медленно, его длинные руки были неподвижны. Я не слышал его голоса, но мне хотелось верить, что говорит он то, что сказал только что: «Без отца — как без света... Отец».

ДОРОГА

Вс. А. Цюрупе

Ни я, никто другой не может
Пройти эту дорогу за вас.
Вы должны пройти ее сами.

УОЛТ УИТМЕН

Пока это еще слух: на сессии ЦИК должен выступить Ленин, впервые после выздоровления. Звоню в Кремль: да, должен. Попасть в Андреевский зал не просто — велико желание у всех видеть и слышать Ленина.

Эти пять месяцев (его не было в Москве с весны) были тревожны. Казалось, приволья подмосковных лесов, их смолистой хвои, мягкой ласковости трав недостаточно, чтобы вернуть силы: нет прежней быстроты речи, постоянная усталость, все еще головные боли.

И вот Ленин в Кремле, и его первое публичное выступление.

До открытия заседания еще час, и каменная дорожка, ведущая из Малого дворца в Большой, пуста.

— Дмитрий Дмитриевич, однако, я вижу, вы, как всегда, торопитесь.

Я оглядываюсь: по дорожке, вдоль ее кромки (оступишься и коснешься травы) идет Ленин, и рядом с ним молодой человек в пенсне.

— Можно вас задержать на минуту, на одну? — Владимир Ильич смеется, очень забавно выдвинув указательный палец, а лицо бледно-желтое, не его.— Вы знакомы? Гарольд Вэр.

Я смотрю на спутника Ленина: наверно, такой блеск глазам может сообщить только молодость. Сколько ему лет? Двадцать семь или все-таки тридцать?

— Ну, Пермь, русский город на Каме, ничего вам не говорит?

Я пытаюсь проникнуть в суть вопроса Ленина, мне даже кажется, что я о чем-то смутно догадываюсь, но по инерции отрицательно повожу головой.

— И название села Тойкино вам ничего не говорит? Совхоз «Тойкино» под Пермью?

— Нет, Владимир Ильич, ничего не говорит.

— Эх вы, дипломаты! И всему виной эта Китайская, то бишь Китайгородская, стена! Я говорил Чичерину: «Вам там из-за нее ничего не видно!» — Как некогда, когда ему было очень смешно, он беззвучно машет рукой, точно хочет сказать: «Да пощадите же!» — А вам иногда полезно выбираться за ее пределы, да, да, полезно видеть, что там происходит, на земле российской, которую вы имеете честь представлять. Честное слово, полезно!.. Так вот, Дмитрий Дмитриевич, я вам все объясню и, кстати, дам возможность выбраться за пределы ограды Китайгородской.

Сейчас мы идем мимо кремлевских храмов, и в такт шагу, раздумчивому, неторопливому, говорит Ленин, говорит по-английски, и спутник Владимира Ильича молча и

благодарно кивает головой. Еще летом, когда Ленин был в Горках, из-за океана прибыл тракторный отряд. Двадцатицентовая монета легка и по весу, но, когда ее несут тысячи и тысячи рук, она, эта монета, становится силой. Двадцатицентовой монеты достаточно, чтобы купить трактор, и не один, да еще вдобавок снарядить отряд за океан. Что могут сделать двадцать тракторов в океане крестьянских полей республики? Капля, одна капля, даже если тракторам удастся вспахать сотни десятин. И все-таки ничто не способно дать представление о том, какой будет Россия завтра, как трактор... Хотите видеть, как будут выглядеть российские поля через десять лет, поезжайте в Пермь. Нет, точнее, в Верещагино, что под Пермью, в совхоз «Тойкино», и спросите американского агронома Гарольда Вэра. Да, да, вот этого юношу с молодым блеском глаз, что идет сейчас рядом с нами. Кстати, первая тысяча десятин уже вспахана, и только третьего дня по настоянию Ленина Президиум ЦИК присвоил этому отряду звание образцового и этим как бы вновь дал понять: пусть совхоз под Пермью будет школой, а его холмистые поля классами и аудиториями, из которых выйдут наши первые механики и трактористы... Слышите: первые... Да, да, в своем роде пионеры технического обновления России.

Ленин прибавляет шагу и, оглянувшись, встречается со мной взглядом.

— Завтра товарищ Гарольд Вэр возвращается в Тойкино. Он повезет постановление ЦИК. Если говорить строго...— Ленин пошел медленнее.— Если говорить строго, то это должен сделать не он, а кто-то из нас. Да, именно кто-то из нас. Передать документ американцам и сказать доброе слово, желательно на их родном языке... Очень важно: на родном языке. Ах, вы не представляете, как утрачивается слово, если между тобой и твоим другом стоит переводчик...

— Владимир Ильич, вы хотите сказать...

— Я хочу сказать, Дмитрий Дмитриевич, что дипломатам тоже полезно иногда выбираться за Китайскую, то бишь Китайгородскую, стену.

Ленин прощается с нами. Мы продолжаем теперь путь одни. Я повторяю: «Вэр, Гарольд Вэр».

— Простите, товарищ Вэр,— перевожу я глаза на американца.— Но кем вам доводится Элла Блур, Элла Рив Блур?

Казалось, что солнце, выглянувшее из-за широкой спины Ивана Великого, вдребезги разнесло очки Гарольда Вэра — такой радостью наполнились его глаза.

— Элла?.. Мама моя. Мама.

Мы условились, что выедем в Тойкино завтра.

В этот вечер я вернулся домой часам к одиннадцати. По старой питерской привычке отец ждал меня до полуночи — глаза его еще были молоды, и на вечер ему едва хватало одной книги. То, что отец называл беллетристикой, не занимало его так, как прежде. Все больше его увлекала историческая книга — точнее, мемуарная. Быть может, этому виной возраст (с годами человек признает лишь жестокую силу фактов и мысли), а может быть, обилие мемуарных книг, и книг интересных, которые появились в последние годы. Великие наши перемены давали к этому немалый материал. У отца была своя норма чтения — книга в вечер, но и в этом случае отец едва поспевал прочитывать все книги, выходящие в свет. Новая книжка «Былого» была постоянно у него на столе, а вместе с нею все, что относится к дуэли Пушкина, процессу первомартовцев и убийству Столыпина.

У меня был свой ключ, и я проник в квартиру почти бесшумно. В комнате отца было тихо, но с кухни доносился озорной, с присвистом голос чайника,— отец ждал меня.

И по давнишней питерской привычке я сижу против отца и рассказываю ему, что явил мне день минувший.

— Погоди, погоди...— останавливает меня отец.— Ты говоришь, он сын Эллы Блур? — Отец привстал, томик Щеголева был решительно отстранен.— Да ты знаешь, кто такая Элла Блур? — Отец даже разволновал-

ся.— Так я же слушал ее в девятьсот третьем и говорил тебе об этом однажды. Да, да, в Ванкувере, когда началась эта стачка портовиков и три недели рабочие стояли перед портом, взяв друг друга за руки, чтобы ни одна собака не проникла к воде. А там на воде стояли корабли, такие же, как рабочие, немые и злые. И в порту было так тихо, будто окаменел он; и люди, и машины, и вода, что день и ночь билась о берег, точно лишились голоса. А хозяева лучше нас знали, какой у рабочего народа запас прочности: больница уже была полна стариков — старики сдают первыми... Вопрос стоял так: «Хватит сил на неделю — отобьют свои три доллара, не хватит — поминай как звали». Неделя?.. На полный желудок неделя — миг короткий, на пустой — вечность...— Отец умолк, подошел к печке, поплотнее закрыл дверцу, нетерпеливо вздохнул.— И в этот самый момент приехала Элла. Да, ее все так зовут, все — и старые и малые: «Элла». Море штормило, и дождь лил как из ведра, но люди точно вросли в землю — через площадь проходила узкоколейка, и железнодорожную платформу рабочие превратили в трибуну. Короче, в этот день Элла сказала, что она привезла стачечникам деньги, которые по крохам собрала рабочая Америка, и заклинала Ванкувер не сдаваться. Мы отбили тогда свои три доллара!

Я потом часто вспоминал Эллу... Что-то в ней есть от Америки — нет, не той Америки, что палит на кострах негров и копит золото, а нашей, рабочей... Ты подумай хорошо над тем, что я тебе сказал: что-то в ней есть от нашей Америки. Как Америка, строптива и храбра.

На другой день в шесть вечера я был на Курском вокзале. Уже шла посадка на поезд, уходящий в Пермь. Я прошел в вагон. Пахло керосином и пылью — проводник-чистюля только что прошелся по вагону с мокрым веничком и тряпкой, смоченной керосином. До отхода поезда оставалось минут семь, а моего спутника не было. Я уже начал тревожиться. Прозвучал один звонок, потом второй. Перрон заметно опустел. Сейчас ударит третий звонок, и поезд тронется. В эту минуту в дальнем конце

перрона я увидел характерную фигуру моего приятеля: он шел, чуть-чуть раскачиваясь, шел не спеша и, увидев меня, поднял руку.

— О, салют, товарищ! — Он хлопнул ладонью о ладонь и тихо вздохнул. Я потом заметил: для него это было и знаком удивления, и знаком радости.

— Поспешите, — крикнул я ему, — сейчас будет третий звонок!

Но американец был невозмутим.

— Так он еще только будет! — заметил он, не обнаруживая ни малейшего желания ускорить шаг. — Не беспокойтесь, мы выедем в Пермь вместе — я все рассчитал.

Вагон был разделен на купе условно. Нам хорошо были видны соседи и справа и слева. Кстати, справа поместился старик в ватнике и длинных, почти до колен, шерстяных носках — старик собрался далеко на север. Когда я вошел в вагон, старик уже был там. «Стежка, что нитка, длинна и тонка, ой, тонка...» — услышал я голос старика, он пел.

А поезд минул подмосковные леса и пошел на восток. Небо было по-осеннему хмурым, и неровные линии холмов и увалов, покрытых лесом, обозначались на горизонте.

— А знаете, эти ваши среднерусские леса чем-то похожи на леса Канады. В долине Пис-Ривер, по берегам Оленьего озера тоже много хвои... — Вэр продолжал смотреть в окно. — Ничего нет интереснее, как бродить по белу свету... Мне дорого в человеке умение быстро и неколебимо отважиться на самую дорогую и трудную поездку. — Он оглянулся на меня. — Когда-то наша семья этим отличалась.

— Даже женщины? — спросил я; в этот вопрос я вкладывал свой смысл.

Он внимательно посмотрел на меня — нет, не недоуменно, а именно внимательно.

— Даже женщины...

Мне показалось, что другого такого случая в этот ве-

чер уже не будет, чтобы заговорить о том, что интересует меня.

— Мне сказали, что Элла Блур...

Он встал.

— Мама?..

Я рассказал ему о своей беседе с отцом.

— Значит, как Америка? — Я не думал, что его так взволнуют эти несколько слов. — А знаете, в этом есть резон: как наша Америка. — Он будто ждал от меня ответа. — У меня своя теория того, как мужает человек и набирается сил его разум.

— Главное, как точно человек угадал свое призвание? — спросил я.

За круглыми окулярами Вэра вспыхнул иронический огонек и погас.

— Главное, кого человек встретил в первые двадцать лет своей жизни.

— Вы полагаете, что Элле Рив повезло?

— Я так думаю.

— Это были интересные люди?

— Да, но я бы назвал их иначе, как иначе звала их Элла.

— Вам остается сказать: как их звала она?

Теперь он не таил своей улыбки.

— Это люди, в которых было что-то от храброй птицы.

— Храброй птицы? — сказал я и, обернувшись, увидел, что поезд подходит к станции — кажется, то был Владимир.

За окном, подсвеченным неяркими станционными огнями, выступили точно оборванные полоски рельсов, мокрый асфальт перрона, черные фермы моста, переброшенного через полотно, странно пустой вокзал с развернутыми окнами и толпа, стремительно текущая по перрону. Поезд все еще шел быстро, и толпа казалась текущей — только гремели чайники, стучали фанерные чемоданы да крик, неразличимый, мутноголосый, шел по перрону. Поезд

замедлил ход, и поток на перроне остановился. Видны острые пики красноармейских шлемов, черные сковороды «кубанок», фуражки с матерчатыми козырьками и красной звездой. А над толпой, выше ее на голову, не шла, а плыла молодая женщина, в шинели, с непокрытой головой, широко расставив локти, а в руках — ребенок.

Поезд тронулся, толпа на перроне поредела — видно, поезд забрал многих, не было там и молодой женщины с ребенком. Впрочем, я тут же услышал в вагоне, где-то рядом, женский смех. Это та женщина, подумал я, именно так должна смеяться она. Мне показалось, что независимо от меня Вэр тоже следил за этой женщиной, слышал сейчас ее смех и, быть может, тоже подумал: «Это она». Подумал, но не подал виду...

— Храбрая птица из индийской сказки,— произнес Вэр и тихо улыбнулся какой-то своей мысли.

Как мне подумалось, ему приятно было сейчас произнести эти слова: «храбрая птица».

— А сказка с клюв синицы,— сказал Вэр. Он берег в памяти последнее слово и сейчас был готов продолжать рассказ.— Ледяная броня укрыла землю, мороз сковал реки и деревья, остановилось все живое, и птицы падали с неба, как камни. И тогда зашел спор в птичьем царстве: как спасти его от гибели? Птицы сказали орлу: «Ты самый сильный среди нас — веди...» Орел отказался: силы были, не было храбрости. Тогда сказали райской птице: «Ты самая красивая — веди нас». Райская птица отказалась: красота была, ума не было. «Не иначе как тебе лететь, синичка»,— сказали птицы. Потопталась синица на месте, взглянула на залив, скованный льдом. Не было у нее ни силы особенной, ни красоты, ни храбрости, но выбор пал на нее, и она полетела... Было видно, как она летит в морозной мгле все дальше и дальше; где-то она взмыла, где-то обошла скалы, где-то припала к земле, а потом взмыла опять и камнем упала на отвердевшую от мороза землю. Упала, но путь стае указала верный. Стая выждала, когда стихнет ветер, перелетела на ту сторону залива и укрылась за скалами. Элла говорила,

что всю жизнь искала в людях что-то такое, что напоминало бы в отдаленной степени храбрую птицу из индийской сказки, хотя была она, эта птица, неказистой и неприметной и ее странность была более очевидна, чем характер и ум...

Вэр наклонился к окну, намереваясь продолжить рассказ, когда в коридоре кто-то вздохнул нелегко и счастливо и послышались шаги, а потом сонное бормотание ребенка. Прямо перед нами стояла женщина в шинели, та самая, высокая, которую мы приметили на перроне.

— Вот сжалился проводник...— заметила она торопливо, стараясь сгладить неловкость; она произнесла «проводник» с каким-то особенным «о», грудным и певучим, как говорят только в Вологде.— Сказал, что где-то здесь есть свободное место.

Но старик уже встал ей навстречу.

— Поди сюда, дочка. Это место тебя от самой Москвы ждет не дождется.

Сейчас женщина была хорошо видна мне: у нее были темно-русые волосы и губы неяркие, полные. Она осторожно переложила ребенка на скамью, наклонилась к нему.

Я заметил: Вэр внимательно следил за женщиной. Мне даже почудилось, что он продолжит рассказ, дождавшись, пока она уложит ребенка.

— Не тревожьтесь, он спит уже два часа — не проснется,— сказала старику женщина. Мне показалось, что Вэру стоило усилий, чтобы не взглянуть на нее.

— Что она сказала? — спросил он, все так же не глядя на нее.

Я перевел ее последнюю фразу.

— Нет, она не просто крестьянка,— заметил Вэр и украдкой взглянул на женщину.— Я могу подумать, что она нас понимает. Так?

Я улыбнулся:

— Может быть.

Когда он возобновил рассказ, мне почудилось, что он

говорил не только для меня. Он хотел, чтобы она нас понимала.

— Помните у Уитмена,— заговорил Вэр,—

Когда я вижу душу мою отраженной в природе,
Когда я вижу сквозь мглу кого-то в совершенстве невыразимом,
Вижу склоненную голову и руки, скрещенные на груди,—
я женщину вижу.

Я так думаю: чтобы понять человека, надо знать его мать. Все, кого ты встретишь в жизни, как бы длинна и богата ни была эта жизнь, лишь прибавят что-то к тому, что дала тебе мать. Элла говорила о матери: все в ней было прекрасно, и душа и тело. Да, дочь так может иногда сказать: и душа и тело. Если судить по портретам, она была не красива, но что может рассказать бумага об облике человека? У нее было то, что делает человека прекрасным, как бы неправильны ни были линии его лица,— добрый свет души. Она была и смешлива, и строга, и по-хорошему старомодна, и ребячлива. В ее натуре была детскость: в говоре, чуть сбивчивом, в смехе; всем, кто ее знал, нравилось, как она смеется. Ее жизнь была любовь в том большом и нерасторжимом значении, когда ею становится все, что лежит вокруг тебя: семья, дети, дом, сам воздух дома, солнце, что лежит на его подоконниках, ветер, что колышет его шторы. И эта любовь была не только радостью, просветляющей и возвышающей душу, но еще и великой опорой для человека, опорой веры, наконец, совести. Элла говорила, что ее мать родилась и умерла свободным человеком, и прежде всего свободным от предрассудков. Ее дом был единственным на холмах Бриджетона, где за столом могли встретиться негр и белый, бедный и богатый. Слышите? На холмах Бриджетона,— там жили не самые бедные люди города.

Пять сестер отца оккупировали холмы. Особняки сестер, сложенные из кирпича и обвитые плющом, стояли рядом — на этой земле солидарны и крепки взаимной порукой не только разум и свет, солидарна и тьма. Сестры диктовали свою волю городу, но их власть кончалась на

пороге дома Хэтти. Деду хотелось, чтобы его особняк, сложенный из кирпича и обвитый плющом, ничем не отличался от особняков сестер, а порядок в нем — от порядка, установленного в домах Вэров. Однако тут он был не волен. У Хэтти Рив родились дети — дочь, потом сын, потом еще сын, еще, еще... Семь сыновей и пять дочерей. Ей была в радость большая семья, она растила детей, учила их вести дом: стряпать, шить, кулинарить, даже печь хлеб. Ее дом всегда был полон молодежи, при этом всех национальностей и положений. На холмах говорили: «Если есть в городе индеец и еврей, то они встретятся за столом Хэтти Рив». Кстати, в таком случае старшие дети сажались рядом с гостями. Она учила детей ненавидеть зло воочию.

Дети росли людьми свободными. Каким душевным и физическим здоровьем надо обладать, чтобы дать жизнь стольким людям! И не просто дать жизнь, но наделить их страстью, характером, энергией, способностью вести за собой людей, верой в человека. В то время как старшие дети стали взрослыми, младшие еще были в колыбели. Поэтому дом был похож на школу, в которой представлены все классы. Здесь учили азбуку, четыре действия арифметики, законы Ньютона и логарифмы. Кстати, в дополнение ко всем прочим ее талантам у женщины был математический дар. Вообще же она была человеком щедрым и точным. Может быть, потому и щедрым, что точным.

Однако где-то она не рассчитала сил. Она умерла тридцати восьми лет. Был сумеречный декабрьский полдень. Моросил дождь. Хмуро смотрели особняки Бриджетона. Внутренние ставни были полузакрыты, жалюзи полуспущены. Гроб несли на руках. Позади гроба шли те, кто жил под холмами, и среди них негры, много негров... Когда умерла мать, Элле не было еще семнадцати. Да, рубеж семнадцатилетия казался непреодолимым. Позади было детство, впереди — самостоятельность, жизнь. Какой эта жизнь казалась большой и пустынной, если вступать в нее без матери! Говорят, что человек, не

усвоивший урока жизни, который преподала ему мать, во многом прожил свои годы напрасно. А что же все-таки за человек была ее мать, если заглянуть в ее душу? Чему учила Эллу жизнь матери? Быть может, любви к жизни, упрямой и неутолимой, быть может, ненависти ко всему, что обедняет жизнь и лишает ее красок, которые даны ей природой. Но главное: любви к человеку, храброй и бескорыстной, способности отстоять его большое счастье...

Он сказал «большое счастье» так, точно говорил все это не мне, а кому-то третьему. В сумерках, которые окружали нас, жили только глаза молодой женщины. В них были и мысль, и страсть, будто услышала она сейчас нечто такое, что и для нее явилось откровением. Наверно, это заметил и Вэр.

— Это было в Кэмдоне,— продолжал Вэр.— Каждый раз, когда отец надолго уезжал по стране, он оставлял Эллу у сестры Ани. Говорят, что никогда человек не бывает таким наивно-любопытным, как в десять лет. Рядом была обширная усадьба, и в центре ее стоял дом. В доме жил старик. Он был один и в доме и на усадьбе. Люди, проходя усадьбу, останавливались и долго смотрели на дом, точно дожидаясь, когда в его окнах появится старик. В усадьбу было нетрудно проникнуть. Надо было протиснуть руку меж двух планок решетчатой калитки и откинуть крючок. Иногда это делали соседи. У весны и лета свои заповеди. Появились фиалки, созрели черешни, они здесь желтые, крупные, зацвели розы, на огородах вырыли молодую картошку, из новой муки хозяйки испекли кексы... И фиалки, и картошку, и черешни, и розы, и, разумеется, кексы из новой муки соседи несли старику. Но не только в этих случаях старику несли дары земли. Дети соседей приглянулись друг другу — отпраздновали помолвку. Осень — пора свадеб, весь город на свадьбах. Женщина принесла в дом младенца. Молодые выстроили себе дом, как здесь строят, из свежеоструганных бревен, еще пахнущих смолой и клеем. Город празднует Любовь, Жизнь, и невидимо, во главе стола, сидит старец из деревянного дома. Нет, не обычный человек жил в этом доме.

Однажды Элла откинула крючок калитки, вошла во двор. К бревенчатым стенам дома был приколочен щит: «Здесь живет старый, седой поэт». Элла спросила тетку: «Старый, седой... Кто?» — «Уитмен». Не очень много говорит это имя, когда тебе десять лет. Но у старого поэта была одна особенность: вечером на его крыльце собирались дети.

Домик поэта был сложен из бревен, а крыльцо — из благородного камня, чем-то напоминающего мрамор. Все было напитано зноем: и стволы деревьев, и пыль на дорогах, и бревенчатые стены дома, только мрамор оставался прохладным. И сюда приходил поэт. На нем была его знаменитая шляпа с широкими полями, с невысоким верхом. Шляпа была ярко-белой, такой же белой, как борода Уитмена, как чисто выстиранная сорочка с распахнутым воротом, из-за которого была видна волосатая грудь, теперь седая. Он уже плохо слышал и, когда говорил, подносил к уху согнутую ладонь, неизменно правую,— левая рука была почти неподвижна. Неловко согнув в локте, он прижимал руку к телу, при этом его светлые глаза, только что безмятежно-ясные, заполнялись хмарью. Говорят, что много-много лет назад, еще в годы войны между Севером и Югом, Уитмен, ухаживая за смертельно раненным, занес в руку трупный яд, и это отозвалось через десятилетия. Иногда поэт посылал кого-то из детей к себе в дом принести книгу или кувшин с водой. Дом был светел и чист. Если не считать койки да стола со скамьями, все, что было в доме,— это солнце и много воздуха. Наверно, таким и должно быть жилище поэта? Уитмен пил из кувшина прохладную воду, ставил кувшин рядом, начинал читать:

Слышу, поет Америка, разные песни я слышу...

Элла часто не понимала смысла строк, но настроение стихов ей было понятно — настроение тревоги и мятежного вызова, радостного покоя и бунта. Иногда приходил друг поэта Горас Троубел. Он устраивался на ступеньках крыльца вместе с детьми. Поэт сидел на самой высокой ступень-

ке, Троубел и дети пониже. В сравнении с поэтом Троубел был так молод, что поэту он казался едва ли не сверстником его юных друзей.

Но слова, которые он говорил Троубелу, были иными, чем те, с которыми он обращался к детям.

«Мы стряхнули с себя Англию,— сказал однажды поэту Горас.— Мы сбросили рабовладельцев. Что теперь нам придется сбросить?» — «Деньги! — сказал поэт.— Власть денег».

Горас оставался на крыльце даже после того, как поэт поднимался в дом. В такую минуту Троубел доставал записную книжку в клеенчатом переплете и карандаш. Он склонялся над книжкой, как часовщик над своими колесиками и шурупами. Он мог так просидеть часы и часы и исписать с полстранички — так плотно он писал. Но что именно? Быть может, все, о чем говорил старый поэт: и про деньги, и про сосну, и про дом, сложенный из бревен, и про топор. Элла любила смотреть, как пишет Троубел. Нет, он не хотел быть тенью поэта, а назвать себя другом было бы слишком самонадеянно. Быть может, он был учеником, который пришел к поэту за мыслью и задался целью сберечь эту мысль? А разве это не благородно — встать с поэтом рядом и сберечь для потомков все, что вызвал к жизни его ум?

Было и так, что вечер приходил прежде, чем поэт успевал войти в дом. С каменных ступеней была хорошо видна река, с паромом и лодками на ней, а за рекой поле и над ним небо, большое, полное звезд. Уитмен любил смотреть на вечернее небо. Уже потом, вспоминая вечера на крыльце маленького дома поэта, Элла думала: нет, его не подавляли масштабы и расстояния, которые открывались взору при взгляде на небо. В такую минуту он тихо сходил с крыльца и, пройдя несколько шагов, останавливался посреди луга, запрокинув седую голову, устремив глаза в небо, один на один с небом и неведомой звездой. Элла смотрела на старца. В нем были и мягкая ласковость, и мудрая печаль, и суровая отвага, и непокорность, и все-таки он был похож для Эллы на ту далекую

звезду, к которой были обращены сейчас его слабые глаза. Да, так бывает в жизни: как истинная красота, которая постигается тем полнее, чем дольше на нее смотришь, так и этот человек. Он пробудил лишь твое зрение, а разуму еще предстояло его познать... Я так думаю: на склоне лет своих Уитмен призвал Гораса Троубела, чтобы продлить свою жизнь...

Вэр взглянул в окно: поезд шел по мосту. Волга еще не стала. Пошли заволжские леса, такие же черные и недвижимые, как Волга...

Молодая женщина сняла шинель и укрыла ею ребенка. На женщине была синяя блуза и юбка с бретелями, какие носили старшеклассницы в провинциальных гимназиях. В шинели она выглядела по-иному — старше, суровее. А сейчас вдруг открылись ее глаза — серые, с четким рисунком зрачка,— чуть припухшие веки, нежная округлость подбородка, шея... Казалось, что она сняла шинель, чтобы открыть шею, бледную, мягко изогнутую. Она укрыла ребенка и на минуту задержала руки у него на груди. Я подумал, что она ждет продолжения рассказа.

Был уже одиннадцатый час вечера, и поезд продолжал идти. В вагоне полупогасили электричество. Ребенок всплакнул, сонно залепетал и уснул, но молодая женщина продолжала сидеть неподвижно. Ее глаза были настороженно-тревожны. Ни сон, ни усталость не могли ни застлать их, ни смежить. Женщина говорила со стариком.

— Значит, спервоначалу их потеснили к скале? — спросил старик.

— Да, сначала к скале, а потом дали укрыться в пещере,— отозвалась женщина, но глаза ее продолжали смотреть на меня, будто бы говорила она не старику, а мне.— Ветер был с моря, ветер с морозным дымком. Говорят, что это страшно.

— Надо уходить, а ноги не идут? — спросил старик, помолчав. Он хотел, чтобы она рассказала все сама.

— Какой идти! — сказала она тихо.— Вначале отпали пальцы, а потом пришлось отнимать ступни.— Она вздох-

нула.— Может, у живого отняли, может, у мертвого — никто не знает.

— Помер? — спросил старик, помолчав.

— Третий год одна,— ответила она.

— Ты не сдавайся, держи свою позицию, у тебя тыл железный — сын. А дале дорога открытая...

Она улыбнулась печально:

— Дорога... дорога...

Видно, поезд прошел станцию — в вагоне посветлело, и на какой-то миг я увидел ее глаза, вновь в них точно затвердела боль.

— Знаете, бывает так в жизни: человек встретился на твоей заре, потом в пору печальной зрелости и, наконец, на закате. Только глаза сберегли прежний цвет да, может быть, чуть-чуть голос, а остальное отлетело от человека напрочь, даже характер. Был одним, а стал другим. А как Горас? Прошли годы и годы. Умер старый добрый поэт, и Троубел уехал из Кэмдона. Он поселился в Филадельфии и написал книгу, которую кропал карандашиком в записной книжке,— «Уитмен в Кэмдоне». Там, в Кэмдоне, человек был, в сущности, юношей, с длинной шеей и острыми локтями, на которых рвалась рубаха. А теперь? На его старой блузе, которую он надевал, когда становился за станок, чтобы печатать газету, рукава на локтях были тоже порваны, но в глазах уже скопилась мудрая печаль — печаль возраста.

Троубел редактировал маленькую газету в Филадельфии. Его соредактором был некто Салтер. Когда в городе был Салтер, газета была одной, когда он уезжал — совершенно иной. Чтобы узнать, кто из редакторов сегодня в городе, достаточно было развернуть газету — ее статьи на этот вопрос отвечали безошибочно. Салтер был за сильную буржуазную Америку, его кумиром был Теодор Рузвельт. Троубел ратовал за социалистическую Америку, его идеалом был Уолт Уитмен и Джин Дебс. Но самое интересное, что редакторы до поры до времени как бы не замечали, что исповедуют разные взгляды. До поры до времени. Вернувшись однажды в Филадельфию, Салтер

обнаружил, что его соредактор напечатал нечто такое, что потрясло устои Америки. Произошел взрыв. Троубел кликнул клич: «Все, кому дорого имя Уитмена...» Возникла новая газета. В едином лице Горас Троубел представлял редакцию, издательство, типографию. Он писал газету, набирал ее, печатал и распространял. Редакция газеты помещалась за круглым столом ресторана на Маркет-стрит, типография... Впервые после многолетней разлуки Элла увидела Гораса Троубела в типографии. «Вам редактора Троубела? Пройдите вот сюда, к краю тротуара... Теперь поднимите глаза. Видите крышу и рядом чердачное окно? Вот там появилась седая голова и исчезла, потом появилась вновь... Это редактор Троубел печатает свою газету!» Элла поднялась на чердак. Троубел отпечатал очередную сотню экземпляров и теперь отдыхал, присев на ящик с бумагой.

Они вспомнили Кэмдон, сруб с каменным крыльцом, распахнутые окна, кувшин с прохладной водой, горожанок, несущих поэту цветы и молодую картошку, и поэта, стоящего под звездным небом.

«Я понимаю тебя,— сказал Троубел.— Он мог быть для тебя неведомой звездой. Да, он жил отшельником, хотя ни одно событие в городе не происходило без того, чтобы он в нем не участвовал. И вот что интересно: чем более земным, а следовательно, человечным было это событие, тем больше он был к нему причастен: свадьба, рождение младенца. Наверно, всему виной его стихи. У них один герой — Жизнь. Да, жизнь от рожденья до смерти и, конечно, борьба с ложью. Жизнь, и, конечно, Любовь, и борьба за правду...» Троубел молчал, точно раздумывая над тем, что сказал только что. Мне иногда казалось, что в любви он черпал силы для жизни, она давала свет его глазам, тепло его крови. Мне еще казалось, что всю жизнь он любил одну женщину. Я даже пытался представить ее себе. Нет, она не была героиней греческого эпоса, нет, скорее, она была дочкой фермера из Техаса или Северной Дакоты, а поэтому и женщиной-воительницей, и матерью, и женой одновременно. У нее

были косы цвета хорошо выпеченного хлеба и круглые плечи — не плечи, а добрые луны... Она была для него самым большим чудом на свете — бóльшим, чем сама Земля, которая была для него богом, больше, чем Вселенная, которая так и осталась для него загадкой. При всем своем шальном характере он любил эту женщину всю жизнь и по-своему был ей верен. Он старел, а она не старела. Кожа его высохла и собралась. Рука утратила упругость и повисла. Глаза стали меркнуть. Он был стар, а она молода, так молода, точно он ее и не выдумывал.

А потом они пошли с Троубелом в его «редакцию». Элла вспоминала, что вначале ей показалось необычной деловитость и даже ненапускная гордость, с какой Троубел подошел к овальному столику в ресторане, разложил на нем свои блокноты и карандаши и приготовился к приему посетителей... Кстати, посетителей было много. Здесь были и писатели, и художники, и актеры, и, это было тогда удивительно, рабочие, при этом немало рабочих. Какие взгляды исповедовали эти люди? Как поняла Элла, там были радикалы, анархисты, но не только они. Были там социалисты, и среди них Джин Дебс. Да, великий Дебс, кто вызвал к жизни Билля Хейвуда, воодушевил на борьбу Джона Рида, а заодно указал путь Элле Рив Блур, сидел за столом Гораса Троубела.

Я слушал Вэра и смотрел на женщину. Она протянула руку и достала косынку. Даже вагонные сумерки не погасили красок — косынка была неистово зеленой, взглянешь — набьешь оскомину. Женщина положила косынку на колени, разгладила, потом легким движением перекинула ее через плечо, удерживая на груди ее конец. Казалось, что глаза женщины восприняли яркую зелень, их точно заволокло дымком.

— Значит, у брата свой дом? — спросил старик.

— Да, усадьба крестьянская,— заметила женщина, помолчав.

— Джин Дебс был высок, худ, с длинными руками и сухой грудью,— продолжал Вэр.— При такой диковинной худобе человек этот должен был давно высохнуть и

душевно — где же удержаться теплу, когда от человека остались кожа и кости. Однако стоило заговорить Джину, и он преображался. Невидимый огонь обнимал его, этот огонь напитывал кожу, сообщал силу и страсть голосу. Поток его слов нередко был нестройным, но страсть, вдохновенная и мужественная, действовала на слушателей неотразимо. Ему было в ту пору около сорока. Он был уверен, счастлив и полон жизни. Нет, он еще не создал вместе с Биг Биллем «Ай дабль-ю дабль-ю», не возглавлял стачку железнодорожников, не баллотировался пять раз в президенты и не осуждался за свою речь в Кантоне на десять лет тюрьмы, но был человеком, к которому тянулись все, кому была дорога свобода. Стоило ему появиться за круглым столом Троубела, в ресторане на Маркет-стрит, со всех концов зала к столу сдвигались кресла.

«По-разному прозревают люди, Элла,— говорил Дебс, водружая на стол худые кулаки.— Мой отец приехал в Америку из Эльзаса и обладал главным, что человеку надо в жизни,— характером. Мне не трудно это доказать. У него была фабрика где-то в эльзасском городе Кольмаре, и он мог бы жить безбедно. Но он влюбился в мою мать, а она была простой работницей на этой фабрике. Вопрос был поставлен так: или фабрика, или любимая женщина. Разумеется, отец избрал любовь и бедность. Кстати, это была американская бедность, страшнее которой нет ничего в жизни, и отец прошел через все ее испытания. Впрочем, это было не единственное доказательство характера. Как я сказал, отец происходил из Эльзаса и не мог примириться с тем, что Эльзас у Германии. Не мог примириться всю жизнь, а когда умер, приказал написать на могиле: «Родился в Кольмаре, Эльзас, Франция».

Наверно, Джин Дебс и его старик были людьми разными, но в химическом составе их крови было одно вещество общим, то самое, что делает человека бесстрашным. Был один эпизод в жизни Дебса, который часто вспоминала Элла,— он, этот эпизод, объяснял ей все. Когда

Америка вступила в войну на стороне союзников, нужно было немалое мужество, чтобы сказать: «Это не моя война!» В одну ночь домик Дебса в Терре-Хот стал островом. А это довольно тревожно, когда в небольшом американском городе один дом становится островом. Кажется, что прохожие, дойдя до дома, переходят на ту сторону, потом перестают ходить молочницы, потом почтальон отказывается войти в дом, потом отступаются дети... Только электричество еще течет по проводам и проникает в дом, но это уже похоже на чудо.

«Надо глядеть прямо на них, в этом вся штука...» И он выходит на крыльцо. Оказывается, город не может смотреть человеку в глаза. Человек смотрит прямо, с открытым мужеством, а глаза города снуют и мечутся, точно хотят сбежать из самих орбит. Кто-то сказал, что комитет, названный патриотическим, грозит рабочему-немцу. Джин не щедр теперь на письма, но в этот раз написал: «Чем ходить в дом этого бедняги, приходите-ка лучше ко мне. У меня есть дробовик, который ждет вас, не дождется...» А Джин не торопится подняться с крыльца. Он даже рад возможности испытать волю города.

Вэр допил свой чай, допил не без удовольствия (чай был холодный и хорошо пился), и начал укладываться. Я пошел по вагону в надежде проникнуть в тамбур и постоять там у окна. Я любил в полуночной тишине постоять у вагонного окна, глядя, как далеко за полем и лесом неведомый город пытается обогнать поезд, взлетая на холмы, обходя реки, и, отстав, еще долго грозит, невысоко подняв желтые кулаки огней. В тамбуре было необычно тихо. Поезд шел обширным полем — ни единый огонек не обнаруживался вокруг. Зато по полю были разбросаны озера. В этот полуночный час они слабо светились, отливая сине-сизым, желтым и стеклянно-голубоватым пламенем. Я смотрел на поле и думал о том, как необыкновенно встретились в этой ночи посреди равнинной России Элла Блур с Горасом Троубелом и как здорово, что американцы, пришедшие в этот суровый год на помощь России, делали это и от имени Уитмена и Джина Дебса.

Я был так увлечен своими раздумьями, что не заметил, как к окну подошла молодая женщина.

— Я давно вас заметила,— улыбнулась она смущенно.— Все хотела спросить и не решалась, ждала своей минуты. Можно?

— Да, конечно,— сказал я.

— Вы не в Верещагино?

— В Верещагино. А что?

— В американский тракторный отряд?

— Да. И вы туда?

Она опустила глаза, ее ноздри вздрогнули.

— У меня другой дороги нет.

— Трактор — дело доброе.

— Если смогу...— молвила она и улыбнулась.

— А почему бы и не смочь? — спросил я, но она не успела ответить — заплакал ребенок, и она ушла, ушла так быстро, точно была рада тому, что может воспользоваться этим и закончить разговор...

Утром, когда мы проснулись (солнце встало давно, и по ветреному небу мчались облака), я не обнаружил в вагоне молодой женщины с ребенком.

— У нее билет вышел на той станции,— сказал старик хмуро.— Просила проводника, да разве его упросишь — он фигура казенная. «Вышел билет!» — и весь сказ. У нее брат там, а у него — дом...

Вэр был расстроен не меньше моего.

— Она ехала к нам в Верещагино?

— Да, в Верещагино.

— А на ней была шинель мужа?— не мог успокоиться он.

— Мужа.

Еще долго Вэр был хмур. Мне нелегко было вернуться к прерванному разговору. Только к вечеру, когда сумерки вошли в вагон и старик, повинуясь неизбывной тоске, подал голос («От черного ветра добра не жди, седая волна не милует...»), Вэр принес чайник с кипятком и, высыпав на ладонь щепотку чая, точно примерил, как долог будет вечер.

— Мне остается рассказать вам один эпизод, остальное вы сами поймете,— сказал Вэр медленно, высыпая в кипяток сухой чай.— Как-то весной, уже после русской революции, мама приехала ко мне на ферму в Уэстчестер Каунти. Я не оговорился: на мою ферму. Небольшое наследство, которое оставил мне отец, я употребил на приобретение фермы — для агронома, даже если он коммунист, это иногда имеет смысл. «Если мама с ее постоянными поездками на Дальний Юг и на Дальний Запад вдруг улучила минутку и приехала ко мне, значит, произошло нечто чрезвычайное»,— подумал я. Как обычно, она оглядела усадьбу, порадовалась вместе со мной моим опытам в огороде и саду, отобедала и... «Вот теперь и должно выясниться главное: почему поездке в Ванкувер мама предпочла посещение моей фермы»,— подумал я. «Послушай-ка, Хэлл,— она меня так звала: Хэлл!— я хочу с тобой перекинуться словечком... Можно?» Я знал эту ее интонацию, полуироническую, полусерьезную,— она так разговаривала со своими докерами и синдикалистами из профсоюза дамских портных. «Быть может, ты собралась в поездку по городам Дальнего Запада и хочешь, чтобы я присмотрел за семьей, Элла?»— спросил я. (Когда она уезжала по заданию партии на неделю-другую, за старшего в семье оставался я.) «А хлопоты по дому тебе пошли впрок, Хэлл»,— сказала она и смеющимися глазами взглянула на летнюю кухню под фанерным навесом, что я соорудил накануне. Вот так, подшучивая друг над другом, мы достигли моего сада. (В ту весну моему яблоневому садику не было и трех лет, и он был неловко-древастым и неодетым — посмотреть не на что.) «Нет, я по-иному...— сказала она и тронула молодую яблоньку.— Вот что, Хэлл, речь идет о просьбе Ленина».—«Ленина?»— переспросил я; стоит ли говорить, что я не ожидал сейчас услышать это имя. «Да, о личной просьбе Ленина,— произнесла Элла.— Я подчеркиваю: личной». Я приготовился услышать нечто необычное. «Оттого, что Ленин обратился с личной просьбой, она не стала для меня меньше. Это просьба ко мне, Элла?«—«Нет, она к партии, и вот

ее смысл...— Она задумалась.— Ленин пишет большой труд, посвященный превращению фермеров в батраков, переселению батраков, законам этого переселения...»— «И он просит помочь ему книгами?»— спросил я — этот вопрос напрашивался. «Да, книгами и, быть может, раздумьями людей, знающих американское земледелие. Мне так кажется, таких, как ты, прости меня за эту вольность. Мне, матери, так кажется: таких, как ты». В этот день я не разрешил Элле уехать. Долго я стоял под звездным небом, раздумывая над тем, что сказала мне Элла. «Просит Ленин... Только подумать: просит Ленин... Наверно, это не так часто бывает, чтобы тебя попросил лично Ленин». Утром я увел мать к той молодой яблоньке, у которой мы стояли с нею накануне...

Мне показалось, что Вэр приподнял руки, чтобы хлопнуть ладонью о ладонь, но раздумал — речь, в конце концов, шла о нем самом, и выражать удивление или тем более радость было нескромно. Кстати, я заметил, он охотно говорил о своей ферме — вернее, обо всем том, что сделал он на этой ферме своими руками. Я увидел в этом нечто характерное для него. Все-таки он был горожанином-интеллигентом, к тому же не обладающим могучим здоровьем (когда-то в детстве он болел туберкулезом), и это, так думал я, было немалой причиной его тайных огорчений. Он тянулся к труду, требующему силы, и охотно делал такую работу. Хорошо вскопанная грядка, тщательно оструганная доска, гора дров, наколотая в одно утро, могли доставить ему не меньшее удовлетворение, чем удачно написанная статья или хорошо принятая лекция. Он говорил: «Держать жизнь своими руками». Это значит: все делать самому.

— Итак, мы продолжили разговор с Эллой у яблоньки,— продолжал Вэр.—«Послушай, Элла, я не спал всю ночь...»—«Я знаю, что ты не спал. Я стояла у окна и все видела, но я не хотела тебе мешать».—«Надо знать Америку так, как знает Ленин, чтобы так верно выбрать тему»,— сказал я. «Знаю»,— сказала Элла. «То, что происходит сегодня на американских дорогах,— это даже не пе-

реселение народов, это больше,— заметил я.— Крестьяне бегут от своего дома, как от чумы. Целые деревни встали на колеса. Но об этом не пишут ни ученые, ни писатели. По крайней мере, книг таких я не знаю. Но есть иной путь, Элла, добыть материал!»—«Какой?»—«Надо пересечь страну вместе с беженцами». Элла, казалось, была и удивлена и обескуражена. «Пересечь страну? Но кто это может сделать?»—«Я сделаю это». Элла задумалась, ее руки потянулись к стволу молодой яблони. «Но каким образом? Ведь на это необходимы средства».—«Если у меня в кармане будут пять долларов да, пожалуй, еще зубная щетка, я решусь».—«Ты будешь работать?»—«Да, я буду делать все то, что делают эти люди, когда идут с востока на запад». Быть может, иная мать стала бы отговаривать сына: не простое дело задумал я. Но Элла была Эллой. «Как знаешь Хэлл!»— сказала она и нещедрыми этими словами благословила меня. Через две недели я покинул ферму, а еще через неделю я шагал с батраками на запад. Мое путешествие продолжалось шесть месяцев. Шесть месяцев я был батраком. Пахал, бороновал, сеял хлеб, рыл траншеи для силоса и строил плотину. Я был и пахарем, и плотником, и кузнецом, и деревенским писарем, и бондарем, и однажды даже врачом... Да, да, врачом при весьма необычных обстоятельствах! Где-то в горах Северной Дакоты на исходе моего путешествия, уже в конце декабря, меня застал в дороге снегопад. Неожиданно откуда-то справа послышался крик, вначале едва различимый, потом все более настойчивый. Я старался идти навстречу голосу и вышел на дорогу. Она привела меня в хижину — крик доносился оттуда. Не буду мучить вас неизвестностью. Молодая крестьянка, совсем молодая, собралась принести в дом младенца, и муж побежал за врачом. Но роды начались до того, как муж вернулся, и ребенка пришлось принимать мне. (Мне нетрудно было сделать это, так как при таких же обстоятельствах я однажды принимал ребенка.) Бедняжка, она думала, что я тот самый врач, за которым побежал муж. «Какое счастье, доктор,— сказала она,— что вы прибыли вовремя!»

Где-то на могучей Миссури я увидел гидроцентраль. Случилось это поздним вечером в непогоду. Но ненастье точно расступилось. Бетонный квадрат станции был омыт светом прожекторов и казался белым. Я вспомнил рассказ школьного учителя об открытии электричества, увлекательный рассказ об Эдисоне и Штейнмеце...

Я начал свое путешествие весной и закончил его зимой. Я пересек американский Юг и Средний Запад, достиг Северо-Запада и вернулся через пшеничные поля Миннесоты и Висконсина. Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы осмыслить и обобщить все, что я видел. Это был труд и очевидца, и участника событий, и, я хочу верить, немножко исследователя. Только после этой поездки я мог сказать себе, что знаю американское земледелие так, как его должен знать агроном,— все свои колледжи я кончал в этой поездке. Полезен ли был мой труд Ленину? Я с ним не говорил об этом, да он может и не знать, что человек, написавший этот обзор, и я — одно лицо. Однако вам я могу сказать, как, впрочем, могу сказать и себе: мне приятно, что и одну и другую работу я не переуступил другому... «Не каждому выпадает счастье помочь Ленину,— сказала Элла.— Но если это тебе удалось — радуйся».

Мы приехали в Верещагино в первом часу ночи.

На станции нас ждала машина, одна из двух приданных отряду. Машина была полугрузовой, крытой. Вэр предложил мне место рядом с шофером, однако я отказался и полез вместе с ним наверх — оттуда аппетитно пахло свежей соломой. Шофер, здоровенный парень, бог весть как умудрившийся загореть на нежарком здешнем солнце, долго хлопал своими тяжелыми лапами по плечам Вэра и, отбив их, стал уговаривать его немедленно ехать в Тойкино, обещал еще до света быть на месте, тем более что мороз к утру может смениться оттепелью и дорогу развезет. Вэр сказал шоферу, что уроженцам Северной Дакоты и прежде нельзя было отказать в здравом смысле,

и мы выехали. Человек, положивший солому в кузов, видимо, обладал гробастыми руками (быть может, это был наш шофер),— ее было достаточно, чтобы завалить кузов. Едва добравшись до соломы, Вэр уснул, а я еще долго не мог сомкнуть глаз.

Справа от меня был врезан в стену мутный квадрат стекла. Глазок легко отогревался в стекле: снег, снег... Я вспоминал рассказ Вэра. «Все-таки мой спутник поведал сейчас редкую историю... Кстати, не было бы этих рек, не было бы и озера». И еще: «Только закончив эту последнюю быль, быль его собственной жизни, Вэр не вспомнил о храброй птице... А может быть, ее надо было бы вспомнить именно в этой связи? Кстати, этим рассказом завершается и рассказ о судьбе Эллы, а может быть, бесконечно продолжается, бесконечно...»

Глазок, отогретый мною в окне, стала медленно затягивать наледь. Я размыл лед и вновь увидел снежное поле, холмистое, с негустым леском в ложбинах. Ветер крутил поземку, застилал дорогу. Машина тревожно гудела, врезаясь в снег...

И неожиданно мне на память пришла молодая женщина с ребенком, что сошла за Вяткой. Припомнились ее глаза, серые, с четким рисунком зрачка, а потом зеленый дымок в белках, когда косынка легла на плечо. Откуда она взялась такая и что у нее было в жизни до того, как она стала солдаткой? Наверно, дочь сельского врача, расстрелянного Колчаком за симпатии к красным, или ссыльного учителя-народовольца. Быть может, поклялась идти дорогой мужа. И в тракторный отряд устремилась не потому, что чувствовала к этому призвание, а потому, что нерасторжимо связывала это с большим будущим России. Что-то было в ней неуступчиво-прямое и бесстрашное...

Мы приехали в Тойкино с рассветом и пошли в мастерские — отряд уже позавтракал и был у машин.

— С приездом, товарищ Веров! — Большой человек, круглоплечий и гололобый, застучал костылями навстречу моему спутнику.

Вэр представил нас.

— Лукин Алексей, секретарь партячейки,— произнес человек и осторожно оперся на костыли — они у него были широкие, крепко и надежно сколоченные, очевидно, мастерил сам.— А вы, товарищ, прямым порядком от Ленина?

— Прямым.

— Хорошо.

Мы пошли с ним от машины к машине.

— Вы думаете, что я вроде комиссара при товарище Верове?.. Ничего подобного! Какой резон быть при нем комиссаром, когда он сам коммунист из коммунистов! — Лукин взметнул кулак и точно окаменел с поднятой рукой; лицо его стало серо-зеленым.— Вот так судорога! Ногу сдавит! — Он дернул ногой раз, другой.— Ну отпусти, не дури! — Глаза его замутились, будто песком сыпануло в них.— Ну отпусти! — Он неловко подтянул вытянутую ногу, потом выбросил — она ударилась об пол, словно неживая.— Ну отпусти... Го! — вздохнул он облегченно.— Вот я и говорю: он коммунист из коммунистов!

Лукин с силой оперся на костыли, пододвинулся к трактору.

— Картечью подсекло, с тех пор и хватает! — взглянул он на больную ногу.— Не приходилось переплывать Кубань в верховьях? Вода холоднее льда, судорога мертвой хваткой возьмет — пальцем не пошевельнешь! Вот так и у меня, только не на воде, а на суше...— Он попробовал улыбнуться и, неожиданно оробев, стал строг.

Мы вышли из мастерской вместе с Вэром. Видно, четырех часов Вэру было достаточно, чтобы к нему вернулись и энергия и настроение,— он тут же увел меня в поле. Снегу было много, и это радовало Вэра.

— Признаться, я мечтал о Доне и Кубани — степь! Есть где испытать силу трактора! А тут вдруг — Пермь, овраги, перекаты... А сейчас смирился. Вижу: и здесь польза не малая. К тому же главное не в этих, как их, десятинах! — Ему плохо давалось это слово — «десятинах», но он не избегал его. Я заметил, он любил вставить русское слово — в этом тоже сказывалось его желание «дер-

жать жизнь своими руками».— Школа — вот главное! А школа везде хороша — и на Дону и в Перми! Так или нет?

Я смотрел на Вэра: нет, бессонная ночь не прошла для него бесследно, он был бледен, но гнал прочь от себя усталость. Солнце пошло на убыль, но день оставался мягким, и не хотелось уходить с поля. Где-то у большого оврага нас вдруг окликнул Алеша Лукин. Он стоял на взгорье, подняв костыль.

— Поворачивай, товарищ Веров, обед стынет! — кричал он, и его влажная лысина была ярче солнца.— Поворачивай, да шибче — животы подвело!

Видно, он был бедового склада, этот Алеша Лукин. Его и манила и звала дорога, что бежала мимо него под гору. Если бы не костыли, рванулся бы он сейчас по снежной дороге под уклон, перескочил ручей, что прорезался к полдню на дне оврага, ненароком окунул бы в него руку и с лихой и тревожной радостью тронул холодной ладонью шею, а потом бы шагал и шагал рядом, позабыв и про обед и про все на свете. А сейчас он стоял на взгорье, подняв тяжелые свои кувалды, и его костыль стонал и жаловался.

— Поворачивай, обед стынет!

И было ясно всем, и прежде всего Алеше Лукину, что дело, конечно, не в том, что обед стынет, а в том, что не терпелось поговорить о самом главном, что было страстью и живым волнением человека.

А потом он шел рядом, налегая на костыль больше обычного (дорога в поле утомила его), и, останавливаясь, взвивая огромные ручищи, спрашивал меня:

— Значит, прямым порядком от товарища Ленина?

— Прямым, товарищ Лукин.

— Хорошо.

Сделал несколько шагов, остановился вновь.

— А этот Джон, а по-русскому Иван, что вас в Тойкино прикатил,— настоящий! Нет, он не только шофер, он и тракторист классный. «Все едут в Америку, а я останусь! Только невесту мне подбери, Алек!» — «За

невестой дело не станет, говорю, Ваня». Настоящий...

Вечером Вэр собрал отряд, а Лукин — школу.

Шесть ламп «летучая мышь» горели у нас над головами, и стол был накрыт кумачом.

Речь держал Алеша Лукин:

— Вот товарищ Рыбаков; он приехал прямым порядком от Ленина, и конверт, что лежит перед ним, это от нашего вождя товарища Ленина-Ульянова...

Теперь говорю я:

— Товарищи...

Только сейчас я заметил: точно две струи, щедрые, неукротимо гудящие, сплелись воедино. Та, что пришла из-за океана, и здешняя, русская... Синие комбинезоны американцев и стеганки русских, красные шарфы, свитеры нехитрой, но надежной домашней вязки, вязаные шапочки с короткими козырьками, куртки на байке гостей, гимнастерки, овчинные полушубки, косоворотки, шлемы наших.

— Товарищи гости и хозяева, американцы и русские...

Кажется, я слышу, как трещат фитили в лампах, лица сурово-сосредоточенны, желтое пламя усилило загар, и лица кажутся червонно-медными.

Я говорю, что Ленин, недавно вернувшийся в Москву после болезни, просил, чтобы ему рассказали о работе американского отряда. Я понимаю, как просты и, в сущности, обычны эти слова, даже если они произнесены на двух языках; но есть обстоятельство, которое сообщает им силу: меня прислал сюда Ленин.

— Он благодарит наших друзей из Америки за помощь, которую они оказывают Советской России. Он просил правительство, чтобы эта благодарность была декретирована специальным актом. Вот смысл этого акта: пусть в большом море крестьянской России труд и опыт Тойкина будут огоньком, поднятым на гору...

Трещит пламя в лампах. Оно вспыхивает, неярко освещает лица, которых точно коснулось тусклое свечение меди.

...Мы условились, что я выеду на рассвете.

Поздно вечером в избу, где приютили меня на ночь, постучал Алеша Лукин.

— Значит, отсюда прямым порядком в Москву? — спросил меня Алексей, пристраивая рядом с собой костыли.

— В Москву,— ответил я.

— Хорошо.

Он достал кисет и уже высмотрел клочок газеты на притолоке, чтобы оторвать на цигарку, но, взглянув на меня, раздумал.

— А я по делу,— сказал он.

— Вижу.

— А коли видишь, слушай, товарищ Рыбаков,— и протянул руку к костылям, попрочнее устраивая их в углу.— Я насчет товарища Верова и его ребят! — замахал он своими кулачищами.— Я не знаю, как товарищ Ленин, а я бы их удержал в России маленько! Нет, не совсем — боже упаси! — а так, на год-другой... Строим, мол, державу пролетарскую... Э-эх!..— Он осекся, остановив высоко поднятый кулак: судорога зажала ногу.— Ну отпусти, не балуй!..— произнес он едва слышно белыми губами.— Еще малость... отпусти...— Он сделал усилие, чтобы разжать кулак, поднятый над головой, потом его сжал.— Отпусти... Го!..— он точно выдохнул боль.— Вот я и говорю: строим, мол, державу пролетарскую...— Он вытер ладонью влажный лоб.

Через полчаса мы простились. Он ушел, и я еще долго слышал, как стучат его костыли по отвердевшей за вечер земле.

Я уезжал из Тойкина в десятом часу утра. Машина ждала меня на пригорке у выезда из поселка. Вэр зашел за мной. Солнце стояло низко, и снежная стежка, заполненная синей тенью, повела нас на пригорок. А когда тропа выметнулась на взгорье, глянули: поле и дорога, идущая на станцию, открытая, прямая. Я уже занес ногу, чтобы подняться в машину, когда услышал, как мой спутник тихо ударил ладонью о ладонь и едва внятно вздохнул. Я оглянулся: по дороге шла женщина в шинели — да, та

самая, с ребенком. Она дошла до развилки и, остановившись на миг, свернула вправо, к поселку. Она шла сейчас споро, как человек, неожиданно увидевший конец дороги, по которой он шел дни, а может быть, и годы.

Мы простились.

— А у этой женщины есть что-то от храброй птицы,— сказал Вэр, протягивая мне руку.

Когда машина выехала на дорогу, я увидел Вэра вновь: он перешел на дорогу, по которой шла к поселку женщина. Мне показалось, что они теперь шли рядом.

У этой истории есть свой эпилог.

Помните, Вэр говорил о своеобразной встрече с Карлом Штейнмецем — вернее, с его созданием на берегу могучей Миссури?

Мои последние воспоминания о Гарольде Вэре связаны с именем Штейнмеца и, конечно, Ленина.

Весной двадцать второго года Ленин получил письмо от Штейнмеца. Ученый писал, что и до него дошли вести о советском плане электрификации, и предлагал свою помощь.

Владимир Ильич ответил Штейнмецу письмом.

Ленин хотел, чтобы его ответ был передан адресату из рук в руки. Однако этот случай представился лишь зимой двадцать второго года. В Америку возвращался Гарольд Вэр. Ему было вручено письмо Ленина Штейнмецу, а заодно и фотография, которую Владимир Ильич посылал американскому ученому, сопроводив надписью.

Эта надпись на фотографии, по существу, явилась новым посланием Ленина Карлу Штейнмецу. Написанная стремительной и твердой ленинской рукой по-английски, она выражала высокое уважение к американскому ученому и уверенность, что его примеру последуют другие.

«Глубокоуважаемому Чарльзу Протеусу Штейнмецу, являющемуся одним из немногих исключений в объединенном фронте представителей науки и культуры, противопоставляющих себя пролетариату.

Я надеюсь, что последующего углубления и расширения бреши, пробитой в этом фронте, не придется долго ждать. Пусть пример русских рабочих и крестьян, держащих свою судьбу в своих руках, послужит поддержкой американскому пролетариату и фермерам. Несмотря на ужасное последствие военной разрухи, мы продолжаем идти вперед, хотя и не обладаем и одной десятой тех огромных ресурсов для экономического строительства новой жизни, которые уже много лет находятся в распоряжении американского народа.

Москва, 7. XII. 1922

Владимир Ульянов (Ленин)».

Я увидел Вэра через несколько лет, когда не было уже Владимира Ильича, да и Штейнмеца уже не было.

Стояло лето, мягкое и прохладноватое, типично московское, и мы уехали с Вэром на Воробьевы горы.

Мы устроились в тени старого дерева на его крутых корнях, выступивших из земли, и мой американский друг рассказал историю своей миссии к Штейнмецу.

— Чтобы передать письмо, я поехал к Штейнмецу в Скенектади,— сказал Вэр.— Попасть к нему оказалось не просто. Секретари ученого встали передо мной стеной. «Сегодня господин Штейнмец никого не принимает. Он вызвал к себе всех вице-президентов компании и уединился с ними». Разумеется, мое заявление, что у меня есть письмо к мистеру Штейнмецу, даже важное письмо, не произвело никакого впечатления. Ответ был более чем резонный: «Если есть письмо, его можно оставить секретарям — мистер Штейнмец получает свою почту в урочный час». Стена, возникшая передо мной, была непреодолимой, ее можно было разрушить, лишь пустив в ход артиллерию. И я решился. «Я только что приехал из Москвы с личным письмом для Вас от Ленина,— написал я Штейнмецу на листке из блокнота.— Я буду ждать, пока Вы освободитесь». Моя записка оказала поистине магическое действие: мистер Штейнмец стоял передо мной.

«Заходите, заходите...» — произнес он, приглашая меня в кабинет, находящийся рядом. «Никого не впускать ко мне!» — крикнул он секретарям уже из кабинета. Наша беседа продолжалась несколько часов. Штейнмец забросал меня вопросами о Ленине, о советской системе образования, о науке, о программе электрификации, об организации промышленности и земледелия. Время от времени дверь кабинета, где происходила беседа, приоткрывалась и кто-то из вице-президентов возникал на пороге. «Не мешайте мне разговаривать!» — кричал на него Штейнмец, и дверь мгновенно закрывалась.

Штейнмец сердечно простился со мной. «Молодой человек,— воодушевленно говорил ученый,— вы представляете, что делает Россия?.. В короткое время она создала программу электрификации всей страны! Ничего похожего не могло бы произойти в другой стране. То, что они сделали, поразительно. Я бы все отдал, чтобы самому поехать туда и работать вместе с ними!» Штейнмец сказал, что он согласен поехать в Россию и работать в качестве консультанта по осуществлению ее великого плана. К сожалению, ученый не успел претворить свое намерение в жизнь — через год он умер.

Я не помню, как развивался мой разговор с Вэром дальше, но, как и следовало ожидать, он коснулся Тойкина.

— Помните, я вам как-то говорил: главное в нашем эксперименте были не десятины, а люди,— сказал Вэр.— Да, не десятины, которые мы вспашем и засеем, хотя это само по себе очень важно, а люди, которым мы поможем познать трактор. Мы стремились сделать наше Тойкино школой, из которой выйдут трактористы и механики. Если когда-нибудь, приехав в Россию, я встречу того же Алешу Лукина начальником колонны или, чем черт не шутит, директором тракторной станции, я буду считать, что ездил в Россию недаром...

— А что все-таки стало с Алешей? — спросил я; короткая реплика Вэра давала мне эту возможность.

— Алеша стал механиком и уехал в Пермь за наукой.

Да, в буквальном смысле за наукой: кажется, он уже кончил институт. «Если нога выдюжит, голова не подведет,— сказал мне тогда Алеша.— От Перми до Москвы — две ночи, а там, говорят, Промышленная академия...»

«Промышленная академия... Промышленная академия...» — повторял я, слушая Вэра, но думал уже не об Алеше Лукине.

— А как эта женщина в шинели, эта молодая женщина, которую мы встретили в поезде, а потом на шоссе у самого Тойкина?..

Вэр побледнел. Да, я явственно увидел, как сухая белизна пошла у него по лицу.

— Настя? — спросил он едва слышно.— Настя Дробышева? Она осталась у нас в Тойкине и очень успела, став трактористкой. А потом весной, ранней весной, где-то у самого поселка в овраге у нее загорелся трактор. В овраге, как в трубе, огонь вздуло. Она пыталась накрыть его телогрейкой и опалила руки.— Он умолк, печально посмотрел на меня.— Помните, какие у нее были руки?

— А что с нею было потом? — спросил я, когда мы стали спускаться к реке, молча спускаться — разговор о Насте Дробышевой был для Вэра нелегок.

— Что стало? — переспросил Вэр.— Я был у нее в больнице в Перми. Она выздоравливала, но руки были в рубцах...

— А где она сейчас? — спросил я; в судьбе этой молодой женщины мне виделось что-то значительное.

— Кажется, в Москве, но найти ее не просто,— заметил он.

— Все-таки в ней было что-то от храброй птицы,— сказал я.

— Храброй... храброй...— заметил Вэр.

Вот и весь эпилог — он должен быть коротким.

РАССКАЗЫ О ПОИСКАХ В ПАРИЖЕ, НА АВЕНЮ Д'ОБСЕРВАТУАР

ЧЕЙ ЭТО ПОРТРЕТ?

Посреди поля стоит человек. Поле не убрано, хотя пора и поздняя,— реглан, в который одет человек, подбит мехом. У реглана меховой воротник, мехом оторочены рукава и даже карманы. И это поле с несжатым, местами поваленным хлебом, и это необычное пальто, по-видимому форменное, в которое одет человек на фото, переносят нас в атмосферу войны. Так и видится: где-то рядом, по каменистой, стремящейся в гору дороге, движутся войска — артиллерия, подводы со снаряжением и провиантом, может быть, походная кухня, а человек сошел с подводы и пошагал вдоль дороги. Сейчас войска взберутся на гору и человек нагонит их.

Кем может быть этот человек? В его лице и печальное раздумье, и усталое любопытство — вон как легли складки у рта, да и глазницы щедро заполнило тенью. Фотография выцвела и пожелтела. Углы надколоты — очевидно, чья-то рука, дружественно-участливая, а может, и любящая, прикрепляла портрет к стене. Но обратная сторона фотографии пуста — ни автографа, ни посвящения.

Чей же портрет перед нами? Если бы мне был передан только этот портрет, я бы мог и не опознать человека в реглане, подбитом мехом, хотя вот этот подбородок, широкий нос и глаза (кстати, они зеленые — об этом речь впереди) кажутся очень знакомыми. Вместе с фотографией, которая лежит перед нами, пять конвертов, пять больших конвертов размером 36 на 48, в которых хранится фотобумага — нет конвертов аккуратнее и прочнее, ни одна капелька света не способна проникнуть внутрь, так тщательно склеены они, так они неуязвимы.

Этот портрет и эти пять пакетов вручил мне писатель Ли Голд в Париже, в своей квартире на авеню д'Обсерватуар. Но я, кажется, забежал вперед, обогнав развитие событий, как они происходили в жизни.

В ТУ ПОРУ ОЛДРИДЖ БЫЛ ВОЕННЫМ КОРРЕСПОНДЕНТОМ

Самолет поднялся в Москве на рассвете и взял курс на юг.

Под Москвой еще лежал снег, по-мартовски синий, и реки, только что освободившиеся ото льда, были многоводны и темны, а здесь дымное солнце уже затянуло горы, зеленым дымом подернулись рощи и далеко впереди, выше холмов и гор, почти отвесно к земле, встало море.

Поодаль от меня, на скамье, протянувшейся вдоль стены, сидит Джим Олдридж.

— Море! — произносит кто-то в самолете.— Взгляните, как оно встало горой!

Я вижу, как светлеет лицо Джима.

Вот так мне видится весна сорок четвертого и наш полет с Олдриджем из Москвы к берегам Черного моря.

— Море...— задумчиво повторяет Олдридж.

В ту пору Олдридж был военным корреспондентом и немногие знали, что он автор «Дела чести» и «Морского орла»,— «Знамя» напечатало первую из этих повестей лишь в сорок пятом. Помнится, в долгие часы, когда двухмоторный транспортный самолет шел с корреспондентами из Москвы на фронт и далеко впереди, в предзакатной дымке на косогоре или кургане, возникало сожженное село с черными перстами задымленных труб, воздетыми в немой и грозной скорби, Олдридж вспоминал Ленинград, где был в пору великой битвы, а заодно и маленькую Грецию, ее дубовые и каштановые рощи, укромные поляны в горах и сожженные фашистами деревушки,— Олдридж начинал войну летчиком в этом уголке Балкан.

Нелегки пути военного корреспондента. Были здесь и Ленинград, и Харьков, и Смоленск, и Минск, и, как сейчас, Черное море.

Помню, как Олдридж стоял на правом, возвышенном берегу Западной бухты и смотрел на Севастополь.

Садилось солнце, и его густо-оранжевые блики лежали на камнях города. В этот вечер солнце было богатым на

краски, но даже их не хватало, чтобы скрыть раны города — Севастополь лежал в руинах и пепле.

Помню, как Олдридж шагал по отвесной круче Херсонеса, а глубоко внизу, у самого берега, опрокинувшись навзничь или упав ничком, лежали в воде фашисты; на самодельных плотах они пытались уйти на Балканы, и этой ночью их вернуло к берегам Севастополя уже бездыханными.

Это было страшное зрелище: набегали волны, и мертвые смыкали и размыкали руки, точно пытаясь еще подать сигнал тем, кто в море.

И еще помню Олдриджа в одесских катакомбах. Мерцающий свет фонаря в руках нашего провожатого-партизана, кочующие блики на мокрых стенах и Олдридж, рассматривающий черные соты наборной кассы — здесь одесские партизаны делали свою газету...

И вот восемнадцать лет спустя Олдридж вновь где-то на Черном море, едва ли не там, где был в дни войны. Только сейчас не весна, а осень, правда самая ранняя, и море по утрам уже укрыто кочующей дымкой тумана, и горы не синие, как в марте, а серые, и сады по берегу не темные, а пепельно-желтые — от суши и пыли. И море потускнело. Нет, не только на поверхности: иными стали краски и в тех заповедных глубинах, куда проник со своим ружьем и аквалангом Олдридж,— кажется, и там, в глубинах моря, тоже сейчас пора увядания и на смену густо-зеленым тонам пришли белесые, бледно-желтые и даже оранжевые краски сентября.

ЧТО ГОВОРИТ ЭТО ИМЯ: КАРЛ ХОВИ

Поезд, в котором Джеймс Олдридж уезжал из Москвы, отходил с Белорусского вокзала.

Тесная группа московских друзей Джима и в этот раз собралась на перроне. Говорят, что богиня охоты была не очень милостива к Олдриджу,— его походы по неизведанным подводным тропам Архип-Осиповки были менее сча-

стливы, чем обычно. Однако лето осталось позади и с ним все его ненастья — разговор шел о будущем, о работе, о рукописях и книгах. До отхода поезда оставалось минут десять, и мы пошли с Олдриджем по перрону. Олдридж спросил, как продвинулись мои рассказы о Ленине и Америке. Я сказал, что начал новый рассказ, о Джоне Риде.

— О Риде? — переспросил он, и мне показалось, что волнение отразилось в его голосе.

Он шел молча, ссутулившись, а я думал: как бы часто мы ни слышали имя Рида, но каждый раз, когда оно произносится, оно точно застает нас врасплох. Наверно, так бывает всегда, когда за именем стоит подвиг,— чем, как не подвигом, была жизнь Рида, труд Рида, книга его?

Но у Олдриджа были свои причины волноваться. Он сказал, что дружен с семьей Карла Хови, редактора журнала «Метрополитен», в котором, как известно, Рид напечатал свои мексиканские очерки и впервые стал известен читающей Америке. Сам Карл Хови умер несколько лет назад, но жива его дочь, Тамара Хови, которая переселилась с мужем в Париж.

Когда Олдриджи посещают Париж, они обычно бывают в семье Хови.

Этот разговор заинтересовал меня; впрочем, как мне показалось, он заинтересовал и Олдриджа, который вел его очень темпераментно и, судя по всему, пока еще не сказал главного. Беседуя, мы вошли в вагон, и тут же был дан сигнал к отправлению поезда. Волей-неволей Олдридж должен был закончить свой рассказ более лаконично, чем начал. Он сказал, что видел в семье Хови архив Джона Рида, в том числе много писем, адресованных Ридом своему редактору. («Кажется, тридцать два! — сказал Олдридж.— Есть письма из Петрограда и Москвы... Самые первые!.. И не только письма...») Помню, что разговор закончился тем, что я просил Олдриджа прислать мне копии. Едва ли не из окна идущего поезда Олдридж мне крикнул, что обещает сделать это.

Олдридж уехал, а я вновь и вновь возвращался в своих мыслях к разговору, который произошел у меня на перроне Белорусского вокзала. Я пытался припомнить, читал ли я когда-нибудь письма Рида, посланные из Мексики его редактору Карлу Хови, и не мог припомнить. Ничего не дало и чтение всех известных нам книг Рида, как, впрочем, и материалов о нем. Короче, разговор с Олдриджем открывал заманчивую перспективу: а не удастся ли нам приоткрыть какую-то новую сферу в жизни Джона Рида, новую грань? А пока ничего иного не оставалось, как запастись терпением и ждать. Ждать пришлось не так долго. Пришел пакет от Олдриджа, и в нем тонкая тетрадь, тщательно сшитая и сброшюрованная. Разумеется, это рукопись, но размеры ее обманчивы — она напечатана на рисовой бумаге. Да, это рукопись большой обзорной статьи Ли Голда об архиве Джона Рида, хранящемся в семье супругов Голд-Хови. В рукописи воспроизведены какие-то места из писем Рида. Здесь их двадцать. Помнится, Олдридж назвал иную цифру: тридцать два. Письма помечены разными городами. Здесь и Мексика, и Европа — Париж, Лондон, Рим. Кажется, Олдридж называл письма из Петрограда и Москвы?

А интересны ли эти письма и важны ли они для Рида?.. По датам интересны — они обнимают годы, предшествующие второму приезду Рида в Россию и его участию в октябрьских боях (девятьсот четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый); иначе говоря, это как раз те годы в жизни Рида, когда крепло его сознание, мужал его ум гражданина-воителя и, может быть, даже революционера. Стоит ли говорить, что каждая новая деталь, уточняющая эту пору в жизни Рида, бесценна. Это — по датам. А каково все-таки содержание писем?.. Даже в тех отрывках, которые воспроизводит Ли Голд,— и интересно, и значительно.

Статья Ли Голда была принята журналом «Иностранная литература». По счастливой случайности, когда статья

была подготовлена к печати, в Москве оказался Олдридж. Я просил предпослать к статье небольшое вступление. Олдридж задумался. Потом неожиданно улыбнулся.

— У меня в гостинице нет бумаги,— полушутя, полусерьезно сказал Олдридж.— Нет, это много...— заметил он, когда ему подали стопку бумаги.— Мне достаточно и трех страничек...

На другой день он вернул нам эти три странички — статья была готова. Я прочел статью и вновь, как тот раз на перроне Белорусского вокзала, когда Олдридж впервые заговорил о Риде, волнение объяло меня.

«Однажды холодным зимним днем,— писал Олдридж,— вскоре после Сталинградской битвы, я стоял у кремлевской стены и смотрел на темную надгробную плиту, под которой вместе с другими героями Октябрьской революции похоронен Джон Рид. Помню, что я сказал себе (или, скорее, обращаясь к этой небольшой плите): «Что ж, дело стоило того, Джек». Разве битва под Сталинградом не явилась величайшим апофеозом жизни всех тех, кто погребен у Кремлевской стены!

Собственно, я не вправе называть его «Джек». Я не мог знать Джона Рида лично, ибо родился примерно в то время, когда он умер. И все же Рид был одной из тех исторических личностей, которые, подобно Джеку Лондону или Пушкину, близки каждому, чье присутствие ощущается как соприкосновение с живым, родным человеком. И при мысли о том, что их больше нет, всегда испытываешь чувство горечи.

Джон Рид умер в объятиях революции, чью зарю он видел и описал в своих репортажах. И эта революция сделала этого сначала по-деловому равнодушного наблюдателя и репортера преданным участником и активным защитником своего дела. Рид умер революционером».

Признаюсь, что только после отъезда Олдриджа я вспомнил, что хотел уточнить и не уточнил смысл его фразы, произнесенной еще на перроне Белорусского вокзала: «Кажется, тридцать два!.. И не только письма...» Да, в тот раз Олдридж совершенно недвусмысленно произ-

нес: «И не только письма...» Едва ли не на другой день после отъезда Олдриджа я сообщил Ли Голду об опубликовании писем и просил его прислать все, что имеется у него о Джоне Риде. Однако ответ задерживался. Прошла неделя, вторая, третья, а ответа не было.

И вот тогда впервые мне пришла на ум мысль, которая в тот момент, признаюсь, показалась несбыточной. Я увидел себя идущим по парижской улице со звонким названием «д'Обсерватуар», на которой живут супруги Голд-Хови и в квартире которых хранятся письма Джона Рида. «И не только письма...» — какой уже раз повторил я фразу Олдриджа. Но тотчас мной овладело уныние. «Если эти письма почти пятьдесят лет оставались в этой семье и в безукоризненном порядке дожили до наших дней, то на рубеже следующего пятидесятилетия, очевидно, не так-то просто переместить их в иное место». Однако и не просто заставить себя выбросить из головы мысль, хотя и сумасбродную. И я продолжал упорно думать и все чаще видел себя шествующим по парижской улице, теперь уже с совершенно фантастическим для меня названием — д'Обсерватуар.

В ПАРИЖЕ, НА АВЕНЮ Д'ОБСЕРВАТУАР

И вот осень шестьдесят первого года, для Парижа самая ранняя — начало октября. Могучие каштаны в парижских парках еще сохраняют листву, зеленую, нетускнеющую. Легко и ярко одеты и пассажиры пароходов и катеров, бегущих по Сене, и посетители больших парижских парков; кстати, сегодня в Париже и особенно в его парках столько детей, сколько их никогда здесь не было прежде, и это больше, чем что-либо иное, свидетельствует, что Париж, вопреки всем бедам и невзгодам нынешней тревожной поры, верит в мир.

А пора действительно тревожная. Стремительной стайкой движутся по Парижу молодые алжирцы — быть может, рабочие, возможно, студенты. Они идут, не оста-

навливаясь, компактной и нерасторжимой группой, будто бы сейчас не яркий полдень с сильным солнцем, которое высветлило город так, как может только его выбелить парижское солнце, а по крайней мере поздний вечер с южным небом многозвездным. Впрочем, алжирцам лучше знать, что полдень для них немногим опаснее, чем полночь. У самых стен собора Парижской богоматери, в двух шагах от географического центра Парижа, нет, не в полночь, а в полдень идет группа юношей-алжирцев, как обычно тревожно-стремительная. Неожиданно она оказывается в кольце полицейских, кольцо быстро сжимается, полицейские рассекают группу, уже подняты смуглые руки, уже на панель летит кошелек с мелочью, солнцезащитные очки, газета... (Не хочется вспоминать обо всем этом после того, как Алжир обрел независимость, обрел в неравной и жестокой борьбе, но почему бы об этом и не вспомнить, если борьба продолжается и сынам Алжира нередко с прежней самоотверженностью и мужеством приходится отстаивать свободу?) Обыск длится две минуты — парижская полиция действует молниеносно. Кольцо разомкнуто. Алжирцы продолжают путь, быть может, еще стремительнее, чем прежде, хотя над Парижем и светит солнце, такое негасимое и сильное, каким оно может быть только здесь, даже в сентябре.

То, что мы увидели тогда, перед древними стенами собора Парижской богоматери, потом повторялось у нас на глазах и у стен Лувра, и на Монпарнасе, неподалеку от авеню д'Обсерватуар...

Погодите, но ведь авеню д'Обсерватуар где-то здесь? Я пытаюсь уточнить адрес: Париж, 14, авеню д'Обсерватуар, 36. Поистине этот адрес можно повторять, как стихи. Да, это неподалеку от Монпарнаса, в нескольких минутах ходьбы от знаменитого кафе «Ротонда».

Что затенило улицу: платаны, распростершие тяжелые кроны над тротуарами, или грозовая туча, вставшая сейчас над Парижем? Первые потоки дождя пробились сквозь настил листьев (это еще не ливень, но он вот-вот грянет), где-то шумно захлопнулись жалюзи, вспыхнула

молния, и ярко-белая надпись на синей эмали стала видимой: «Авеню д'Обсерватуар». Вот и заветный тридцать шестой номер. Дворник в фартуке уже гонит воду — почти московская картина.

— Простите, квартира господина Ли Голда здесь? — кричу я уже из подъезда — хорошо, что я добрался сюда до того, как разразился ливень.

— Да, мосье, третий этаж,— говорит он, улыбаясь: ему понятна моя радость.

Лестница полуосвещена: нащупываю звонок. Мне открыл дверь человек лет сорока — сорока двух, смуглый и темноглазый. Он хорошо сложен, сохранив хорошую худобу и моложавость фигуры. Я назвал себя и спросил, могу ли я видеть господина Ли Голда. Человек улыбнулся очень радушно и протянул руку.

«И РАДОСТИ И БЕДЫ»

— Ну, входите, входите...— произносит он, точно спохватившись.— Нет, это почти невероятно! — Для него гость из Москвы не меньшее диво, чем для меня встреча с ним.— Олдридж мне все рассказал — ведь этим летом, как, впрочем, и прежде, мы были с Джимом и Диной на французском юге...

Мне хочется наладить разговор, и я что-то говорю о наших поездках с Олдриджем во время войны, но Ли Голд осторожно прерывает меня:

— Ну как же... Джим рассказывал. Севастополь. Верно ведь?..

Ли Голд пытается как-то накрыть стол (это нелегко — хозяйки, судя по всему, нет дома) и скрывается в соседней комнате.

— Ливень... совсем летний,— произносит он задумчиво. Очевидно, он увидел из окна, как свирепствует ливень, как он взрывает и мнет листву.— Нелегко пробиться сквозь такую стену воды, а?..

— А вы ждете кого-то?

— Детей, они играли во дворе.

— С ними есть кто-то из взрослых?

— Да, конечно...

— Тогда они здесь,— говорю я, желая успокоить его.— Ждут, пока поутихнет.

— Да, и я так думаю...

Я осматриваюсь. В комнате два пианино. Очевидно, кто-то из супругов Ли Голд — профессиональный музыкант. Пианино у окна раскрыто. На пюпитре — ноты. Стул чуть-чуть отодвинут. Кажется, что еще пять минут назад Ли Голд сидел за инструментом.

— Я вам помешал?..— говорю я громко, чтобы было слышно в той комнате.

— Чем?

— Вы играли?..

Он смеется:

— О нет!.. На нашу семью два музыканта много. Играет Тамара...— Он, очевидно не без досады, махнул рукой.— Ах, как жаль, что ее нет дома!..

Теперь я припоминаю: Олдридж действительно говорил, что Тамара Хови пианистка, и талантливая, однако с некоторого времени вторая страсть возобладала — Тамара Хови кинодраматург и новеллист.

— Кто сейчас в Москве из американских писателей? — спрашивает Ли Голд — ему хочется, чтобы разговор не прерывался.

Я называю Майкла Голда. Видно, это имя дорого нашему хозяину. Он вновь и вновь повторяет:

— Значит, Майкл Голд в Москве? Представляю, какая это для него радость!.. Скажите, а не с женой он там?.. С женой?.. Значит, он поедет домой через Париж! Да-да, это я знаю — через Париж! Ведь его жена из Франции...

Я называю имя американского кинокритика и сценариста Джона Говарда Лоусона — он тоже сейчас в Москве.

— И Лоусон в Москве? Скажите, а его книга об американской драматургии издана у вас? А сценарии?.. Да, у нас с Лоусоном общие радости и беды...

Он затихает.

— Вы сказали: общие радости?..

— И беды...

Не ослышался ли я? Кажется, нет. Я знаю, что Лоусон вдоволь настрадался в жестокую пору «охоты за ведьмами». А Ли Голд с Тамарой Хови?

— Вы в Париже недавно?

Он все еще в соседней комнате.

— Да, сравнительно...

— Совсем недавно?..

Он умолкает.

— С тех пор... как в Америке объявился Маккарти.

В свой последний приезд в Москву Олдридж говорил, что Ли Голд и Тамара Хови, в сущности, политические эмигранты.

— Черный список?

— Да.

«КАЖЕТСЯ, НЕТ ЖЕЛАНИЯ СИЛЬНЕЕ...»

Он говорит, что в минувшую субботу был на советской выставке, и перед нами возникает пирамида книг.

— Да, купил на выставке советские книги, но пока на английском... пока...— Он берет из стопки и робко пододвигает мне учебник русского языка для англичан Нины Потаповой.— Пока... хотя опыт тех, кто немного знает язык, и не очень обнадеживает — говорят, нелегко, может быть, даже очень нелегко...— произносит он и, смеясь, повторяет: — Закуска, закуска!..— Он затихает, сдвинув брови.— У каждого человека есть в жизни сильное желание... У нас с Тамарой тоже — хочется увидеть Москву, Советский Союз. Кажется, нет желания сильнее...

Я замечаю, что приезд в Москву супругов Ли Голд будет подготовлен — в десятой книжке журнала «Иностранная литература» появится статья Ли Голда об архиве Джона Рида...

Да, я так сказал: «об архиве Джона Рида». Сказал впервые.

— Это октябрь?..— спрашивает он.

— Да, октябрь...

Он молча подходит к окну и долго смотрит в него — ливень еще бушует, дети не идут у него из головы: как они там?

— Я заметил,— наконец произносит он и в задумчивом молчании идет к столу,— все, что имеет большое значение для вас, в равной, а может быть, и большей степени важно для всего мира...

Мне кажется, что настало время сказать Ли Голду о самом главном, но как сказать об этом, с чего начать?..

— Вы понимаете,— осторожно начинаю я,— как почитается имя Джона Рида у нас на родине... Каждый новый документ о нем для нас бесценен... Олдридж сказал...

Ли Голд встает из-за стола, встает медленно.

— Да, да... я понимаю,— говорит он,— я все понимаю...— повторяет он, тревожась, и выходит из комнаты.

Кажется, что стало еще тише. Только сейчас я замечаю, что деревья за окном точно окутало туманом — так силен ливень, да и в комнате будто смерклось.

«ОТЕЦ ЛЮБИЛ РИДА...»

Ли Голд возвращается тотчас. В его руках — конверты.

— Все, что здесь есть,— указывает он взглядом на конверты,— надо смотреть в такой последовательности...

И он раскладывает конверты: их пять...

Ли Голд открывает первый конверт, и я вижу: желтый лист бумаги, очень желтый, заполненный машинописным текстом (лента у машинки была ярко-синей — краска не потускнела), и внизу неожиданно четко: «Reed». Да, так просто: «Reed».

Письма лежат сейчас передо мной. Нет, я не листаю, а бережно перекладываю страничку за страничкой. Вот

письма из Мексики — я вижу имена вождей ее революции: Вильи и Сапаты. «Я очень сблизился с Вильей...» И еще: «Как только мы сядем в поезд и тронемся на юг, я начну писать о Вилье с его же слов...» А вот письма из России. Они легко обнаруживаются по бланкам гостиниц «Англетер» в Петрограде и «Метрополь» в Москве. Потом несколько писем из Парижа, Неаполя, Рима, Салоник, Марселя, Константинополя, много писем из Бухареста, телеграммы из Мексики о беседах с Вильей и с просьбами послать деньги матери в Портланд. Еще конверты. Листовки времен мексиканской революции за подписью Вильи, план операции, набросанный торопливой рукой, может быть, в пылу битвы, мандаты на имя Рида, пропуска с предписаниями военным комендантам помогать Риду, фотография. Да, та самая: посреди несжатого поля стоит человек... Следующий конверт: рукопись книги Карла Хови о Джоне Риде — «Львенок».

— Рукопись не была опубликована? — спрашиваю я у Голда.

— Никогда...[1]

Ли Голд подходит к окну. Ливень еще свирепствует. В окно видно, как бьет из желоба вода. Она бьет по соседней крыше с таким неистовством и силой, что кажется — крыша дымится.

— Да, я заметил, что все важное для вас очень важно для всего мира,— произносит он все так же задумчиво, и мне кажется, что он вернулся к этому разговору не случайно.

— Каждый новый документ о Джоне Риде для нас бесценен,— говорю я в тайной надежде, что увезу в Москву копии этих документов.— Если бы удалось сфотографировать...

Ли Голд встает:

— Сфотографировать?.. А у меня была иная мысль...

На какой-то миг смятение овладевает мною. Неужели

---

[1] Только теперь книга Карла Хови увидела свет. Ее советское издание — Карл Хови, «Львенок». Гослитиздат, 1967 г.— является первым изданием вообще.

не удастся? Ведь Ли Голд ничем не рискует: можно сфотографировать, не повредив документов.

— Иная мысль? Какая? — спрашиваю я не без опасения: неужели откажет?

— Мы с Тамарой порешили...— произносит он и на какой-то миг умолкает,— пусть эти документы хранятся там, где ваш народ бережет наследие Ленина... Да, да, нам хотелось просить советских людей принять эти документы как дар...

Все, что только было извлечено из конвертов, Ли Голд вкладывает обратно. Потом он кладет конверты в том порядке, в котором они лежали у него — первый, второй, третий, четвертый, пятый,— и пододвигает конверты мне.

— ...Принять эти документы как дар,— повторяет он и, прислушиваясь к шуму в соседней комнате, вдруг улыбается.— Слышите? Дети пришли...

Дети действительно уже здесь: в их глазах, возбужденных, счастливых, еще бушует ливень, да и лица облиты его холодной влагой.

Ли Голд дает им по банану и провожает, но лицо его еще долго бережет улыбку, вызванную их приходом.

— Ах, как жаль все-таки, что вам не удалось повидать Тамару...— произносит Ли Голд.— Но быть может, это поправимо, а?..

— Да, разумеется,— замечаю я.— В Москве...

Ли Голд внимательно смотрит на меня, улыбается:

— В Москве, в Москве...

Мы прощаемся, и я ухожу в дымную мглу ливня.

Осенний ливень, холодный, без молнии и грома, свирепствует над Парижем.

Он гудит в желобах и каменных канавах, шастает по мостовым.

Я иду все быстрее и чувствую у себя на груди крепкий прямоугольник свертка — пять конвертов, пять драгоценных конвертов — там...

Поздно вечером я звоню Тамаре Хови.

— Да, муж мне все рассказал, а еще раньше — Джим

и Дина... Передайте и письма и книгу отца Москве...— Она умолкает и потом произносит, волнуясь: — Отец очень берег архив Рида, отец любил Рида...

Я благодарю Тамару Хови за щедрый дар, кладу трубку, а сам все еще не могу свыкнуться с мыслью: завтра я отвезу архив Джона Рида в Москву. Ведь только подумать — архив Джона Рида!

ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ АДРЕСОВАНЫ ЭТИ ПИСЬМА

Итак, я простился с супругами Голд и на другой день вылетел в Москву. Двумя часами позже самолет приземлился на Шереметьевском аэродроме Москвы, а еще через час я осторожно открыл клапан первого конверта: да, все в порядке... Кстати, настало время сказать о главном, о самом главном: что оказалось в этих конвертах и какую все это представляло ценность.

Впрочем, все это не так просто, как кажется на первый взгляд, даже совсем не просто. Письма, рукописи, документы, заключенные в этих конвертах, охватывают столь широкий круг проблем, событий, имен, наконец, лет, что нам одним с этим, может быть, и не совладать. А есть ли необходимость разбираться в этом нам одним, когда мы имеем мнение человека, которому и письма и документы Рид адресовал? Нам пора сказать об этом человеке больше, чем мы сказали о нем до сих пор,— он этого более чем заслуживает.

Помните, Тамара Хови сказала на прощание: «Отец очень берег архив Рида, отец любил Рида...» Кто такой Карл Хови, как относился к нему Рид и какова его роль в жизни Рида? Письма свидетельствуют, с каким уважением, больше того — дружеской симпатией Рид относился к Карлу Хови. Письма из Мексики, написанные вскоре после первой встречи Хови с Ридом, начинаются достаточно уважительно, но все-таки официально: «Дорогой господин Хови». Потом из той же Мексики эта форма обращения прочно заменяется более доверительной: «До-

рогой Хови». Затем уже из Европы — и сокровеннее и дружественнее: «Мой дорогой Хови». И наконец, в последних письмах: «Дорогой Карл Хови», или откровенно-дружески: «Дорогой Карл». У Рида были основания считать Карла Хови близким человеком. Редактор «Метрополитен», друг и сподвижник Линкольна Стеффенса, Карл Хови был близок к левым либералам и как мог поддерживал на страницах журнала идеи национально-освободительной борьбы. Только этим можно объяснить, что журнал дал место корреспонденциям Рида о Вилье и революционной Мексике. И не только: Хови ушел из «Метрополитен», не согласившись с позицией остальных своих коллег по такому острому вопросу того времени, как предреволюционные события в России.

Видно, Карл Хови был человеком и большой души и интеллекта. Рид потянулся к нему и все эти годы сообщался с журналом только через него. Но Хови не просто связывал Рида с журналом — как ни велик деловой элемент в письмах Рида к Хови, это письма человека и друга, быть может, даже ученика. Рид делится впечатлениями и раздумьями, он просит совета. И Хови охотно помогает Риду. Он вообще считает благородным наставлять, советовать, помогать Риду. Хови прозорливо смотрел вперед — он видел, что львенок обещает быть и будет львом.

ПЯТЬ КОНВЕРТОВ ЛЕЖАТ ПЕРЕД НАМИ

Да, пять конвертов лежат передо мной, как, очевидно, лежали они перед Карлом Хови. Я беру из стопки первый конверт и медленно раскрываю его: письма из Мексики.

Характерно, что первое выступление Рида в «Метрополитен» было связано с участием Рида в знаменитой стачке в Патерсоне. Именно статья о том, как Рид сидел за участие в стачке в тюрьме, статья в такой же мере горькая, в какой и злая, явилась поводом для встречи Рида и Хови. Перед Карлом Хови стоял человек, высо-

кий, с бледным, исполненным решимости лицом. То, что предложил тогда редактору «Метрополитен» Рид, было и необычным и содержательным — здесь не было подражания экзотическим очеркам, которые были тогда так модны. Хови видел в статье Рида порыв ветра, неожиданный и сильный.

Хови показал статью Рида Линкольну Стеффенсу, и тот предложил послать Рида в Мексику... В ту пору внимание читающей Америки — да только ли Америки? — было приковано к Мексике... Как встретил это предложение Рид? Вначале, как казалось Хови, сдержанно, но это была сдержанность, скрывающая волнение... Рид напоминал Хови жениха, готового сделать важный шаг в своей жизни и сознающего, как все это ответственно. Рид не любил обременять себя мелочами, когда собирался в поездку, даже, как сейчас, очень ответственную. Он был легок на подъем и брал с собой только самое необходимое. На этот раз с ним были фотоаппарат, пишущая машинка и достаточная сумма денег. Как ни тяжела дорога, которая ожидает корреспондента, этого достаточно, чтобы задание редакции было выполнено... Через неделю Джек уже был в действующей армии, а еще через три дня он послал в «Метрополитен» свою первую статью. Впрочем, об остальном пусть расскажут письма... Вот первое из них — оно было послано в начале февраля...

Я читаю и дивлюсь: в самом деле, в этом письме — весь Рид.

«Дорогой господин Хови, вот вам первая статья. Я не предполагал, что она будет такой длинной, но я ее уже сократил почти на тысячу слов. Надеюсь, что она годится... Следующая будет и короче и сенсационнее: речь пойдет о сражении. У меня под рукой сколько угодно забавного и интересного материала о том, что происходило и происходит в Конституционном правительстве, а также о том, что американцы в Мексике — это главный бич страны. Один бизнесмен в Чихуахуа сказал мне, что, если я напишу что-либо против интервенции, он пристукнет меня».

Да, Рид мог так написать: главный бич — против Вильи воевали доллары... Какой датой помечено второе письмо?.. Кстати, в этом письме он впервые заговорил о Вилье и Сапате.

«...Я напал на след человека,— читаю я,— знающего историю жизни Вильи, а даже из того немногого, что он может мне сообщить, я напишу такой замечательный очерк о Вилье, какой никогда не появлялся в печати... На солдат Вильи спешно надевают военную форму, обучают, платят деньги и приучают к дисциплине. Теперь у Вильи есть пушки и офицеры, радио и машинистка. Северная армия становится профессиональной, заслуживающей уважения».

В ту пору Вилья был для Рида идеалом народного вожака. Рид видел в лице Вильи человека храбрости необыкновенной. Видел он и то, как любят Вилью бедняки и доверяют ему. Это решило все. Рид проникся к Вилье вначале доверием, потом любовью. Рид приметил в лице Вильи черты, какие не мог рассмотреть в людях прежде. Правда, иногда он чуть-чуть иронизирует над Вильей, но это добрая ирония. В одном письме полушутя, полусерьезно он сообщает, что купил в подарок Вилье седло и винтовку с глушителем системы «Максим»... Рид повсюду следует за Вильей, старается завязать с ним отношения, быть может, даже добиться расположения, с единственной целью: познать этого человека и рассказать о нем людям. Надо сказать, что Рид обладал завидной для писателя способностью: он умел установить отношения с людьми, расположить их к себе. Расположил он и Вилью. В третьем письме из Мексики он об этом говорит уже достаточно определенно.

Как свидетельствует текст письма, ум, такт и обаяние Рида сделали свое:

«...Я очень сблизился с Вильей, и завтра вы получите фотографию, где мы сняты в форме. Но вы не должны называть меня офицером, разве только в шутку. Будьте с этим очень осторожны: шутите сколько угодно, но дайте ясно понять, что это всего лишь мистификация.

Мексиканцы не очень-то во всем этом разбираются, поэтому меня могут отправить обратно к границе. Кроме того, поскольку я не сражаюсь, я не хочу выступать в роли героя... Как только мы сядем в поезд, я начну писать о Вилье с его же слов. Он говорит, что ничего не утаит от меня...»

Если вы читали «Восставшую Мексику», вы, быть может, помните, каким восхищением проникнуто отношение Рида к Сапате. Рид ставит Сапату не только вровень с Вильей, но отдает ему предпочтение, считая более радикальным.

«Самым замечательным человеком в этой революции,— читаю я,— является Сапата, не забывайте об этом... Хотя вожди этой революции утверждают, что Сапата связан с Каранцей, у меня есть все основания не верить этому. Сапата радикал, логично мыслящий и идеально последовательный. Чтобы вы убедились в этом, я пришлю вам завтра копию плана Айала, это план Сапаты. Каково бы ни было будущее Мексики, мне кажется, что с Сапатой нельзя не считаться. История его жизни, те отрывочные сведения, которые я сумел собрать, так же чудесны, как «Тысяча и одна ночь». По-моему, мы не получим правильного представления о том, что здесь происходит, если не будем знать все о Сапате... Имейте в виду, что еще никто и никогда не видел Сапату и ничего о нем не писал...»

ПИСЬМА ИЗ ЕВРОПЫ

Я раскрываю второй конверт: письма из Европы. Города, даты, города: Лондон, Салоники, Париж, Неаполь, Рим, Бухарест... Впрочем, в географии ли дело? Вот говорят, что нет более беспокойной профессии, чем профессия журналиста. Быть может, это верно, хотя для истинного журналиста беспокойство перешло в свою прямую противоположность и стало потребностью натуры, ее стихией. Рид был таким!.. Беспокойство, неукротимое и мя-

тежное, возвышающее человека и ведущее его вперед, было стихией Рида... Помните, как Рид познавал Нью-Йорк и познал его, чтобы рассказать о нем людям? Он знал и Китайский квартал, и «Малую Италию», и квартал, населенный сирийцами. Одну летнюю ночь он проспал на фермах моста Вильямбург-Бридж, в другую ночь расположился в корзине для кальмаров. Он знакомился с матросами, только что приплывшими сюда с другого конца света, и с портовыми грузчиками из Испании, живущими на нижнем конце Вест-стрит... Он встречался с писателями и артистами в Вашингтон-сквер, с гангстерами на балах в Таммани-Холл. В Нью-Йорке он впервые полюбил, впервые написал о том, что видел, испытав буйную радость творчества, узнал, наконец, что может писать. Так, как он познавал Нью-Йорк, он позже познавал жизнь всюду, где бывал... А помните Мексику? Рид рассказывал, что в течение четырех месяцев он скакал на коне сотни миль через палимые солнцем равнины, спал на земле вместе с солдатами, танцевал и пировал в разграбленных гасиендах всю ночь напролет после целого дня езды. Он всюду был с солдатами революции — и в игре и в сражении... А теперь взгляните на его письма из Европы. Он пишет из Рима, что отправляется в Париж в надежде описать его осаду. В Сезанне он чуть было не попал на два года в крепость. В пригородах Парижа, в дни осады столицы, он пытается пересечь линию фронта... Репортер? Да, если хотите — репортер, перед которым нет препятствий, репортер, желающий все видеть своими глазами, репортер, чувствующий, как горяча жизнь, репортер, владеющий пером так, как им владел Рид...

И не только это: репортер, обладающий острым глазом и способный видеть главное, самое главное...

«Эта война становится все более отвратительной, бессмысленной и глупой, и у меня нет времени для сочинения убогих очерков,— читаю я.— Вы, наверно, знакомы уже с английскими, немецкими, австрийскими и сербскими документами о войне. На днях выйдет французская книга.

Если вы ее еще не достали, купите книжку оксфордского профессора современной истории «Почему мы воюем?». Это, так сказать, официальный отчет англичан о войне. Мне кажется, что Германия виновата не больше, чем Англия... Эта книжка вселяет ужас...»

Нет нужды читать все письма: в конце концов, главное понятно. Но может быть, стоит чуть-чуть продолжить мысль Рида о так называемых «официальных документах», которые публиковали правительства воюющих стран. Надо сказать, что по долгу корреспондента он прочел бесчисленное множество «белых», «синих» и «голубых» книг и знал им цену...

«Все считают само собой разумеющимся,— иронизирует Рид,— что «Белая книга» сэра Эдуарда Грея — истинная правда, которая демонстрирует стремление Англии сохранить мир в Европе. Но авторы немецких, русских, австрийских сборников и дипломатической корреспонденции также вполне обоснованно претендуют на то, чтобы их страны считались хранительницами мира».

Есть проблема, которая Рида волнует больше всего. Его интересует, как поведет себя дальше Америка, останется ли она в стороне от схватки. Пожалуй, ни в одном письме отношение Рида к войне не обретает такой непримиримости и гнева, как в письме, которое он прислал из Парижа в июле пятнадцатого года.

«Особенно ужасны дошедшие сюда слухи о вступлении Америки в войну. Мне кажется, я с ума сойду от ярости, если мы ввяжемся в эту страшную заваруху. Всякий раз, как я вижу солдата, я испытываю еще большее отвращение и ненависть к войне!..»

Это звучит необычно, но именно поездка в Европу на фронты первой войны помогла Риду до конца понять все, что он видел в Мексике. Судите сами.

Воспитанник Гарварда, друг Линкольна Стеффенса, хотя неизмеримо дальше его идущий во взглядах на социальную первоприроду мира, поэт, бунтарь, правдоискатель, Рид имел редкую возможность глазами очевидца увидеть две войны, разные по своей социальной природе.

И может, у Рида была редкая возможность обнять эти войны умом, сравнить, осмыслить и многому научиться, что нужно было ему сегодня и многократно больше завтра, когда он явился свидетелем великих событий Октября. Но вот что интересно: за два года, да, почти за два года до того, как Рид прошел по октябрьским баррикадам и стал очевидцем штурма Зимнего, он побывал в России. Нам нетрудно представить себе, как важна была для Рида, для всего строя его ума, интеллекта, сознания, поездка в Россию. Нет, не только потому, что огромностью своей земли, какими-то чертами исторической судьбы и характера Россия и ее народ напоминали Риду его отечество и его соотечественников. Не только поэтому. Когда речь идет о странах и народах, схожесть судеб и черт всегда относительна. Прозорливым своим умом и чутьем революционера, которое не обманывает, Рид понимал, что если и есть страна, ближе всего стоящая к великим социальным взрывам,— то это Россия. Третий пакет с письмами, который я привез из Парижа, рассказывает именно об этом...

«ОБИДНО ПОКИДАТЬ РОССИЮ, НЕ УВИДЕВ МАТУШКИ-МОСКВЫ, СЕРДЦА РОССИИ...»

Рид постоянно думал о своей поездке в Россию и ждал только случая, чтобы ее осуществить. Еще в сентябре четырнадцатого года, через месяц после начала войны, он прислал Хови свой парижский адрес и тут же сообщил, что после Парижа поедет в Россию. Двумя месяцами позже, в письме из Шевреза, он писал, что во Франции ему нечего делать и он намерен зимой поехать на русский фронт и остаться там до того, как будет взят Будапешт (Рид полагал, что русской армии удастся все-таки его взять). Он пересек русскую границу где-то в районе румынского города Дорохоя и тут же выехал в Буковину, на русско-австрийский фронт. В ту первую свою поездку в Россию Рид что-то понял в России, а во что-то, быть

может, и не проник, но главное ему стало понятно. Как свидетельствовал он, «бородатые опечаленные гиганты шагали к неведомым боям за непонятное дело». На улицах северной русской столицы Рид наблюдал, как шли тысячи мобилизованных русских крестьян, еще не успевших снять свою крестьянскую одежду,— их готовились, как отмечал Рид, небрежно швырнуть на Запад, чтобы, истребив несметное число их, задавить ужасную германскую машину. Еще в тот первый свой приезд в Россию Рид был необыкновенно увлечен страной и ее народом, строем жизни народа, его натурой, его свободолюбивой сущностью. С радостно-лихим воодушевлением он пишет, что русские выдумки веселее всех, русское искусство наиболее богатое, русская еда и питье, на вкус Рида, самые лучшие, а сами русские, возможно, самые интересные существа на свете.

А теперь можно раскрыть третий конверт...

Я открываю конверт и беру первое письмо. О, оно довольно объемистое — в нем целых двадцать две страницы! Таких больших писем Рид еще не писал своему редактору. Впрочем, по мере того как я вчитываюсь в это письмо, я вижу, что это даже не письмо, а целый очерк. Рид рассказывает в нем, как он попал в Россию и как... Ну, читатель, конечно, догадывается, о чем идет речь. В письме — история ареста Рида и его друга, художника Робинсона, на русско-австрийском фронте, в Буковине. Русские военные власти арестовали Рида и его друга по обвинению, которое было основано на недоразумении, однако шестнадцать дней Рид и Робинсон провели под арестом. В письме воссоздается история ареста, при этом протокольно воспроизводятся более чем сложные переговоры Рида с военными властями, которые настаивали на возвращении Рида и его товарищей в Румынию и отказывались разрешить им пребывание в зоне военных действий. В конце концов, как это часто бывает, было принято компромиссное решение, и американцам разрешили выехать в Петроград. Как следует из этого письма, и еще более из последующих, Рид воспринял эту историю не без

юмора, и она не исказила взгляда Рида на страну и народ — Петроград и особенно Москва произвели на Рида очень сильное впечатление.

Кстати о Москве. Незабываемой была встреча Рида с Москвой, городом, который позднее занял такое большое место в жизни Рида и где он столь мужественно встретил свою кончину... Ну конечно же, он видел и Кремль, и Василия Блаженного, и Красную площадь. Трудно сказать, что подсказала ему эта встреча и в какой мере он мог догадаться о том, что предстояло ему пережить здесь в грядущие годы, но вот эти несколько слов о первой встрече Рида с Москвой поистине полны большого смысла.

Я беру сложенный вдвое аккуратный квадратик бумаги приятного кремового цвета со штампом московской гостиницы «Метрополь» — бумага еще дышит довоенным благополучием — и читаю:

«Мы сбежали из Петрограда на три дня, чтобы увидеть Москву. Обидно покидать Россию, не увидев матушки-Москвы, сердца России. Нам сказали, что мы можем, если хотим, побывать в Москве. И вот мы здесь! О боже! Она стоит того, чтобы посетить ее, как ни одно из тех мест, какие я видел...»

К русским письмам Рида следует отнести и первое известие, которое Хови получил от своего друга, когда тот вернулся в Бухарест. «Что касается меня,— шутливо замечает Рид,— то доктора своими категорическими суждениями, что я умру без привычных удобств, привели меня в полнейшее уныние. Они запретили мне ехать в Россию, приказали вернуться домой, прекратить бурную деятельность, удалиться на покой и в полном телесном здоровье (после операции, конечно) сочинять завещательные речи. Однако я все же поехал в Россию, плюнул на диету, ел все, что хотел, спал на голых скамьях и томился в тюрьме, а когда вернулся, мне заявили, что я здоров, как бык!»

Я открыл четвертый конверт и не мог скрыть своего удивления — необычная картина открылась глазам. В этот раз там были не письма и даже не рукописи, а стопка, как мне казалось, документов, напечатанных на разной бумаге — от обычной газетной, порядком потускневшей и ветхой, до рисовой и белоснежной гербовой, украшенной водяными знаками. Мое смятение усилилось еще и тем, что тексты, которые я мог рассмотреть, были для меня так же загадочны, как и странный вид этих бумаг: документы были написаны, насколько я мог понять, по-испански.

При той стремительности поиска, которой обладал Рид, при завидной предприимчивости, быстроте реакции и изобретательности, какая всегда свойственна хорошему журналисту, у него был еще талант исследователя-документалиста. После того как вы извлекали из конверта, присланного им, статью, вы должны были обязательно хорошо порыться на донышке, и вас ожидали приятные сюрпризы, например: тексты мексиканских народных баллад, рисунки, сделанные рукой художника, листовка с воззванием генерала Вильи, план операции, начертанный не очень искусной рукой и великолепно передающий дух времени. Возьмите его книгу о русской революции — там этими документами буквально пересыпаны страницы. Мы знаем, какую необыкновенную коллекцию документов Рид собрал в исторические октябрьские дни и как она обогатила его книгу, одновременно художественную и документальную. Оказывается, это свое качество впервые Рид обнаружил еще во времена мексиканской поездки, и вот коллекция документов, которая лучше всего об этом свидетельствует...

Я беру первый документ.

Лист потускневшей бумаги, и на нем несколько машинописных строк, круглая штабная печать, подпись. Указ гласит: «Ввиду очень важных услуг, оказанных делу, с этой даты присваивается чин Генерал-Бригадира граж-

данину Джону Риду». Под указом девиз: «Реставрация и справедливость!» И еще: «Имение «Ла Кадена», 22 января 1914 г.».

Мы знаем, что Рид хотел сохранить свою самостоятельность по отношению к Вилье и его армии.

В своих корреспонденциях он избегает говорить о том, в какой мере он сблизился с Вильей, а в одном из писем на имя Хови прямо не без тревоги предупреждает своего редактора: «...Вы не должны называть меня офицером, разве что в шутку. Будьте с этим очень осторожны...»

Рид не без оснований избегал говорить о своей дружбе с Вильей — в этом не было нужды. В самом деле, очерки Рида в защиту мексиканской революции сохраняли действенную силу и на американского, и, быть может, европейского читателя до тех пор, пока сам Рид в глазах этого читателя сохранял независимое положение.

В свете сказанного становится понятно, почему указ о присвоении Риду звания генерал-бригадира армии Вильи не был обнародован. Но быть может, этот указ всего лишь шутка мексиканских друзей Рида, всего лишь мистификация?.. Ли Голд, впервые комментировавший этот указ, считает его документом достоверным.

Мандаты написаны крепким языком. У них более чем красноречивый адрес: «Тому, кому надлежит». И дальше: «Дано северо-американцу Хуану Риду и гр-ну Хуану Вальею, направляющимся на выполнение задания данного штаба и для встречи с господином генералом Вильей». И обращение к революционной армии: «Предлагаю всем начальникам и офицерам, принадлежащим к Конституционной Армии, коим будет предъявлено настоящее, чтобы они соблаговолили разрешить им свободный проезд к месту назначения и чтобы указанным был выдан соответствующий пропуск по железной дороге».

Под круглой гербовой печатью с текстом: «Северная дивизия, главнокомандующий» — паспорт: «По рекомендации г-на доктора Себастиана Варгаса-младшего выдается паспорт г-ну Джону Риду с тем, чтобы он мог

отбыть из этого города в Магистраль, Дуранго». И девиз революции: «Свобода и Конституция!» К паспорту приложено описание главных примет владельца документа, из которого мы узнаем, что у Джона Рида были каштановые волосы и зеленые глаза.

Вот воззвание, подписанное самим Франсиско Вильей, в котором он сообщает о том, что пускаются в обращение новые банкноты Генерального казначейства штата Чихуахуа. Вилья предупреждает: «Только эти банкноты и банкноты, выпущенные Первым Конституционным Вождем Республики, будут являться единственными находящимися в обращении билетами, гарантируемыми конституционным правительством...»

И еще один документ, помеченный 20 января 1914 года. Бледно-синяя бумага с водяными знаками, и на ней перечень шахт: «Перрандера, Виктория, Нуэво Торреон». И дальше несколько фраз, нарочито лаконичных, возможно неоконченных: «Вводя пушку на Перрандера, на южную сторону, начиная перебрасывать пушку, ее встретят со стороны шахт Нуэво Торреон и Виктория...» Очевидно, на двух листах изложен план операции, свидетелем, а может быть, и участником которой был Рид. Не исключено, что Рид сохранил эти два таинственных листочка среди самых дорогих реликвий восстания потому, что событие, о котором идет здесь речь, было ему дорого.

Уместно спросить: почему Рид не оставил эти документы у себя и не использовал их в своей книге о Мексике?.. Известно, в Мексике Рид постоянно находился в походе и единственное, что было с ним,— это фотоаппарат, машинка да, пожалуй, револьвер. Поэтому все, что в походе для него было обременительным, он немедленно пересылал в редакцию. Так было и с этими документами. К тому же, в отличие от «Десяти дней...», написанных единым духом и сразу изданных книгой, «Восставшая Мексика» возникала от очерка к очерку и по мере написания печаталась в журнале, при этом и характер очерков (Рид продолжил традицию живописных очерков, которые тогда были приняты) и особенно характер

журнала не допускали иллюстрации этих очерков документами, даже если они столь значительны и интересны, как эти.

Вот и последний документ. Он заметно выделяется среди прочих своим торжественным видом. Он напечатан на добротной меловой бумаге и украшен нарядным вензелем. В отличие от прочих бумаг, его не тронула жестокая десница времени. Внешне этот документ напоминает свидетельство об окончании колледжа или диплом о награждении орденом. На самом деле этот торжественный документ удостоверяет иное, более будничное, хотя и волнующее. Это своеобразный мемориальный акт да в своем роде свидетельство о встрече с дорогим гостем семьи, гостем желанным. Все, кто был удостоен чести быть приглашенным к столу по этому столь торжественному случаю, удостоверяют этот документ своими подписями. Поводом для заполнения этого торжественного документа в тот раз явилось посещение Ридом семьи своего большого друга, солдата революционной армии Лонхиноса Гарака. Кстати, этому эпизоду Хови посвятил специальный рассказ в своей книге о Риде... В книге о Риде?

Да, я беру последний, пятый конверт, и на стол ложится рукопись книги Карла Хови, неопубликованная рукопись книги редактора «Метрополитен» о человеке, который однажды пришел в редакцию безвестным юношей и покинул ее легендарным Джоном Ридом.

Книга Карла Хови называется «Львенок».

В этом названии — отношение Хови, наставника и доброго советчика Рида, к своему молодому другу.

Поэтому пусть Карл Хови продолжит рассказ о мемориальном акте, который я оборвал.

«БУДЕМ КОМАНДОС!»

«Они отдыхали целые сутки, отдыхали и лошади. После отъезда генерала командование принял подполковник Пабло. Говорили, что в нем засело целых пять пуль. Это

был очень веселый парень. Сейчас он раскопал в развалинах церкви истинное сокровище — пианолу. К ней был только один ролик с вальсом из «Веселой вдовы». Его крутили не переставая весь день.

Рид присел рядом с Хулианом Риесом; у того на сомбреро были прикреплены фигуры Христа и святой девы. Мысли Риеса были где-то далеко. Но вот его горячие глаза остановились на Риде.

— Будешь сражаться вместе с нами?

— Нет,— сказал Рид.— Я корреспондент. И мне запрещено участвовать в боях.

— Ложь. Ты не сражаешься, потому что боишься. А наше дело правое даже перед лицом самого господа бога.

— Знаю. Но правила, которым я обязан подчиняться, запрещают мне сражаться.

— Правила! Мне-то что до этих правил? Нам нужны не корреспонденты, а стрелки. Трус!

— А ну, хватит! — К ним наклонился Лонхинос Гарака.— Хулиан Риес,— сказал он,— ничего-то ты не знаешь. Этот компаньеро прибыл к нам через тысячи миль по морю и по суше, чтобы рассказать своим землякам правду о нашей борьбе за свободу. Он идет в бой без оружия, но храбрее тебя, потому что ты идешь в бой с ружьем. Убирайся. Не надоедай ему больше.

Он сел и взял руки Рида в свои.

— Будем командос! — сказал Лонхинос Гарака. И его речь и его мягкая улыбка отличались особой теплотой и сердечностью.— Будем спать под одним одеялом и везде будем вместе. Я возьму тебя к себе домой, и отец сделает тебя моим братом. А потом я покажу тебе заброшенные золотые копи, оставшиеся еще от испанцев, мы вместе возьмемся за них, разбогатеем.

С тех пор они стали неразлучны. До конца.

Однажды, во время относительного затишья между боями, капитан Лонхинос Гарака, рядовой Хуан Вальехо и Рид, позаимствовав у полковника коляску, отправились на пыльное маленькое ранчо — домой к Лонхиносу. До

него надо проехать четыре мили на север через пустыню.

Старый Гарака был седым пеоном в сандалиях. Он родился рабом на одной из богатейших гасиенд, но долгие годы труда, настолько ужасного, что об этом даже не расскажешь, превратили его в явление крайне редкое в Мексике — в независимого владельца крохотной собственности. У него было десять детей — нежные смуглые дочери и сыновья, по виду похожие на батраков из Новой Англии. Лонхинос сказал: «Это Хуан Рид, мой самый любимый друг, мой брат».

Старик и его жена горячо обняли Рида и, по мексиканскому обычаю, похлопали по спине.

Они сидели в длинной комнате и ели острый сыр и свежее масло из козьего молока... как вдруг собаки во дворе разом залаяли. Шум поднят маленьким, страшно перепуганным мальчиком на лошади, который прискакал сообщить, что колорадос вступает в Пуэрту. В мгновение ока мулы были впряжены в коляску. Лонхинос опустился на колено и поцеловал руку отца; они уже успели далеко отъехать, а мать все причитала им вслед: «Возвращайтесь живыми! Возвращайтесь живыми!»

На рассвете следующего дня огромное белое солнце встало над узким проходом в горах, от него слепли глаза. По одному и маленькими группами кавалеристы выезжали под его палящие лучи и исчезали из глаз в клубах пыли, насквозь просвеченной солнцем.

Лонхинос Гарака, ехавший на высокой серой лошади, помахал Риду на прощание рукой и крикнул:

— А уж на копи — завтра... Сегодня я очень занят... Но мы еще разбогатеем...

Вдоль подножия гор двигались узкие полоски пыли — враг растягивал свои боевые порядки.

Через несколько дней Рид добрался до постов, выставленных гарнизоном в Санта-Доминго, куда должны были пробиваться бойцы «Ла Тропа». Они кинулись к нему с распростертыми объятиями.

Но, обнимая его своими усталыми руками, каждый из них спрашивал, знает ли он, что Лонхинос Гарака убит».

В конце этого рассказа, написанного так ярко и крепко, Карл Хови упоминает и о мемориальном акте, который увековечил встречу Рида с семьей мексиканских крестьян и воинов.

«...Среди странных клочков бумаги, которые Рид имел обыкновение отсылать домой, пишущий эти строки обнаружил трогательную памятную записку на голубоватой бумаге — подписи каждого из членов семьи Гарака: «С большой любовью к тебе — Лонхинос-старший, Адольфо, Сантьяго, Мауро, Альберто, Гвадалупа, Отила, Марина, Фелицитас, Барбара», и в конце — подписи старухи матери и самого Хино. Почерк у всех великолепный».

«В МОСКВЕ... В МОСКВЕ...»

Помните, в тот осенний день, в Париже, на авеню д'Обсерватуар, Ли Голд сказал, провожая меня:

— Ах, как жаль, что вам не удалось повидать Тамару, но, может быть, это поправимо, а?..

— Да, разумеется,— ответил я тогда не без волнения.— В Москве...

Ли Голд улыбнулся:

— В Москве... в Москве...

И вот наши друзья в Москве.

Я встречаю их на аэродроме в Шереметьеве, и мы едем в город. В поездке по Москве я хочу быть их первым гидом. Середина лета, и листва Ленинградского проспекта кажется нетускнеющей.

Площадь Маяковского. Площадь Пушкина. Советская площадь.

— Да, мэрия столицы... Моссовет, а это Институт Ленина...

Я вижу, как радостно встревожилась Тамара Хови.

— Рукописи Ленина хранятся здесь?..

Машина пошла тише.

— Да, здесь.

— И... Джона Рида?

— Здесь.

ЗАПИСЬ В КАЛЕНДАРЕ

В эти дни вы можете увидеть этого американца в Москве. Ему за семьдесят, но его светлые, не замутненные годами глаза полны живой зоркости. У него широкий шаг, неторопливый и мягкий. Он очень высок, и его белая голова видна издали...

Да, все началось с ленинской записи. Она была более чем лаконична. Всего одна строка.

«Джером Девис, балтиморский профессор, 1 милл. долларов».

Ленин, обычно подчеркивавший в своих записях лишь особо важное, отметил эту строку двумя жирными линиями...

Джером Девис?

Я вспомнил вьюжный ноябрь сорок третьего года, фронтовую дорогу на Смоленск, уже лежащую под снежным настом, и человека в меховой шубе, крытой жесткой парусиной. Березка у дороги, под которой он стоял с нашим солдатом-бородачом, успела расцвести морозным снегом и обнажиться, а беседа их все продолжалась.

«А знаете,— сказал мне Джером Девис, когда мы ехали с ним белым полем,— все мои корреспонденции в «Торонто стар» посвящены одной теме: русскому солдату, каким я увидел его теперь и каким знал в ту войну».

Джером Девис не оговорился: в ту войну.

Из того немногого, что Девис рассказал мне тогда, я узнал, что впервые он приехал в Россию еще до революции и покинул ее летом семнадцатого года, хотя и возвращался сюда неоднократно позже: в двадцать первом, в двадцать седьмом и в начале тридцатых годов, при Рузвельте...

«Да, при Рузвельте,— заметил Девис,— но я тогда допустил ошибку...»

В тот раз я не решился спрашивать, что он имел в виду, надеясь, что он еще будет иметь возможность пояснить смысл своей фразы.

Как-то весной сорок четвертого года в румынском

городке Ботошани, который накануне заняли наши войска, после беседы с русским священником-старообрядцем Девис рассказал мне о встрече с Франклином Рузвельтом.

«Это было в тридцать третьем году, в том самом году, когда Рузвельт решил признать Советскую Россию,— сказал Джером Девис.— Но прежде чем сделать этот шаг, президент захотел говорить со всеми, кто знает Россию. Среди них был и я. Президент сказал мне: «Я хочу признать Россию», и я сказал президенту: «О'кей!» В тот раз я ушел из Уайт-Хауз лишь на другой день. Много часов я рассказывал президенту о России. Но потом президент задал мне второй вопрос, и я сделал ошибку. Вы хотите знать какую?.. Рузвельт спросил меня, что я думаю, если он назначит американским «эмбесседор» в Россию Вильяма Буллита?.. Я знал, что Буллит хорошо говорил о своей поездке в Россию в девятнадцатом году, и я ответил: «О'кей!» Это и была моя ошибка. Надо было сказать «ноу», а я сказал «о'кей»... Буллит был не лучший наш «эмбесседор» в России»...

Я смотрел на Девиса и думал: «Что заставило этого человека, теперь уже немолодого, столько лет прожить в стороне от дома?» Было в нем что-то от подвижника, искателя истины, отправившегося в нелегкий поход, а от начала похода до конца — что от начала до конца жизни.

Все это пришло мне на память, когда я вновь перечитал ленинскую запись:

«Джером Девис, балтиморский профессор, 1 милл. долларов».

Кстати, теперь я заметил, что вся запись, в которой содержится строка о Девисе, выглядит в виде двадцатистрочной колонки: каждая фраза — строка. Запись предельно сжата, но общий смысл ее ясен: речь идет об издании работ ученых Петрограда. Под своеобразной рубрикой «Редакция за нами» Ленин записал имена ученых, которые могли бы взять на себя редактирование этих работ. Там есть такое имя: Пинкевич. Да, да, доктор педагогических наук А. П. Пинкевич, который возглавил

Комитет по улучшению быта ученых после отъезда А. М. Горького за границу. «Пинкевич, принять (до субботы, здесь, в Москве). Найти через Горького». Так и написано: «Найти через Горького». Имя Горького стоит и в начале, и, таким образом, вся запись идет как бы под знаком этого имени. Очевидно, мы имеем дело с краткой записью беседы с Горьким. А если так, то имя Джерома Девиса тоже было упомянуто в беседе Ленина с Горьким.

Мне показалось заманчивым расшифровать эту строку в ленинских записях: я был знаком с человеком, о котором шла речь, и всего лишь в прошлом году получил от него письмо. Да, Джером Девис, знавший лично многих наших американских друзей, от Джона Рида до Альберта Риса Вильямса, прислал мне письмо, в котором рассказал об этих людях. Быть может, обращение к Джерому Девису — единственная возможность проникнуть в смысл этой ленинской записи.

Но вот вопрос: когда происходила беседа, о которой идет речь? К сожалению, сам документ не датирован, однако, как отмечают редакторы Ленинского сборника, где этот документ помещен, в настольном календаре Ленина есть две пометки о приеме Пинкевича, того самого Альберта Петровича Пинкевича, о котором просил Ленина Горький.

Как свидетельствуют пометки Владимира Ильича в календаре, он принимал Пинкевича дважды: 29 сентября и 19 октября 1921 года.

Альберт Петрович Пинкевич?.. Погодите, но ведь он оставил свои воспоминания о встречах с Лениным. Кстати, не о тех ли встречах?.. «Уезжая, Алексей Максимович Горький передал с согласия В. И. Ленина и Комиссии по улучшению быта ученых обязанности председателя мне (в качестве заместителя). За месяц до отъезда (в сентябре) он условился с Владимиром Ильичем, что мы приедем к нему и переговорим о ряде дел комиссии. Но Алексей Максимович заболел, и в назначенный день и час мне пришлось быть принятым одному...»

У Пинкевича острый и верный глаз, в его записях портрет Ильича убедительно верен: «Он совсем не брюнет, каким его изображают: рыжеватые усы и борода, цвет лица блондина. Он неожиданно невысок, однако широкоплеч, крепко и ладно скроен, у него своеобразной формы голова — с большим лбом, почти голая...»

И дальше, когда знакомство произошло («минут пятнадцать уходит на расспросы о вашей работе в прошлом и настоящем») и речь коснулась самой сути:

«...Теперь Владимир Ильич спрашивает о Горьком, участливо, тепло, дружески. Заботится о том, чтобы при нем был кто-то во время поездки.

— Надо к нему человека рукастого,— добавляет он и смеется.

Но вот и о деле, приведшем меня к нему. Говорю снова, не без смущения, что надеюсь на его помощь, что боюсь, как бы не стало хуже с отъездом Алексея Максимовича. И, немного привыкнув к Ильичу, решаюсь сказать:

— Мы (то есть комиссия), признаться, часто думали, что многое делается именно для Алексея Максимовича. А у нас, остающихся, нет ни его связей, ни обаяния его имени, и вся надежда — на вас, на вашу помощь.

Он слушал сначала серьезно, к концу моей речи рассмеялся:

— Ладно, давайте будем вам помогать».

Как известно, Владимир Ильич и в отсутствие Горького следил за работой Комиссии по улучшению быта ученых и оказывал ей действенную помощь. Об этом пишет и А. П. Пинкевич в воспоминаниях.

Итак, Ленин первый раз принял Пинкевича 29 сентября. Встреча Горького с Лениным предшествовала этой встрече Владимира Ильича и Пинкевича. Значит, Ленин принимал Горького где-то в середине сентября. Пинкевич говорит: «За месяц до отъезда». Горький уехал в Италию 16 октября. Следовательно, его встреча с Владимиром Ильичем была в середине сентября.

Вот вопрос: не был ли Джером Девис в России в сен-

тябре 1921 года и не встречался ли он в это время с Горьким?

Я решил внимательно исследовать нашу прессу. Старые газеты обладают силой необыкновенной. Порой только они способны восстановить безнадежно утраченное. Но в этот раз поиски мои не дали результатов. По стране шел голод, и его белый огонь, казалось, лег на газетные полосы... Я обратился к ленинским документам той поры: текстам его статей и докладов, к оперативным документам и тем особым документам, которые не имеют жанра (две-три строки, написанные на календарном листе стремительным ленинским почерком). Шла ли речь о наших внутренних делах или делах внешних, одна тема присутствовала повсюду: голод, борьба с голодом. У Ленина была папка, или, как он говорил, «обложка», в которой хранились дела, связанные с покупкой продовольствия за рубежом. На одном из документов он начертал в эти дни: «В обложку о закупке продовольствия за границей напоминать мне каждый день». Я листал газеты и документы, листал и не мог найти ответа, хотя ключ к заветной строке был где-то здесь...

Мне казалось, что я напал на верный след, когда вновь перечитал стенограмму допроса американцев, наших друзей и врагов, на так называемой «сенатской комиссии Овермена». Читатель помнит: вся когорта наших друзей, и прежде всего Джон Рид, Альберт Рис Вильямс, Раймонд Робинс, Луиза Брайант, Бесси Битти, явилась на эту комиссию, чтобы исчерпывающе объяснить и подтвердить свои симпатии к России. Внимательно исследуя тексты показаний, я набрел там на имя Джерома Девиса и впервые почувствовал, что в моих руках решение задачи. О Джероме Девисе говорил Альберт Рис Вильямс.

«Есть в Америке люди, которые протянули руку помощи русскому народу, которые работали в Советах, которые своими глазами видели русскую революцию, которые лично знакомы с советскими руководителями. Им также известны все антисоветские россказни тех американцев, которые так и не поняли, что такое Советы. Пригласите

их сюда, и они нарисуют совершенно иную картину русских событий. Они расскажут вам о том, что создание Советского правительства — это честнейшая попытка перестроить жизнь общества.

Когда рабочие и крестьяне вооружились, Красная гвардия выступила на борьбу с немцами, член ХАМЛ Джером Девис передал русским вагон продовольствия. Ему активно помогал и другой наш соотечественник, Хэмрис. Девис и Хэмрис работали с русскими и потому могли узнать и понять их. Они знают правду о положении в России, и их показания будут не похожи на те, которые вы здесь слушали. Следует заметить, что сотрудники американского Красного Креста, действовавшие через Советы, не только поняли их значение, но и прониклись к ним доверием и симпатией».

Но этот документ всего лишь подвел меня к ответу на вопрос. Но прямо на вопрос мог ответить только Девис.

Из опыта я знаю, как нелегко застать его в Соединенных Штатах. С тех пор как Девис связал себя с борьбой за мир, он побывал во многих странах. В течение последних шести лет он был трижды в Советском Союзе. Две большие книги, написанные в последние годы Джеромом Девисом, переведены на многие языки.

Я написал письмо Девису, обстоятельно изложив в нем сущность моей просьбы, но, прежде чем сдать его на почту, попытался установить, где сейчас Девис и не собирается ли он в ближайшее время в Москву. Ответ, который я получил, не явился для меня неожиданностью: Девис находится на пути в Москву. Он едет на конгресс в защиту мира...

И вот мы сидим с Девисом, и раскрытая книга лежит перед нами. Он никогда не видел этой записи Ленина. Никогда. Может, поэтому ему так трудно овладеть собой.

— Это «уандерфул», да, да... поразительно! — замечает он, и его рука тянется к книге.

Видел ли он Горького в двадцать первом году? Видел! Что означает миллион долларов?..

Он берет книгу и пододвигает к себе.

— Но ведь это был двадцать первый год... двадцать первый... Нет, сразу не скажешь...— Он вновь смотрит на книгу, повторяет, теперь тише, чем прежде: — Уандерфул... уандерфул...

Сейчас он расскажет все, что намеревается сказать. А пока он поднялся и стал поодаль. Я не видел его почти двадцать лет. По-прежнему грозно-тревожны глаза, но лицо стало бледнее да глазницы чуть-чуть глубже, а голос такой же: есть в нем петушиная голосистость, то ли юношеская, то ли стариковская.

— Впервые я приехал в Россию в тысяча девятьсот пятнадцатом году как волонтер для работы среди военнопленных,— начал он свой рассказ.— Вначале строил бани и прачечные для пленных, потом клубы для русских солдат. Ни то, ни другое не пользовалось поддержкой властей. За мной следили и днем и ночью. Чтобы отрубить «хвост», надо было войти в баню и потом выпрыгнуть в окно. Когда произошла революция, мне сказали: «Это и ваша работа!» Я был доволен: «Хорошая работа!»

Рядом с книгой лежит портативный радиоприемник в желтой коже — наверно, то немногое, что берет этот человек в дорогу. Мне даже видится: непрочный голос этого приемника — единственное, что связывает человека с внешним миром, когда самолет несет его над грозными увалами и падями океана.

— На фронте началось... братание,— говорит Девис,— я решил перейти линию фронта и проникнуть в Германию. Моими товарищами были коммунисты. Прямо из русских окопов мы попали в немецкие. Жизнь в России многому меня научила. Я узнал душу русского человека, а это немало.

Видно, где-то над городом встала дождевая туча. Девис зажигает свет. Теперь я уже привык к Девису, и мне кажется, что за эти двадцать лет он не изменился. На нем такой же костюм, как прежде, просторноватый. Да и пальто, что висит поодаль, чем-то напоминает то, фронтовое, под жесткой парусиной.

— Я вернулся в Россию в двадцать первом году,— продолжает Девис.— Новая беда свалилась на Россию — голод. В Америке вот уже два года действовала Организация помощи голодающим. Мне казалось, что в это тяжелое для России время я могу ей быть полезен. До Лондона я доехал вместе с одним буржуа-филантропом. Он полагал, что русские не примут помощи. «После того как мы открыто вмешались в русские дела (мой собеседник имел в виду американскую интервенцию), русские, если еще не отказались от нашей помощи, то вот-вот откажутся...» Я как мог возражал своему собеседнику. Помощь России предлагало не правительство, а рядовые американцы — это не одно и то же. В то время, как продолжался наш спор, в Лондонском порту стоял пароход, готовый к отплытию в Ригу. Мне удалось сломить упорство своего собеседника, когда до отплытия оставалось не больше часа. Я схватил чемодан и выбежал из гостиницы. К счастью, у подъезда оказалось такси. Я пообещал шоферу фунт, если он быстро доставит меня в порт. Мы прибыли в порт, когда пароход уже вышел в море. Я нанял моторный бот и наказал ему идти вслед за пароходом. Видно, на корабле заметили нас и убавили ход. По веревочной лестнице я взобрался на корабль. «Вы кто... беглый каторжник или американец?» — спросил меня капитан. «Американец...» — был мой ответ. «О, тогда мне все понятно»,— улыбнулся капитан. Через две недели я был в России, а еще через несколько дней меня принимал Горький...— Джером Девис бережно прикрывает рукой книжную страницу.— Миллион долларов... это сумма помощи голодающим.— Он молчит, потом произносит негромко, и в его голосе слышны и строгое раздумье, и, как мне кажется, восторг: — В этот раз, собирая эти деньги, я проехал по всей Америке. «Слово о России» — так назывался мой доклад. Актовый зал университета и заводской двор, просторный школьный класс и поляна в парке были полны народа. Слушателями были люди небогатые, но их было много, и они, я это видел, верили в Россию. Нет, это... уандерфул, уандерфул...

В эти дни вы можете увидеть этого американца в Москве. Ему за семьдесят, но его светлые, не замутненные старостью глаза полны живой зоркости. Он очень высок, и его белая голова видна издали...

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО ИЗ ОССАЙНИНГА

Среди американцев, которые навечно связали себя с новой Россией, Октябрем, Лениным, одним из первых был Альберт Рис Вильямс.

Друг и сподвижник Джона Рида, он был очевидцем и участником Октябрьских событий.

25 октября он видел, как революционный Петроград штурмовал Зимний дворец, и вместе с красногвардейцами вошел в Зимний.

26 октября он был на Втором съезде Советов и приветствовал Ленина, возвестившего о победе революции.

1 января 1918 года он выступал в Михайловском манеже Петрограда на митинге выборжцев, уходящих на фронт, выступал вместе с Лениным, при этом речь Вильямса, обращенную к добровольцам, переводил Владимир Ильич.

5 января того же 1918 года на открытии Учредительного собрания Ленин, встретившись с Вильямсом и вспомнив их недавнее выступление в Михайловском манеже, поделился с американцем своим опытом в изучении иностранных языков — ему хотелось, чтобы интерес Вильямса к русскому был реализован до конца.

А позже они встретились уже в Москве, и Ленин, узнав о том, что Вильямс накопил большой документальный материал о революции, советовал ему написать книгу. «У вас прекрасная коллекция документов»,— сказал Вильямсу Ленин.

Вильямс ответил на совет Ильича двумя книгами, которые в зарубежной классике об Октябре занимают свое почетное место: «Ленин и его дело» и «Сквозь русскую революцию», и задумал третью. Прежде чем взять-

ся за перо и написать эту третью книгу, Вильямс решил на годы и годы поселиться в России. Однако какой должна была быть новая книга Вильямса о России? Из рассказов Вильямса, очень осторожных (Вильямс постоянно был начеку!), можно сделать вывод, что американец писал книгу об Октябре и новой русской действительности. Впрочем, Вильямс не сказал ничего, что лежало бы за пределами того, что он говорил прежде. Короче, свою тайну он берег надежно и работал, при этом не переставал бывать в нашей стране. Каждый новый приезд Вильямса в Москву был событием не только для него, но и для его русских друзей, которых немало. Давно нет в живых Джона Рида, навсегда ушли Робинс и Майнор, а Вильямс полон энергии и радостно деятелен.

1

Кресло пододвинуто к окну. Окно просторное, от пола до потолка, как на аэровокзале, в него видны и земля, и небо. Комната полна света, и седины Вильямса точно морозный снег. Я замечаю: среди тех, кто сейчас подходит к Вильямсу, почти нет стариков, кто знал его прежде. Все молодежь, для которых Вильямс в своем роде живая история, легенда. Да и слова, что при этом произносятся, можно произнести, когда перед тобой живая история.

Эта вереница людей, желающих сказать свое слово Вильямсу, иссякает только под вечер.

Мы медленно спускаемся по каменным ступеням, и я помогаю Вильямсу сойти.

— Мне трудно писать главу за главой, да я и не считаю это нужным,— говорит Вильямс.— Человеческая память анархичнее сознания. Вот она воссоздала первоянварский эпизод восемнадцатого года, воссоздала с такой яркостью, будто сама призывает записать его. Бери карандаш и пиши, пиши не раздумывая. Опоздаешь — все погибнет, все обратится в пепел. В другой раз она

выхватила из прошлого нечто такое, чему ты был свидетелем десятью годами позже,— не теряй времени и в этом случае, запиши... Да, я понимаю, что мои главки напоминают кадры будущей киноленты. Я их «отснял», не зная, в каком месте фильма они поместятся. Самое значительное совершится за монтажным столом. Я жду этой минуты.

Я знаю, откуда у Вильямса это сравнение с кинокадрами и киномонтажом. Люсита, жена и друг Вильямса, говорит, что Альберт один факт, одну мысль записывает пять, семь, десять раз. Этот метод, по словам Люситы, подсказал Вильямсу Линкольн Стеффенс. Вот как это было. Вильямс навестил Стеффенса. В этот день у Стеффенса были и другие гости. Вильямс заметил: в течение дня хозяин вновь и вновь рассказывал одну историю. Новому гостю — по-новому. Это настолько поразило Вильямса, что он не преминул выразить хозяину свое удивление. Нисколько не смутившись, Стеффенс ответил, что, как он полагает, каждая история имеет одну верную версию. Но прежде чем удастся нащупать твердое ядрышко этой верной версии, необходимо повторить рассказ много раз. Иначе говоря, Стеффенс делал то, что делает кинорежиссер, снимающий фильм: каждый эпизод снимается много раз. Делаются, выражаясь киноязыком, «дубли». В фильм попадает лучший из «дублей». Видно, это объяснение показалось Вильямсу настолько убедительным, что он сделал метод Стеффенса своим методом.

— Но вот что интересно,— продолжает Вильямс.— Ничто так не может встревожить память, встревожить и обновить, как встреча с местами, где события произошли... Не просто в моем возрасте собраться в дорогу, столь дальнюю и трудную, как поездка в Россию, но собираться надо — ведь едешь за памятью, за молодостью, за новой книгой...

Вильямс рассказывает об Америке, об Оссайнинге, где он живет, о людях разного профессионального и социального облика, которых он видит в Оссайнинге, и нет-нет да задаст вопрос: «А над чем работаете вы?.. Что

это будет за книга по жанру, по манере, по колориту?..» Мне кажется, что он спрашивает тебя об этом и по соображениям такта. Он точно хочет сказать этим: «Я отнюдь не переоцениваю значение своей работы, отнюдь... и вниманием к труду товарища подтверждаю это».

— Вот вам мой совет,— произносит Вильямс, когда мы оказываемся на улице,— не будьте рабом материала, не давайте ему взять вас в плен. Главное — сберечь дух событий...— Он останавливается и внимательно смотрит в пролет улицы.— По-моему, там стоит Люсита,— произносит он, не отрывая глаз; там действительно в кругу друзей стоит Люсита Вильямс.

Он прибавляет шагу, говорит, волнуясь:

— Когда будет готова книжка, пришлите ее мне... Впрочем, я уже просил об этом кого-то...

Люсита убыстряет шаг, а я думаю: так вот она какая, Люсита Вильямс, храбрая спутница Риса на тысячекилометровом его пути по России. Она знала Поволжье, объятое злым огнем голода, и архангельские топи и гати, и украинские села, где-то рядом с гоголевской Диканькой,— небогатые поля и нивы неоглядной нашей страны, куда на годы и годы ушел Рис, решив проникнуть в суть того большого, что волновало его тогда: насколько крута дорога России, идущей по пути, который указал ей Ленин. Но что заставило молодую женщину бросить родные берега и обречь себя на жизнь подвижницы? Наверно, любовь — она все может.

Но мне так кажется, не только любовь, но и верность идее, которая с годами и для Люситы определила смысл жизни.

Сейчас Альберт протянет руку, большую и легкую, чуть-чуть расслабленную, и простится. Если он и в этот свой приезд не сказал ничего о новой книге — значит, работа над нею не продвинулась настолько, чтобы можно было об этом говорить.

2

Вильямс вернулся в Москву через полтора года.

Мы идем с Вильямсом улицей Качалова. Полуденное небо кажется по-августовски белым, но здесь хорошо. Иногда купы старых деревьев оказываются над нами, заслоняя знойное небо, и мы невольно замедляем шаг.

— Я как-то слыхал, что после окончания «Десяти дней...» Рид задумал новую книгу...— замечаю я.

— Да, при этом написал несколько очерков, которые должны были в нее войти,— говорит Вильямс.

— Верно ли, что то была книга о Ленине?

— Да, так задумал ее Рид. Я понимаю его: не было задачи труднее и благороднее ни вчера, ни сегодня,— произносит после некоторого раздумья мой собеседник.

Мне представляется, что в его последней фразе заключен ответ и на вопрос, который я поставил перед ним прежде.

— Не хотите ли вы сказать, дорогой Вильямс, что ваша новая книга призвана решить эту же задачу?

— Да, я хочу сказать именно это,— произносит Вильямс.

Прошла машина, прошла осторожно, будто опасаясь вспугнуть тишину, которая наступила вслед за последней фразой Вильямса. Значит, новая книга Риса посвящена той самой теме, которую избрал для своей будущей большой работы Джон Рид. Вильямс пишет о Ленине, в этот раз не только о Ленине — революционном стратеге, но и государственном деятеле, строителе, кремлевском провидце, чья вера и решимость указали России ее новую дорогу. Истинно, нет задачи труднее и благодарнее.

— Не следует ли, дорогой друг, ваш ответ понимать так, что работа над рукописью близка к завершению?

— Ну что ж... можете понимать и так,— отвечает Вильямс все так же добродушно.— Вы сберегли мой нью-йоркский адрес?..

Вильямсы уехали. Быть может, они уже достигли американского берега. Друзья Вильямса звонят друг дру-

гу: «Есть ли что-либо от Альберта?» (И в Москве его зовут так.) Иногда эти звонки настойчиво тревожны, и это тоже понятно: семьдесят восемь — немало. Наконец пришло первое письмо: он здоров, набирает силы. В Оссайнинг полетели письма. Послал свое и я, вместе с книгой, только что вышедшей. Вильямс просил прислать, сказал, что нужна для работы. Такое ощущение, что книга пошла не только к Вильямсу, но и к Риду, Стеффенсу, Майнору. Ведь он явился к нам из той героической поры. Нелегко ждать, когда ты убедил себя в этом. Прошел месяц, второй. Говорят, Вильямс вновь заболел, сейчас в больнице. И вот декабрь шестьдесят первого. В Москве и снега не было, а в Подмосковье белым-бело. Пришел пакет из Америки. Обратный адрес не вызывает сомнений: «Альберт Рис Вильямс, 116, Хейкес-авеню, Оссайнинг, Нью-Йорк». Медленно распечатываю. Кажется, что лощеная бумага грохочет — так жестка она и крепка.

Прочел один раз, второй. Дело не в добрых словах, адресованных книге, а в неизмеримо большем: есть в этом письме светлое ощущение революции как неизгладимо-мужественной поры в жизни человека.

«Только теперь я закончил чтение вашего рассказа о встречах и беседах Ленина с американцами... Я почувствовал, что вновь шагаю по улицам и площадям революции, пересекаю мосты Невы, прохожу воротами Кремля, иду кремлевскими скверами...»

Были в этом письме стариковская мудрость и доброе напутствие.

«Как я уже отмечал, эти заметки с выражением благодарности должны были быть посланы вам несколько недель назад. В этой связи они должны были явиться и моим поздравлением с годовщиной Октября. Но мы говорим — «время бежит», и как быстро! — могу добавить я. И вот уже теперь, когда на меня надвигается 1962 год, я приношу свои поздравления с Новым годом, и я, очевидно, первый из поздравивших вас. Пусть наступающий год принесет мир этой земле. Примите мои поздравления с Новым годом».

Во мне еще жило волнение, вызванное этим письмом, когда пришла телеграмма из Америки, телеграмма, которой мы все так боялись и так старались отвратить хотя бы в своем сознании: умер Альберт Рис Вильямс. Теперь я перечитывал письмо Вильямса, и мне открывался в этом письме все новый смысл: «Пусть 1962 год принесет мир этой земле». В этой фразе и великая страсть к жизни, и завещание живым, неумирающее завещание, которое хотел оставить и оставил Вильямс: «Мир — земле».

Но вот вопрос насущный: «А закончил ли Вильямс книгу, над которой работал все эти годы?..» Вильямс говорил, что работа близка к завершению... Мне так кажется, что Вильямс успел «отснять» значительный материал и готовился сесть за монтажный стол. Но успел ли?..

3

С тех пор прошли и те два года, которых недоставало Вильямсу, чтобы отметить свое восьмидесятилетие. На торжествах по случаю этой даты была Люсита Вильямс.

— Когда я познакомилась с Вильямсом, среди тех девяти соперниц, которые противостояли мне, была одна, которую я считала самой серьезной,— Россия...— произносит Люсита, и глаза радостно светлеют.— У меня было одно средство совладать с этой соперницей: поехать вместе с Вильямсом в Россию... И я это сделала.

Мы уславливаемся встретиться с Люситой Вильямс в гостинице «Советская», в которой она останавливалась прежде. Все вопросы, которые я намерен задать Люсите, у меня собрались в одном: «Как новая книга Вильямса?.. Что он успел сделать?..» Пока я думаю над тем, каким поводом воспользоваться, чтобы подступиться к главному, Люсита протягивает руку помощи:

— Альберт успел сделать главное — книга написана.

— Это книга о Ленине?

— Да, о Ленине и Октябрьской революции.

— В ней есть нечто новое?..

— Да, разумеется.

— Вы привезли ее?

— Две главы.

Наверно, Люсита Вильямс, глаза которой все еще полны радости, понимает, как я волнуюсь.

— Вы, конечно, помните этот диалог между Лениным и Вильямсом на броневике в Михайловском манеже,— произносит она.— Помните и то, что Вильямс, смело ринувшийся в бой (какое счастье заговорить по-русски, да еще с такой аудиторией!), был вынужден признать, что у него для этого нет необходимых знаний, и обратился за помощью к Ленину, который находился рядом. Все это известно. Неизвестно другое, мне кажется, не менее важное, что явилось своеобразным продолжением разговора Ленина и Вильямса... Две главы. Хотите прочесть? — улыбается она.— Сейчас?

Люсита склоняется над стопкой рукописных страниц, отыскивая нужные главы. Свет настольной лампы, приглушенный матерчатым абажуром, обтекает ее лицо. Нет, она не была похожа на Вильямса. Маленькая, с сухими и добрыми руками, она, казалось, человек иного, чем Вильямс, типа. Но вот сияние глаз, именно сияние, не утратившее своей силы, несмотря на возраст, и улыбка, медленно разгорающаяся, в которой и робкое участие, и радушие, и зоркое внимание к тому, что составляет мир твоих забот и дум,— все это от Вильямса. Нужна жизнь, чтобы воспринять это сияние глаз и эту улыбку.

Я читаю.

Да, пожалуй, Вильямс рассказал здесь нечто такое, чего еще не знали. Оказывается, в 1918 году Владимир Ильич предложил создать из американских друзей небольшую группу для изучения принципов марксизма. «Если вас соберется четыре-пять человек, я постараюсь найти время, чтобы раз в неделю заниматься с вами»,— сказал Ленин. Вильямс тогда не воспользовался предложением Владимира Ильича и не мог простить себе этого всю жизнь, как не могли простить и его американские друзья, которым он это рассказывал. «Я пытался объяс-

нить,— вспоминает Вильямс свои разговоры с друзьями,— но все мои доводы с раздражением отметались. Только сумасшедший мог упустить такой случай. Какая была честь для меня! Так ведь это было равносильно тому, чтобы учиться теории относительности или квантовой теории у Эйнштейна, равносильно возможности беседовать с Сократом в Афинах... Скорее всего, это произошло где-то между 1 января и 18 февраля, когда в Россию вторглись немецкие войска. Как рассказывал мне товарищ Рейнштейн, Ленин говорил ему, что Вильямсу, возможно, недостает полного понимания большевистских принципов и идей. Очевидно, это делало меня подходящим кандидатом... Отсюда я делаю вывод, что Ленину было приятно заниматься обучением не слишком закаленного в политическом отношении американского радикала... Я убежден, что это было просто обычное проявление его привычки давать людям именно то, в чем они нуждаются больше всего, и в этом не было ни малейшего оттенка благотворительности... Вспоминалось, что в одном из двух утерянных писем ко мне шла речь об этой группе по изучению марксизма. Ленин говорил мне, что занятия с небольшой группой были бы для него развлечением и отдыхом... Мой отказ заниматься в той группе не изменил наших отношений. Ленин уважал убеждения каждого человека и никого не принуждал идти дальше, чем тот хотел сам...»

Стоит ли говорить, насколько значительно все, что рассказал Вильямс. Мы знали, что за годы революции Ленин приобрел среди американцев много друзей. У Ленина были основания предполагать, что люди эти могут стать убежденными марксистами. Кстати, зимой восемнадцатого года все они были в России. Идея маленькой академии не удалась, но многие из тех, кто испытал на себе влияние великого учителя, стали борцами за американскую свободу.

Мы прощаемся с Люситой Вильямс в надежде встретиться вновь в ближайшие год-полтора. Я выражаю надежду, что в следующий приезд Люситы Вильямс в Москву бу-

ду иметь возможность ознакомиться с новыми главами книги Альберта Риса Вильямса.

— Работа велика? — спрашиваю я.

— Да, конечно,— замечает Люсита задумчиво.— Надо еще и еще прочесть то, что он оставил в рукописи. Каждая запись должна быть расшифрована и осторожно переписана. Все, что составляет рукопись книги, надо собрать воедино... Но я должна...— Она подносит руку к виску, ей трудно говорить.— Вы понимаете: должна...

Время не оставило никаких сомнений, оно все уточнило: как ни спешил Вильямс с книгой, он, очевидно, полагал, что лет у него больше, чем оказалось на самом деле. Вильямсу не хватило самого драгоценного года — смерть всегда внезапна. Смысл того, что делает сегодня Люсита, сводится к тому, чтобы продлить жизнь Риса как раз на тот самый год, которого недостало Вильямсу, чтобы завершить работу.

4

Люсита Вильямс уехала. Я получаю от нее всё новые письма. Увлечение, с которым работал над своей новой книгой о Ленине Альберт, передалось его другу. Немного слов в письмах Люситы о книге мужа, но очевидно одно: нет для Люситы дела важнее. Она работает.

И вот осень шестьдесят шестого — Люсита в Москве. Все та же гостиница на Ленинградском шоссе. Добрые глаза, сохранившие блеск и сияние молодости, добрые руки. Только в голосе усталость — видно, дорога была нелегкой.

— А как книга?

— Книга здесь.

— Вся?

— Да, разумеется.

Сейчас я вижу: два больших чемодана, лежащих на полу, распахнуты, в них рукописи. Но Люсите еще нужно несколько дней, прежде чем она сможет усадить себя за стол и пододвинуть папку с рукописью. Я жду, а в укром-

ной комнатке гостиницы ни ночью, ни днем не гасится свет — Люсита работает. Ее советские друзья, как могут, пытаются ей помочь.

Из Горького приехала Ирина Киреева. Приехала и попросила Люситу принять ее. Киреева — университетский работник, литературовед; Вильямс, его наследие — специальность Киреевой. Несколько последних лет она отдала собиранию и изучению текстов Вильямса. И того, что он напечатал в СССР, и того, что в разное время опубликовал у себя на родине. В силу факта, значение которого трудно переоценить, две женщины, не знавшие друг друга, оказались союзницами в главном, что определяет их жизнь и их призвание в жизни. Одна подвиглась на этот труд, руководимая сердцем, другая мыслью, что работа эта очень нужна ее соотечественникам. «Бывает же так: человек явился, когда он особенно нужен,— сказала мне Люсита.— Альберт обожал Волгу...» Встреча с женщиной из Горького настраивает ее на лирический лад. Наверно, она думает о том, что память России благодарна. В далеком Оссайнинге умер друг русской революции Альберт Рис Вильямс, а дети России продолжают разговаривать с ним, как с живым.

В эти дни я смотрел с Люситой новый фильм о революции. В фильме — Альберт Рис Вильямс. Если не ошибаюсь, впервые в художественном кино. Фильм показывался для Люситы, и в затемненном зале было не больше десяти человек. Я сидел с Люситой рядом. Было понятно ее состояние. Быть может, ей было чуть-чуть страшно. Как бы талантлив и честен ни был артист, он никогда не сравнится с тем, что она хотела бы сегодня увидеть. Не много храбрости, наверно, было и у тех друзей Люситы, которые пригласили ее смотреть фильм. Они понимали: как ни доброжелательна Люсита, она способна сказать: «Нет» — здесь она бескомпромиссна. Она сказала: «Да». Это прежде всего относилось к актеру, сыгравшему Вильямса,— им был эстонский актер Оя. Чем-то незримым, но очень верным он убедил ее. В фильме воссоздан тот знаменитый эпизод в Михайловском

манеже, когда Вильямс решился говорить с трибуны по-русски и, обнаружив, что ему недостает слов, обратился за помощью к Ленину. Диалог между Вильямсом и Лениным развивался стремительно при поощрительно-живом внимании всего зала. В общем, актер уловил нечто такое, что заставляло верить. В этот вечер Люсита увидела Вильямса. Живого. Наверно, слова, что Россия не дала умереть Вильямсу,— не пустая фраза.

...А работа в комнатке Люситы на Ленинградском шоссе, кажется, идет к концу.

Звонит Люсита — рукопись можно читать. Чемоданы распахнуты, как в первый день приезда Люситы, но на столе лежит папка с рукописью — действительно, можно читать.

Да, передо мною новая книга Альберта Риса Вильямса о Ленине.

Вот эта глава посвящена речи Владимира Ильича, той самой, из которой мир узнал, что Октябрь свершился и принял свои знаменитые декреты. Речи, обращенной через делегатов Второго съезда Советов к народу России. Речи, в которой Ленин впервые предстал как глава революционного правительства и вождь Октября, победоносного Октября, громоподобное эхо которого подхватят века. В своих первых книгах о Ленине и Октябре Вильямс описал встречу народа со своим вождем и вдохновенное слово Ленина об Октябрьской победе. Сейчас Вильямс вновь вернулся к впечатлениям той поры. Вернулся и воссоздал ее с такой полнотой и, так мне кажется, силой мысли, с какой не смог это сделать первый раз. Да, так бывает в жизни: все, что человек увидел на заре утренней, если ей может быть уподоблена молодость, с необыкновенной ясностью явилось к человеку, когда была уже близка заря вечерняя. По крайней мере, глава, которая лежит передо мной, освещает такие грани события, какие не часто удавалось воссоздать в книгах об Октябре. Впрочем, повторяю, это впечатление личное.

Прежде всего: Ленин.

«...Не только мы с Ридом, но и сотни делегатов, заполнивших огромный колонный зал Смольного, в ту ночь впервые увидели Ленина... Я не отрывал взгляд от крепкой приземистой фигуры человека в поношенном костюме из плотной ткани, человека, который с пачкой бумаг в руке быстро прошел к трибуне и окинул зал острым веселым взглядом... С таким же вниманием смотрели на Ленина большие горящие глаза Раймонда Робинса (который пришел сюда одним из первых и сидел до пяти часов утра), так же напряженно разглядывали Ленина солдаты, матросы, рабочие, вся бурлящая масса делегатов съезда...»

Как видит читатель, портрет, написанный Вильямсом, даже этот первый портрет, освещенный светлым солнцем победы, больше строг, чем эмоционален, и отнюдь не торжествен.

«...Я не спускал глаз с докладчика, тщетно пытаясь представить себе, что он должен чувствовать сейчас, когда революция и руководимая им партия слились воедино и во главе этого могучего единства, его воплощением стал несомненно он, Ленин».

Вильямс внимательно слушает Ленина — наверно, американец доброжелателен, но он ничего не принимает на веру. Наоборот, его мысль воинственна, он как бы вступает в спор с Лениным, мобилизуя доводы, которые способны противостоять логике большевиков.

«Ленин произнес несколько вводных фраз к предлагаемой декларации о мире, над которой он работал в квартире Бонч-Бруевича с половины четвертого утра, пока остальные спали. Вопрос о мире, настолько жгучий и ясный, спокойно объяснил он слушателям, что документ, который он собирался прочесть, не нуждается в комментариях... Язык декрета показался мне слишком мягким для Ленина: «...Сообразно правовому сознанию демократии вообще и трудящихся классов в особенности...» Неужели это говорит воинственный Ленин? Невероятно! Декрет определял понятие «аннексия», и хотя лозунг «никаких аннексий и контрибуций» давно уже стал лозунгом

умеренных социалистов, здесь, в определении Ленина, он приобрел новое значение. Слова ветшают и обесцениваются не от частого употребления, а от того, что они остаются без употребления, то есть не претворяются в дела. В этом смысле они сходны разве что с клетками головного мозга человека... Ленин дал им новую жизнь, причем не ораторским искусством, а всей силой своей личности и политической линией своей партии».

Вильямс вспоминает свою первую книжку о Ленине. Ему трудно устоять перед искушением воспроизвести эти впечатления и поделиться раздумьями. Он точно отошел от картины, чтобы иметь возможность обнять ее взглядом. Надо отдать должное Вильямсу: в его глазах достаточно силы, и панорама события открывается ему полно.

«В небольшой книжке о Ленине я уже рассказывал о впечатлении, которое произвел на нас Ленин в ту ночь (26 октября — 8 ноября). Мы тогда впервые увидели человека, которого знали до сих пор по рассказам его молодых последователей. Как потом и многие другие, я описывал его манеру раскачиваться на каблуках, засунув большие пальцы в вырезы жилета, его голос, в котором нам послышалось тогда «больше резких, сухих нот, чем ораторски проникновенных». Я мог бы этим и ограничиться — получился бы довольно домашний портрет человека, чувствующего себя, как рыба в воде, в этом огромном зале, до отказа заполненном людьми и дымом дешевого табака, перед устремленным на него взглядом тысяч глаз, ищущих и вопрошающих.

Меня часто потом спрашивали, не снизил ли я умышленно свое первое впечатление, применив известный чеховский прием усиления драматизма при помощи антикульминации. Безусловно, в какой-то мере это было так. Но главное в том, что для нас, американцев, привыкших к другому типу политических деятелей, Ленин представлял загадку... Человек абсолютной непринужденности, он был в то же время начисто лишен того, что называют внушительностью.

...Была у него и еще одна важная черта — его беспре-

дельная вера в революционную инициативу народа. Эта вера давала ему удивительную свободу и, как я часто замечал, доставляла большую радость. Всю зиму 1917/18 г., до своего отъезда из Москвы во Владивосток весной 1918 г., каждый раз, встречая Ленина, я не переставал удивляться этой свободе, которая объясняет и его личное бесстрашие (за себя), и отсутствие какого бы то ни было притворства. Эта вера в массы не мешала ему, однако, лично браться за любую проблему, которая вставала перед ним, и выкапывать те, что были глубоко спрятаны. При этом юмор и способность радоваться никогда не изменяли ему, проявляясь в тысячах мелочей, в том, как он ходил, как читал (пожирая глазами) газету, с какой ненасытностью и точностью решал каждую новую задачу. В 1919 году Рэнсом, вернувшись в Петроград после беседы с Лениным, писал: «По дороге домой из Кремля я пытался вспомнить, кто из политических деятелей его калибра обладал таким же веселым характером, и не мог вспомнить никого». Рэнсом объясняет это тем, что Ленин — «первый великий вождь, который не придает никакого значения своей собственной личности».

Когда Ленин в ту октябрьскую ночь прошел по сцене к трибуне так же обыденно, как это сделал бы опытный учитель, ежедневно появляющийся перед своим классом, английский корреспондент Джулиус Уэст, сидевший рядом со мной за столом прессы, шепнул: «Если его одеть немного получше, то можно было бы по внешности принять за среднего мэра или банкира из какого-нибудь небольшого французского городка».

Это была дешевая острота, но многие из них подхватили ее и часто с тех пор повторяли в своих книгах и статьях. Совсем не смешная, она стала избитой. Вся обстановка противоречила ей: тишина и неподвижность зала, напряженное внимание слушателей, громоздкие плечи серых шинелей, вплотную прижатые друг к другу, недоверчивые глаза крестьян (по большей части просто сельских пролетариев), боящихся пропустить хоть одно слово или чего-нибудь не понять... Ленин кончил читать. Зал подал-

ся вперед, волна за волной прокатились аплодисменты, и поднялась буря оваций. Вряд ли какой-нибудь мэр выступал в такой обстановке и встречал такой прием! Из задних рядов раздался голос: «Да здравствует Ленин!» Со всех концов огромного зала ему откликнулось эхо: «Ленин! Ленин!»

Но Вильямс оглядывает зал: рядом делегаты, рядом трудовая Россия, чьим подвигом свершился Октябрь. Всего лишь летом Вильямс объехал многие города и села России, был в Поволжье, ездил на Украину. Казалось, что Россия, которую видел американец, собралась в Смольном. Для американца нет явления значительнее: Ленин и рабоче-крестьянская Россия. Что написано на лицах делегатов, слушающих Ленина?.. Уважительное внимание, доброта или то извечное, неколебимо крестьянское, рожденное лихолетьем русской жизни, что породило в мужике и сдержанность, и недоверие?

«...Итак, свершилось. Принят первый декрет новой власти. Люди заулыбались, глаза их засияли, головы гордо поднялись. Это надо было видеть! Рядом со мной встал высокий солдат и со слезами на глазах обнял рабочего, который тоже встал с места и бешено аплодировал. Маленький жилистый матрос бросал в воздух бескозырку. Судя по ленточке, это был моряк Балтийского флота, может быть, один из тех, перед кем мы с Ридом выступали несколько недель тому назад. Выборгский красноармеец с воспаленными от бессонницы глазами и осунувшимся небритым лицом огляделся вокруг, перекрестился и тихо сказал: «Пусть будет конец войне».

В конце зала кто-то запел «Интернационал», и все тут же подхватили. С тех пор, когда я слышу звуки этого самого знаменитого рабочего гимна, я вижу взволнованную, торжественную толпу, охваченных единым порывом мужчин и женщин, я вижу Ленина и рядом с ним всех большевистских руководителей, стоя поющих вместе с залом.

Той осенью мы часто слышали и пели «Интернационал». Но в ту ночь, когда вместе с нами пел Ленин, вы бы

слышали, как мы пели! Люди плакали и обнимались. Потом мы запели медленный, скорбный похоронный марш «Вы жертвою пали в борьбе роковой», посвященный памяти тех, кто погиб во время Февральской революции и был похоронен в братской могиле на Марсовом поле...»

А каков сам Вильямс, какую веру поколебал в нем Октябрь, в какую веру обратил?..

«И вот теперь в Смольном, вглядываясь в суровые лица людей, напряженно ловящих каждое слово, я почувствовал, как во мне поднимается горячая волна симпатии к красногвардейцам, матросам и солдатам, так замечательно выполнившим свой революционный долг. Только ослепленные предрассудками люди, подумал я, могут остаться к этому равнодушными...»

Я заканчиваю чтение и долго не могу отнять глаз от страницы, которая лежит передо мной. Ну конечно же, это исповедь друга, для которого встреча с Лениным и революционной Россией явилась началом большого пути — он нашел на этом пути то большое, что называется смыслом жизни... Я отнимаю глаза от страницы от ощущения тишины, которая заполнила комнату. Из дальнего конца комнаты смотрит на меня Люсита Вильямс.

— Ну как? — спрашивает она.

Мы прощаемся часом позже. Очень хочется, чтобы книга Вильямса — плод его благородных раздумий о Стране Советов — поскорее увидела свет. Мы говорим с Люситой об этом. Мы прощаемся, и я склоняюсь над рукой Люситы.

— Погодите... У меня есть для вас нечто такое, что будет вам дорого.

Она идет к письменному столу и тут же возвращается со стопкой тщательно исписанных страниц. Я узнаю простой черный карандаш Альберта, непропорционально узкую полоску текста на странице, выносы на поля и почерк, как пожатие его руки, нетвердый.

— Хочу, чтобы это хранилось у вас,— говорит Люсита.— Как память...

Не надо листать — все понятно: это черновик последнего письма Вильямса ко мне, написанного за два месяца до смерти.

«...Пусть наступающий... год принесет мир этой земле...»

Уже на улице не могу чтобы не раскрыть папку еще раз.

«...Мир — этой земле»,— повторяю я.— «...Мир — земле...»

МОСТ ИЗ ГОДА В ГОД

Да, мост из года в год из той заповедной поры, когда над тусклыми невскими водами взвился красный стяг в день завтрашний. Что мы знаем об американцах, с которыми нас свел Ленин, если их вчерашний день соединить с днем сегодняшним и даже завтрашним? Многие из них прожили долгую жизнь после революции. Отступили они от убеждений своей молодости или остались верны им? Итак, мост из вчерашнего дня в день сегодняшний...

Линкольн Стеффенс,
Роберт Майнор,
Бесси Битти,
Билль Хейвуд.

(Читатель найдет эти имена в рассказах: «Двое», «Малыш», «Вера», «Выбор», «Глаза».)

Разумеется, в своих беседах с людьми, приехавшими из-за океана, Ленин был и доброжелателен, и радушно терпим. Но главное в ином: Ленин непримирим, когда речь идет о принципах, он непримирим железной ленинской непримиримостью, не боящейся сказать другу «нет», если он заблуждается.

Как они прошли через малые и большие хребты жизни, как совладали с испытаниями, на которые так щедр был наш век, такой многомудрый и многотрудный? Как они — друзья, добрые товарищи и просто собеседники

Ленина — одолели жизненную дорогу, которая для многих из них была и долгой и сложной?..

Итак, перебросим мост из года в год...

I

Помните встречу Стеффенса с Лениным в Кремле, а потом возвращение Стеффенса из Москвы, заснеженные поля с пятнами оттаявшей земли?

Как отозвалась в сердце этого человека Москва, ее трудные будни, встреча с Лениным, большой, но очень нелегкий разговор с ним о праве революции карать своих врагов?

Быть может, об этом может рассказать Элла Уинтер, жена и друг Стеффенса?

Уинтер ожидается в Москве.

Я вспомнил весну сорок третьего года, военный «Дуглас», повисший в тумане над холмами Харькова, гудение самолета, идущего по восьмому кругу, и женщину с незажженной папиросой у рта.

А все-таки не женское это дело — вот так носиться в зыбкой мгле над фронтовыми городами, даже если ты корреспондент.

И еще вспоминается Ленинград весной сорок четвертого, Ленинград, от стен которого незадолго до этого был отогнан враг, нет, не белые, а какие-то фосфорически голубые ночи и концерт в зале филармонии, первый концерт после блокады с участием больших ленинградских артистов, только что вернувшихся из Перми. Концерт был замечателен не программой, хотя она была очень ленинградской, а настроением зрительного зала.

Концерт закончился поздно. Зал филармонии даже не опустел, а медленно растворился в ночи. Возбуждение, вызванное музыкой, было необычным — ленинградцы расходились молча.

Я возвращался вместе с Уинтер. На этот раз ее папироса была зажжена.

— Никогда Чайковский не тревожил людские сердца так, как в эту ночь,— сказала Уинтер и затенила зажженную папиросу — строгие законы войны еще действовали в Ленинграде.

Мы выбрались на набережную и пошли вдоль ее гранитного борта. Вода была серо-дымной, неспокойной; казалось, что она напитана сиянием ночного неба. И прибрежные дворцы по ту сторону Невы тоже были серодымными. Только шпиль Петропавловской крепости да, пожалуй, маковка мечети были полуосвещены. Дворец Кшесинской находился где-то там — впервые Линкольн Стеффенс услышал Ленина, когда тот говорил с балкона этого дворца. Задумчивые глаза Уинтер были обращены сейчас туда. Быть может, и она увидела мягкую зелень деревьев, окружающих дворец, балкон на невесомых опорах, решетчатую ограду и толпу, пришедшую к дворцу апрельской ночью семнадцатого года, чтобы послушать Ленина. Где-то там, под могучей кроной, стоял в эту ночь маленький американец, устремив острые глаза на балкон, откуда говорил Ленин.

— Линкольн как-то заметил, что и в тот раз, в апреле, и позже, в Кремле, Ленин был воинственно резок, не боялся обострить разговор, хотел спора... Линкольн еще сказал: Ленин был убедителен потому, что все свои истины утвердил в результате спора...

— Стеффенс спорил с Лениным? — спросил я.

— Спорил, не мог не спорить, но ушел от него другом,— ответила она...

Прошло почти двадцать лет, и вот телеграмма из Лондона: Элла Уинтер приезжает в Москву.

— Уинтер?..

В Москве осень необычно сухая, и старые липы, перегнувшиеся через высокие заборы Пятницкой, кажутся серыми.

Элла Уинтер сидит у окна. День неяркий, быть может, даже пасмурный.

— Всю жизнь до своих последних дней Стеффенс постигал Ленина,— говорит Уинтер, говорит так, будто

бы речь идет не о Стеффенсе, а о человеке, которого она знает по книгам.— Линкольн был натурой беспокойной и жадной до всего нового. Его познания в разных науках были редкими, при этом старуха Европа послужила ему не меньше Америки — в Европе нет крупной библиотеки, где бы он не работал: Сорбонна и Британский музей, книгохранилище Гамбурга, Берлина, Лейпцига, Франкфурта, Мюнхена, Бремена. Он учился азбуке революции повсюду, где вспыхивал огонь борьбы со старым миром,— и в Мексике, и в России. Он был бесконечно любознателен до всего, что явил его век, будь то русский Октябрь или Ленин.— Она замолкает, в ее жестах и беспокойство, и тревожное нетерпение под стать мерцающему блеску ее глаз.— Вот эта книга вышла в Нью-Йорке три недели назад...— Она кладет на стол книгу в глянцевой суперобложке.— В ней я собрала по крупинкам все то, что Стеффенс говорил о русской революции и Ленине, да, с тех памятных дней семнадцатого года, когда он впервые приехал в Россию и увидел Ленина на балконе дворца Кшесинской...

Ей приятно держать в руках эту книгу. В ней ее жизнь, лучшее, что было в ее жизни. Многое из того, что скрепил прохладный глянец переплета, определено и ее, Уинтер, мыслями. Сколько раз она раскрывала эту книгу и в дни, когда бродила по мокрой траве лондонских парков, и теперь, уже в дни ее путешествия в Россию.

— Стеффенс готовился к своей новой поездке в Россию и делал все, чтобы накопить больше знаний о ней. Он встречается с первым русским послом в Штатах Людвигом Мартенсом, он разговаривает с известным социалистом Джином Дебсом, он возобновляет переписку с Джоном Ридом... Разумеется, вам известно, что Стеффенса связывала с Ридом многолетняя дружба. Стеффенс знал и высоко почитал отца Рида и считал себя обязанным помогать юному Риду,— известно, что приглашение молодого публициста и поэта сотрудничать в журнале «Метрополитен» было осуществлено не без участия Стеффенса.

Уинтер берет папиросу, и клубы дыма, как некогда, заволакивают ее лицо. Папироса помогает ей овладеть собой.

— Весной девятнадцатого года Стеффенс побывал в Петрограде и Москве в составе миссии Буллита. Это была его самая впечатляющая поездка в Россию. Мне удалось разыскать письмо Стеффенса Марии Хоу, в нем впечатления Стеффенса об этой поездке переданы коротко и эмоционально. «Это было подобно путешествию в будущее,— писал Стеффенс.— То, что у них есть, обязано когда-нибудь появиться и в других местах. И все, что мы знаем, в России меняется. Разумеется, мы были привилегированными гостями. Мы видели всех, кого желали видеть, слушали их рассказы о боях, о ценах, об их промахах и надеждах... Русские голодают, питаются один раз в день, но они делят свою бедность, и народ это знает... В том, что я видел в России, было одно, что для меня лично показалось особенно значительным: они действительно вымели из жизни старую систему, в условиях которой живем мы, и теперь строят коммунистическое государство...» И разумеется, самое сильное впечатление, которое он вынес от этой своей поездки в Россию,— Ленин.

Уинтер докурила одну папиросу и быстро зажгла вторую — почти пятьдесят лет, прошедшие со времени событий, о которых она говорит сейчас, не охладили для нее страсти, которые эти события несли с собой.

— Конечно, в том, что говорил Стеффенс о вожде Октября, не все для советского человека безусловно, но, мне так кажется, все поучительно — ведь Стеффенс познавал и принимал Октябрь через Ленина и благодаря Ленину. Двадцать девятого августа тысяча девятьсот девятнадцатого года, то есть через три месяца после возвращения из России, он писал своим друзьям, супругам Хоу: «Мировое правительство (имеется в виду власть союзников) может свергнуть Ленина и отбросить его назад в русские горы, но нельзя вырвать мечты, вызванной им в сознании людей». Встреча с Лениным владеет умом

Стеффенса — он обращается к ней вновь и вновь. «Я вижу мир, движущийся под воздействием описанных Марксом сил,— писал Стеффенс своему другу, известному бостонскому бизнесмену Филейну.— Ленин понимал лучше, чем сами делегаты мирной конференции, что они должны были и не сумели сделать». Стеффенс был тверд в своей вере в Ленина и новую Россию. «В мире действительно возникло нечто новое — это сильное, умное правительство России,— писал Линкольн Лауре Саджетт в октябре тысяча девятьсот двадцать третьего года, после третьей поездки в Москву.— Россия сильна. Большевики не отступали и не уступили ни в чем, они и не думают сдаваться... Они уверены, что победят, и будут сражаться до конца».

Уинтер загасила папиросу и взглянула в окно. На улице посветлело — мягкий свет неяркого сентябрьского дня лежал на лице Уинтер. Казалось, оно было теперь спокойным.

— И последнее, что определяет веру Стеффенса в Россию, его мысли о молодом поколении революции,— сказала Уинтер и потянулась к книге.— «Новая система в России растет со всей силой юности и мужества, надежды и свежего взгляда на жизнь и явления. У меня в мыслях ни тени сомнения в силе России... И самый надежный ее свет в будущем — это русская молодежь, юноши и девушки от шестнадцати до двадцати восьми лет... Дети России, я думаю, являются гарантией ее красного будущего. Какие же у них будут школы, армия, заводы через два или три поколения? Дайте новому порядку несколько столетий, и он, я верю, создаст общество, самый рядовой член которого будет столь же благороден, как лучшие люди нашего времени...»

Я простился с Уинтер.

Стеффенс и прежде был для меня одним из тех американцев, кто наиболее полно понял Ленина.

Трудно сказать, что определило взгляды Стеффенса: его восприятие мира, интеллект, его близость к борьбе народа?

Однако многого я не знал о Стеффенсе и в своих раздумьях о нем остановился на девятнадцатом годе. Уинтер помогла мне сделать следующий шаг.

II

Помните Роберта Майнора, решившего ходатайствовать перед Лениным о помиловании своего соотечественника? И ответ Ленина помните? «Дезертировал... Похитил жалованье полка... Не могу ходатайствовать». Очевидно, влияние, которое оказывал Ленин на людей, живое влияние на их сознание и души, было определено не только участием Ленина, но и его непримиримостью, справедливым участием и непримиримостью, тоже справедливой. «Не могу ходатайствовать». Таким был ответ Ленина Майнору. Кто помнит Майнора?

Здесь в камере дежурит ночь бессменно,
Но я услышал с воли твой привет.
И льется сверху ясный звездный свет,
Ко мне сюда проникнув через стены.

Это Лоуэнфелс. Его «Сонеты о любви и свободе». Их колыбелью были камни одиночки. Сонеты... Как писал поэт, он обратился к этой древней форме, чтобы сплести воедино старое и новое, традиционное со злободневным. Сонеты больше, чем остальные шесть книг Лоуэнфельса, стали известны миру: их издали во Франции и Индии, Латинской Америке и Германии, в Китае, Италии, Польше. Язык сонетов живописен и точен. Именно точен. Это язык человека, привыкшего иметь дело с материалом, который требует крепкого и верного резца. Быть может, это характерно для Лоуэнфелса. Он не только поэт, но и ученый — знаток Уолта Уитмена.

Стоит ли говорить, как интересно было одно сочетание этих двух имен: Лоуэнфелс и Майнор. Но почему Лоуэнфелс и Майнор? Мне сказали, что поэт знал Майнора. Я послал письмо Лоуэнфелсу. То, что он рассказал

о Майноре в этом письме (в нем воссоздано три эпизода, на первый взгляд малоприметных), освещает и облик и жизненный путь этого человека.

Вот письмо Лоуэнфелса о Майноре:

«Я встречался с Робертом Майнором несколько раз в период 1940—1950 годов. В ту пору он являлся одним из руководящих деятелей Коммунистической партии. Он был грузноват, высок и возвышался над собеседником подобно башне.

С трибуны Майнор говорил медленно, по записям, подчеркивая мысль естественными жестами. Я его помню в Филадельфии вскоре после Пирл-Харбора — он был главным докладчиком на митинге, созванном Коммунистической партией:

«Сейчас все зависит от победы в войне. Все остальные факторы занимают второстепенное место. Мы всё должны подчинить делу победы».

Как-то Майнор выступал на собрании Мюзик Фанд Холл в Филадельфии. Я был тогда филадельфийским корреспондентом «Дейли уоркер». Накануне мне удалось добыть интересные факты для статьи (забыл сейчас какие), не имеющие, впрочем, ничего общего с темой митинга. Я отозвал Боба Майнора в сторону, сообщил ему об этих фактах и спросил, написать ли мне эту статью или передать ее по телефону (я адресовал этот вопрос Майнору, зная о его опыте работы в газете). Он ответил:

— За долгие годы своей работы в газете я постиг истину: новость только тогда новость, когда она новость.

В другой раз, тоже в Филадельфии, я сопровождал Майнора из гостиницы в зал, где он должен был выступать. В тот раз, как мне припоминается, впервые мы оказались с ним в комнате один на один.

Я постучал в дверь, он сказал:

— Войдите.

Он сидел на кровати, заваленной бумагами и книгами. Я взял одну из них, она была на немецком языке.

— Что вы делаете? — спросил я.

— Изучаю Маркса,— ответил он.

Для него было типично делать все тщательно, обращаясь к первоисточникам.

Последний штрих. Наш районный руководитель в Филадельфии вышел из партии. Это было примерно в 1944 году. Я обедал с Бобом Майнором и в разговоре сказал что-то о хороших качествах Дерси (так звали этого человека). Боб ничего не ответил, но тень гнева прошла по его лицу, как темное облако. Я знал, что был неправ. Не сказав ни слова, Боб Майнор дал мне понять то, что я никогда после не забывал: «Человек, переставший быть коммунистом, не имеет хороших качеств».

III

Помните поездку Бесси Битти по голодающему Поволжью, медленное движение агитпарохода «Сарапулец», всплески черной воды за бортом? И эту встречу с председателем Помгола: «Если все умирают, умру и я... Я пришел в революцию волонтером...» А потом Москва и ветер, обдувающий красную глыбу Исторического музея, и неожиданная встреча с Лениным у Малого дворца. «Что передать Америке? Так и передайте: мы не завидуем ей даже в нашем нелегком положении...»

Как сложилась судьба Бесси Битти?.. Говорят, она прожила долгую жизнь.

Все годы жизни Бесси Битти прошли на американском Западе. Кто ее может знать?

Джон Говард Лоусон?..

Я вспомнил книгу Лоусона, которую прочел накануне: «Фильмы в битве идей». Как мне казалось, автор, отлично знающий мировой кинематограф, исследовал его и как художник. Я высказал это мнение одному американскому другу, который был знаком с Лоусоном. Мой друг считал это качество характерным для Лоусона: ведь он не только критик, но и драматург. Но в тот раз я услышал и нечто иное о Лоусоне: он философ-марксист, один из признанных авторитетов прогрессивного искусства США.

В знаменитом черном списке Голливуда, разумеется, значилось и имя Лоусона.

Бесси Битти?

Я написал Лоусону письмо.

Ответ пришел не тотчас (как мне рассказывал Лоусон позже, многие детали ему пришлось восстанавливать в беседе с друзьями Бесси Битти), но в этом ответе было все, чтобы представить себе жизнь Бесси Битти после возвращения ее из России.

Вот письмо Джона Говарда Лоусона о Бесси Битти.

«Я считаю Бесси Битти образцом энергичной, волевой, независимой женщины с исключительно богатым воображением, появление которой было вызвано самими условиями социальной жизни Америки в конце XIX и начале XX столетия. Вечно в поисках новых приключений, новых горизонтов... После своей удивительной поездки верхом через Неваду в 1905 или 1906 году она в 1917 году пересекла Сибирь, чтобы своими глазами увидеть большевистскую революцию. Передо мной лежит ее книга о героях-золотоискателях «Некто в Неваде». Мне кажется, что существует связь между этим романтическим описанием людей, создавших западный штат, и ее увлечением Великой Советской революцией, описанной в книге «Красное сердце России» и опубликованной в 1919 году.

Битти описывает события революции просто и зачастую красиво: «В России были сорваны покровы с жизни, которая сейчас так же открыта глазу, как ветви серебристых берез, пока их не укроет зима. Все, что было истинным, существенным, самое плохое и самое хорошее в людях — все стало явным. Герои никогда особенно не волновали меня, но для меня останется вечным чудом то поразительное число скромных и незаметных подвигов, которые могут совершать в повседневной жизни самые обычные люди».

Битти не так часто упоминает в книге о самом Ленине. (Она брала у него интервью позднее, когда посетила Советский Союз в 1921 году, и я сделаю все возможное, чтобы найти это интервью.) Битти рассказывает в своей

книге о посещении Лениным новогоднего митинга перед тем, как первая армия революционных добровольцев уходила на фронт: «Наконец вошел Ленин. Его встретили мощной волной приветствий. Карие глаза Ленина блестели от мороза, на щеках горели красные пятна. На нем была черная меховая шапка и черное пальто. Ленин производил впечатление живого, приветливого человека... Я стояла рядом, и он пожал мне руку, перед тем как подняться на трибуну».

Джон Говард Лоусон сопроводил свое письмо «Заметками о Бесси Битти».

«Бесси Битти была дочерью Томаса Эдварда и Джейн Боксвел Битти из графства Уэксфорд в Ирландии. Семья Битти эмигрировала в Соединенные Штаты в начале 1880 годов, сначала в штат Айова, затем в Калифорнию, где в январе 1886 года родилась Бесси (в Лос-Анджелесе). Затем у нее появились два брата и сестра. Старший брат, Гарвей, все еще живет в Англии. Госпожа Битти была одним из руководителей движения женских клубов в Лос-Анджелесе, хорошо известным и уважаемым человеком. Одно время семья владела довольно значительной собственностью в Лос-Анджелесе. Как говорилось в интервью «Нью-Йорк геральд трибюн» от 20 августа 1943 года, «она родилась с серебряной ложкой во рту, но столовое серебро поизносилось во время депрессии» (видно, имеется в виду 1893 год). Во всяком случае, к тому времени, когда Бесси исполнилось 12 лет, она решила стать писательницей и к 1904 году стала полноправным штатным сотрудником лос-анджелесской «Геральд трибюн».

Когда газета послала ее в невадский золотоносный район, чтобы написать очерк, «она так заинтересовалась предметом своего изображения, что бросила газету и написала книгу... изданную в 1907 году, под названием «Некто в Неваде».

В 1917 году она начала печатать серию статей, под заглавием «В мире во время войны», и посетила Японию, Китай и Россию. В течение восьми месяцев она жила

в Петрограде в «военной гостинице»... Эта поездка, подобно поездке в Неваду, была предпринята ею самостоятельно, без задания редакции, весной 1917 года. Она пересекла Тихий океан и по Транссибирской железной дороге почти всю Россию и возвратилась домой в начале 1918 года. По возвращении в Соединенные Штаты она читала лекции о России. В 1919 году вышла ее книга «Красное сердце России». С 1918 года по 1921 год она была главным редактором «Маколла-мэгэзин». Она снова поехала в Россию в 1921 году корреспондентом «Гуд-Хаузкипинг энд Херст интернейшл мэгэзин» и брала интервью у Ленина... Позже она побывала на Ближнем Востоке и в Турции.

В 1940 году миссис Битти начала писать радиопередачи для женщин, которые прекратились с ее смертью... В военные годы она уделяла много времени в своих программах освещению жизни Соединенных Штатов, призывала женщин в ряды доноров...

В 1943 году она получила радиопремию Международной женской выставки прикладного искусства в знак признания ее усилий, которые она посвятила тому, чтобы объяснить необходимость единства внутри Объединенных Наций.

Бесси Битти была женщиной неукротимой энергии, цельности характера и очень большой личной смелости,— заканчивает свое письмо Лоусон.— Понятие «мировой гуманизм» очень подходит к ней, но знание жизни соединялось в ней с сентиментальностью. И все же она была сильной и действительно замечательной личностью, несмотря на все изменения, происшедшие в ее жизни. Русская революция была ее величайшим переживанием. По крайней мере, это было так, когда я ее встречал. И если даже впечатления «Красного сердца России» стали тускнеть, я думаю, что в годы работы на радио она свято берегла их».

Мне остается добавить, что в прошлом году я видел Лоусона и разговаривал с ним. Лоусон приехал в Подмосковье, в старый сосновый бор, чтобы закончить пьесу,

да, ту самую пьесу, которую напечатала «Иностранная литература». Я имею в виду «Чудеса в гостиной».

Разговор шел об американском кино и пьесе. Однако для нас с Лоусоном была заповедная тема, к которой, как мне казалось, мы неминуемо придем,— Бесси Битти.

— Видно, по природе своей,— сказал Лоусон,— она была честным человеком. Я никогда не считал ее единомышленницей Рида и Вильямса, но она всегда была чутка к правде...

Помните приезд Билля Хейвуда в Москву и его встречу с Владимиром Ильичем и разговор об индустриальной республике иностранных рабочих, которая должна была лечь на землях Кузбасса? Короткий, но выразительный диалог, исполненный грозной силы и суровости, между Лениным и Хейвудом. «Мы хотим, чтобы все, кто едет к нам, были предупреждены, как им будет трудно. Предупреждены! — сказал Ленин.— Надо, чтобы к нам ехали только те, кто готов на лишения, самые тяжелые, неизбежно связанные с восстановлением промышленности в стране отсталой и неслыханно разоренной... Вы понимаете меня?..» И ответ Хейвуда: «Понимаю, товарищ Ленин».— «Надо, чтобы наши друзья были готовы работать с максимальным напряжением сил и наибольшей производительностью. Вы понимаете меня, товарищ Хейвуд?» И ответ Хейвуда: «Да, конечно».— «Надо, чтобы наши друзья не забывали о крайней усталости голодных и измученных русских рабочих и крестьян... Не забывать и всячески помогать русским братьям, чтобы создать дружные отношения, чтобы победить недоверие и зависть. Ясно ли это нашим друзьям?» И ответ Хейвуда: «Ясно, товарищ Ленин». Поистине это был разговор революционной России с рабочей Америкой.

А что сберегли ум и сердца американцев об этом человеке, в какой мере образ Хейвуда, человека и воителя, сохранился в сознании его современников?

Не легко в сегодняшней Америке разыскать человека,

который бы лично знал Билля Хейвуда,— не следует забывать, что Биг Билль покинул Америку без малого сорок лет назад. По совету Лоусона я обратился к Арту Шилдсу. Я знал Шилдса по его статьям в «Дейли уоркер». Шилдс был внешнеполитическим обозревателем газеты, однако статьи его были не совсем обычны для журналиста-международника. В них острота политического зрения сочеталась с великолепным ощущением пропорции и красок. Статьи Шилдса, по существу, были маленькими рассказами, со своей композицией, своей системой образов. Впрочем, короткое письмо, которое Арт Шилдс прислал о Билле Хейвуде, как мне кажется, отражает эти качества Шилдса-публициста. По крайней мере, это письмо помогло мне увидеть и понять Хейвуда.

«Я встречал Билля Хейвуда несколько раз, и воспоминания о нем свежи в моей памяти,— пишет Арт Шилдс.— Я слушал Билля Хейвуда дважды, когда он был в расцвете своих сил. Первый раз в Форвард Холл на Ист Сайде — его речь была обращена к бастующим ткачам Петерсона. Что это был за человек? Он будто ощущал зал. В его речи была сила. Когда он говорил «единство рабочего класса мира», вы чувствовали это, вы видели это воочию. Его могучая фигура будто возвышалась над залом. Его единственный глаз, казалось, был устремлен на врага, в то время как тело было готово к прыжку. Несомненно, он был для меня героем, и пришло в движение само воображение мое.

Я вновь слушал его год спустя или около этого на митинге горняков в Колорадо. Он был все еще хорош, но прежняя жизнедеятельность в какой-то мере уже оставила его. Он выехал в Советский Союз вскоре после этого. Несомненно, что героизм Билля был в значительной мере причиной того, почему его личность производила столь сильное впечатление. Народ знал, что это был неприступный, точно скала, вожак горняков, который не останавливался перед тем, чтобы бить врагов своими обнаженными кулаками. Рабочие западных штатов Америки любили Хейвуда как человека, который вышел из

их среды. Есть рассказ, возможно придуманный, как рабочие, которым пожал руки Билль Хейвуд, в течение двух недель не хотели мыть своих рук. У него был отличный ум. Билль обладал реальным пониманием марксизма. Он был также хорошим писателем. Статьи Хейвуда можно найти в Международном социалистическом журнале. Некоторые из них затрагивают вопросы стачечной борьбы. Он хорошо понимал суть капиталистического государства (в отличие от ультрасиндикалистов). Вот почему он присоединился к коммунистам так быстро».

Я больше не видел Эллы Уинтер, но разговор с нею, как видит читатель, был своеобразно продолжен. По-разному могла сложиться судьба американцев, признавших Октябрь. По-разному. Но история, самый точный и беспристрастный судья, свидетельствует: все они на всю жизнь остались благодарны Ленину, чье доброе и ясное слово о Советской России явилось для этих людей звездой путеводной. Благодарны и, я так думаю, верны.

1965 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Г. И. Позднякова. *Величие мысли, слова, действия* 5

К. Федин. ЖИВОЙ ЛЕНИН 19

В. Катаев. МАЛЕНЬКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДВЕРЬ В СТЕНЕ 27

Примечания Л. Скорино 183

С. Дангулов. ТРОПА 197

Портрет В. И. Ленина работы И. И. Бродского

Библиотека школьника

ЖИЗНЬ ЛЕНИНА

ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ
ПРОЗЫ И ПОЭЗИИ

Том 9

Ответственный редактор
С. П. МОСЕЙЧУК

Художественный редактор
С. И. НИЖНЯЯ

Технический редактор
Л. П. КОСТИКОВА

Корректоры
Т. В. БЕСПАЛАЯ и Э. Я. СЕРБИНА

ИБ № 8323

Сдано в набор 15.02.85. Подписано к печати 18.11.85. Формат $70\times90^1/_{16}$. Бум. офс. № 1. Шрифт академ. Печать офсетная. Усл. печ. л. 42,12. Усл. кр.-отт. 43,88. Уч.-изд. л. 28,0. Тираж 250 000 экз. (1-й завод 1—100 000 экз.). Заказ № 223. Цена 1 р. 60 к. Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР. 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.

Ж71 **Жизнь Ленина:** Избранные страницы прозы и поэзии в 10-ти томах/ Ред. совет: С. В. Михалков (председатель), А. А. Виноградов, Б. А. Дехтерев, Н. В. Свиридов; Оформл. Б. А. Дехтерева.— М.: Дет. лит., 1980.— (Библиотека школьника).— Т. 9. Вступит. статья Г. Поздняковой; рис. И. Ильинского.— 1985.— 574 с., ил.

В пер.: 1 р. 60 к.

В том включены известные произведения о В. И. Ленине: Константин Федин «Живой Ленин»; Валентин Катаев «Маленькая железная дверь в стене»; Савва Дангулов «Тропа».

Ж $\frac{4803010102—556}{M101(03)85}$ Подп. изд.

ББК 13.5
ЗК 26